Библиотека Всемирной Литературы

Марина Цветаева

Стихотворения. Поэмы. Избранная проза



Библиотека Всемирной Литературы



Серия основана издательством
ЭКСМО в 2002 году

Марина Ивановна Цветаева

Стихотворения
Поэмы
Избранная проза

Москва
ЭКСМО
2008

УДК 82-1/3
ББК 84(2Рос-Рус)
Ц 27

Оформление серии *А. Бондаренко*

В оформлении суперобложки использованы
фрагменты работ *О. Редона, Н. Милиоти*

Цветаева М. И.
Ц 27 Стихотворения. Поэмы. Избранная проза. Эфрон А. Страницы воспоминаний / Марина Цветаева. – М.: Эксмо, 2008. – 800 с. – (Библиотека Всемирной Литературы).

ISBN 978-5-699-29084-0

«Какие стихи Вы пишете, Марина... Вы возмутительно большой поэт», – писал Марине Цветаевой Борис Пастернак. Поэзия Цветаевой не нуждается в оценках – она совершенна. Ее стихи – безупречные, выверенные, яркие – звучат мощно и страстно, в них органично сочетается мужественная личная позиция автора и незащищенность женщины с ранимой душой ребенка.

В состав этой книги входят самые известные стихотворные циклы и поэмы М. Цветаевой, а также дневниковые записи, автобиографическая проза и очерки.

УДК 82-1/3
ББК 84(2Рос-Рус)

ISBN 978-5-699-29084-0

© ООО «Издательство «Эксмо», 2008

Содержание

А. Эфрон
Страницы воспоминаний
7

Тайный жар
13

Небо поэта
87

Мне нравится, что вы больны не мной
121

Побег
197

Я благодарна поэтам
217

Поэмы
501

Из дневниковых записей
597

Автобиографическая проза
659

Очерки
675

Страницы воспоминаний

Какой она была?

Моя мать, Марина Ивановна Цветаева, была невелика ростом – 163 см, с фигурой египетского мальчика – широкоплеча, узкобедра, тонка в талии. Юная округлость ее быстро и навсегда сменилась породистой сухопаростью; сухи и узки были ее щиколотки и запястья, легка и быстра походка, легки и стремительны – без резкости – движения. Она смиряла и замедляла их на людях, когда чувствовала, что на нее смотрят или, более того, разглядывают. Тогда жесты ее становились настороженно скупы, однако никогда не скованны.

Строгая, стройная осанка была у нее: даже склоняясь над письменным столом, она хранила «стальную выправку хребта».

Волосы ее, золотисто-каштановые, в молодости вившиеся крупно и мягко, рано начали седеть – и это еще усиливало ощущение света, излучавшегося ее лицом – смугло-бледным, матовым; светлы и немеркнущи были глаза – зеленые, цвета винограда, окаймленные коричневатыми веками.

Черты лица и контуры его были точны и четки; никакой расплывчатости, ничего недодуманного мастером, не пройденного резцом, не отшлифованного: нос, тонкий у переносицы, переходил в небольшую горбинку и заканчивался не заостренно, а укороченно, гладкой площадочкой, от которой крыльями расходились подвижные ноздри, казавшийся мягким рот был строго ограничен невидимой линией.

Две вертикальные бороздки разделяли русые брови.

Казавшееся завершенным до замкнутости, до статичности, лицо было полно постоянного внутреннего движения, потаенной выразительности, изменчиво и насыщено оттенками, как небо и вода.

Но мало кто умел читать в нем.

Руки были крепкие, деятельные, трудовые. Два серебряных перстня (перстень-печатка с изображением кораблика, агатовая гемма с Гермесом в гладкой оправе, подарок ее отца) и обручальное кольцо — никогда не снимавшиеся, не привлекали к рукам внимания, не украшали и не связывали их, а естественно составляли с ними единое целое.

Голос был девически высок, звонок, гибок.

Речь — сжата, реплики — формулы.

Умела слушать; никогда не подавляла собеседника, но в споре была опасна: на диспутах, дискуссиях и обсуждениях, не выходя из пределов леденящей учтивости, молниеносным выпадом сражала оппонента.

Была блестящим рассказчиком.

Стихи читала не камерно, а как бы на большую аудиторию.

Читала темпераментно, смыслово, без поэтических «подвываний», никогда не опуская (упуская!) концы строк; самое сложное мгновенно прояснялось в ее исполнении.

Читала охотно, доверчиво, по первой просьбе, а то и не дожидаясь ее, сама предлагая: «Хотите, я вам прочту стихи?»

Всю жизнь была велика — и неудовлетворенна — ее потребность в читателях, слушателях, в быстром и непосредственном отклике на написанное.

К начинающим поэтам была добра и безмерно терпелива, лишь бы ощущала в них — или воображала! — «искру божью» дара; в каждом таком чуяла собрата, преемника — о, не своего! — самой Поэзии! — но ничтожества распознавала и беспощадно развенчивала, как находившихся в зачаточном состоянии, так и достигших мнимых вершин.

Была действенно добра и щедра: спешила помочь, выручить, спасти — хотя бы подставить плечо; делилась последним, наинасущнейшим, ибо лишним не обладала.

Умея давать, умела и брать, не чинясь; долго верила в «круговую поруку добра», в великую, неистребимую человеческую взаимопомощь.

Беспомощна не была никогда, но всегда — беззащитна.

Снисходительная к чужим, с близких — друзей, детей — требовала как с самой себя: непомерно.

Не отвергала моду, как считали некоторые поверхностные ее современники, но, не имея материальной возможности ни создавать ее, ни следовать ей, брезгливо избегала нищих под нее подделок и в годы эмиграции с достоинством носила одежду с чужого плеча.

В вещах превыше всего ценила прочность, испытанную временем: не признавала хрупкого, мнущегося, рвущегося, крошащегося, уязвимого, одним словом — «изящного».

Поздно ложилась, перед сном читала. Вставала рано.

Была спартански скромна в привычках, умеренна в еде.

Курила: в России — папиросы, которые сама набивала, за границей — крепкие, мужские сигареты, по полсигареты в простом, вишневом мундштуке.

Пила черный кофе: светлые его зерна жарила до коричневости, терпеливо молола в старинной турецкой мельнице, медной, в виде круглого столбика, покрытого восточной вязью.

С природой была связана воистину кровными узами, любила ее — горы, скалы, лес — языческой обожествляющей и вместе с тем преодолевающей ее любовью, без примеси созерцательности, поэтому с морем, которого не одолеть ни пешком, ни вплавь, не знала что делать. Просто любоваться им не умела.

Низменный, равнинный пейзаж удручал ее, так же как сырые, болотистые, камышовые места, так же как влажные месяцы года, когда почва становится недостоверной под ногой пешехода, а горизонт расплывчат.

Навсегда родными в памяти ее остались Таруса ее детства и Коктебель — юности, их она искала постоянно и изредка находила в холмистости бывших «королевских охотничьих угодий» Медонского леса, в гористости, красках и запахах Средиземноморского побережья.

Легко переносила жару, трудно — холод.

Была равнодушна к срезанным цветам, к букетам, ко всему, распускающемуся в вазах или в горшках на подоконниках; цветам же, растущим в садах, предпочитала, за их мускулистость и долговечность, — плющ, вереск, дикий виноград, кустарники.

Ценила умное вмешательство человека в природу, его сотворчество с ней: парки, плотины, дороги.

С неизменной нежностью, верностью и пониманием (даже почтением!) относилась к собакам и кошкам, они ей платили взаимностью.

В прогулках чаще всего преследовала цель: дойти до..., взобраться на...; радовалась более, чем купленному, «добыче»: собранным грибам, ягодам и, в трудную чешскую пору, когда мы жили на убогих деревенских окраинах, – хворосту, которым топили печи.

Хорошо ориентируясь вне города, в его пределах теряла чувство направления, плутала до отчаяния даже в знакомых местах.

Боялась высоты, многоэтажности, толпы (давки), автомобилей, эскалаторов, лифтов. Из всех видов городского транспорта пользовалась (одна, без сопровождающих) только трамваем и метро. Если не было их, шла пешком.

Была не способна к математике, чужда какой бы то ни было техники.

Ненавидела быт – за неизбывность его, за бесполезную повторяемость ежедневных забот, за то, что пожирает время, необходимое для основного. Терпеливо и отчужденно превозмогала его – всю жизнь.

Общительная, гостеприимная, охотно завязывала знакомства, менее охотно развязывала их. Обществу «правильных людей» предпочитала окружение тех, кого принято считать чудаками. Да и сама слыла чудачкой.

В дружбе и во вражде была всегда пристрастна и не всегда последовательна. Заповедь «не сотвори себе кумира» нарушала постоянно.

Считалась с юностью, чтила старость.

Обладала изысканным чувством юмора, не видела смешного в явно – или грубо – смешном.

Из двух начал, которым было подвлиянно ее детство – изобразительные искусства (сфера отца) и музыка (сфера матери), – восприняла музыку. Форма и колорит – достоверно осязаемое и достоверно зримое – остались ей чужды. Увлечься могла только сюжетом изображенного – так дети «смотрят картинки», – поэтому, скажем, книжная графика и, в частности, гравюра (любила Дюрера, Доре) была ближе ее духу, нежели живопись.

Ранняя увлеченность театром, отчасти объяснявшаяся влиянием ее молодого мужа, его и ее молодых друзей, осталась для

нее, вместе с юностью, в России, не перешагнув ни границ зрелости, ни границ страны.

Из всех видов зрелищ предпочитала кино, причем «говорящему» – немое, за большие возможности со-творчества, со-чувствия, со-воображения, предоставлявшиеся им зрителю.

К людям труда относилась – неизменно – с глубоким уважением собрата; праздность, паразитизм, потребительство были органически противны ей, равно как расхлябанность, лень и пустозвонство.

Была человеком слова, человеком действия, человеком долга.

При всей своей скромности знала себе цену.

Как она писала?

Отметя все дела, все неотложности, с раннего утра, на свежую голову, *на пустой и поджарый живот.*

Налив себе кружечку кипящего черного кофе, ставила ее на письменный стол, к которому каждый день своей жизни шла, как рабочий к станку – с тем же *чувством ответственности,* неизбежности, невозможности иначе.

Все, что в данный час на этом столе оказывалось лишним, отодвигала в стороны, освобождая, уже машинальным движением, место для тетради и для локтей.

Лбом упиралась в ладонь, пальцы запускала в волосы, сосредоточивалась мгновенно.

Глохла и слепла ко всему, что не рукопись, в которую буквально впивалась – острием мысли и пера.

На отдельных листах не писала – только в тетрадях, любых – от школьных до гроссбухов, лишь бы не расплывались чернила. В годы революции шила тетради сама.

Писала простой деревянной ручкой с тонким (школьным) пером. Самопишущими ручками не пользовалась никогда.

Временами прикуривала от огонька зажигалки, делала глоток кофе. Бормотала, пробуя слова на звук. Не вскакивала, не расхаживала по комнате в поисках ускользающего – сидела за столом, как пригвожденная.

Если было вдохновение, писала *основное,* двигала вперед замысел, часто с быстротой поразительной; если же находилась в со-

стоянии *только* сосредоточенности, делала черную работу поэзии, ища *то самое* слово-понятие, определение, рифму, отсекая от уже готового текста то, что считала длиннотами и приблизительностями.

Добиваясь точности, единства смысла и звучания, страницу за страницей исписывала столбцами рифм, десятками вариантов строф, обычно не вычеркивая те, что отвергала, а – подводя под ними черту, чтобы начать новые поиски.

Прежде чем взяться за работу над большой вещью, до предела конкретизировала ее замысел, строила план, от которого не давала себе отходить, чтобы вещь не увлекла ее по своему течению, превратясь в неуправляемую.

Писала очень своеобразным круглым, мелким, четким почерком, ставшим в черновиках последней трети жизни трудно читаемым из-за нарастающих сокращений: многие слова обозначаются одной лишь первой буквой; все больше рукопись становится *рукописью для себя одной*.

Характер почерка определился рано, еще в детстве.

Вообще же, небрежность в почерке считала проявлением оскорбительного невнимания пишущего к тому, кто будет читать: к любому адресату, редактору, наборщику. Поэтому письма писала особенно разборчиво, а рукописи, отправляемые в типографию, от руки перебеливала печатными буквами.

На письма отвечала, не мешкая. Если получала письмо с утренней почтой, зачастую набрасывала черновик ответа тут же, в тетради, как бы включая его в творческий поток этого дня. К письмам своим относилась так же творчески и почти так же взыскательно, как к рукописям.

Иногда возвращалась к тетрадям и в течение дня. Ночами работала над ними только в молодости.

Работе умела подчинять любые обстоятельства, настаиваю: *любые*.

Талант трудоспособности и внутренней организованности был у нее равен поэтическому дару.

Закрыв тетрадь, открывала дверь своей комнаты – всем заботам и тяготам дня.

Ариадна Эфрон

Тайный жар

* * *

Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я — поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти,
— Нечитанным стихам!

Разбросанным в пыли по магазинам,
Где их никто не брал и не берет,
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

Коктебель,
13 мая 1913

* * *

Солнцем жилки налиты — не кровью —
На руке, коричневой уже.
Я одна с моей большой любовью
К собственной моей душе.

Жду кузнечика, считаю до ста,
Стебелек срываю и жую...
– Странно чувствовать так сильно и так просто
Мимолетность жизни – и свою.

15 мая 1913

* * *

Вы, идущие мимо меня
К не моим и сомнительным чарам, –
Если б знали вы, сколько огня,
Сколько жизни, растраченной даром,

И какой героический пыл
На случайную тень и на шорох...
– И как сердце мне испепелил
Этот даром истраченный порох!

О летящие в ночь поезда,
Уносящие сон на вокзале...
Впрочем, знаю я, что и тогда
Не узнали бы вы – если б знали –

Почему мои речи резки
В вечном дыме моей папиросы, –
Сколько темной и грозной тоски
В голове моей светловолосой.

17 мая 1913

* * *

Два солнца стынут – о Господи, пощади!
Одно – на небе, другое – в моей груди.

Как эти солнца – прощу ли себе сама? –
Как эти солнца сводили меня с ума!

И оба стынут – не больно от их лучей!
И то остынет первым, что горячей.

6 октября 1915

* * *

Цветок к груди приколот,
Кто приколол, – не помню.
Ненасытим мой голод
На грусть, на страсть, на смерть.

Виолончелью, скрипом
Дверей и звоном рюмок,
И лязгом шпор, и криком
Вечерних поездов,

Выстрелом на охоте
И бубенцами троек –
Зовете вы, зовете
Нелюбленные мной!

Но есть еще услада:
Я жду того, кто первый
Поймет меня, как надо –
И выстрелит в упор.

22 октября 1915

* * *

Цыганская страсть разлуки!
Чуть встретишь – уж рвешься прочь!
Я лоб уронила в руки,
И думаю, глядя в ночь:

Никто, в наших письмах роясь,
Не понял до глубины,

Как мы вероломны, то есть –
Как сами себе верны.

Октябрь 1915

* * *

Полнолунье, и мех медвежий,
И бубенчиков легкий пляс...
Легкомысленнейший час! – Мне же
Глубочайший час.

Умудрил меня встречный ветер,
Снег умилостивил мне взгляд,
На пригорке монастырь светел
И от снега – свят.

Вы снежинки с груди собольей
Мне сцеловываете, друг,
Я на дерево гляжу, – в поле
И на лунный круг.

За широкой спиной ямщицкой
Две не встретятся головы.
Начинает мне Господь – сниться,
Отоснились – Вы.

27 ноября 1915

* * *

Руки даны мне – протягивать каждому обе,
Не удержать ни одной, губы – давать имена,
Очи – не видеть, высокие брови над ними –
Нежно дивиться любви и – нежней – нелюбви.

А этот колокол там, что кремлевских тяжéле,
Безостановочно ходит и ходит в груди, –

Это – кто знает? – не знаю, – быть может, –
должно быть –
Мне загоститься не дать на российской земле!

2 июля 1916

* * *

В огромном городе моем – ночь.
Из дома сонного иду – прочь.
И люди думают: жена, дочь, –
А я запомнила одно: ночь.

Июльский ветер мне метет путь,
И где-то музыка в окне – чуть.
Ах, нынче ветру до зари – дуть
Сквозь стенки тонкие груди – в грудь.

Есть черный тополь, и в окне – свет,
И звон на башне, и в руке – цвет,
И шаг вот этот – никому – вслед,
И тень вот эта, а меня – нет.

Огни – как нити золотых бус,
Ночного листика во рту – вкус.
Освободите от дневных уз,
Друзья, поймите, что я вам – снюсь.

Москва,
17 июля 1916

* * *

После бессонной ночи слабеет тело,
Милым становится и не своим, – ничьим.
В медленных жилах еще занывают стрелы –
И улыбаешься людям, как серафим.

После бессонной ночи слабеют руки
И глубоко равнодушен и враг и друг.
Целая радуга — в каждом случайном звуке,
И на морозе Флоренцией пахнет вдруг.

Нежно светлеют губы, и тень золоче
Возле запавших глаз. Это ночь зажгла
Этот светлейший лик, — и от темной ночи
Только одно темнеет у нас — глаза.

19 июля 1916

* * *

Нынче я гость небесный
В стране твоей.
Я видела бессонницу леса
И сон полей.

Где-то в ночи подковы
Взрывали траву.
Тяжко вздохнула корова
В сонном хлеву.

Расскажу тебе с грустью,
С нежностью всей,
Про сторожа-гуся
И спящих гусей.

Руки тонули в песьей шерсти,
Пес был — сед.
Потом, к шести,
Начался рассвет.

20 июля 1916

* * *

Горечь! Горечь! Вечный привкус
На губах твоих, о страсть!
Горечь! Горечь! Вечный искус —
Окончательнее пасть.

Я от горечи — целую
Всех, кто молод и хорош.
Ты от горечи — другую
Ночью за руку ведешь.

С хлебом ем, с водой глотаю
Горечь-горе, горечь-грусть.
Есть одна трава такая
На лугах твоих, о Русь.

10 июня 1917

Але

А когда — когда-нибудь — как в воду
И тебя потянет — в вечный путь,
Оправдай змеиную породу:
Дом — меня — мои стихи — забудь.

Знай одно: что завтра будешь старой.
Пей вино, правь тройкой, пой у Яра,
Синеокою цыганкой будь.
Знай одно: никто тебе не пара —
И бросайся каждому на грудь.

Ах, горят парижские бульвары!
(Понимаешь — миллионы глаз!)
Ах, гремят мадридские гитары!
(Я о них *писала* — столько раз!)

Знай одно: (твой взгляд широк от жара,
Паруса надулись — добрый путь!)

Знай одно: что завтра будешь старой,
Остальное, деточка, – забудь.

11 июня 1917

* * *

Только живите! – Я уронила руки,
Я уронила на руки жаркий лоб.
Так молодая Буря слушает Бога
Где-нибудь в поле, в какой-нибудь темный час.

И на высокий вал моего дыханья
Властная вдруг – словно с неба – ложится длань.
И на уста мои чьи-то уста ложатся.
– Так молодую Бурю слушает Бог.

20 июня 1917

Любви старинные туманы

1

Над черным очертаньем мыса –
Луна – как рыцарский доспех.
На пристани – цилиндр и мех,
Хотелось бы: поэт, актриса.

Огромное дыханье ветра,
Дыханье северных садов, –
И горестный, огромный вздох:
– Ne laissez pas traîner mes lettres![1]

2

Так, руки заложив в карманы,
Стою. Синеет водный путь.

1 «Не раскидывайте мои письма!» (*фр.*)

– Опять любить кого-нибудь? –
Ты уезжаешь утром рано.

Горячие туманы Сити –
В глазах твоих. Вот так, ну вот...
Я буду помнить – только рот
И страстный возглас твой: – Живите!

3

Смывает лучшие румяна –
Любовь. Попробуйте на вкус,
Как слезы – со́лоны. Боюсь,
Я завтра утром – мертвой встану.

Из Индии пришлите камни.
Когда увидимся? – Во сне.
– Как ветрено! – Привет жене,
И той – зеленоглазой – даме.

4

Ревнивый ветер треплет шаль.
Мне этот час сужден – от века.
Я чувствую у рта и в веках
Почти звериную печаль.

Такая слабость вдоль колен!
– Так вот она, стрела Господня!
– Какое зарево! – Сегодня
Я буду бешеной Кармен.

...Так, руки заложив в карманы,
Стою. Меж нами океан.
Над городом – туман, туман.
Любви старинные туманы.

19 августа 1917

* * *

Из Польши своей спесивой
Принес ты мне речи льстивые,
Да шапочку соболиную,
Да руку с перстами длинными,
Да нежности, да поклоны,
Да княжеский герб с короною.

– А я тебе принесла
Серебряных два крыла.

20 августа 1917

* * *

Нет! Еще любовный голод
Не раздвинул этих уст.
Нежен – оттого что молод,
Нежен – оттого что пуст.

Но увы! На этот детский
Рот – Шираза лепестки! –
Все людское людоедство
Точит зверские клыки.

23 августа 1917

* * *

Семь мечей пронзали сердце
Богородицы над Сыном.
Семь мечей пронзили сердце,
А мое – семижды семь.

Я не знаю, жив ли, нет ли
Тот, кто мне дороже сердца,
Тот, кто мне дороже Сына...

Этой песней – утешаюсь.
Если встретится – скажи.

25 мая 1918

* * *

Я – есмь. Ты – будешь. Между нами – бездна.
Я пью. Ты жаждешь. Сговориться – тщетно.
Нас десять лет, нас сто тысячелетий
Разъединяют. – Бог мостов не строит.

Будь! – это заповедь моя. Дай – мимо
Пройти, дыханьем не нарушив роста.
Я – есмь. Ты – будешь. Через десять весен
Ты скажешь: – есмь! – а я скажу: – когда-то...

6 июня 1918

* * *

Ночи без любимого – и ночи
С нелюбимым, и большие звезды
Над горячей головой, и руки,
Простирающиеся к Тому –
Кто от века не был – и не будет,
Кто не может быть – и должен быть.
И слеза ребенка по герою,
И слеза героя по ребенку,
И большие каменные горы
На груди того, кто должен – вниз...

Знаю всё, что было, всё, что будет,
Знаю всю глухонемую тайну,
Что на темном, на косноязычном
Языке людском зовется – Жизнь.

Между 30 июня и 6 июля 1918

* * *

Как правая и левая рука,
Твоя душа моей душе близка.

Мы смежены, блаженно и тепло,
Как правое и левое крыло.

Но вихрь встает — и бездна пролегла
От правого — до левого крыла!

10 июля 1918

* * *

Доблесть и девственность! — Сей союз
Древен и дивен, как Смерть и Слава.
Красною кровью своей клянусь
И головою своей кудрявой —

Ноши не будет у этих плеч,
Кроме божественной ноши — Мира!
Нежную руку кладу на меч:
На лебединую шею Лиры.

27 июля 1918

* * *

Каждый стих — дитя любви,
Нищий незаконнорожденный.
Первенец — у колеи
На поклон ветрам — положенный.

Сердцу ад и алтарь,
Сердцу — рай и позор.

Кто отец? — Может — царь.
Может — царь, может — вор.

14 августа 1918

Комедьянт

1

Не любовь, а лихорадка!
Легкий бой лукав и лжив.
Нынче тошно, завтра сладко,
Нынче помер, завтра жив.

Бой кипит. Смешно обоим:
Как умен — и как умна!
Героиней и героем
Я равно обольщена.

Жезл пастуший — или шпага?
Зритель, бой — или гавот?
Шаг вперед — назад три шага,
Шаг назад — и три вперед.

Рот как мед, в очах доверье,
Но уже взлетает бровь.
Не любовь, а лицемерье,
Лицедейство — не любовь!

И итогом этих (в скобках —
Несодеянных!) грехов —
Будет легонькая стопка
Восхитительных стихов.

20 ноября 1918

2

Мало ли запястий
Плелось, вилось?

Что тебе запястье
Мое – далось?

Все кругом да около –
Что кот с мышом!
Нет, – очами, сокол мой,
Глядят – не ртом!

19 ноября 1918

3

Дружить со мной нельзя, любить меня –
не можно!
Прекрасные глаза, глядите осторожно!

Баркасу должно плыть, а мельнице – вертеться.
Тебе ль остановить кружáщееся сердце?

Порукою тетрадь – не выйдешь господином!
Пристало ли вздыхать над действом комедийным?

Любовный крест тяжел – и мы его не тронем.
Вчерашний день прошел – и мы его схороним.

20 ноября 1918

4

Не успокоюсь, пока не увижу.
Не успокоюсь, пока не услышу.
Вашего взора пока не увижу,
Вашего слова пока не услышу.

Что-то не сходится – самая малость!
Кто мне в задаче исправит ошибку?
Солоно-солоно сердцу досталась
Сладкая-сладкая Ваша улыбка!

– Баба! – мне внуки на урне напишут.
И повторяю – упрямо и слабо:

Не успокоюсь, пока не увижу,
Не успокоюсь, пока не услышу.

23 ноября 1918

5

Вы столь забывчивы, сколь незабвенны.
– Ах, Вы похожи на улыбку Вашу! –
Сказать еще? – Златого утра краше!
Сказать еще? – Один во всей вселенной!
Самой Любви младой военнопленный,
Рукой Челлини ваянная чаша.

Друг, разрешите мне на лад старинный
Сказать любовь, нежнейшую на свете.
Я Вас люблю. – В камине воет ветер.
Облокотясь – уставясь в жар каминный –
Я Вас люблю. Моя любовь невинна.
Я говорю, как маленькие дети.

Друг! Всё пройдет! Виски в ладонях сжаты,
Жизнь разожмет! – Младой военнопленный,
Любовь отпустит вас, но – вдохновенный –
Всем пророкочет голос мой крылатый –
О том, что жили на земле когда-то
Вы – столь забывчивый, сколь незабвенный!

25 ноября 1918

6

Короткий смешок,
Открывающий зубы,
И легкая наглость прищуренных глаз.
– Люблю Вас! – Люблю Ваши зубы и губы,
(Все это Вам сказано – тысячу раз!)

Еще полюбить я успела – постойте! –
Мне помнится: руки у Вас хороши!
В долгу не останусь, за всё – успокойтесь –
Воздам неразменной деньгою души.

Посмейтесь! Пусть нынешней ночью приснятся
Мне впадины чуть улыбнувшихся щек.
Но даром — не надо! Давайте меняться:
Червонец за грошик: смешок — за стишок!

27 ноября 1918

7

Розовый рот и бобровый ворот —
Вот лицедеи любовной ночи.
Третьим была — Любовь.

Рот улыбался легко и нагло.
Ворот кичился бобровым мехом.
Молча ждала Любовь.

8

Сядешь в кресла, полон лени.
Встану рядом на колени,
Без дальнейших повелений.

С сонных кресел свесишь руку.
Подыму ее без звука,
С перстеньком китайским — руку.

Перстенек начищен мелом.
— Счастлив ты? — Мне нету дела!
Так любовь моя велела.

5 декабря 1918

9

Ваш нежный рот — сплошное целованье...
— И это всё, и я совсем как нищий.
Кто я теперь? — Единая? — Нет, тыща!
Завоеватель? — Нет, завоеванье!

Любовь ли это — или любованье,
Пера причуда — иль первопричина,

Томленье ли по ангельскому чину —
Иль чуточку притворства — по призванью.

— Души печаль, очей очарованье,
Пера ли росчерк — ах! — не все равно ли,
Как назовут сие уста — доколе
Ваш нежный рот — сплошное целованье!

Декабрь 1918

10

«Поцелуйте дочку!»
Вот и всё. — Как скупо! —
Быть несчастной — глупо.
Значит, ставим точку.

Был у Вас бы малый
Мальчик, сын единый —
Я бы Вам сказала:
«Поцелуйте сына!»

11

Бренные губы и бренные руки
Слепо разрушили вечность мою.
С вечной Душою своею в разлуке —
Бренные губы и руки пою.

Рокот божественной вечности — глуше.
Только порою, в предутренний час —
С темного неба — таинственный глас:
— Женщина! — Вспомни бессмертную душу!

Конец декабря 1918

12

В ушах два свиста: шелка и метели!
Бьется душа — и дышит кровь.
Мы получили то, чего хотели:

Вы — мой восторг — до снеговой постели,
Я — Вашу смертную любовь.

27 января 1919

13

Шампанское вероломно,
А все ж наливай и пей!
Без розовых без цепей
Наспишься в могиле темной!

Ты мне не жених, не муж,
Твоя голова в тумане...
А вечно одну и ту ж —
Пусть любит герой в романе!

14

Скучают после кутежа.
А я как веселюсь — не чаешь!
Ты — господин, я — госпожа,
А главное — как ты, такая ж!

Не обманись! Ты знаешь сам
По злому холодку в гортани,
Что я была твоим устам —
Лишь пеною с холмов Шампани!

Есть золотые кутежи.
И этот мой кутеж оправдан:
Шампанское любовной лжи —
Без патоки любовной правды!

15

Да здравствует черный туз!
Да здравствует сей союз
Тщеславья и вероломства!
На темных мостах знакомства,
Вдоль всех фонарей — любовь!

Я лживую кровь свою
Пою — в вероломных жилах.
За всех вероломных милых
Грядущих своих — я пью!

Да здравствует комедьянт!
Да здравствует красный бант
В моих волосах веселых!
Да здравствуют дети в школах,
Что вырастут — пуще нас!

И, юности на краю,
Под тенью сухих смоковниц —
За всех роковых любовниц
Грядущих твоих — я пью!

Москва,
март 1919

* * *

Солнце — одно, а шагает по всем городам.
Солнце — мое. Я его никому не отдам.

Ни на час, ни на луч, ни на взгляд. — Никому. —
Никогда!
Пусть погибают в бессменной ночи города!

В руки возьму! Чтоб не смело вертеться
в кругу!
Пусть себе руки, и губы, и сердце сожгу!

В вечную ночь пропадет — погонюсь по следам...
Солнце мое! Я тебя никому не отдам!

Февраль 1919

* * *

Она подкрадется неслышно –
Как полночь в дремучем лесу.
Я знаю: в передничке пышном
Я голубя Вам принесу.

Так: встану в дверях – и ни с места!
Свинцовыми гирями – стыд.
Но птице в переднике – тесно,
И птица – сама полетит!

19 марта 1920

* * *

О нет, не узнает никто из вас
– Не сможет и не захочет! –
Как страстная совесть в бессонный час
Мне жизнь молодую точит!

Как душит подушкой, как бьет в набат,
Как шепчет все то же слово...
– В какой обратился треклятый ад
Мой глупый грешок грошовый!

Март 1919

* * *

Упадешь – перстом не двину.
Я люблю тебя как сына.

Всей мечтой своей довлея,
Не щадя и не жалея.

Я учу: губам полезно
Раскаленное железо,

Бархатных ковров полезней –
Гвозди – молодым ступням.

А еще в ночи беззвездной
Под ногой – полезны – бездны!

Первенец мой крутолобый!
Вместо всей моей учебы –
Материнская утроба
Лучше – для тебя была б.

Октябрь 1919

* * *

Когда-нибудь, прелестное созданье,
Я стану для тебя воспоминаньем.

Там, в памяти твоей голубоокой,
Затерянным – так далеко́-далёко.

Забудешь ты мой профиль горбоносый,
И лоб в апофеозе папиросы,

И вечный смех мой, коим всех морочу,
И сотню – на руке моей рабочей –

Серебряных перстней, – чердак-каюту,
Моих бумаг божественную смуту...

Как в страшный год, возвышены Бедою,
Ты – маленькой была, я – молодою.

Октябрь 1919

* * *

Да, вздохов обо мне — край непочатый!
А может быть — мне легче быть проклятой!
А может быть — цыганские заплаты —
Смиренные — мои

Не меньше, чем несмешанное злато,
Чем белизной пылающие латы
Пред ликом судии.

Долг плясуна — не дрогнуть вдоль каната,
Долг плясуна — забыть, что знал когда-то —

Иное вещество,
Чем воздух — под ногой своей крылатой!
Оставь его. Он — как и ты — глашатай
Господа своего.

17 мая 1920

* * *

Суда поспешно не чини:
Непрочен суд земной!
И голубиной — не черни
Галчонка — белизной.

А впрочем — что ж, коли не лень!
Но всех перелюбя,
Быть может, я в тот черный день
Очнусь — белей тебя!

17 мая 1920

Пригвождена

1

Пригвождена к позорному столбу
Славянской совести старинной,
С змеею в сердце и с клеймом на лбу,
Я утверждаю, что — невинна.

Я утверждаю, что во мне покой
Причастницы перед причастьем.
Что не моя вина, что я с рукой
По площадям стою — за счастьем.

Пересмотрите всё мое добро,
Скажите — или я ослепла?
Где золото мое? Где серебро?
В моей руке — лишь горстка пепла!

И это всё, что лестью и мольбой
Я выпросила у счастливых.
И это всё, что я возьму с собой
В край целований молчаливых.

2

Пригвождена к позорному столбу,
Я все ж скажу, что я тебя люблю.
Что ни одна до самых недр — мать
Так на ребенка своего не взглянет.
Что за тебя, который делом занят,
Не умереть хочу, а умирать.

Ты не поймешь, — малы мои слова! —
Как мало мне позорного столба!

Что если б знамя мне доверил полк,
И вдруг бы *ты* предстал перед глазами —
С другим в руке — окаменев как столб,
Моя рука бы выпустила знамя...

И эту честь последнюю поправ,
Пренiже ног твоих, пренiже трав.

Твоей рукой к позорному столбу
Пригвождена – березкой на лугу

Сей столб встает мне, и не рокот толп –
То голуби воркуют утром рано...
И всё уже отдав, сей черный столб
Я не отдам – за красный нимб Руана!

3

Ты этого хотел. – Так. – Аллилуйя.
Я руку, бьющую меня, целую.

В грудь оттолкнувшую – к груди тяну,
Чтоб, удивясь, прослушал – тишину.

И чтоб потом, с улыбкой равнодушной:
– Мое дитя становится послушным!

Не первый день, а многие века
Уже тяну тебя к груди, рука

Монашеская – хладная до жара! –
Рука – о Элоиза! – Абеляра.

В гром кафедральный – дабы насмерть бить! –
Ты, белой молнией взлетевший бич!

19 мая 1920, канун Вознесения

* * *

Восхи́щенной и восхищённой,
Сны видящей средь бела дня,
Все спящей видели меня,
Никто меня не видел сонной.

И оттого, что целый день
Сны проплывают пред глазами,
Уж ночью мне ложиться – лень.
И вот, тоскующая тень,
Стою над спящими друзьями.

17–19 мая 1920

* * *

С. Э.

Писала я на аспидной доске,
И на листочках вееров поблёклых,
И на речном, и на морском песке,
Коньками по́ льду и кольцом на стеклах, –

И на стволах, которым сотни зим,
И, наконец – чтоб было всем известно! –
Что ты *любим! любим! любим!* – *любим!* –
Расписывалась – радугой небесной.

Как я хотела, чтобы каждый цвел
В века́х со мной! под пальцами моими!
И как потом, склонивши лоб на стол,
Крест-накрест перечеркивала – имя...

Но ты, в руке продажного писца
Зажатое! ты, что мне сердце жалишь!
Непроданное мной! *внутри* кольца!
Ты – уцелеешь на скрижалях.

18 мая 1920

* * *

Любовь! Любовь! И в судорогах, и в гробе
Насторожусь – прельщусь – смущусь – рванусь.

О милая! – Ни в гробовом сугробе,
Ни в облачном с тобою не прощусь.

И не на то мне пара крыл прекрасных
Дана, чтоб на́ сердце держать пуды.
Спеленутых, безглазых и безгласных
Я не умножу жалкой слободы.

Нет, выпростаю руки! – Стан упругий
Единым взмахом из твоих пелен
– Смерть – выбью! Верст на тысячу в округе
Растоплены снега и лес спалён.

И если все ж – плеча, крыла, колена
Сжав – на погост дала себя увесть, –
То лишь затем, чтобы смеясь над тленом,
Стихом восстать – иль розаном расцвесть!

Около 28 ноября 1920

* * *

Знаю, умру на заре! На которой из двух,
Вместе с которой из двух – не решить по заказу!
Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!
Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!

Пляшущим шагом прошла по земле! – Неба дочь!
С полным передником роз! – Ни ростка не наруша!
Знаю, умру на заре! – Ястребиную ночь
Бог не пошлет по мою лебединую душу!

Нежной рукой отведя нецелованный крест,
В щедрое небо рванусь за последним приветом.
Про́резь зари – и ответной улыбки прорез...
Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!

Москва, декабрь 1920

* * *

О всеми ветрами
Колеблемый лотос!
Георгия – робость,
Георгия – кротость...

Очей непомерных
– Широких и влажных –
Суровая – детская – смертная важность.

Так смертная мука
Глядит из тряпья.
И вся непомерная
Тяжесть копья.

Не тот – высочайший,
С усмешкою гордой:
Кротчайший Георгий,
Тишайший Георгий,

Горчайший – свеча моих бдений – Георгий,
Кротчайший – с глазами оленя – Георгий!

(Трепещущей своре
Простивший олень.)
– Которому пробил
Георгиев день.

О лотос мой!
Лебедь мой!
Лебедь! Олень мой!

Ты – все мои бденья
И все сновиденья!

Пасхальный тропарь мой!
Последний алтын мой!
Ты больше, чем Царь мой,
И больше, чем сын мой!

Лазурное око мое –
В вышину!

Ты, блудную снова
Вознесший жену.

– Так слушай же!..

(Не докончено за письмом)
14 июля 1921

Благая весть

С. Э.

В сокровищницу
Полунощных глубин
Недрогнувшую
Опускаю ладонь.

Меж водорослей –
Ни приметы его!
Сокровища нету
В морях – моего!

В заоблачную
Песнопенную высь –
Двумолнием
Осмелеваюсь – и вот

Мне жаворонок
Обронил с высоты –
Что за́ морем ты,
Не за облаком ты!

15 июля 1921

* * *

Есть час на те слова.
Из слуховых глушизн
Высокие права
Выстукивает жизнь.

Быть может – от плеча,
Протиснутого лбом.
Быть может – от луча,
Невидимого днем.

В напрасную струну
Прах – взмах на простыню.
Дань страху своему
И праху своему.

Жарких самоуправств
Час – и тишайших просьб.
Час безземельных братств.
Час мировых сиротств.

11 июня 1922

* * *

Лютая юдоль,
Дольняя любовь.
Руки: свет и соль.
Губы: смоль и кровь.

Левогрудый гром
Лбом подслушан был.
Так – о камень лбом –
Кто тебя любил?

Бог с замыслами! Бог с вымыслами!
Вот: жаворонком, вот: жимолостью,

Вот: пригоршнями: вся выплеснута
С моими дикостями — и тихостями,
С моими радугами заплаканными,
С подкрадываньями, забарматываньями.

Милая ты жизнь!
Жадная еще!
Ты запомни вжим
В правое плечо.

Щебеты во тьмах...
С птицами встаю!
Мой веселый вмах
В летопись твою.

12 июня 1922

* * *

Так, в скудном труженичестве дней,
Так, в трудной судорожности к ней,
Забудешь дружественный хорей
Подруги мужественной своей.

Ее суровости горький дар,
И легкой робостью скрытый жар,
И тот беспроволочный удар,
Которому имя — даль.

Все древности, кроме: *дай* и *мой*,
Все ревности, кроме той, земной,
Все верности, — но и в смертный бой
Неверующим Фомой.

Мой неженка! Сединой отцов:
Сей беженки не бери под кров!
Да здравствует левогрудый ков
Немудрствующих концов!

Но может, в щебетах и в счетах
От вечных женственностей устав —
И вспомнишь руку мою без прав
И мужественный рукав.

Уста, не требующие смет,
Права, не следующие вслед,
Глаза, не ведающие век,
Исследующие: свет.

15 июня 1922

* * *

Ночные шепота: шелка
Разбрасывающая рука.
Ночные шепота: шелка
Разглаживающие уста.
Счета
Всех ревностей дневных —
и вспых
Всех древностей — и стиснув челюсти —
И стих
Спор —
В шелесте...

И лист
В стекло...
И первой птицы свист.
— Сколь чист! — И вздох.
Не тот. — Ушло.
Ушла.
И вздрог
Плеча.

Ничто
Тщета.

Конец.
Как нет.

И в эту суету сует
Сей меч: рассвет.

17 июня 1922

* * *

Ищи себе доверчивых подруг,
Не выправивших чуда на число.
Я знаю, что Венера – дело рук,
Ремесленник – и знаю ремесло.

От высокоторжественных немот
До полного попрания души:
Всю лестницу божественную – от:
Дыхание мое – до: не дыши!

18 июня 1922

* * *

Помни закон:
Здесь не владей!
Чтобы потом –
В Граде Друзей:

В этом пустом,
В этом крутом
Небе мужском
– Сплошь золотом –

В мире, где реки вспять![1]
На берегу – реки,

1 Ударяются и отрываются первый, четвертый и последний слоги: На́ – берегу́ – реки. – *М.Ц.*

В мнимую руку взять
Мнимость другой руки...

Легонькой искры хруст,
Взрыв – и ответный взрыв.
(Недостоверность рук
Рукопожатьем скрыв!)

О этот дружный всплеск
Плоских как меч одежд –
В небе мужских божеств,
В небе мужских торжеств!

Так, между отрочеств:
Между равенств,
В свежих широтах
Зорь, в загараньях

Игр – на сухом ветру
Здравствуй, бесстрастье душ!
В небе тарпейских круч,
В небе спартанских дружб!

20 июня 1922

* * *

Когда же, Господин,
На жизнь мою сойдет
Спокойствие седин,
Спокойствие высот.

Когда ж в пратишину
Тех первоголубизн
Высокое плечо,
Всю вынесшее жизнь.

Ты, Господи, один,
Один, никто из вас,

Как с пуховых горбин
В синь горнюю рвалась.

Как под упорством уст
Сон — слушала — траву...
(Здесь, на земле искусств,
Словесницей слыву!)

И как меня томил
Лжи — ломовой оброк,
Как из последних жил
В дерева первый вздрог...

Дерева — первый — вздрог,
Голубя — первый — ворк.
(Это не твой ли вздрог,
Гордость, не твой ли ворк,
Верность?)
— Остановись,
Светопись зорких стрел!
В тайнописи любви
Небо — какой пробел!

Если бы — не — рассвет:
Дребезг, и свист, и лист,
Если бы не сует
Сих суета — сбылись

Жизни б...
Не луч, а бич —
В жимолость нежных тел.
В опромети добыч
Небо — какой предел!

День. Ломовых дрог
Ков. — Началась. — Пошла.
Дикий и тихий вздрог
Вспомнившего плеча.

Прячет...
Как из ведра —
Утро. Малярный мел.
В летописи ребра
Небо — какой пробел!

22–23 июня 1922

* * *

По загарам — топор и плуг.
Хватит — смуглому праху дань!
Для ремесленнических рук
Дорога трудовая рань.

Здравствуй — в ветхозаветных тьмах —
Вечной мужественности взмах!

Мхом и медом дымящий плод —
Прочь, последнего часа тварь!
В меховых ворохах дремот
Сарру-заповедь и Агарь-

Сердце — бросив...
— ликуй в утрах,
Вечной мужественности взмах!

24 июня 1922

* * *

Здравствуй! Не стрела, не камень:
Я! — Живейшая из жен:
Жизнь. Обеими руками
В твой невыспавшийся сон.

Дай! (На языке двуостром:
На́! — Двуострота змеи!)

Всю меня в простоволосой
Радости моей прими!

Льни! – Сегодня день на шхуне,
– Льни! – на лыжах! – Льни! – льняной!
Я сегодня в новой шкуре:
Вызолоченной, сёдьмой!

– Мой! – и о каких наградах
Рай – когда в руках, у рта:
Жизнь: распахнутая радость
Поздороваться с утра!

25 июня 1922

* * *

В пустынной хра́мине
Троилась – ладаном.
Зерном и пламенем
На темя падала...

В ночные клёкоты
Вступала – ровнею.
– Я буду крохотной
Твоей жаровнею:

Домашней утварью:
Тоску раскуривать,
Ночную скуку гнать,
Земные руки греть!

С груди безжалостной
Богов – пусть сброшена!
Любовь досталась мне
Люба́я: бо́льшая!

С такими путами!
С такими льготами!

Полжизни? – Всю тебе!
По-локоть? – Во́т она!

За то, что требуешь,
За то, что мучаешь,
За то, что бедные
Земные руки есть...

Тщета! – Не выверишь
По амфибрахиям!
В груди пошире лишь
Глаза распахивай,

Гляди: не Логосом
Пришла, не Вечностью:
Пустоголовостью
Твоей щебечущей

К груди...
– Не властвовать!
Без слов и на́ слово –
Любить... Распластаннейшей
В мире – ласточкой!

Берлин, 26 июня 1922

Балкон

Ах, с откровенного отвеса –
Вниз – чтобы в прах и в смоль!
Земной любови недовесок
Слезой солить – доколь?

Балкон. Сквозь соляные ливни
Смоль поцелуев злых.
И ненависти неизбывной
Вздох: выдышаться в стих!

Стиснутое в руке комочком –
Что́: сердце или рвань
Батистовая? Сим примочкам
Есть имя: – Иордань.

Да, ибо этот бой с любовью
Дик и жестокосерд.
Дабы с гранитного надбровья
Взмыв – выдышаться в смерть!

30 июня 1922

* * *

Ночного гостя не застанешь...
Спи и прости навек
В испытаннейшем из пристанищ
Сей невозможный свет.

Но если – не сочти, что дразнит
Слух! – *любящая* – чуть
Отклонится, но если навзрыд
Ночь и кифарой – грудь...

То мой любовник лавролобый
Поворотил коней
С ристалища. То ревность Бога
К любимице своей.

2 июля 1922

* * *

Неподражаемо лжет жизнь:
Сверх ожидания, сверх лжи...
Но по дрожанию всех жил
Можешь узнать: жизнь!

Словно во ржи лежишь: звон, синь...
(Что ж, что во лжи лежишь!) – жар, вал...
Бормот – сквозь жимолость – ста жал...
Радуйся же! – Звал!

И не кори меня, друг, столь
Заворожимы у нас, тел,
Души – что вот уже: лбом в сон.
Ибо – зачем пел?

В белую книгу твоих тишизн,
В дикую глину твоих «да» –
Тихо склоняю облом лба:
Ибо ладонь – жизнь.

8 июля 1922

* * *

Думалось: будут легки
Дни – и бестрепетна смежность
Рук. – Взмахом руки,
Друг, остановимте нежность.

Не – поздно еще![1]
В рас – светные щели
(Не поздно!) – еще
Нам птицы не пели.

Будь на – стороже!
Последняя ставка!
Нет, поздно уже
Друг, если до завтра!

Земля да легка!
Друг, в самую сердь!

1 Ударяется и отрывается первый слог. Помечено не везде. – *М.Ц.*

Не в наши лета
Откладывать смерть!

Мертвые – хоть – спят!
Только моим сна нет –
Снам! Взмахом лопат
Друг – остановимте память!

9 июля 1922

* * *

Руки – и в круг
Перепродаж и переуступок!
Только бы губ,
Только бы рук мне не перепутать!

Этих вот всех
Суетностей, от которых сна нет.
Руки воздев,
Друг, заклинаю свою же память!

Чтобы в стихах
(Свалочной яме моих Высочеств!)
Ты не зачах,
Ты не усох наподобье прочих.

Чтобы в груди
(В тысячегрудой моей могиле
Братской!) – дожди
Тысячелетий тебя не мыли...

Тело меж тел,
– Ты, что мне пропадом был двухзвездным!..
Чтоб не истлел
С надписью: не опознан.

9 июля 1922

Берлину

Дождь убаюкивает боль.
Под ливни опускающихся ставень
Сплю. Вздрагивающих асфальтов вдоль
Копыта – как рукоплесканья.

Поздравствовалось – и слилось.
В оставленности златозарной
Над сказочнейшим из сиротств
Вы смилостивились, казармы!

10 июля 1922

* * *

Удостоверишься – повремени! –
Что, выброшенной на солому,
Не надо было ей ни славы, ни
Сокровищницы Соломона.

Нет, руки за́ голову заломив,
– Глоткою соловьиной! –
Не о сокровищнице – Суламифь:
Горсточке красной глины!

12 июля 1922

* * *

Светло-серебряная цвель
Над зарослями и бассейнами.
И занавес дохнет – и в щель
Колеблющийся и рассеянный

Свет... Падающая вода
Чадры. (Не прикажу – не двинешься!)

Так пэри к спящим иногда
Прокрадываются в любимицы.

Ибо не ведающим лет
– Спи! – головокруженье нравится.
Не вычитав моих примет,
Спи, нежное мое неравенство!

Спи. – Вымыслом останусь, лба
Разглаживающим неровности.
Так Музы к смертным иногда
Напрашиваются в любовницы.

16 июля 1922

* * *

В сиром воздухе загробном
Перелетный рейс...
Сирой проволоки вздроги,
Повороты рельс...

Точно жизнь мою угнали
По стальной версте –
В сиром мóроке – две дали..
(Поклонись Москве!)

Точно жизнь мою убили.
Из последних жил
В сиром мороке в две жилы
Истекает жизнь.

28 сентября 1922

Офелия – Гамлету

Гамлетом – перетянутым – натуго,
В нимбе разуверенья и знания,

Бледный – до последнего атома...
(Год тысяча который – издания?)

Наглостью и пустотой – не тронете!
(Отроческие чердачные залежи!)
Некоей тяжеловесной хроникой
Вы на этой груди – лежали уже!

Девственник! Женоненавистник! Вздорную
Нежить предпочедший!... Думали ль
Раз хотя бы о том – что́ сорвано
В маленьком цветнике безумия...

Розы?.. Но ведь это же – тссс! – Будущность!
Рвем – и новые растут! Предали ль
Розы хотя бы раз? Любящих –
Розы хотя бы раз? – Убыли ль?

Выполнив (проблагоухав!) тонете...
– Не было! – Но встанем в памяти
В час, когда над ручьёвой хроникой
Гамлетом – перетянутым – встанете...

28 февраля 1923

Офелия – в защиту королевы

Принц Гамлет! Довольно червивую залежь
Тревожить... На розы взгляни!
Подумай о той, что – единого дня лишь –
Считает последние дни.

Принц Гамлет! Довольно царицыны недра
Порочить... Не девственным – суд
Над страстью. Тяжéле виновная – Федра:
О ней и поныне поют.

И будут! – А Вы с Вашей примесью мела
И тлена... С костями злословь,

Принц Гамлет! Не Вашего разума дело
Судить воспаленную кровь.

Но если... Тогда берегитесь!.. Сквозь плиты –
Ввысь – в опочивальню – и всласть!
Своей Королеве встаю на защиту –
Я, Ваша бессмертная страсть.

28 февраля 1923

Федра

1

Жалоба

Ипполит! Ипполит! Болит!
Опаляет... В жару ланиты...
Что за ужас жестокий скрыт
В этом имени Ипполита!

Точно длительная волна
О гранитное побережье.
Ипполитом опалена!
Ипполитом клянусь и брежу!

Руки в землю хотят – от плеч!
Зубы щебень хотят – в опилки!..
Вместе плакать и вместе лечь!
Воспаляется ум мой пылкий...

Точно в ноздри и губы – пыль
Геркуланума... Вяну... Слепну...
Ипполит, это хуже пил!
Это суше песка и пепла!

Это слепень в раскрытый плач
Раны плещущей... Слепень злится...
Это – красною раной вскачь
Запаленная кобылица!

Ипполит! Ипполит! Спрячь!
В этом пеплуме – как в склепе.
Есть Элизиум – для – кляч:
Живодерня! – Палит слепень!

Ипполит! Ипполит! В плен!
Это в перси, в мой ключ жаркий,
Ипполитова вза – мен
Лепесткового – клюв Гарпий!

Ипполит! Ипполит! Пить!
Сын и пасынок? Со – общник!
Это лава – взамен плит
Под ступнею! – Олимп взропщет?

Олимпийцы?! Их взгляд спящ!
Небожителей – мы – лепим!
Ипполит! Ипполит! В плащ!
В этом пеплуме – как в склепе!

Ипполит, утоли...

7 марта 1923

2

Послание

Ипполиту от Матери – Федры – Царицы – весть.
Прихотливому мальчику, чья красота как воск
От державного Феба, от Федры бежит...
Итак,
Ипполиту от Федры: стенание нежных уст.
Утоли мою душу! (Нельзя, не коснувшись уст,
Утолить нашу душу!) Нельзя, припадя к устам,
Не припасть и к Психее, порхающей гостье уст...
Утоли мою душу: итак, утоли уста.

Ипполит, я устала. Блудницам и жрицам – стыд!
Не простое бесстыдство к тебе вопиет! Просты

Только речи и руки... За трепетом уст и рук
Есть великая тайна, молчанье на ней как перст.

О прости меня, девственник! отрок! наездник! нег
Ненавистник! – Не похоть! Не женского лона –
блажь!
То она – обольстительница! То Психеи лесть –
Ипполитовы лепеты слушать у самых уст.

– «Устыдись!» – Но ведь поздно! Ведь это
последний всплеск!
Понесли мои кони! С отвесного гребня – в прах –
Я наездниица *тоже*! Итак, с высоты грудей,
С рокового двухолмия в пропасть твоей груди!

(Не своей ли?!) – Сумей же! Смелей же!
Нежней же! Чем
В вощаную дощечку – не смуглого ль сердца воск?! –
Ученическим стилосом знаки врезать... О пусть
Ипполитову тайну устами прочтет твоя

Ненасытная Федра...

11 марта 1923

Эвридика – Орфею:

Для тех, отженивших последние клочья
Покрова (ни уст, ни ланит!...)
О, не превышение ли полномочий
Орфей, нисходящий в Аид?

Для тех, отрешивших последние звенья
Земного... На ложе из лож
Сложившим великую ложь лицезренья,
Внутрь зрящим – свидание нож.

Уплочено же – всеми розами крови
За этот просторный покрой

Бессмертья...
До самых летейских верховий
Любивший – мне нужен покой

Беспамятности... Ибо в призрачном доме
Сем – призрак *ты*, сущий, а явь –
Я, мертвая... Что же скажу тебе, кроме:
– «Ты это забудь и оставь!»

Ведь не растревожишь же! Не повлекуся!
Ни рук ведь! Ни уст, чтоб припасть
Устами! – С бессмертья змеиным укусом
Кончается женская страсть.

Уплочено же – вспомяни мои крики! –
За этот последний простор.
Не надо Орфею сходить к Эвридике
И братьям тревожить сестер.

23 марта 1923

Раковина

Из лепрозария лжи и зла
Я тебя вызвала и взяла

В зори! Из мертвого сна надгробий –
В руки, вот в эти ладони, в обе,

Раковинные – расти, будь тих:
Жемчугом станешь в ладонях сих!

О, не оплатят ни шейх, ни шах
Тайную радость и тайный страх

Раковины... Никаких красавиц
Спесь, сокровений твоих касаясь,

Так не присвоит тебя, как тот
Раковинный сокровенный свод

Рук неприсваивающих... Спи!
Тайная радость моей тоски,

Спи! Застилая моря и земли,
Раковиною тебя объемлю:

Справа и слева и лбом и дном –
Раковинный колыбельный дом.

Дням не уступит тебя душа!
Каждую муку туша, глуша,

Сглаживая... Как ладонью свежей
Скрытые громы студя и нежа,

Нежа и множа... О, чай! О, зрей!
Жемчугом выйдешь из бездны сей.

– Выйдешь! – По первому слову: будь!
Выстрадавшая раздастся грудь

Раковинная. – О, настежь створы! –
Матери каждая пытка в пору,

В меру... Лишь ты бы, расторгнув плен,
Целое море хлебнул взамен!

31 июля 1923

Заочность

Кастальскому току,
Взаимность, заторов не ставь!
Заочность: за оком
Лежащая, вящая явь.

Заустно, заглазно
Как некое долгое ла́
Меж ртом и соблазном
Версту расстояния для...

Блаженны длинноты,
Широты забвений и зон!
Пространством как нотой
В тебя удаляясь, как стон

В тебе удлиняясь,
Как эхо в гранитную грудь
В тебя ударяясь:
Не видь и не слышь и не будь –

Не надо мне белым
По черному – мелом доски!
Почти за пределом
Души, за пределом тоски –

...Словесного чванства
Последняя карта сдана.
Пространство, пространство
Ты нынче – глухая стена!

4 августа 1923

Письмо

Так писем не ждут,
Так ждут – письма́.
Тряпичный лоскут,
Вокруг тесьма
Из клея. Внутри – словцо.
И счастье. И это – всё.

Так счастья не ждут,
Так ждут – конца:

Солдатский салют
И в грудь – свинца
Три дольки. В глазах красно́.
И только. И это – всё.

Не счастья – стара!
Цвет – ветер сдул!
Квадрата двора
И черных дул.

(Квадрата письма:
Чернил и чар!)
Для смертного сна
Никто не стар!

Квадрата письма.

11 августа 1923

Минута

Минута: ми́нущая: минешь!
Так мимо же, и страсть и друг!
Да будет выброшено ныне ж –
Что́ завтра б – вырвано из рук!

Минута: мерящая! Малость
Обмеривающая, слышь:
То никогда не начиналось,
Что кончилось. Так лги ж, так льсти ж

Другим, десятеричной кори
Подверженным еще, из дел
Не выросшим. Кто ты, чтоб море
Разменивать? Водораздел

Души живой? О, мель! О, мелочь!
У славного Царя Щедрот

Славнее царства не имелось,
Чем надпись: «И сие пройдет» –

На перстне... На путях обратных
Кем не измерена тщета
Твоих Аравий циферблатных
И маятников маята?

Минута: мающая! Мнимость
Вскачь – медлящая! В прах и в хлам
Нас мелящая! Ты, *что минешь:*
Минута: милостыня псам!

О как я рвусь тот мир оставить,
Где маятники душу рвут,
Где вечностью моею правит
Разминовение минут.

12 августа 1923

Клинок

Между нами – клинок двуострый
Присягнувши – и в мыслях класть...
Но бывают – страстные сестры!
Но бывает – братская страсть!

Но бывает такая примесь
Прерий в ветре и бездны в губ
Дуновении... Меч, храни нас
От бессмертных душ наших двух!

Меч, терзай нас и, меч, пронзай нас,
Меч, казни нас, но, меч, знай,
Что бывает такая крайность
Правды, крыши такой край...

Двусторонний клинок – рознит?
Он же сводит! Прорвав плащ,

Так своди же нас, страж грозный,
Рана в рану и хрящ в хрящ!

(Слушай! если звезда, срываясь...
Не по воле дитя с ладьи
В море падает... Острова есть,
Острова для любой любви...)

Двусторонний клинок, синим
Ливший, красным пойдет... Меч
Двусторонний – в себя вдвинем.
Это будет – лучшее лечь!

Это будет – братская рана!
Так, под звездами, и ни в чем
Неповинные... Точно два мы
Брата, спаянные мечом!

18 августа 1923

Магдалина

1

Меж нами – десять заповедей:
Жар десяти костров.
Родная кровь отшатывает,
Ты мне – чужая кровь.

Во времена евангельские
Была б одной из тех...
(Чужая кровь – желаннейшая
И чуждейшая из всех!)

К тебе б со всеми немощами
Влеклась, стлалась – светла
Масть! – очесами демонскими
Таясь, лила б масла́

И на́ ноги бы, и по́д ноги бы,
И вовсе бы так, в пески...
Страсть по купцам распроданная,
Расплеванная – теки!

Пеною уст и накипями
Очес и по́том всех
Нег... В волоса заматываю
Ноги твои, как в мех.

Некою тканью под ноги
Стелюсь... Не тот ли (та!)
Твари с кудрями огненными
Молвивший: встань, сестра!

26 августа 1923

2

Масти, плоченные втрое
Стоимости, страсти пот,
Слезы, волосы, – сплошное
Исструение, а тот,

В красную сухую глину
Благостный вперяя зрак:
– Магдалина! Магдалина!
Не издаривайся так!

31 августа 1923

3

О путях твоих пытать не буду,
Милая! – ведь все сбылось.
Я был бос, а ты меня обула
Ливнями волос –
И – слез.

Не спрошу тебя, какой ценою
Эти куплены масла́.

Я был наг, а ты меня волною
Тела – как стеною
Обнесла.

Наготу твою перстами трону
Тише вод и ниже трав.
Я был прям, а ты меня наклону
Нежности наставила, припав.

В волосах своих мне яму вырой,
Спеленай меня без льна.
– Мироносица! К чему мне миро?
Ты меня омыла,
Как волна.

31 августа 1923

* * *

С этой горы, как с крыши
Мира, где в небо спуск.
Друг, я люблю тебя свыше
Мер – и чувств.

От очевидцев скрою
В тучу! С золою съем.
...С этой горы, как с Трои
Красных – стен.

Страсти: хвала убитым,
Сущим – срам.
Так же смотрел на битву
Царь – Приам.

Рухнули у – стои:
Зарево? Кровь? Нимб?
Так же смотрел на Трою
Весь О – лимп.

Нет, из прохладной ниши
Дева, воздевши длань...
Друг, я люблю тебя свыше.
Слышь – и – встань.

30 августа 1923

Овраг

1

Дно – оврага.
Ночь – корягой
Шарящая. Встряски хвой.

Клятв – не надо.
Ляг – и лягу.
Ты бродягой стал со мной.

С койки затхлой
Ночь по каплям
Пить – закашляешься. Всласть

Пей! Без пятен –
Мрак! Бесплатен –
Бог: как к пропасти припасть.

(Час – который?)
Ночь – сквозь штору
Знать – немного знать. Узнай

Ночь – как воры,
Ночь – как горы.
(Каждая из нас – Синай

Ночью...)

10 сентября 1923

2

Никогда не узнаешь, что́ жгу, что́ трачу
– Сердец перебой –
На груди твоей нежной, пустой, горячей,
Гордец дорогой.

Никогда не узнаешь, каких не-наших
Бурь – следы сцеловал!
Не гора, не овраг, не стена, не насыпь:
Души перевал.

О, не вслушивайся! Болевого бреда
Ртуть... Ручьевая речь...
Прав, что слепо берешь. От такой победы
Руки могут – от плеч!

О, не вглядывайся! Под листвой падучей
Сами – листьями мчим!
Прав, что слепо берешь. Это только тучи
Мчат за ливнем косым.

Ляг – и лягу. И благо. О, всё на благо!
Как тела на войне –
В лад и в ряд. (Говорят, что на дне оврага,
Может – неба на дне!)

В этом бешеном беге дерев бессонных
Кто-то на́смерть разбит.
Что победа твоя – пораженье *сонмов*,
Знаешь, юный Давид?

11 сентября 1923

* * *

По набережным, где седые деревья
По следу Офелий... (Она ожерелья

Сняла, – не наряженной же умирать!)
Но все же
(Раз смертного ложа – неможней
Нам быть нежеланной!
Раз это несносно
И в смерти, в которой
Предвечные горы мы сносим
На сердце!..) – она все немногие вёсны
Сплела – проплывать
Невестою – и венценосной.

Так – не́бескорыстною
Жертвою миру:
Офелия – листья,
Орфей – свою лиру...
– А я? –

28 сентября 1923

* * *

Древняя тщета течет по жилам,
Древняя мечта: уехать с милым!

К Нилу! (Не на грудь хотим, а в грудь!)
К Нилу – иль еще куда-нибудь

Дальше! За предельные пределы
Станций! Понимаешь, что из тела

Вон – хочу! (В час тупящихся вежд
Разве выступаем – из одежд?)

...За потустороннюю границу:
К Стиксу!..

7 сентября 1923

Побег

Под занавесом дождя
От глаз равнодушных кроясь,
– О завтра мое! – тебя
Выглядываю – как поезд

Выглядывает бомбист
С еще-сотрясеньем взрыва
В руке... (Не одних убийств
Бежим, зарываясь в гриву

Дождя!) Не расправы страх,
Не... – Но облака! но звоны!
То Завтра на всех парах
Проносится вдоль перрона

Пропавшего... Бог! Благой!
Бог! И в дымовую опушь –
Как о́б стену... (Под ногой
Подножка – или ни ног уж,

Ни рук?) Верстовая снасть
Столба... Фонари из бреда...
О нет, не любовь, не страсть,
Ты поезд, которым еду

В Бессмертье...

14 сентября 1923

* * *

Люблю – но мука еще жива.
Найди баюкающие слова:

Дождливые, – расточившие всё́
Сам выдумай, чтобы в их листве

Дождь слышался: то не цеп о сноп:
Дождь в крышу бьет: чтобы мне на лоб,

На гроб стекал, чтобы лоб – светал,
Озноб – стихал, чтобы кто-то спал

И спал...
Сквозь скважины, говорят,
Вода просачивается. В ряд
Лежат, не жалуются, а ждут
Незнаемого. (Меня – сожгут.)

Баюкай же – но прошу, будь друг:
Не буквами, а каютой рук:

Уютами...

24 сентября 1923

* * *

Ты, меня любивший фальшью
Истины – и правдой лжи,
Ты, меня любивший – дальше
Некуда! – За рубежи!

Ты, меня любивший дольше
Времени. – Десницы взмах!
Ты меня не любишь больше:
Истина в пяти словах.

12 декабря 1923

Попытка ревности

Как живется вам с другою, –
Проще ведь? – Удар весла! –

Линией береговою
Скоро ль память отошла

Обо мне, плавучем острове
(По́ небу – не по водам!)?
Души, души! – быть вам сестрами,
Не *любовницами* – вам!

Как живется вам с *простою*
Женщиною? *Без* божеств?
Государыню с престола
Свергши (с оного сошед),

Как живется вам – хлопочется –
Ежится? Встается – как?
С пошлиной бессмертной пошлости
Как справляетесь, бедняк?

«Судорог да перебоев –
Хватит! Дом себе найму».
Как живется вам с любою –
Избранному моему!

Свойственнее и съедобнее –
Снедь? Приестся – не пеняй...
Как живется вам с подобием –
Вам, поправшему Синай!

Как живется вам с чужою,
Здешнею? Ребром – люба?
Стыд Зевесовой вожжою
Не охлестывает лба?

Как живется вам – здоровится –
Можется? Поется – как?
С язвою бессмертной совести
Как справляетесь, бедняк?

Как живется вам с товаром
Рыночным? Оброк – крутой?

После мраморов Каррары
Как живется вам с трухой

Гипсовой? (Из глыбы высечен
Бог – и на́чисто разбит!)
Как живется вам с сто-тысячной –
Вам, познавшему Лилит!

Рыночною новизною
Сыты ли? К волшбам остыв,
Как живется вам с земною
Женщиною, бе́з шестых

Чувств?
Ну, за голову: счастливы?
Нет? В провале без глубин –
Как живется, милый? Тяжче ли,
Так же ли, как мне с другим?

19 ноября 1924

Приметы

Точно гору несла в подоле –
Всего тела боль!
Я любовь узнаю по боли
Всего тела вдоль.

Точно поле во мне разъяли
Для любой грозы.
Я любовь узнаю по дали
Всех и вся вблизи.

Точно но́ру во мне прорыли
До основ, где смоль.
Я любовь узнаю по жиле,
Всего тела вдоль

Стонущей. Сквозняком как гривой
Овеваясь, гунн:
Я любовь узнаю по срыву
Самых верных струн

Горловых, — горловых ущелий
Ржавь, живая соль.
Я любовь узнаю по щели,
Нет! — по трели
Всего тела вдоль!

29 ноября 1924

* * *

Ятаган? Огонь?
Поскромнее, — куда как громко!

Боль, знакомая, как глазам — ладонь,
Как губам —
Имя собственного ребенка.

7 декабря 1924

* * *

Не колесо громовое —
Взглядами перекинулись двое.

Не Вавилон обрушен —
Силою переведались души.

Не ураган на Тихом —
Стрелами перекинулись скифы.

16 января 1925

* * *

Дней сползающие слизни,
...Строк поденная швея...
Что до собственной мне жизни?
Не моя, раз не твоя.

И до бед мне мало дела
Собственных... — Еда? Спанье?
Что до смертного мне тела?
Не мое, раз не твое.

Январь 1925

Стихи сироте

Шел по улице малютка.
Посинел и весь дрожал.
Шла дорогой той старушка,
Пожалела сироту...

1

Ледяная тиара гор —
Только бренному лику — рамка.
Я сегодня плющу — пробор
Провела на граните замка.

Я сегодня сосновый стан
Обгоняла на всех дорогах.
Я сегодня взяла тюльпан —
Как ребенка за подбородок.

16–17 августа 1936

2

Обнимаю тебя кругозором
Гор, гранитной короною скал.
(Занимаю тебя разговором —
Чтобы легче дышал, крепче спал.)

Феодального замка боками,
Меховыми руками плюща –
Знаешь – плющ, обнимающий камень –
В сто четыре руки и ручья?

Но не жимолость я – и не плющ я!
Даже ты, что руки мне родней,
Не расплющен – а вольноотпущен
На все стороны мысли моей!

...Кругом клумбы и кругом колодца,
Куда камень придет – седым!
Круговою порукой сиротства, –
Одиночеством – круглым моим!

(Так вплелась в мои русые пряди –
Не одна серебристая прядь!)
...И рекой, разошедшейся на́ две –
Чтобы остров создать – и обнять.

Всей Савойей и всем Пиемонтом,
И – немножко хребет надломя –
Обнимаю тебя горизонтом
Голубым – и руками двумя!

21–24 августа 1936

3

(Пещера)

Могла бы – взяла бы
В утробу пещеры:
В пещеру дракона,
В трущобу пантеры.

В пантерины – лапы –
– Могла бы – взяла бы.

Природы – на лоно, природы – на ложе.

Могла бы – свою же пантерину кожу
Сняла бы...
– *Сдала* бы трущобе – в учебу!
В кустову, в хвощёву, в ручьёву, в плющёву, –

Туда, где в дремоте, и в смуте, и в мраке,
Сплетаются ветви на вечные браки...

Туда, где в граните, и в лыке, и в млеке,
Сплетаются руки на вечные веки –
Как ветви – и реки...

В пещеру без света, в трущобу без следу.
В листве бы, в плюще бы, в плюще – как в плаще бы...

Ни белого света, ни черного хлеба:
В росе бы, в листве бы, в листве – как в родстве бы...

Чтоб в дверь – не стучалось,
В окно – не кричалось,
Чтоб впредь – не *случалось*,
Чтоб – ввек не кончалось!

Но мало – пещеры,
И мало – трущобы!
Могла бы – взяла бы
В пещеру – утробы.

Могла бы –
Взяла бы.

Савойя,
27 августа 1936

4

На льдине –
Любимый,
На мине –
Любимый,
На льдине, в Гвиане, в Геенне – любимый.

В коросте – желанный,
С погоста – желанный:
Будь гостем! – лишь зубы да кости – желанный!

Тоской подколенной
До тьмы провале́нной
Последнею схваткою чрева – жаленный.

И нет такой ямы, и нет такой бездны –
Любимый! желанный! жаленный! болезный!

5–6 сентября 1936

5

Скороговоркой – ручья водой
Бьющей: – Любимый! больной! родной!

Речитативом – тоски протяжней:
– Хилый! чуть-живый! сквозной! бумажный!

От зева до чрева – продольным разрезом:
– Любимый! желанный! жаленный! болезный!

9 сентября 1936

6

Наконец-то встретила
Надобного – мне:
У кого-то смертная
Надоба – во мне.

Что́ для ока – радуга,
Злаку – чернозем –
Человеку – надоба
Человека – в нем.

Мне дождя, и радуги,
И руки – нужней
Человека надоба
Рук – в руке моей.

Это – шире Ладоги
И горы верней –
Человека надоба
Ран – в руке моей.

И за то, что с *язвою*
Мне принес ладонь –
Эту руку – сразу бы
За тебя в огонь!

11 сентября 1936

(7)

В мыслях об ином, инаком,
И ненайденном, как клад,
Шаг за шагом, мак за маком
Обезглавила весь сад.

Так, когда-нибудь, в сухое
Лето, поля на краю,
Смерть рассеянной рукою
Снимет голову – мою.

5 – 6 сентября 1936

* * *

Когда я гляжу на летящие листья,
Слетающие на булыжный торец,
Сметаемые – как художника кистью,
Картину *кончающего* наконец,

Я думаю (уж никому не по нраву
Ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид),
Что явственно желтый, решительно ржавый
Один такой лист на вершине – забыт.

20-е числа сентября 1936

* * *

В синее небо ширя глаза –
Как восклицаешь: – Будет гроза!

На проходимца вскинувши бровь –
Как восклицаешь: – Будет любовь!

Сквозь равнодушья серые мхи –
Так восклицаю: – Будут стихи!

1936

* * *

Двух – жарче меха! Рук – жарче пуха!
Круг – вкруг головы.
Но и под мехом – неги, под пухом
Гаги – дрогнете вы!

Даже богиней тысячерукой
– В гнезд, в звезд черноте –
Как ни кружи вас, как ни баюкай
– Ах! – бодрствуете...

Вас и на ложе неверья гложет
Червь (*бедные* мы!).
Не народился еще, кто вложит
Перст – в рану Фомы.

7 января 1940

* * *

Ушел – не ем:
Пуст – хлеба вкус.
Всё – мел.
За чем ни потянусь.

...Мне хлебом был,
И снегом был.
И снег не бел,
И хлеб не мил.

23 января 1940

* * *

– Пора! для *этого* огня –
Стара!
– Любовь – старей меня!

– Пятидесяти январей
Гора!
– Любовь – еще старей:
Стара, как хвощ, стара, как змей,
Старей ливонских янтарей,
Всех привиденских кораблей
Старей! – камней, старей – морей...
Но боль, которая в груди,
Старей любви, старей любви.

23 января 1940

* * *

– Годы твои – гора,
Время твое – царей.
Дура! любить – стара.
– Други! любовь – старей:

Чудищ старей, корней.
Каменных алтарей
Критских старей, старей
Старших богатырей...

29 января 1940

* * *

Пора снимать янтарь,
Пора менять словарь,
Пора гасить фонарь
Наддверный...

Февраль 1941

* * *

«Я стол накрыл
на шестерых...»

Всё повторяю первый стих
И всё переправляю слово:
— «Я стол накрыл на шестерых»...
Ты одного забыл — седьмого.

Невесело вам вшестером.
На лицах — дождевые струи...
Как мог ты за таким столом
Седьмого позабыть — седьмую...

Невесело твоим гостям,
Бездействует графин хрустальный.
Печально — им, печален — сам,
Непозванная — всех печальней.

Невесело и несветло.
Ах! не едите и не пьете.
— Как мог ты позабыть число?
Как мог ты ошибиться в счете?

Как мог, как смел ты не понять,
Что шестеро (два брата, третий —
Ты сам — с женой, отец и мать)
Есть семеро — раз я на свете!

Ты стол накрыл на шестерых,
Но шестерыми мир не вымер.
Чем пугалом среди живых —
Быть призраком хочу — с твоими,

(Своими)...
Робкая как вор,
О — *ни души* не задевая! —
За непоставленный прибор
Сажусь незваная, седьмая.

Раз! — опрокинула стакан!
И все, что жаждало пролиться, —
Вся соль из глаз, вся кровь из ран —
Со скатерти — на половицы.

И — гроба нет! Разлуки — нет!
Стол расколдован, дом разбужен.
Как смерть — на свадебный обед,
Я — жизнь, пришедшая на ужин.

...Никто: не брат, не сын, не муж,
Не друг — и все же укоряю:
— Ты, стол накрывший на шесть — *душ*,
Меня не посадивший — с краю.

6 марта 1941

Небо поэта

* * *

Руки, которые не нужны
Милому, служат – Миру.
Горестным званьем Мирской Жены
Нас увенчала Лира.

Много незваных на царский пир.
Надо им спеть на ужин!
Милый не вечен, но вечен – Мир.
Не понапрасну служим.

6 июля 1918

* * *

И не спасут ни стансы, ни созвездья.
А это называется – возмездье
За то, что каждый раз,
Стан разгибая над строкой упорной,
Искала я над лбом своим просторным
Звезд только, а не глаз.
Что самодержцем Вас признав на веру,
– Ах, ни единый миг, прекрасный Эрос,
Без Вас мне не был пуст!

Что по ночам, в торжественных туманах,
Искала я у нежных уст румяных –
Рифм только, а не уст.
Возмездие за то, что злейшим судьям
Была – как снег, что здесь, под левой грудью
Вечный апофеоз!
Что с глазу на́ глаз с молодым Востоком
Искала я на лбу своем высоком
Зорь только, а не роз!

20 мая 1920

* * *

Душа, не знающая меры,
Душа хлыста и изувера,
Тоскующая по бичу.
Душа – навстречу палачу,
Как бабочка из хризалиды!
Душа, не съевшая обиды,
Что больше колдунов не жгут.
Как смоляной высокий жгут
Дымящая под власяницей...
Скрежещущая еретица,
– Саванароловой сестра –
Душа, достойная костра!

10 мая 1921

* * *

Косматая звезда,
Спешащая в никуда
Из страшного ниоткуда.
Между прочих овец приблуда,
В златорунные те стада
Налетающая, как Ревность –
Волосатая звезда древних!

10 мая 1921

* * *

О первое солнце над первым лбом!
И эти – на солнце прямо –
Дымящие – черным двойным жерлом –
Большие глаза Адама.

О первая ревность, о первый яд
Змеиный – под грудью левой!
В высокое небо вперенный взгляд:
Адам, проглядевший Еву!

Врожденная рана высоких душ,
О Зависть моя! О Ревность!
О всех мне Адамов затмивший Муж:
Крылатое солнце древних!

27 апреля 1921

* * *

Блаженны дочерей твоих, Земля,
Бросавшие для боя и для бега.
Блаженны в Елисейские поля
Вступившие, не обольстившись негой.

Так лавр растет, – жестоколист и трезв,
Лавр-летописец, горячитель боя.
– Содружества заоблачный отвес
Не променяю на юдоль любови.

4 октября 1921

* * *

Не приземист – высокоросл
Стан над выравненностью грядок.
В густоте кормовых ремесл
Хоровых не забыла радуг.

Сплю – и с каждым батрацким днем
Тверже в памяти благородной,
Что когда-нибудь отдохнем
В верхнем городе Леонардо.

27 января 1922

Дочь Иаира

1

Мимо иди!
Это великая милость.
Дочь Иаира простилась
С куклой (с любовником!)
и с красотой.
Этот просторный покрой
Юным к лицу.

2

В просторах покроя –
Потерянность тела,
Посмертная сквозь.

Девица, не скроешь,
Что кость захотела
От косточки врозь.

Зачем, равнодушный,
Противу закону
Спешащей реки –

Слез женских послушал
И о́тчего стону –
Душе вопреки!

Сказал – и воскресла,
И смутно, по памяти,
В мир хлеба и лжи.

Но поступь надтреснута,
Губы подтянуты,
Руки свежи.

И всё как спросоньица
Немеют конечности.
И в самый базар

С дороги не тронется
Отвесной. – То Вечности
Бессмертный загар.

Привыкнет – и свыкнутся.
И в белом, как надобно,
Меж плавных сестер...

То юную скрытницу
Лавиною свадебной
Приветствует хор.

Рукой его согнута,
Смеется – всё заново!
Всё роза и гроздь!

Но между любовником
И ею – как занавес
Посмертная сквозь.

3–4 февраля 1922

Сивилла

1

Сивилла: выжжена, сивилла: ствол.
Все птицы вымерли, но Бог вошел.

Сивилла: выпита, сивилла: сушь.
Все жилы высохли: ревностен муж!

Сивилла: выбыла, сивилла: зев
Доли и гибели! – Древо меж дев.

Державным деревом в лесу нагом –
Сначала деревом шумел огонь.

Потом, под веками – в разбег, врасплох,
Сухими реками взметнулся Бог.

И вдруг, отчаявшись искать извне:
Сердцем и голосом упав: во мне!

Сивилла: вещая! Сивилла: свод!
Так Благовещенье свершилось в тот

Час не стареющий, так в седость трав
Бренная девственность, пещерой став

Дивному голосу...
– так в звездный вихрь
Сивилла: выбывшая из живых.

5 августа 1922

2

Каменной глыбой серой,
С веком порвав родство.
Тело твое – пещера
Голоса твоего.

Недрами – в ночь, сквозь слепость
Век, слепотой бойниц.
Глухонемая крепость
Над пестротою жниц.

Кутают ливни плечи
В плащ, плесневеет гриб.
Тысячелетья плещут
У столбняковых глыб.

Горе горé! Под толщей
Век, в прозорливых тьмах –
Глиняные осколки
Царств и дорожный прах

Битв...

6 августа 1922

3

Сивилла – младенцу:[1]

К груди моей,
Младенец, льни:
Рождение – паденье в дни.

С заоблачных нигдешних скал,
Младенец мой,
Как низко пал!
Ты духом был, ты прахом стал.

Плачь, маленький, о них и нас:
Рождение – паденье в час!

Плачь, маленький, и впредь, и вновь:
Рождение – паденье в кровь,

1 Стихотворение перенесено сюда из будущего, по внутренней принадлежности. (*Прим. М. Цветаевой.*)

И в прах,
И в час...

Где зарева его чудес?
Плачь, маленький: рожденье в вес!

Где залежи его щедрот?
Плачь, маленький: рожденье в счет,

И в кровь,
И в пот...

Но встанешь! То, что в мире смертью
Названо — паденье в твердь.

Но узришь! То, что в мире — век
Смежение — рожденье в свет.

Из днесь —
В навек.

Смерть, маленький, не спать, а встать,
Не спать, а вспять.

Вплавь, маленький! Уже ступень
Оставлена...
— Восстанье в день.

17 мая 1923

Деревья

(Моему чешскому другу,
Анне Антоновне Тесковой)

1

В смертных изверясь,
Зачароваться не тщусь.

В старческий вереск,
В среброскользящую сушь.

— Пусть моей тени
Славу трубят трубачи! —
В вереск-потери,
В вереск-сухие ручьи.

Старческий вереск!
Голого камня нарост!
Удостоверясь
В тождестве наших сиротств.

Сняв и отринув
Клочья последней парчи —
В вереск-руины,
В вереск-сухие ручьи.

Жизнь: двоедушье
Дружб и удушье уродств.
Седью и сушью,
(Ибо вожатый — суров.)

Ввысь, где рябина
Краше Давида-Царя!
В вереск-седины,
В вереск-сухие моря.

5 сентября 1922

2

Когда обидой — опилась
Душа разгневанная,
Когда семижды зареклась
Сражаться с демонами —

Не с теми, ливнями огней
В бездну нисхлестнутыми:
С земными низостями дней,
С людскими косностями —

Деревья! К вам иду! Спастись
От рева рыночного!
Вашими вымахами ввысь
Как сердце выдышано!

Дуб богоборческий! В бои
Всем корнем шествующий!
Ивы-провидицы мои!
Березы-девственницы!

Вяз – яростный Авессалом,
На пытке вздыбленная
Сосна – ты, уст моих псалом:
Горечь рябиновая...

К вам! В живоплещущую ртуть
Листвы – пусть рушащейся!
Впервые руки распахнуть!
Забросить рукописи!

Зеленых отсветов рои...
Как в руки – плещущие...
Простоволосые мои,
Мои трепещущие!

8 сентября 1922

3

Купальщицами, в легкий круг
Сбитыми, стаей
Нимф-охранительниц – и вдруг,
Гривы взметая

В закинутости лбов и рук,
– Свиток развитый! –
В пляске кончающейся вдруг
Взмахом защиты –

Длинную руку на бедро.
Вытянув выю...

Березовое серебро,
Ручьи живые!

9 сентября 1923

4

Други! Братственный сонм!
Вы, чьим взмахом сметен
След обиды земной.
Лес! – Элизиум мой!

В громком таборе дружб
Собутыльница душ
Кончу, трезвость избрав,
День – в тишайшем из братств.

Ах, с топочущих стогн
В легкий жертвенный огнь
Рощ! В великий покой
Мхов! В струение хвой...

Древа вещая весть!
Лес, вещающий: Есть
Здесь, над сбродом кривизн –
Совершенная жизнь:

Где ни рабств, ни уродств,
Там, где всё во весь рост,
Там, где правда видней:
По ту сторону дней...

17 сентября 1922

5

Беглецы? – Вестовые?
Отзовись, коль живые!
Чернецы верховые,
В чашах Бога узрев?

Сколько мчащих сандалий!
Сколько пышущих зданий!
Сколько гончих и ланей –
В убеганье дерев!

Лес! Ты нынче – наездник!
То, что люди болезнью
Называют: последней
Судорогою древес –

Это – в платье просторном
Отрок, нектаром вскормлен.
Это – сразу и с корнем
Ввысь сорвавшийся лес!

Нет, иное: не хлопья –
В сухолистом потопе!
Вижу: опрометь копий,
Слышу: рокот кровей!

И в разверстой хламиде
Пролетая – кто видел?! –
То Саул за Давидом:
Смуглой смертью своей!

3 сентября 1922

6

Не краской, не кистью!
Свет – царство его, ибо сед.
Ложь – красные листья:
Здесь свет, попирающий цвет.

Цвет, попранный светом.
Свет – цвету пятою на грудь.
Не в этом, не в этом
ли: тайна, и сила и суть

Осеннего леса?
Над тихою заводью дней

Как будто завеса
Рванулась – и грозно за ней...

Как будто бы сына
Провидишь сквозь ризу разлук –
Слова: Палестина
Встают, и Элизиум вдруг...

Струенье... Сквоженье...
Сквозь трепетов мелкую вязь –
Свет, смерти блаженнее
И – обрывается связь.

Осенняя седость.
Ты, Гётевский апофеоз!
Здесь многое спелось,
А больше еще – расплелось.

Так светят седины:
Так древние главы семьи –
Последнего сына,
Последнейшего из семи –

В последние двери –
Простертым свечением рук...
(Я краске не верю!
Здесь пурпур – последний из слуг!)

...Уже и не светом:
Каким-то свеченьем светясь...
Не в этом, не в этом
ли – и обрывается связь.

Так светят пустыни.
И – больше сказав, чем могла:
Пески Палестины,
Элизиума купола...

8–9 сентября 1922

7

Та, что без виде́ния спала –
Вздрогнула и встала.
В строгой постепенности псалма,
Зрительною ска́лой –

Сонмы просыпающихся тел:
Руки! – Руки! – Руки!
Словно воинство под градом стрел,
Спелое для муки.

Свитки рассыпающихся в прах
Риз, сквозных как сети.
Руки, прикрывающие пах,
(Девственниц!) – и плети

Старческих, не знающих стыда...
Отроческих – птицы!
Конницею на трубу суда!
Стан по поясницу

Выпростав из гробовых пелен –
Взлет седобородый:
Есмь! – Переселенье! – Легион!
Целые народы

Выходцев! – На милость и на гнев!
Види! – Буди! – Вспомни!
...Несколько взбегающих дерев
Вечером, на всхолмье.

12 сентября 1922

8

Кто-то едет – к смертной победе.
У деревьев – жесты трагедий.
Иудеи – жертвенный танец!
У деревьев – трепеты таинств.

Это – заговор против века:
Веса, счета, времена, дроби.
Се – разодранная завеса:
У деревьев – жесты надгробий...

Кто-то едет. Небо – как въезд.
У деревьев – жесты торжеств.

7 мая 1923

9

Каким наитием,
Какими истинами,
О чем шумите вы,
Разливы лиственные?

Какой неистовой
Сивиллы таинствами –
О чем шумите вы,
О чем беспамятствуете?

Что в вашем веяньи?
Но знаю – лечите
Обиду Времени –
Прохладой Вечности.

Но юным гением
Восстав – порочите
Ложь лицезрения
Перстом заочности.

Чтоб вновь, как некогда,
Земля – *казалась* нам.
Чтобы *под веками*
Свершались замыслы.

Чтобы монетами
Чудес – не чваниться!
Чтобы *под веками*
Свершались таинства!

И прочь от прочности!
И прочь от срочности!
В поток! – В пророчества
Речами косвенными...

Листва ли – листьями?
Сивилла ль – выстонала?
...Лавины лиственные,
Руины лиственные...

9 мая 1923[1]

Бог

1

Лицо без обличия.
Строгость. – Прелесть.
Всé ризы делившие
В тебе спелись.

Листвою опавшею,
Щебнем рыхлым.
Всé криком кричавшие
В тебе стихли.

Победа над ржавчиной –
Кровью – сталью.
Всé навзничь лежавшие
В тебе встали.

1 сентября 1922

2

Нищих и горлиц
Сирый распев.
То не твои ли

1 Два последних стихотворения перенесены сюда из будущего по внутренней принадлежности. (*Прим. М. Цветаевой.*)

Ризы простерлись
В беге дерев?

Рощ, перелесков.
Книги и храмы
Людям отдав – взвился.
Тайной охраной
Хвойные мчат леса:

– Скроем! – Не выдадим!

Следом гусиным
Землю на сон крестил.
Даже осиной
Мчал – и ее простил:
Даже за сына!

Нищие пели:
– Темен, ох темен лес!
Нищие пели:
– Сброшен последний крест!
Бог из церквей воскрес!

4 сентября 1922

3

О, его не привяжете
К вашим знакам и тяжестям!
Он в малейшую скважинку,
Как стройнейший гимнаст...

Разводными мостами и
Перелетными стаями,
Телеграфными сваями
Бог – уходит от нас.

О, его не приучите
К пребыванью и к участи!
В чувств оседлой распутице
Он – седой ледоход.

О, его не догоните!
В домовитом поддоннике
Бог — ручною бегонией
На окне не цветет!

Все под кровлею сводчатой
Ждали зова и зодчего.
И поэты и летчики —
Всé отчаивались.

Ибо Бог он — и движется.
Ибо звездная книжища
Вся: от Аз и до Ижицы, —
След плаща его лишь!

5 сентября 1922

Скифские

1

Из недр и на ветвь — рысями!
Из недр и на ветр — свистами!

Гусиным пером писаны?
Да это ж стрела скифская!

Крутого крыла грифова
Последняя зга — Скифия!

Сосед, не спеши! Нечего
Спешить, коли верст — тысячи.
Разменной стрелой встречною
Когда-нибудь там — спишемся!

Великая — и — тихая
Меж мной и тобой — Скифия...

И спи, молодой, смутный мой
Сириец, стрелу смертную

Лейлами — и — лютнями
Глуша...
Не ушам смертного —

(Единожды в век слышимый)
Эпический бег — Скифии!

11 февраля 1923

2

(Колыбельная)

Как по синей по степи
Да из звездного ковша
Да на лоб тебе да...
— Спи,
Синь подушками глуша.

Дыши да не дунь,
Гляди да не глянь.
Волынь-криволунь,
Хвалынь-колывань.

Как по льстивой по трости
Росным бисером плеща
Заработают персты...
Шаг — подушками глуша.

Лежи — да не двинь,
Дрожи — да не грянь.

Волынь-перелынь,
Хвалынь-завирань.

Как из моря из Каспий-
ского — синего плаща,
Стрела свистнула да...
(спи,
Смерть подушками глуша).

Лови – да не тронь,
Тони – да не кань.
Волынь-перезвонь,
Хвалынь-целованъ.

13 февраля 1923

3

От стрел и от чар,
От гнезд и от нор,
Богиня Иштар,
Храни мой шатер:

Братьев, сестер.

Руды моей вар,
Вражды моей чан,
Богиня Иштар,
Храни мой колчан...

(Взял меня – хан!)

Чтоб не́ жил, кто стар,
Чтоб не́ жил, кто хвор,
Богиня Иштар,
Храни мой костер:

(Пламень востер!)

Чтоб не́ жил – кто стар,
Чтоб не́ жил – кто зол,
Богиня Иштар,
Храни мой котел

(Зарев и смол!)

Чтоб не́ жил – кто стар,
Чтоб *нежил* – кто юн!

Богиня Иштар,
Стреми мой табун
В тридевять лун!

14 февраля 1923

Облака

1

Перекрытые – как битвой
Взрыхленные небеса.
Рытвинами – небеса.
Битвенные небеса.

Перелетами – как хлёстом
Хлёстанные табуны.
Взблестывающей Луны
Вдовствующей – табуны!

2

Стой! Не Федры ли под небом
Плащ? Не Федрин ли взвился
В эти марафонским бегом
Мчащиеся небеса?

Стой! Иродиады с чубом –
Блуд... Не бубен ли взвился
В эти иерихонским трубом
Рвущиеся небеса!

3

Нет! Вставший вал!
Пал – и пророк оправдан!
Раз – дался вал:
Целое море – на́ два!

Бо – род и грив
Шествие морем Чермным!

Нет! – се – Юдифь –
Голову Олоферна!

1 мая 1923

Ручьи

1

Прорицаниями рокоча,
Нераскаянного скрипача
Piccicato'ми... Разрывом бус!
Паганиниевскими «добьюсь!»
Опрокинутыми...
Нот, планет –
Ливнем!
– Вывезет!!!
– Конец... На нет.

Недосказанностями тишизн
Заговаривающие жизнь:
Страдивариусами в ночи
Проливающиеся ручьи.

4 мая 1923

2

Монистом, расколотым
На тысячу блях –
Как Дзингара в золоте
Деревня в ручьях.

Монистами – вымылась!
Несется как челн
В ручьёвую жимолость
Окунутый холм.

Монистами-сбруями...
(Гривастых теней

Монистами! Сбруями
Пропавших коней...)

Монистами-бусами...
(Гривастых монет
Монистами! Бусами
Пропавших планет...)

По кручам, по впадинам,
И в щеку, и в пах –
Как Дзингара в краденом –
Деревня в ручьях.

Споем-ка на радостях!
Черны, горячи
Сторонкою крадучись
Цыганят ручьи.

6 мая 1923

Окно

Атлантским и сладостным
Дыханьем весны –
Огромною бабочкой
Мой занавес – и –

Вдовою индусскою
В жерло златоустое,
Наядою сонною
В моря заоконные...

5 мая 1923

Час души

1

В глубокий час души и ночи,
Нечислящийся на часах,
Я отроку взглянула в очи,
Нечислящиеся в ночах

Ничьих еще, двойной запрудой
– Без памяти и по края! –
Покоящиеся...
Отсюда
Жизнь начинается твоя.

Седеющей волчицы римской
Взгляд, в выкормыше зрящей –
Рим!
Сновидящее материнство
Скалы... Нет имени моим

Потерянностям... Всé покровы
Сняв – выросшая из потерь! –
Так некогда над тростниковой
Корзиною клонилась дщерь

Египетская...

14 июля 1923

2

В глубокий час души,
В глубокий – нóчи...
(Гигантский шаг души,
Души в ночи́)

В тот час, душа, верши
Миры, где хочешь
Царить – чертог души,
Душа, верши.

Ржавь губы, пороши
Ресницы – снегом.
(Атлантский вздох души,
Души – в ночи...)

В тот час, душа, мрачи
Глаза, где Вегой
Взойдешь... Сладчайший плод
Душа, горчи.

Горчи и омрачай:
Расти: верши.

8 августа 1923

3

Есть час Души, как час Луны,
Совы – час, мглы – час, тьмы –
Час... Час Души – как час струны
Давидовой сквозь сны

Сауловы... В тот час дрожи,
Тщета, румяна смой!
Есть час Души, как час грозы,
Дитя, и час сей – мой.

Час сокровеннейших низов
Грудных. – Плотины спуск!
Всé вещи сорвались с пазов,
Всé сокровенья – с уст!

С глаз – всé завесы! Всé следы –
Вспять! На линейках – нот –
Нет! Час Души, как час Беды,
Дитя, и час сей – бьет.

Беда моя! – так будешь звать.
Так, лекарским ножом
Истерзанные, дети – мать
Корят: «Зачем живем?»

А та, ладонями свежа
Горячку: «Надо. — Ляг».
Да, час Души, как час ножа,
Дитя, и нож сей — благ.

14 августа 1923

* * *

Не спать *для* кого-нибудь — да!
(шить, переписывать).
Не спать *над* кем-нибудь — да!
Не спать *из-за* кого-нибудь — ну, нет!

Сон

1

Врылась, забылась — и вот как с тысяче-
футовой лестницы без перил.
С хищностью следователя и сыщика
Всé мои тайны — сон перерыл.

Сопки — казалось бы прочно замерли —
Не доверяйте смертям страстей!
Зорко — как следователь по камере
Сердца — расхаживает Морфей.

Вы! собирательное убожество!
Не обрывающиеся с крыш!
Знали бы, как на перинах лёжачи
Преображаешься и паришь!

Рухаешь! Как скорлупою треснувшей —
Жизнь с ее грузом мужей и жен.
Зорко как летчик над вражьей местностью
Спящею — над душою сон.

Тело, что все свои двери заперло —
Тщетно! — уж ядра поют вдоль жил.
С точностью сбирра и оператора
Всé мои раны — сон перерыл!

Вскрыта! ни щелки в райке, под куполом,
Где бы укрыться от вещих глаз
Собственных. Духовником подкупленным
Всé мои тайны — сон перетряс!

24 ноября 1924

2

В мозгу ухаб пролёжан, —
Три века до весны!
В постель иду, как в ложу:
Затем, чтоб видеть сны:

Сновидеть: рай Давидов
Зреть и Ахиллов шлем
Священный, — стен не видеть!
В постель иду — затем.

Разведены с Мартыном
Задекою — не всé!
Не доверяй перинам:
С сугробами в родстве!

Занежат, — лести женской
Пух, рук и ног захват.
Как женщина младенца
Трехдневного заспят.

Спать! Потолок как короб
Снять! Синевой запить!
В постель иду как в прорубь:
Вас, — не себя топить!

Заокеанских тропик
Прель, Индостана — ил...

В постель иду как в пропасть:
Перины — *без* перил!

26 ноября 1924

* * *

Жизнь я прожила в случайных местах, с случайными людьми, без всякой попытки корректива.

Наибóльшим событием (и наидлительнейшим) *своей* жизни считаю Наполеона.

Все события *моей* жизни настолько меньше моей *силы* и моей *жажды*, что я в них просто не вмешиваюсь: чего тут исправлять!

Всё это: случайность людей и мест — отлично зная *свою породу людей (душ) и мест*, узнавая их в веках и на картинах по первому взгляду (чтó *вовсе* не значит, что когда-то здесь, с ними — жила! О *другом* узнавании говорю, об узнавании: не-воспоминании!).

«Стрóить свою жизнь» — да, если бы на это были даны все времена и вся карта. А выбирать — друзей — из сотни, места — из десятка мест — лучше совсем не вмешиваться, дать жизни (случайности) самочинствовать до конца.

И в это неправое дело — не вмешиваюсь.

Чувствую свой посмертный вес.

* * *

Высокомерье — каста.
Чем недохват — отказ.
Чтó говорить: не часто!
В тысячелетье — раз.

Всё, что сказала — крайний
Крик (морякам знаком!)

А остальное — тайна:
Вырежут с языком.

---

16 мая 1925
(на прогулке)

* * *

Закрыв глаза — раз и́наче нельзя —
(А и́наче — нельзя!) закрыв глаза
На бывшее (чем топтаннее травка —
Тем гуще лишь!), но ждущее — до завтра ж!
Не ждущее уже: смерть, у меня
Не ждущая до завтрашнего дня...

Так, опустив глубокую завесу,
Закрыв глаза, как за́навес над пьесой:
Над местом, по которому метла...
(А голова, как комната — светла!)
На голову свою —
— да попросту — от света

Закрыв глаза, и не закрыв, а сжав —
Всем существом в ребро, в плечо, в рукав
— Как скрипачу вовек не разучиться! —
В знакомую, глубокую ключицу —
В тот жаркий ключ, изустный и живой —
Что нам воды — *дороже* — ключевой.

Сентябрь 1932

Куст

1

Чтó нужно кусту от меня?
Не речи ж! Не доли собачьей
Моей человечьей, кляня

Которую — голову прячу
В него же (седей — день от дня!).
Сей мощи, и плéщи, и гущи —
Что нужно кусту — от меня?
Имущему — от неимущей!

А нужно! иначе б не шел
Мне в очи, и в мысли, и в уши.
Не нужно б — тогда бы не цвел
Мне прямо в разверстую душу,
Что только кустом не пуста:
Окном моих всех захолустий!
Что, полная чаша куста,
Находишь на сем — месте пусте?
Эолова арфа куста!

Чего не видал (на ветвях
Твоих — хоть бы лист одинаков!)
В моих преткновения пнях,
Сплошных препинания знаках?
Чего не слыхал (на ветвях
Молва не рождается в муках!)
В моих преткновения пнях,
Сплошных препинания звуках?

Да вот и сейчас, словарю
Придавши бессмертную силу, —
Да разве я *то* говорю,
Что знала, пока не раскрыла
Рта, знала еще на черте
Губ, той — за которой осколки...
И снова, во всей полноте,
Знать буду, как только умолкну.

2

А мне от куста — не шуми
Минуточку, мир человечий! —
А мне от куста — тишины:
Той, — между молчаньем и речью.

Той, — можешь — ничем, можешь — всем
Назвать: глубока, неизбывна.
Невнятности! наших поэм
Посмертных — невнятицы дивной.

Невнятицы старых садов,
Невнятицы музыки новой,
Невнятицы первых слогов,
Невнятицы Фауста Второго.

Той — *до* всего, *после* всего.
Гул множеств, идущих на форум.
Ну — шума ушного того,
Всё соединилось в котором.

Как будто бы все кувшины
Востока — на лобное всхолмье.
Такой от куста тишины,
Полнее не выразишь: полной.

Около 20 августа 1934

Мне нравится, что вы больны не мной

Асе

1

Мы быстры и наготове,
Мы остры.
В каждом жесте, в каждом взгляде,
в каждом слове. –
Две сестры.

Своенравна наша ласка
И тонка,
Мы из старого Дамаска –
Два клинка.

Прочь, гумно и бремя хлеба,
И волы!
Мы – натянутые в небо
Две стрелы!

Мы одни на рынке мира
Без греха.
Мы – из Вильяма Шекспира
Два стиха.

11 июля 1913

2

Мы — весенняя одежда
Тополей,
Мы — последняя надежда
Королей.

Мы на дне старинной чаши,
Посмотри:
В ней твоя заря, и наши
Две зари.

И прильнув устами к чаше,
Пей до дна.
И на дне увидишь наши
Имена.

Светлый взор наш смел и светел
И во зле.
— Кто из вас его не встретил
На земле?

Охраняя колыбель и мавзолей,
Мы — последнее виденье
Королей.

11 июля 1913

Сергею Эфрон-Дурново

1

Есть такие голоса,
Что смолкаешь, им не вторя,
Что предвидишь чудеса.
Есть огромные глаза
Цвета моря.

Вот он встал перед тобой:
Посмотри на лоб и брови

И сравни его с собой!
То усталость голубой,
Ветхой крови.

Торжествует синева
Каждой благородной веной.
Жест царевича и льва
Повторяют кружева
Белой пеной.

Вашего полка — драгун,
Декабристы и версальцы!
И не знаешь — так он юн —
Кисти, шпаги или струн
Просят пальцы.

Коктебель,
19 июля 1913

2

Как водоросли Ваши члены,
Как ветви мальмэзонских ив...
Так Вы лежали в брызгах пены,
Рассеянно остановив

На светло-золотистых дынях
Аквамарин и хризопраз
Сине-зеленых, серо-синих,
Всегда полузакрытых глаз.

Летели солнечные стрелы
И волны — бешеные львы.
Так Вы лежали, слишком белый
От нестерпимой синевы...

А за спиной была пустыня
И где-то станция Джанкой...
И тихо золотилась дыня
Под Вашей длинною рукой.

Так, драгоценный и спокойный,
Лежите, взглядом не даря,
Но взглянете — и вспыхнут войны,
И горы двинутся в моря,

И новые зажгутся луны,
И лягут радостные львы —
По наклоненью Вашей юной,
Великолепной головы.

1 августа 1913

П. Э.

1

День августовский тихо таял
В вечерней золотой пыли.
Неслись звенящие трамваи,
И люди шли.

Рассеянно, как бы без цели,
Я тихим переулком шла.
И — помнится — тихонько пели
Колокола.

Воображая Вашу позу,
Я все решала по пути:
Не надо — или надо — розу
Вам принести.

И все приготовляла фразу,
Увы, забытую потом. —
И вдруг — совсем нежданно — сразу! —
Тот самый дом.

Многоэтажный, с видом скуки...
Считаю окна, вот подъезд.

Невольным жестом ищут руки
На шее — крест.

Считаю серые ступени,
Меня ведущие к огню.
Нет времени для размышлений.
Уже звоню.

Я помню точно рокот грома
И две руки свои, как лед.
Я называю Вас. — Он дома,
Сейчас придет.

Пусть с юностью уносят годы
Все незабвенное с собой. —
Я буду помнить все разводы
Цветных обой.

И бисеринки абажура,
И шум каких-то голосов,
И эти виды Порт-Артура
И стук часов.

Миг, длительный по крайней мере —
Как час. Но вот шаги вдали.
Скрип раскрывающейся двери —
И Вы вошли.

И было сразу обаянье.
Склонился, королевски-прост. —
И было страшное сиянье
Двух темных звезд.

И их, огромные, прищуря,
Вы не узнали, нежный лик,
Какая здесь играла буря —
Еще за миг.

Я героически боролась.
– Мы с Вами даже ели суп! –
Я помню заглушенный голос
И очерк губ.

И волосы, пушистей меха,
И – самое родное в Вас! –
Прелестные морщинки смеха
У длинных глаз.

Я помню – Вы уже забыли –
Вы – там сидели, я – вот тут.
Каких мне стоило усилий,
Каких минут –

Сидеть, пуская кольца дыма,
И полный соблюдать покой...
Мне было прямо нестерпимо
Сидеть такой.

Вы эту помните беседу
Про климат и про букву ять.
Такому странному обеду
Уж не бывать.

В пол-оборота, в полумраке
Смеюсь, сама не ожидав:
«Глаза породистой собаки,
– Прощайте, граф».

Потерянно, совсем без цели,
Я темным переулком шла.
И, кажется, уже не пели –
Колокола.

17 июня 1914

2

Прибой курчавился у скал, –
Протяжен, пенен, пышен, звонок...
Мне Вашу дачу указал –
Ребенок.

Невольно замедляя шаг
– Идти смелей как бы не вправе –
Я шла, прислушиваясь, как
Скрежещет гравий.

Скрип проезжающей арбы
Без паруса. – Сквозь плющ зеленый
Блеснули белые столбы
Балкона.

Была такая тишина,
Как только в полдень и в июле.
Я помню: Вы лежали на
Плетеном стуле.

Ах, не оценят – мир так груб! –
Пленительную Вашу позу.
Я помню: Вы у самых губ
Держали розу.

Не подымая головы,
И тем подчеркивая скуку –
О, этот жест, которым Вы
Мне дали руку.

Великолепные глаза
Кто скажет – отчего – прищуря,
Вы знали – кто сейчас гроза
В моей лазури.

От солнца или от жары –
Весь сад казался мне янтарен,

Татарин продавал чадры,
Ушел татарин...

Ваш рот, надменен и влекущ,
Был сжат – и было все понятно.
И солнце сквозь тяжелый плющ
Бросало пятна.

Всё помню: на краю шэз-лонг
Соломенную Вашу шляпу,
Пронзительно звенящий гонг,
И запах

Тяжелых, переспелых роз
И складки в парусинных шторах,
Беседу наших папирос
И шорох,

С которым Вы, властитель дум,
На розу стряхивали пепел.
– Безукоризненный костюм
Был светел.

28 июня 1914

3

Его дочке

С ласточками прилетела
Ты в один и тот же час,
Радость маленького тела,
Новых глаз.

В марте месяце родиться
– Господи, внемли хвале! –
Это значит быть как птица
На земле.

Ласточки ныряют в небе,
В доме все пошло вверх дном:

Детский лепет, птичий щебет
За окном.

Дни ноябрьские кратки,
Долги ночи ноября.
Сизокрылые касатки –
За моря!

Давит маленькую грудку
Стужа северной земли.
Это ласточки малютку
Унесли.

Жалобный недвижим венчик,
Нежных век недвижен край.
Спи, дитя. Спи, Божий птенчик.
Баю-бай.

12 июля 1914

4

Война, война! – Кажденья у киотов
И стрекот шпор.
Но нету дела мне до царских счетов,
Народных ссор.

На, кажется, – надтреснутом – канате
Я – маленький плясун.
Я тень от чьей-то тени. Я лунатик
Двух темных лун.

Москва,
16 июля 1914

5

При жизни Вы его любили,
И в верности клялись навек,
Несите же венки из лилий
На свежий снег.

Над горестным его ночлегом
Помедлите на краткий срок,
Чтоб он под этим первым снегом
Не слишком дрог.

Дыханием души и тела
Согрейте ледяную кровь!
Но, если в Вас уже успела
Остыть любовь –

К любовнику – любите братца,
Ребенка с венчиком на лбу, –
Ему ведь не к кому прижаться
В своем гробу.

Ах, он, кого Вы так любили
И за кого пошли бы в ад,
Он в том, что он сейчас в могиле –
Не виноват!

От шороха шагов и платья
Дрожавший с головы до ног –
Как он открыл бы Вам объятья,
Когда бы мог!

О женщины! Ведь он для каждой
Был весь – безумие и пыл!
Припомните, с какою жаждой
Он вас любил!

Припомните, как каждый взгляд вы
Ловили у его очей,
Припомните былые клятвы
Во тьме ночей.

Так и не будьте вероломны
У бедного его креста,
И каждая тихонько вспомни
Его уста.

И, прежде чем отдаться бегу
Саней с цыганским бубенцом,
Помедлите, к ночному снегу
Припав лицом.

Пусть нежно опушит вам щеки,
Растает *каплями* у глаз...
Я, пишущая эти строки,
Одна из вас –

Неданной клятвы не нарушу
– Жизнь! – Карие глаза твои! –
Молитесь, женщины, за душу
Самой Любви.

30 августа 1914

6

Осыпались листья над Вашей могилой,
И пахнет зимой.
Послушайте, мертвый, послушайте, милый:
Вы всё-таки мой.

Смеетесь! – В блаженной крылатке дорожной!
Луна высока.
Мой – так несомненно и так непреложно,
Как эта рука.

Опять с узелком подойду утром рано
К больничным дверям.
Вы просто уехали в жаркие страны,
К великим морям.

Я Вас целовала! Я Вам колдовала!
Смеюсь над загробною тьмой!
Я смерти не верю! Я жду Вас с вокзала –
Домой.

Пусть листья осыпались, смыты и стерты
На траурных лентах слова.
И, если для целого мира Вы мертвый,
Я тоже мертва.

Я вижу, я чувствую, – чую Вас всюду!

– Что́ ленты от Ваших венков! –
Я Вас не забыла и Вас не забуду
Во веки веков!
Таких обещаний я знаю бесцельность,
Я знаю тщету.
– Письмо в бесконечность. – Письмо
в беспредельность –
Письмо в пустоту.

4 октября 1914

7

Милый друг, ушедший дальше, чем за́ море!
Вот Вам розы – протянитесь на них.
Милый друг, унесший самое, самое
Дорогое из сокровищ земных.
Я обманута, и я обокрадена, –
Нет на память ни письма, ни кольца!
Как мне памятна малейшая впадина
Удивленного – навеки – лица.
Как мне памятен просящий и пристальный
Взгляд – поближе приглашающий сесть,
И улыбка из великого Издали, –
Умирающего светская лесть...
Милый друг, ушедший в вечное плаванье,
– Свежий холмик меж других бугорков! –
Помолитесь обо мне в райской гавани,
Чтобы не было других моряков.

5 июня 1915

* * *

Говорила мне бабка лютая,
Коромыслом от злости гнутая:
– Не дремить тебе в люльке дитятка,
Не белить тебе пряжи вытканной, –
Царевать тебе – под заборами!
Целовать тебе, внучка, – ворона.

Ровно облако побелела я:
Вынимайте рубашку белую,
Жеребка не гоните черного,
Не поите попа соборного,
Вы кладите меня под яблоней,
Без моления, да без ладана.

Поясной поклон, благодарствие
За совет да за милость царскую,
За карманы твои порожние
Да за песни твои острожные,
За позор пополам со смутою, –
За любовь за твою за лютую.

Как ударит соборный колокол –
Сволокут меня черти волоком,
Я за чаркой, с тобою роспитой,
Говорила, скажу и Господу, –
Что любила тебя, мальчоночка,
Пуще славы и пуще солнышка.

1 апреля 1916

Только плохие книги – не для всех. Плохие книги льстят слабостям: века, возраста, пола. Мифы – Библия – эпос – для всех.

Даниил

1

Села я на подоконник, ноги свесив.
Он тогда спросил тихонечко: Кто здесь?
– Это я пришла. – Зачем? – Сама не знаю.
– Время позднее, дитя, а ты не спишь.

Я луну увидела на небе,
Я луну увидела и луч.

Упирался он в твое окошко, –
Оттого, должно быть, я пришла...

О, зачем тебя назвали Даниилом?
Все мне снится, что тебя терзают львы!

26 июля 1916

2

Наездницы, развалины, псалмы,
И вереском поросшие холмы,
И наши кони смирные бок о бок,
И подбородка львиная черта,
И пасторской одежды чернота,
И синий взгляд, пронзителен и робок.

Ты к умирающему едешь в дом,
Сопровождаю я тебя верхом.
(Я девочка, – с тебя никто не спросит!)
Поет рожок меж сосенных стволов...
– Что означает, толкователь снов,
Твоих кудрей довре́менная проседь?

Озерная блеснула синева,
И мельница взметнула рукава,
И, отвернув куда-то взгляд горячий,
Он говорит про бедную вдову...
Что надобно любить Иегову...
И что не надо плакать мне – как плачу..

Запахло яблонями и дымком,
– Мы к умирающему едем в дом,
Он говорит, что в мире все нам снится..
Что волосы мои сейчас как шлем...
Что все пройдет... Молчу – и надо всем
Улыбка Даниила – тайновидца.

26 июля 1916

3

В полнолунье кони фыркали,
К девушкам ходил цыган.
В полнолунье в красной кирке
Сам собою заиграл орган.

По лугу металась паства
С воплями: Конец земли!
Утром молодого пастора
У органа – мертвого нашли.

На его лице серебряном
Были слезы. Целый день
Притекали данью щедрой
Розы из окрестных деревень.

А когда покойник прибыл
В мирный дом своих отцов –
Рыжая девчонка Библию
Запалила с четырех концов.

28 июля 1916

* * *

Сегодня ночью я одна в ночи,
Бессонная, бездомная черница! –
Сегодня ночью у меня ключи
От всех ворот единственной столицы!

Бессонница меня толкнула в путь.
– О, как же ты прекрасен, тусклый Кремль мой! –
Сегодня ночью я целую в грудь
Всю круглую воюющую землю!

Вздымаются не волосы, а мех!
И душный ветер прямо в душу дует.

Сегодня ночью я жалею всех, –
Кого жалеют и кого целуют.

1 августа 1916

* * *

Август – астры,
Август – звезды,
Август – грозди
Винограда и рябины
Ржавой – август!

Полновесным, благосклонным
Яблоком своим имперским,
Как дитя, играешь, август.
Как ладонью, гладишь сердце
Именем своим имперским:
Август! – Сердце!

Месяц поздних поцелуев,
Поздних роз и молний поздних!
Ливней звездных
Август! – Месяц
Ливней звездных!

7 февраля 1917

Из цикла «Дон-Жуан»

1

На заре морозной
Под шестой березой
За углом у церкви
Ждите, Дон-Жуан!

Но, увы, клянусь вам
Женихом и жизнью,
Что в моей отчизне
Негде целовать!

Нет у нас фонтанов,
И замерз колодец,
А у богородиц –
Строгие глаза.

И чтобы не слышать
Пустяков – красоткам,
Есть у нас презвонкий
Колокольный звон.

Так вот и жила бы,
Да боюсь – состарюсь,
Да и вам, красавец,
Край мой не к лицу.

Ах, в дохе медвежьей
И узнать вас трудно,
Если бы не губы
Ваши, Дон-Жуан!

19 февраля 1917

2

Долго на заре туманной
Плакала метель.
Уложили Дон-Жуана
В снежную постель.

Ни гремучего фонтана,
Ни горячих звезд...
На груди у Дон-Жуана
Православный крест.

Чтобы ночь тебе светлее
Вечная – была,

Я тебе севильский веер,
Черный, принесла.

Чтобы видел ты воочью
Женскую красу,
Я тебе сегодня ночью
Сердце принесу.

А пока — спокойно спите!..
Из далеких стран
Вы пришли ко мне. Ваш список
Полон, Дон-Жуан!

19 февраля 1917

3

После стольких роз, городов и тостов —
Ах, ужель не лень
Вам любить меня? Вы — почти что остов,
Я — почти что тень.

И зачем мне знать, что к небесным силам
Вам взывать пришлось?
И зачем мне знать, что пахну́ло — Нилом
От моих волос?

Нет, уж лучше я расскажу Вам сказку:
Был тогда — январь.
Кто-то бросил розу. Монах под маской
Проносил фонарь.

Чей-то пьяный голос молил и злился
У соборных стен.
В этот самый час Дон-Жуан Кастильский
Повстречал — Кармен.

22 февраля 1917

4

Ровно — полночь.
Луна — как ястреб.
— Что — глядишь?
— Так — гляжу!

— Нравлюсь? — Нет.
— Узнаёшь? — Быть может.
— Дон-Жуан я.
— А я — Кармен.

22 февраля 1917

5

И падает шелковый пояс
К ногам его — райской змеей...
А мне говорят — успокоюсь
Когда-нибудь, там, под землей.

Я вижу надменный и старый
Свой профиль на белой парче.
А где-то — гитаны — гитары —
И юноши в черном плаще.

И кто-то, под маскою кроясь:
— Узнайте! — Не знаю. — Узнай!
И падает шелковый пояс
На площади — круглой, как рай.

14 мая 1917

6

И разжигая во встречном взоре
Печаль и блуд,
Проходишь городом — зверски-черен,
Небесно — худ.

Томленьем застланы, как туманом,
Глаза твои.

В петлице — роза, по всем карманам —
Слова любви!

Да, да. Под вой ресторанной скрипки
Твой слышу — зов.
Я посылаю тебе улыбку,
Король воров!

И узнаю, раскрывая крылья —
Тот самый взгляд,

Каким глядел на меня в Кастилье —
Твой старший брат.

8 июня 1917

Стенька Разин

1

Ветры спать ушли — с золотой зарей,
Ночь подходит — каменною горой,
И с своей княжною из жарких стран
Отдыхает бешеный атаман.

Молодые плечи в охапку сгреб,
Да заслушался, запрокинув лоб,
Как гремит над жарким его шатром
Соловьиный гром.

22 апреля 1917

2

А над Волгой — ночь,
А над Волгой — сон.
Расстелили ковры узорные,
И возлег на них атаман с княжной
Персиянкою — Брови Черные.

И не видно звезд, и не слышно волн, —
Только вёсла да темь кромешная!
И уносит в ночь атаманов чёлн
Персиянскую душу грешную.

И услышала
Ночь — такую речь:
— Аль не хочешь, что ль,
Потеснее лечь?
Ты меж наших баб —
Что жемчужинка!
Аль уж страшен так?
Я твой вечный раб,
Персияночка!
Полоняночка!

А она — брови насупила,
Брови длинные.
А она — очи потупила
Персиянские.
И из уст ее —
Только вздох один.
— Джаль-Эддин!

А над Волгой — заря румяная,
А над Волгой — рай.
И грохочет ватага пьяная:
— Атаман, вставай!

Належался с басурманскою собакою!
Вишь, глаза-то у красавицы наплаканы!

А она — что смерть,
Рот закушен в кровь. —
Так и ходит атаманова крутая бровь.

— Не поладила ты с нашею постелью,
Так поладь, собака, с нашею купелью!

В небе-то – ясно,
Тёмно – на дне.
Красный один
Башмачок на корме.

И стоит Степан – ровно грозный дуб,
Побелел Степан – аж до самых губ.
Закачался, зашатался. – Ох, томно!
Поддержите, нехристи, – в очах тёмно!

Вот и вся тебе персияночка,
Полоняночка.

25 апреля 1917

* * *

Нет! Еще любовный голод
Не раздвинул этих уст.
Нежен – оттого что молод,
Нежен – оттого что пуст.

Но увы! На этот детский
Рот – Шираза лепестки! –
Все людское людоедство
Точит зверские клыки.

23 августа 1917

* * *

На кортике своем: Марина –
Ты начертал, встав за Отчизну.
Была я первой и единой
В твоей великолепной жизни.

Я помню ночь и лик пресветлый
В аду солдатского вагона.

Я волосы гоню по ветру,
Я в ларчике храню погоны.

Москва, 18 января 1918

Стихи к дочери

1

– Марина! Спасибо за мир!
Дочернее странное слово.
И вот – расступился эфир
Над женщиной светлоголовой.

Но рот напряжен и суров.
Умру, – а восторга не выдам!
Так с неба Господь Саваоф
Внимал молодому Давиду.

Страстной понедельник 1918

2

Не знаю, где ты́ и где я́.
Те ж песни и те же заботы.
Такие с тобою друзья!
Такие с тобою сироты!

И так хорошо нам вдвоем:
Бездомным, бессонным и сирым...
Две птицы: чуть встали – поём.
Две странницы: кормимся миром.

3

И бродим с тобой по церквам
Великим – и малым, приходским.
И бродим с тобой по домам
Убогим – и знатным, господским.

Когда-то сказала: – Купи! –
Сверкнув на кремлевские башни.

Кремль – твой от рождения. – Спи,
Мой первенец светлый и страшный.

4

И как под землею трава
Дружится с рудою железной,
Всё видят пресветлые два
Провала в небесную бездну.

Сивилла! – Зачем моему
Ребенку – такая судьбина?
Ведь русская доля – ему...
И век ей: Россия, рябина...

24 августа 1918

5

Молодой колоколенкой
Ты любуешься – в воздухе.
Голосок у ней тоненький,
В ясном куполе – звездочки.

Куполок твой золотенький,
Ясны звезды – под лобиком.
Голосочек твой тоненький, –
Ты сама колоколенка.

Октябрь 1918

6

Консуэла! – Утешенье!
Люди добрые, не сглазьте!
Наградил второю тенью
Бог меня – и первым счастьем.

Видно с ангелом спала я,
Бога приняла в объятья.
Каждый час благословляю
Полночь твоего зачатья.

И ведет меня – до сроку –
К Богу – по дороге белой –
Первенец мой синеокий:
Утешенье! – Консуэла!

Ну, а раньше – стать другая!
Я была счастливой тварью!
Все мой дом оберегали, –
Каждый под подушкой шарил!

Награждали – как случалось:
Кто – улыбкой, кто – полушкой...
А случалось – оставалось
Даже сердце под подушкой!..

Времячко мое златое!
Сонм чудесных прегрешений!
Всех вас вымела метлою
Консуэла – Утешенье.

А чердак мой чисто ме́тен,
Сор подобран – на жаровню.
Смерть хоть сим же часом встретим:
Ни сориночки любовной!

– Вор! – Напрасно ждешь! – Не выйду!
Буду спать, как повелела
Мне – от всей моей Обиды
Утешенье – Консуэла!

Москва, октябрь 1919

Братья

1

Спят, не разнимая рук,
С братом – брат,

С другом — друг.
Вместе, на одной постели.

Вместе пили, вместе пели.

Я укутала их в плед,
Полюбила их навеки.
Я сквозь сомкнутые веки
Странные читаю вести:

Радуга: двойная слава,
Зарево: двойная смерть.

Этих рук не разведу.
Лучше буду,
Лучше буду
Полымем пылать в аду!

2

Два ангела, два белых брата,
На белых вспененных конях!
Горят серебряные латы

На всех моих грядущих днях.
И оттого, что вы крылаты —
Я с жадностью целую прах.

Где стройный благовест негромкий,
Бредущие через поля
Купец с лотком, слепец с котомкой..

— Дымят, пылая и гремя,
Под конским топотом — обломки
Китай-города и Кремля!

Два всадника! Две белых славы!
В безумном цирковом кругу
Я вас узнала. — Ты, курчавый,
Архангелом вопишь в трубу.

Ты — над Московскою Державой
Вздымаешь радугу-дугу.

3

Глотаю соленые слезы.
Роман неразрезанный — глуп.
Не надо ни робы, ни розы,
Ни розовой краски для губ,

Ни кружев, ни белого хлеба,
Ни солнца над вырезом крыш,
Умчались архангелы в небо,
Уехали братья в Париж!

11 января 1918

Ни один человек, даже самый отрешенный, не свободен от радости быть чем-то (всем!) в чьей-нибудь жизни, особенно когда это — невольно.

Ученик

Сказать — задумалась о чем?
В дождь — под одним плащом,
В ночь — под одним плащом, потом
В гроб — под одним плащом.

1

Быть мальчиком твоим светлоголовым,
— О, через все века! —
За пыльным пурпуром твоим брести в суровом
Плаще ученика.
Улавливать сквозь всю людскую гущу
Твой вздох животворящ
Душой, дыханием твоим живущей,
Как дуновеньем — плащ.
Победоноснее Царя Давида
Чернь раздвигать плечом.

От всех обид, от всей земной обиды
Служить тебе плащом.
Быть между спящими учениками
Тем, кто во сне — не спит.
При первом чернью занесенном камне
Уже не плащ — а щит!
(О, этот стих не самовольно прерван!
Нож чересчур остер!)
И — вдохновенно улыбнувшись — первым
Взойти на твой костер.

Москва,
2 русск. апреля 1921 г.[1]

2

Есть некий час...

Тютчев.

Есть некий час — как сброшенная клажа:
Когда в себе гордыню укротим.
Час ученичества, он в жизни каждой
Торжественно-неотвратим.

Высокий час, когда, сложив оружье
К ногам указанного нам — Перстом,
Мы пурпур Воина на мех верблюжий
Сменяем на песке морском.

О этот час, на подвиг нас — как Голос
Вздымающий из своеволья дней!
О этот час, когда как спелый колос
Мы клонимся от тяжести своей.

И колос взрос, и час веселый пробил,
И жерновов возжаждало зерно.
Закон! Закон! Еще в земной утробе
Мной вожделенное ярмо.

1 Здесь и далее, до цикла «Сивилла», даты даются по старому стилю.

Час ученичества! Но зрим и ведом
Другой нам свет, — еще заря зажглась.
Благословен ему грядущий следом
Ты — одиночества верховный час!

2 апреля 1921

3

Солнце Вечера — добрее
Солнца в полдень.
Изуверствует — не греет
Солнце в полдень.

Отрешеннее и кротче
Солнце — к ночи.
Умудренное, не хочет
Бить нам в очи.

Простотой своей — тревожа —
Королевской,
Солнце Вечера — дороже
Песнопевцу!

Распинаемое тьмой
Ежевечерне,
Солнце Вечера — не кланяется
Черни.

Низвергаемый с престолу
Вспомни — Феба!
Низвергаемый — не долу
Смотрит — в небо!

О, не медли на соседней
Колокольне!
Быть хочу твоей последней
Колокольней.

3 апреля 1921

4

Пало пренiже волн
Бремя дневное.
Тихо взошли на холм
Вечные – двое.

Тесно – плечо с плечом –
Встали в молчанье.
Два – под одним плащом –
Ходят дыханья.

Завтрашних спящих войн
Вождь – и вчерашних,
Молча стоят двойной
Черною башней.

Змия мудрей стоят,
Голубя кротче.
– Отче, возьми в назад,
В жизнь свою, отче!

Через все небо – дым
Воинств Господних.
Борется плащ, двойным
Вздохом приподнят.

Ревностью взор разъят,
Молит и ропщет...
– Отче, возьми в закат,
В ночь свою, отче!

Празднуя ночи вход,
Дышат пустыни.
Тяжко – как спелый плод –
Падает: – Сыне!

Смолкло в своем хлеву
Стадо людское.

На золотом холму
Двое – в покое.

6 апреля 1921

5

Был час чудотворен и полн,
Как древние были.
Я помню – бок о́ бок – на холм,
Я помню – всходили...

Ручьев ниспадающих речь
Сплеталась предивно
С плащом, ниспадающим с плеч
Волной неизбывной.

Всё выше, всё выше – высот
Последнее злато.
Сновидческий голос: Восход
Навстречу Закату.

8 апреля 1921

6

Все великолепье
Труб – лишь только лепет
Трав – перед Тобой.

Все великолепье
Бурь – лишь только щебет
Птиц – перед Тобой.

Все великолепье
Крыл – лишь только трепет
Век – перед Тобой.

10 апреля 1921

7

По холмам – круглым и смуглым,
Под лучом – сильным и пыльным.
Сапожком – робким и кротким –
За плащом – рдяным и рваным.

По пескам – жадным и ржавым,
Под лучом – жгущим и пьющим,
Сапожком – робким и кротким –
За плащом – следом и следом.

По волнам – лютым и вздутым,
Под лучом – гневным и древним,
Сапожком – робким и кротким –
За плащом – лгущим и лгущим...

12 апреля 1921

* * *

В<олкон>ский заключен сам в себе, не в себе – в мире. *(Тоже́ одиночная камера,* – с бесконечно-раздвинутыми стенами.) Эгоист – породы Гёте. Ему нужны не люди – собеседники (сейчас – не собеседники: слушатели, воспринимат ели!), иногда – сведения. Изящное отсутствие человека в комнате, говоришь – отвечает, но никогда в упор, точно (нет, явно) в ответ на свою сопутствующую мысль. Слышит? Не слышит?

Никогда – тебе, всегда – себе.

Был у меня два раза, каждый раз, в первую секунду, *изумлял* ласковостью. (Думая вслед после встречи – так разительно убеждаешься в его нечеловечности, что при следующей, в первую секунду, изумляешься: улыбается, точно *вправду* рад!)

Ласковость, за которой – что́? Да ничего. Общая приятность оттого, что ему́ радуются. Его мысли остры, его чувства flottent[1].

Его жизнь, как я ее вижу – да, впрочем, его же слово о себе:

– «История моей жизни? Да мне искренно кажется, что у меня ее совсем не было, что она только начинается – начнется».

Может показаться, когда читаешь эти слова на бумаге, что говорит *горящий* жизнью, – нет, это бросается легко, созерцательно – под строкой; повествовательно-спокойно, почти небрежно.

Учитель чего? – Жизни. Прекрасный бы учитель, если бы ему нужны были ученики.

Вернее: читает систему Волконского (хонского, как он произносит, уясняя Волхонку) – когда мог читать – Жизнь.

(Музыка, запаздывающая на какую-то долю времени, последние солдаты не идут в лад, долгое дохождение до нас света звезд...)

Не поспевает за моим сердцем.

* * *

Жаловаться не стану,
Слово возьму в тиски.
С этой мужскою раной
Справимся по-мужски.

Даром сгорают зори,
А не прося за вход.
С этой верховной хворью
Справимся, как Восход.

1 *Скользят по поверхности (фр.).*

Великолепным даровым пожаром
В который раз, заря, сгораешь даром?

На встречных лицах, нежилых как склеп,
В который раз ты побежден, о Феб?

Не доверяя бренной позолоте
Они домой идут — на повороте

Счастливые — что уж опять тела!
Что эту славу — сбросили с чела.

. . . . . .

Та́к, у подножья нового царя,
В который раз, душа, сгораешь зря?

<1921>

Марина

1

Быть голубкой его орлиной!
Больше матери быть, — Мариной!
Вестовым — часовым — гонцом —

Знаменосцем — льстецом придворным!
Серафимом и псом дозорным
Охранять непокойный сон.

Сальных карт захватив колоду,
Ногу в стремя! — сквозь огнь и воду!
Где верхом — где ползком — где вплавь!

Тростником — ивняком — болотом,
А где конь не берет, — там лётом,
Все ветра полонивши в плащ!

Черным вихрем летя беззвучным,
Не подругою быть — сподручным!
Не единою быть — вторым!

Близнецом — двойником — крестовым
Стройным братом, огнем костровым,
Ятаганом его кривым.

Гул кремлевских гостей незваных.
Если имя твое — Басманов,
Отстранись. — Уступи любви!

Распахнула платок нагрудный.
— Руки настежь! — Чтоб в день свой судный
Не в басмановской встал крови.

28 мая 1921

2

Трем Самозванцам жена,
Мнишка надменного дочь,
Ты, гордецу своему
Не родившая сына...

В простоволосости сна
В гулкий оконный пролет
Ты, гордецу своему
Не махнувшая следом...

На роковой площади
От оплеух и плевков
Ты, гордеца своего
Не покрывшая телом...

В маске дурацкой лежал,
С дудкой кровавой во рту.
Ты, гордецу своему
Не отершая пота...

– Своекорыстная кровь! –
Проклята, проклята будь
Ты – Лжедимитрию смогшая быть Лжемариной!

28 мая 1921

3

– Сердце, измена!
– Но не разлука!
И воровскую смуглую руку
К белым губам.

Краткая встряска костей о плиты.
– Гришка! – Димитрий!

Цареубийцы! Псекровь холопья!
И – повторенным прыжком –
На копья!

28 мая 1921

4

– Грудь Ваша благоуханна,
Как розмариновый ларчик...
Ясновельможна панна...
– Мой молодой господарчик...

– Чем заплачу за щедроты:
Темен, негромок, непризнан...
Из-под ресничного взлету
Что-то ответило: – Жизнью!

В каждом пришельце гонимом
Пану мы Иезусу – служим...
Мнет в замешательстве мнимом
Горсть неподдельных жемчужин.

Перлы рассыпались, – слезы!
Каждой ресницей нацелясь,

Смотрит, как в прахе елозя,
Их подбирает пришелец.

30 мая 1921

* * *

Как разгораются – каким валежником!
На площадях ночных – святыни кровные!
Пред самозванческим указом Нежности –
Что наши доблести и родословные!

С какой торжественною постепенностью
Спадают выспренные обветшалости!
О наши прадедовы драгоценности
Под самозванческим ударом Жалости!

А проще: лоб склонивши в глубь ладонную,
В сознаньи низости и неизбежности –
Вниз по отлогому – по неуклонному –
Неумолимому наклону Нежности...

Май 1921

Разлука

Сереже

1

Башенный бой
Где-то в Кремле.
Где на земле,
Где –

Крепость моя,
Кротость моя,
Доблесть моя,
Святость моя.

Башенный бой.
Брошенный бой.
Где на земле –
Мой
Дом,

Мой – сон,
Мой – смех,
Мой – свет,
Узких подошв – след.

Точно рукой
Сброшенный в ночь –
Бой.

– Брошенный мой!

Май 1921

2

Уроненные так давно
Вздымаю руки.
В пустое черное окно
Пустые руки
Бросаю в полуночный бой
Часов, – *домой*
Хочу! – Вот так: вниз головой
– С башни! – Домой!

Не о булыжник площадной:
В шепот и шелест...
Мне некий Воин молодой
Крыло подстелет.

Май 1921

3

Всё круче, всё круче
Заламывать руки!

Меж нами не версты
Земные, – разлуки
Небесные реки, лазурные земли,
Где друг мой навеки уже –
Неотъемлем.

Стремит столбовая
В серебряных сбруях.
Я рук не ломаю!
Я только тяну их
– Без звука! –
Как дерево машет рябина
В разлуку,
Во след журавлиному клину.

Стремит журавлиный,
Стремит безоглядно.
Я спеси не сбавлю!
Я в смерти – нарядной
Пребуду – твоей быстроте златоперой
Последней опорой
В потерях простора!

Июнь 1921

4

Смуглой оливой
Скрой изголовье.
Боги ревнивы
К смертной любови.

Каждый им шелест
Внятен и шорох.
Знай, не тебе лишь
Юноша дорог.

Роскошью майской
Кто-то разгневан.
Остерегайся
Зоркого неба.

Думаешь – скалы
Манят, утесы,
Думаешь, славы
Медноголосый

Зов его – в гущу,
Грудью на копья?
Вал восстающий
– Думаешь – топит?

Дольнее жало
– Веришь – вонзилось?
Пуще опалы –
Царская милость!

Плачешь, что поздно
Бродит в низинах.
Не земнородных
Бойся, – незримых!

Каждый им волос
Ведом на гребне.
Тысячеоки
Боги, как древле.

Бойся не тины, –
Тверди небесной!
Ненасытимо –
Сердце Зевеса!

12 июня 1921

5

Тихонько
Рукой осторожной и тонкой
Распутаю путы:
Ручонки – и ржанью
Послушная, зашелестит амазонка

По звонким, пустым ступеням расставанья.

Топочет и ржет
В осиянном пролете
Крылатый. – В глаза – полыханье рассвета.
Ручонки, ручонки!
Напрасно зовете:
Меж нами – струистая лестница Леты.

14 июня 1921

6

Седой – не увидишь,
Большим – не увижу.
Из глаз неподвижных
Слезинки не выжмешь.

На всю твою муку,
Раззор – плач:
– Брось руку!
Оставь плащ!

В бесстрастии
Каменноокой камеи,
В дверях не помедлю,
Как матери медлят:

(Всей тяжестью крови,
Колен, глаз –
В последний земной
Раз!)

Не кра́дущимся перешибленным зверем, –
Нет, каменной глыбою
Выйду из двери –
Из жизни. – О чем же
Слезам течь,
Раз – камень с твоих
Плеч!

Не камень! – Уже
Широтою орлиною –
Плащ! – и уже по лазурным стремнинам
В тот град осиянный,
Куда – взять
Не смеет дитя
Мать.

15 июня 1921

7

Ростком серебряным
Рванулся ввысь.
Чтоб не узрел его
Зевес –
Молись!

При первом шелесте
Страшись и стой.
Ревнивы к прелести
Они мужской.

Звериной челюсти
Страшней – их зов.
Ревниво к прелести
Гнездо богов.

Цветами, лаврами
Заманят ввысь.
Чтоб не избрал его
Зевес –
Молись!

Все небо в грохоте
Орлиных крыл.
Всей грудью грохайся –
Чтоб не сокрыл.

В орлином грохоте
– О клюв! О кровь! –

Ягненок крохотный
Повис – Любовь...

Простоволосая,
Всей грудью – ниц...
Чтоб не вознес его
Зевес –
Молись!

16 июня 1921

8

Я знаю, я знаю,
Что прелесть земная,
Что эта резная,
Прелестная чаша –
Не более наша,
Чем воздух,
Чем звезды,
Чем гнезда,
Повисшие в зорях.

Я знаю, я знаю,
Кто чаше – хозяин!
Но легкую ногу вперед – башней
В орлиную высь!
И крылом – чашу
От грозных и розовых уст –
Бога!

17 июня 1921

* * *

Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.

Мне нравится, что можно быть смешной –
Распущенной – и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.

Мне нравится еще, что Вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не Вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, не
Упоминаете ни днем ни ночью – всуе...
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!

Спасибо Вам и сердцем и рукой
За то, что Вы меня – не зная сами! –
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши не-гулянья под луной,
За солнце не у нас над головами, –
За то, что Вы больны – увы! – не мной,
За то, что я больна – увы! – не Вами.

3 мая 1915

Из цикла «Георгий»

С. Э.

1

Ресницы, ресницы,
Склоненные ниц.
Стыдливостию ресниц
Затменные – солнца в венце стрел!
– Сколь грозен и сколь ясен! –
И плащ его – был – красен,
И конь его – был – бел.

Смущается Всадник,
Гордится конь.
На дохлого гада
Белейший конь
Взирает вполоборота.
В пол-ока широкого
Вслед копью
В пасть красную – дико раздув ноздрю –
Раскосостью огнеокой.

– Колеблется – никнет – и вслед копью
В янтарную лужу – вослед копью

Скользнувшему.
– Басенный взмах
– Стрел...

Плащ красен, конь бел.

9 июля 1921

2

О тяжесть удачи!
Обида Победы!
Георгий, ты плачешь,
Ты красною девой
Бледнеешь над делом
Своих двух
Внезапно-чужих
Рук.

Конь брезгует Гадом,
Ты брезгуешь гласом
Победным. – Тяжелым смарагдовым маслом
Стекает кровища.
Дракон спит.
На всю свою жизнь
Сыт.

Взлетевшею гривой
Затменное солнце.
Стыдливости детской
С гордынею конской
Союз.
Из седла –
В небеса –

Куст.
Брезгливая грусть
Уст.

Конь брезгует Гадом,
Ты брезгуешь даром
Царевым, – ее подвенечным пожаром.
Церковкою ладанной:
Строг – скуп –
В безжалостный
Рев
Труб.

Смущается Всадник,
Снисходит конь.
Издохшего гада
Дрянную кровь
– Янтарную – легким скоком
Минует, – янтарная кровь течет.
Взнесенным копытом застыв – с высот
Лебединого поворота.

Безропотен Всадник,
А конь брезглив.
Гремучего гада
Копьем пронзив –
Сколь скромен и сколь томен!
В ветрах – высокó – седлецо твое,
Речной осокой – копьецо твое
Вот-вот запоет в восковых перстах
У розовых уст

Под прикрытием стрел
Ресничных,
Вспоет, вскличет.
– О страшная тяжесть
Свершенных дел!
И плащ его красен,
И конь его бел.

Любезного Всадника,
Конь, блюди!
У нежного Всадника
Боль в груди.
Ресницами жемчуг нижет...
Святая иконка – лицо твое,
Закатным лучом – копьецо твое
Из длинных перстов брызжет.
Иль луч пурпуровый
Косит копьем?
Иль красная туча
Взмелась плащом?
За красною тучею –
Белый дом.
Там впустят
Вдвоем
С конем.

Склоняется Всадник,
Дыбится конь.
Все слабже вокруг копьеца ладонь.
Вот-вот не снесет Победы!
Трубите! Трубите! Уж слушать недолго.
Уж нежный тростник победительный – долу.
Дотрубленный долу
Поник. – Смолк.
И облачный – ввысь! –
Столб.

Клонитесь, клонитесь,
Послушные травы!

Зардевшийся пол оплеухою славы –
Бледнеет. – Домой, трубачи! – Спит.
До судной трубы –
Сыт.

28 июня 1921

3

Синие версты
И зарева горние!
Победоносного
Славьте – Георгия!

Славьте, жемчужные
Грозди полуночи,
Дивного мужа,
Пречистого юношу:

Огненный плащ его,
Посвист копья его,
Кровокипящего
Славьте – коня его!

Зычные мачты
И слободы орлие!
Громокипящего
Славьте – Георгия!

Солнцеподобного
В силе и в кротости.
Доблесть из доблестей,
Роскошь из роскошей:

Башенный рост его,
Посвист копья его,
Молниехвостого
Славьте – коня его!

Львиные ветры
И глыбы соборные!
Великолепного
Славьте – Георгия!

Змея пронзившего,
Смерть победившего,
В дом Госпожи своей
Конным – вступившего!

Зычный разгон его,
Посвист копья его,
Преображенною
Ставьте – коня его!

Льстивые ивы
И травы поклонные,
Вольнолюбивого,
Узорешенного

Юношу – славьте,
Юношу – плачьте,
Вот он, что розан
Райский – на травке:

Розовый рот свой
На две половиночки –
Победоносец,
Победы не вынесший.

28 июня 1921

4

Из облаков кивающие перья.
Как передать твое высокомерье,
– Георгий! – Ставленник небесных сил!

Как передать закрепощенный пыл
Зрачка, и трезвенной ноздри раздутой
На всем скаку обузданную смуту.

Перед любезнейшею из красот
Как передать – с архангельских высот
Седла – копья – содеянного дела

И девственности гневной – эти стрелы
Ресничные – эбеновой масти –
Разящие: – Мы не одной кости!

Божественную ведомость закончив,
Как передать, Георгий, сколь уклончив
– Чуть что земли не тронувший едва –

Поклон, – и сколь пронзительно-крива
Щель, заледеневающая сразу:
– О, не благодарите! – По приказу.

29 июня 1921

5

С архангельской высоты седла
Евангельские творить дела.
Река сгорает, верста смугла.
– О даль! Даль! Даль!

В пронзающей прямизне ресниц
Пожарищем налетать на птиц.
Копыта! Крылья! Сплелись! Свились!
О высь! Высь! Высь!

В заоблачье исчезать как снасть!
Двуочие разевать как пасть!
И не опомнившись – мертвым пасть:
О страсть! – Страсть! – Страсть!

29 июня 1921

6

А девы – не надо.
По вольному хладу,
По синему следу
Один я поеду.

Как был до победы:
Сиротский и вдовый.
По вольному следу
Воды родниковой.

От славы, от гною
Доспехи отмою.
Во славу Твою
Коня напою.

Храни, Голубица,
От града – посевы,
Девицу – от гада,
Героя – от девы.

30 июня 1921

Благая весть

С. Э.

1

В сокровищницу
Полунощных глубин
Недрогнувшую
Опускаю ладонь.

Меж водорослей –
Ни приметы его!
Сокровища нету
В морях – моего!

В заоблачную
Песнопенную высь –
Двумолнием
Осмелеваюсь – и вот

Мне жаворонок
Обронил с высоты –
Что за́ морем ты,
Не за облаком ты!

2 июля 1921

2

Жив и здоров!
Громче громов –
Как топором –
Радость!

Нет, топором
Мало: быком
Под обухом
Счастья!

Оглушена,
Устрашена.
Что же взамен –
Вырвут?

И от колен
Вплоть до корней
Вставших волос –
Ужас.

Стало быть, жив?
Веки смежив,
Дышишь, зовут –
Слышишь?

Вывез корабль?
О мой журавль

Младший – во всей
Стае!

Мертв – и воскрес?!
Вздоху в обрез,
Камнем с небес,
Ломом

По голове, –
Нет, по эфес
Шпагою в грудь –
Радость!

3 июля 1921

3

Под горем не горбясь,
Под камнем – крылатой –
– Орлом! – уцелев,

Земных матерей
И небесных любовниц
Двойную печаль

Взвалив на плеча, –
Горяча мне досталась
Мальтийская сталь!

Но гневное небо
К орлам – благосклонно.
Не сон ли: в волнах

Сонм ангелов конных!
Меж ними – осанна! –
Мой – снегу белей...

Лилейные ризы,
– Конь вывезет! – Гривой
Вспененные зыби.
– Вал вывезет! – Дыбом

Встающая глыба...
Бог вынесет!...
– Ох! –

4 июля 1921

4

Над спящим юнцом – золотые шпоры.
Команда: вскачь!
Уже по пятам воровская свора.
Георгий, плачь!

Свободною левою крест нащупал.
Команда: вплавь!
Чтоб всем до единого им под купол
Софийский, – правь!

Пропали! Не вынесут сухожилья!
Конец! – Сдались!
– Двумолнием раскрепощает крылья.
Команда: ввысь!

6 июля 1921

5

Во имя расправы
Крепись, мой Крылатый!
Был час переправы,
А будет – расплаты.

В тот час стопудовый
– Меж бредом и былью –
Гребли тяжело
Корабельные крылья.

Меж Сциллою – да! –
И Харибдой гребли.
О крылья мои,
Журавли-корабли!

Тогда по крутому
Эвксинскому брегу
Был топот Побега,
А будет – Победы.

В тот чае непосильный
– Меж дулом и хлябью –
Сердца не остыли,
Крыла не ослабли,

Плеча напирали,
Глаза стерегли.
– О крылья мои,
Журавли-корабли!

Птенцов узколицых
Не давши в обиду,
Сказалось –
Орлицыно сердце Тавриды.

На крик длинноклювый
– С ерами и с ятью! –
Проснулась –
Седая Монархиня-матерь.

И вот уже купол
Софийский – вдали...
О крылья мои,
Журавли-корабли!

Крепитесь! Кромешное
Дрогнет созвездье.
Не с моря, а с неба
Ударит Возмездье.

Глядите: небесным
Свинцом налитая,
Грозна, тяжела
Корабельная стая.

И нету конца ей,
И нету земли...
– О крылья мои,
Журавли-корабли!

7 июля 1921

Хвала Афродите

1

Уже богов – не те уже щедроты
На берегах – не той уже реки.
В широкие закатные ворота
Венерины, летите, голубки!

Я ж на песках похолодевших лежа,
В день отойду, в котором нет числа.
Как змей на старую взирает кожу –
Я молодость свою переросла.

4 октября 1921

2

Тщетно, в ветвях заповедных кроясь,
Нежная стая твоя гремит..
Сластолюбивый роняю пояс,
Многолюбивый роняю мирт.

Тяжкоразящей стрелой тупою
Освободил меня твой же сын.
– Так о престол моего покоя,
Пеннорожденная, пеной сгинь!

5 октября 1921

3

Сколько их, сколько их ест из рук,
Белых и сизых!

Целые царства воркуют вкруг
Уст твоих, Низость!

Не переводится смертный пот
В золоте кубка.
И полководец гривастый льнет
Белой голубкой.

Каждое облако в час дурной –
Грудью круглится.
В каждом цветке неповинном – твой
Лик, Дьяволица!

Бренная пена, морская соль...
В пене и в муке –
Повиноваться тебе доколь,
Камень безрукий?

10 октября 1921

* * *

С такою силой в подбородок руку
Вцепив, что судорогой вьется рот,
С такою силою поняв разлуку,
Что, кажется, и смерть не разведет –

Так знаменосец покидает знамя,
Так на помосте матерям: Пора!
Так в ночь глядит – последними глазами –
Наложница последнего царя.

11 октября 1921

Подруга

Немолкнущим Ave,
Пасхальной Обедней –
Прекрасная слава
Подруги последней.

1

Спит, муки твоея – веселье,
Спит, сердца выстраданный рай.
Над Иверскою колыбелью
– Блаженная! – помедлить дай.

Не суетность меня, не зависть
В дом привела, – не воспрети!
Я дитятко твое восславить
Пришла, как древле – пастухи.

Не тою же ль звездой ведома?
– О се́ребро-сусаль-слюда! –
Как вкопанная – глянь – над домом,
Как вкопанная – глянь – звезда!

Не радуюсь и не ревную, –
Гляжу, – и по́ сердцу пилой:
Что сыну твоему дарую?
Вот плащ мой – вот и посох мой.

23 ноября 1921

2

В своих младенческих слезах –
Что в ризе ценной,
Благословенна ты в женах!
– Благословенна!

У раздорожного креста
Раскрыл глазочки.
(Ведь тот был тоже сирота, –
Сынок безотчий.)

В своих младенческих слезах –
Что в ризе ценной,
Благословенна ты в слезах!
– Благословенна.

Твой лоб над спящим над птенцом –
Чист, бестревожен.
Был благовест тебе венцом,
Благовест – ложем.

Твой стан над спящим над птенцом
Трепет и древо.
Был благовест ему отцом, –
Радуйся, Дева!

В его заоблачных снегах –
Что в ризе ценной,
Благословенна ты в снегах!
– Благословенна.

26 ноября 1921

3

Огромного воскрылья взмах,
Хлещущий дых:
– Благословенна ты в женах,
В женах, в живых.

Где вестник? Буйно и бело.
Вихорь? Крыло?
Где вестник? Вьюгой замело –
Весть и крыло.

26 ноября 1921

4

Чем заслужить тебе и чем воздать –
Присноблаженная! – Младенца Мать!

Над стекленеющею поволокой
Вновь подтверждающая: — Свет с Востока!

От синих глаз его — до синих звезд
Ты, радугою бросившая мост!

Не падаю! Не падаю! Плыву!
И — радугою — мост через Неву.

Жизнеподательница в час кончины!
Царств утвердительница! Матерь Сына!

В хрип смертных мук его — в худую песнь! —
Ты — первенцево вбросившая: «Есмь!»

27 ноября 1921

5

Последняя дружба
В последнем обвале.
Что нужды, что нужды —
Как здесь называли?

Над черной канавой,
Над битвой бурьянной,
Последнею славой
Встаешь, — безымянной.

На крик его: душно! припавшая: друг!
Последнейшая, не пускавшая рук!

Последнею дружбой —
Так сонмы восславят.
Да та вот, что пить подавала,
Да та вот. —

У врат его царских
Последняя смена.

Уста, с синевы
Сцеловавшие пену.

Та, с судороги сцеловавшая пот,
На крик его: руку! сказавшая: вот!

Последняя дружба,
Последнее рядом,
Грудь с грудью...

— В последнюю оторопь взгляда
Рай вбросившая,

Под фатой песнопенной,
Последнею славой
Пройдешь — покровенной.

Ты, заповеди растоптавшая спесь,
На хрип его: Мама! солгавшая: здесь!

Москва,
28 ноября 1921

* * *

Любимых забываю вместе с собой, любившей. Ибо если дружба — одно из моих обычных состояний, то любовь меня из всех обычных состояний: стихов, одиночества, самоутверждения —

И — внезапное видение девушки — доставая ведро, упала в колодец — и всё новое, новая страна, с *другими* деревьями, *другими* цветами, *другими* гусями и т.д.

Так я вижу любовь, в к<отор>ую действительно проваливаюсь, и выбравшись, выкарабкавшись из (колодца) которой, *сначала* ничего из здешнего не узнаю, потом — уже не знаю, было ли (то, на дне колодца), а потом знаю — не было. Ни колодца, ни тех гусей, ни тех цветов, ни *той* меня.

Любовь – безлица. Это – страна. Любимый – один из ее обитателей, туземец, странный и особенный – как негр! – только *здесь*.

Глубже скажу. Этот колодец не во-вне, а во мне, я в себя, в какую-то себя проваливаюсь – как на Американских горах в свой собственный пищевод.

Ариадна

1

Оставленной быть – это втравленной быть
В грудь – синяя татуировка матросов!
Оставленной быть – это явленной быть
Семи океанам... Не валом ли быть
Девятым, что с палубы сносит?

Уступленной быть – это купленной быть
Задорого: ночи и ночи и ночи
Умоисступленья! О, в трубы трубить –
Уступленной быть! – Это длиться и слыть
Как губы и трубы пророчеств.

14 апреля 1923

2

– О всеми голосами раковин
Ты пел ей...
– Травкой каждою.
– Она томилась лаской Вакховой.
– Летейских маков жаждала...

– Но как бы те моря ни солоны,
Тот мчался...
– Стены падали.
– И кудри вырывала полными
Горстями...
– В пену падали...

21 апреля 1923

Слова и смыслы

1

Ты обо мне не думай никогда!
(На – вязчива!)
Ты обо мне подумай: провода:
Даль – длящие.

Ты на меня не жалуйся, что жаль...
Всех слаще, мол...
Лишь об одном, пожалуйста: педаль:
Боль – длящая.

2

Ла – донь в ладонь:
– За – чем рожден?
– Не – жаль: изволь:
Длить – даль – и боль.

3

Проводами продленная даль...
Даль и боль, это та же ладонь
Отрывающаяся – доколь?
Даль и боль, это та же юдоль.

23 апреля 1923

* * *

Крутогорьями глаголь,
Колокольнями трезвонь:
Место дольнее – юдоль,
Место дольнее – ладонь.

Всеми вольными в лазорь
Колокольнями злословь:
Место дольнее – ладонь,
Место дольнее – любовь.

29 апреля 1923

Так вслушиваются...

1

Так вслушиваются (в исток
Вслушивается – устье).
Так внюхиваются в цветок:
Вглубь – до потери чувства!

Так в воздухе, который синь –
Жажда, которой дна нет.
Так дети, в синеве простынь,
Всматриваются в память.

Так вчувствовывается в кровь
Отрок – доселе лотос.
...Так влюбливаются в любовь:
Впадываются в пропасть.

2

Друг! Не кори меня за тот
Взгляд, деловой и тусклый.
Так вглатываются в глоток:
Вглубь – до потери чувства!

Так в ткань врабатываясь, ткач
Ткет свой последний пропад.
Так дети, вплакиваясь в плач,
Вшептываются в шепот.

Так вплясываются... (Велик
Бог – посему крутитесь!)
Так дети, вкрикиваясь в крик,
Вмалчиваются в тихость.

Так жалом тронутая кровь
Жалуется – без ядов!
Так вбаливаются в любовь:
Впадываются в падать.

3 мая 1923

Брат

Раскалена, как смоль:
Дважды не вынести!
Брат, но с какой-то столь
Странною примесью

Смуты... (Откуда звук
Ветки откромсанной?)
Брат, заходящий вдруг
Столькими солнцами!

Брат без других сестер:
Напрочь присвоенный!
По гробовой костер –
Брат, но с условием:

Вместе и в рай и в ад!
Раной – как розаном
Соупиваться! (Брат,
Адом дарованный!)

Брат! Оглянись в века:
Не было крепче той
Спайки. Назад – река...
Снова прошепчется

.

Где-то, вдоль звезд и шпал,
– Настежь, без третьего! –
Что́ по ночам шептал
Цезарь – Лукреции.

13 июля 1923

Наклон

Материнское – сквозь сон – ухо.
У меня к тебе наклон слуха,

Духа — к страждущему: жжет? да?
У меня к тебе наклон лба,

Дозирающего вер — ховья.
У меня к тебе наклон крови
К сердцу, неба — к островам нег.
У меня к тебе наклон рек,

Век... Беспамятства наклон светлый
К лютне, лестницы к садам, ветви
Ивовой к убеганью вех...
У меня к тебе наклон *всех*

Звезд к земле (родовая тяга
Звезд к звезде!) — тяготенье стяга
К лаврам выстраданных мо — гил.
У меня к тебе наклон крыл,

Жил... К дуплу тяготенье совье,
Тяга темени к изголовью
Гроба, — годы ведь уснуть тщусь!
У меня к тебе наклон уст

К роднику...

28 июля 1923

Любовь в нас — как клад, мы о ней ничего не знаем, всё дело в случае. Другой — наша *возможность* любви... Человек — повод к взрыву. (Почему вулканы взрываются?) Иногда вулканы взрываются сокровищами.

Дать взорваться больше, чем добыть.

В любви мы лишены главного: возможности рассказать (показать), как мы от него страдаем.

* * *

Любовь, любовь,
Вселенская ересь двух!

Гудят провода,
На них воробьи —
Как воры...

Руками держи
Любовь свою, мни,
Тискай!
Правами вяжи!
Глазами вражды, сыска
Гляди — На груди

Курьерская гарь
К большим городам —
Не к вам мы!
Я думала встарь,
Что — по проводам
Телеграммы
Идут: по струне
Спешащий лоскут:
«Срочно».

Сама по струне
Хожу — вся душа —
В клочья!
Мне писем не шлют
Последнее Шах —
Отнял.
Бумажный лоскут,
Повисший в ветрах, —
Вóт я...

Пространство — стена.
Но время — брешь
В эту стену.

Душа стеснена.
Не стерпишь — так взрежь
Вены!
Пространство — стена,
Но время — брешь
В эту стену.

<1923>

* * *

Оставленного зала тронного
Столбы. (Оставленного — в срок!)
Крутые улицы наклонные
Стремительные как поток.

Чувств обезумевшая жимолость,
Уст обеспамятевший зов.
— Так я с груди твоей низринулась
В бушующее море строф.

Декабрь 1923

* * *

...Подумали ли Вы о том, что Вы делаете, уча меня великой земной любви? Ну, а если научите? Если я, действительно, всё переборю и всё отдам?

Любовь — костер, в который бросают сокровища, так сказал мне первый человек, которого я любила, почти детской любовью, человек высокой жизни, поздний эллин.

Сегодня я (13 лет спустя) о нем вспоминаю. Не этому ли учите меня — Вы?

Но откуда Вы это знаете, Вы, не лучшей жизнью меня — живший? И почему у Вас только укоры ко мне, а у меня — одна любовь?

М.б. женщина действительно не вправе <фраза не окончена>

Но у меня и другое было: моя высокая жизнь с друзьями «в просторах души моей».

Теперь, отрешась на секунду, что я женщина: вот Вам обычная жизнь поэта: верх (друзья) и низ (пристрастья), с той разницей, что я в этот низ вносила весь свой верх, отсюда — трагедия. ...Если бы я, как Вы, умела только играть (СОВСЕМ не умею!) и не шла бы в эту игру всей собой, я была бы и чище и счастливее. (NB! счастливее — да, чище — нет. 1932 г.) Моя душа мне всегда мешала, есть икона Спас-Нерукотворное Око, так вот — нерукотворное око высшей совести: перед собой.

(NB! Внося верх в низ, душу в любовь, я неизменно возвышала — другого и никогда не снижалась — сама. Ни от одной любви у меня не осталось чувства унижения — своего, только бессовестности — чужой. Мне не стыдно, что я тебя такого любила: я тебя не такого любила и пока я тебя любила, ты *не* был таким, но тебе должно быть (и есть) стыдно, что ты меня такую не любил — не так любил.)

А еще... неудачные встречи, слабые люди. Я *всегда* хотела *служить*, всегда исступленно мечтала слушаться, вверяться, быть вне своей воли (своеволия), быть младше <фраза не окончена>. Быть в надежных старших руках. *Слабо* держали — оттого уходила.

Как поэту — мне не нужен никто. Как женщине, т.е. существу смутному, мне нужна ясность, — и существу стихийному — мне нужна воля: воля другого к лучшей мне.

<1923>

* * *

Друг, по горячему следу
Слез...
Препечальная повесть!
– «С Вашим счастливым соседом
Я поменялся бы тотчас!»

Обомлевать, распинаться,
Льстить? (Возвеличен, целован!)
Мой сотрапезник парнасский –
С бедным соседом столовым?

Но не за высшим ль столом ты?..
– Нет! не пойму! надоумьте! –
Для передачи солонки?
Для пополнения рюмки?

Только-то?.. Кравчий имперский –
С кем?
И с усмешкой, как внуку:
– Место имею в моем сердце
По мою правую руку!

29 апреля 1925

Любовь без ревности есть любовь вне пола. Есть ли такая? 1) без ревности 2) вне пола. Есть любовь с невозможностью ревности, т.е. любовь несравненного, вне сравнения стоящего. Та́к, может ли Гёте ревновать любимую – к любому? (Ревность – ведь это некий *низший* заговор равных. Своего рода – братство. Одну дрянь променяла на другую дрянь.)

В ревности ведь элемент – признания соперника, хотя бы – пра́ва его на существование. Нельзя ревновать к тому, чего *вообще* не должно быть, к тому, которого вообще – нет. (А Пушкин – Дантес?) Нельзя ревновать к пустому месту...

В ревности есть элемент равенства: ревность есть равенство. Нельзя ревновать к заведомо-низшему, соревноваться с заведомо-слабейшим тебя, здесь уже ревность заменяется презрением.

Позвольте, но есть разные планы превосходства (соревнования). Бетховен превосходил любого – сущностью, но любой превосходил Бетховена – красотой. Гёте (80-ти лет) превосходил любого гением (и красотой!), но любой превосходил его молодостью.

Ревность от высшего к низшему (Бетховена – к Иксу, Гёте – к Игреку, Пушкина – к Дантесу) не есть ревность *лица* к лицу, а *лица* – к стихии, т.е. к красоте, молодости, скажем вежливо – шарму, к<отор>ые есть – стихия (слепая).

К *лицу* ревновать не будешь, *сам полюбишь! Гёте не* может ревновать к Бетховену – вздор! Либо: не та ревность, боль – *иного* качества: *боль-восторг*, за которую – благодарность.

Но ревность Гёте к помощнику садовника, на к<оторо>го загляделась его <пропуск одного слова> (я такого случая не знаю: наверное – был) – есть именно ревность в ее безысходности, ревность к стихии – и потому – стихийная.

Только не надо путать стихии – с данным, его «лицо» (нелицо) удостаивать своей ревности (страдания). Надо знать, что терпишь – от легиона: слепого и безымянного.

И чем *нулевее* соперник – тем *полнее* ревность: Пушкин – Дантес. (Нулевее – и как круглый нуль, и как последний нуль порядкового числительного: миллионный, ста-миллионный и т.д.)

В лице Дантеса Пушкин ревновал к нелицу. И – *нелицо́м* (ПО́ЛОМ – тем самым шармом!) был убит.

* * *

Дом с зеленою гущей:
Кущ зеленою кровью...
Где покончила – пуще
Чем с собою: с любовью.

14 июня 1932

Милые дети,

Я никогда о вас отдельно не думаю: я всегда думаю, что вы люди или нелюди (как мы). Но говорят, что вы *есть*, что вы — особая порода, еще поддающаяся воздействию.

Потому:

— Никогда не лейте зря воды, п.ч. в эту же секунду из-за отсутствия этой капли погибает в пустыне человек.

— Но оттого что я не пролью этой воды, он этой воды не получит!

— Не получит, но на свете станет одним бессмысленным преступлением меньше.

— Потому же никогда не бросайте хлеба, а увидите на улице, под ногами, подымайте и кладите на ближний забор, ибо есть не только пустыни, где умирают без воды, но трущобы, где умирают без хлеба. Кроме того, м.б., этот хлеб заметит голодный, и ему менее совестно будет взять его та́к, чем с земли.

Никогда не бойтесь смешного, и если видите человека в глупом положении: 1) постарайтесь его из него извлечь, если же невозможно — прыгайте в него к нему как в воду, вдвоем глупое положение делится пополам: по половинке на каждого — или же, на *худой* конец — не видьте его.

Никогда не говорите, что так *все* делают: все всегда плохо делают — раз так охотно на них ссылаются (№! ряд примеров, к<отор>ые сейчас опускаю). 2) у всех есть второе имя: никто, и совсем нет лица: бельмо. Если вам скажут: так никто не делает (не одевается, не думает, и т.д.) отвечайте: — А я — *кто*.

В более же важных случаях — поступках —

— Et s'il n'en reste qu'un — je serai celui-là[1].

Не говорите «немодно», но всегда говорите: *неблагородно*. И в рифму — и лучше (звучит и получается).

Не слишком сердитесь на своих родителей, — помните, что и они были *вами*, и вы будете *ими*.

Кроме того, для вас они — родители, для себя — я. Не исчерпывайте их — их родительством.

1 И если останется только один — им буду я (*фр.*).

Не осуждайте своих родителей на́ смерть раньше (ваших) сорока́ лет. А тогда — рука не подымется!

Увидя на дороге камень — убирайте, представьте себе, что это вы бежите и расшибаете себе нос, и из сочувствия (себе в другом) — убирайте.

Не стесняйтесь уступить старшему место в трамвае.

Стесняйтесь — *не* уступить.

Не отличайте себя от других — в материальном. Другие — это тоже вы, тот же вы. (Все одинаково хотят есть, спать, сесть — и т.д.)

Не торжествуйте победы над врагом. Достаточно — сознания. После победы стойте с опущенными глазами, или с поднятыми — и протянутой рукой.

Не отзывайтесь при других иронически о своем любимом животном (чем бы ни было — любимом). Другие уйдут, свой — останется.

Книгу листайте с верхнего угла страницы. — Почему? — П.ч. читают не снизу вверх, а сверху вниз.

Кроме того — это у меня *в руке*.

Наклоняйте суповую тарелку к себе, а не к другому: суп едят к себе, а не от себя, 2) чтобы, в случае беды, пролить суп не на скатерть и не на vis-á-vis[1], себе на колени.

1 Сидящего напротив (*фр.*).

Когда вам будут говорить: – Это романтизм, – вы спросите: – Что такое романтизм? – и увидите, что никто не знает, что люди берут в рот (и даже дерутся им! и даже плюются им! запускают <пропуск одного слова> вам в лоб!) слово, смысл к<оторо>го они не знают.

Когда же окончательно убедитесь, что *не* знают, сами отвечайте бессмертным словом Жуковского:

Романтизм – это душа.

Когда вас будут укорять в отсутствии «реализма», отвечайте вопросом:

– Почему башмаки – реализм, а душа – нет? Что более реально: башмаки, которые проносились, или душа, к<отор>ая не пронашивается? И кто мне в последнюю минуту (смерти) поможет: – башмак?

– Но подите-ка покажите душу!

– Но (говорю *их* языком) подите-ка покажите почки или печень. А они все-таки – есть, и никто *своих* почек глазами не видел.

Кроме того, *что-то* болит: *не* зуб, *не* голова, *не* живот, не – не – не – – а *болит.*

Это и есть душа.

Побег

* * *

Тише, тише, тише, век мой громкий!
За меня потоки — и потомки.

1931

* * *

— Не нужен твой стих —
Как бабушкин сон.
— А мы для иных
Сновидим времен.

— Докучен твой стих —
Как дедушкин вздох.
— А мы для иных
Дозорим эпох.

— В пять лет — целый свет —
Вот сон наш каков!
— Ваш — на́ пять лишь лет.
Мой — на пять веков.

— Иди, куда дни!
— Дни *мимо* идут...

– Иди, куда *мы*.
– Слепые ведут.

А быть или нет
Стихам на Руси –
Потоки спроси,
Потомков спроси.

Медан
14 сентября 1931

* * *

О поэте не подумал
Век – и мне не до него.
Бог с ним, с громом. Бог с ним, с шумом
Времени не моего!

Если веку не до предков –
Не до правнуков мне: стад.
Век мой – яд мой, век мой – вред мой,
Век мой – враг мой, век мой – ад.

Сентябрь 1934

* * *

Уединение: уйди
В себя, как прадеды в феоды.
Уединение: в груди
Ищи и находи свободу.

Чтоб ни души, чтоб ни ноги –
На свете нет такого саду
Уединению. В груди
Ищи и находи прохладу.

Кто победил на площади –
Про то не думай и не ведай.
В уединении груди –
Справляй и погребай победу

Уединения в груди.
Уединение: уйди,

Жизнь!

Сентябрь 1934

* * *

Жизни с краю,
Середкою брезгуя,
Провожаю
Дорогу железную.

Века с краю
В запретные зоны
Провожаю
Кверх лбом – авионы.

Почему же,
О люди в полете!
Я – «отстала»,
А вы – отстаете,

Остаетесь.
Крылом – с ног сбивая,
Вы несетесь,
А опережаю –

Я?

Февраль 1935

* * *

«Двух станов не боец,
А только гость случайный...»

Двух станов не боец, а – если гость случайный –
То гость – как в глотке кость, гость –
как в подметке гвоздь.
Была мне голова дана – по ней стучали
В два молота: одних – корысть и прочих – злость.

Вы с этой головы – к создателеву чуду
Терпение мое, рабочее, прибавь –
Вы с этой головы – что́ требовали? – Блуда!
Дивяся на ответ упорный: обезглавь.

Вы с этой головы, уравненной – как гряды
Гор, вписанный в вершин божественный чертеж,
Вы с этой головы – что́ требовали? – Ряда.
Дивяся на ответ (безмолвный): обезножь!

Вы с этой головы, настроенной – как лира:
На самый высший лад: лирический... – Нет, стой!
Два строя: Домострой – (и Днепрострой –
на выбор!)
Дивяся на ответ безумный: – Лиры – строй.

И с этой головы, с лба – серого гранита,
Вы требовали: нас – люби! тех – ненавидь!
Не все ли ей равно – с какого боку битой,
С какого профиля души – глушимой быть?

Бывают времена, когда голов – не надо.
Но слово низводить до свеклы кормовой –
Честнее с головой Орфеевой – менады!
Иродиада с Иоанна головой!

Ты царь: живи один... – Но у царей – наложниц
Минута. *Бог* – один. Тот – в пустоте небес.

Двух станов не боец: судья – истец – заложник –
Двух – противубоец! Дух – противубоец.

Ванв
25 октября 1935

Отцам

1

В мире, ревущем:
– Слава грядущим!
Что́ во мне шепчет:
– Слава прошедшим!

Вам, проходящим,
В счет не идущим,
Чад не родящим,
Мне – предыдущим.

С клавишем, с кистью ль
Спорили, с дестью ль
Писчею – чисто
Прожили, с честью.

Белые – краше
Снега сокровищ! –
Волосы – вашей
Совести – повесть.

14–15 сентября 1935

2

Поколенью с сиренью
И с Пасхой в Кремле,
Мой привет поколенью –
По колено в земле,

А сединами – в звездах!
Вам, слышней камыша,
– Чуть зазыблется воздух –
Говорящим: ду-ша!

Только душу и спасшим
Из фамильных богатств,
Современникам старшим –
Вам, без равенств и братств,

Руку веры и дружбы,
Как кавказец – кувшин
С виноградным! – врагу же –
Две – протягивавшим!

Не Сиреной – сиренью
Заключенное в грот,
Поколенье – с пареньем!
С тяготением – *от*

Земли, *над* землей, прочь от
И червя и зерна!
Поколенье – без почвы,
Но с такою – до дна

Днища узренной бездной,
Что из впалых орбит
Ликом девы любезной –
Как живая глядит.

Поколенье, где краше
Был – кто жарче страдал!
Поколенье! Я – ваша!
Продолженье зеркал.

Ваша – сутью и статью.
И почтеньем к уму,
И презрением к платью
Плоти – временному!

Вы – ребенку, поэтом
Обреченному быть,
Кроме звонкой монеты
Все – внушившие – чтить:

Кроме бога Ваала!
Всех богов – всех времен – и племен.
Поколенью – с провалом –
Мой бессмертный поклон!

Вам, в одном небывалом
Умудрившимся – *быть*,
Вам, средь шумного бала
Так умевшим – любить!

До последнего часа
Обращенным к звезде –
Уходящая раса,
Спасибо тебе!

16 октября 1935

Жизни

1

Не возьмешь моего румянца –
Сильного – как разливы рек!
Ты охотник, но я не дамся,
Ты погоня, но я есмь бег.

Не возьмешь мою душу живу!
Та́к, на полном скаку погонь –
Пригибающийся – и жилу
Перекусывающий конь

Аравийский.

27 декабря 1924

2

Не возьмешь мою душу живу,
Не дающуюся как пух.
Жизнь, ты часто рифмуешь с: лживо, –
Безошибочен певчий слух!

Не задумана старожилом!
Отпусти к берегам чужим!
Жизнь, ты явно рифмуешь с жиром:
Жизнь: держи его! жизнь: нажим.

Жестоки у ножных костяшек
Кольца, в кость проникает ржа!
Жизнь: ножи, на которых пляшет
Любящая.
– Заждалась ножа!

28 декабря 1924

* * *

От родимых сёл, сёл!
– Наваждений! Новоявленностей!
Чтобы поезд шел, шел,
Чтоб нигде не останавливался,

Никуда не приходил.
В вековое! Незастроенное!
Чтобы ветер бил, бил,
Выбивалкою соломенною

Просвежил бы мозг, мозг
– Все осевшее и плесенное! –
Чтобы поезд нёс, нёс,
Быстрей лебедя, как в песенке...

Сухопутный шквал, шквал!
Низвержений! Невоздержанностей!

Чтобы поезд мчал, мчал,
Чтобы только не задерживался.

Чтобы только не срастись!
Не поклясться! не насытиться бы!
Чтобы только – свист, свист
Над проклятою действительностью.

Феодальных нив! Глыб
Первозданных! незахватанностей!
Чтобы поезд шиб, шиб,
Чтобы только не засматривался

На родимых мест, мест
Августейшие засушенности!
Всё едино: Пешт – Брест –
Чтобы только не заслушивался.

Никогда не спать! Спать?!
Грех последний, неоправданнейший.
Птиц, летящих вспять, вспять
По пятам деревьев падающих!

Чтоб не ночь, не две! – две?! –
Еще дальше царства некоего –
Этим поездом к тебе
Все бы ехала и ехала бы.

Конец мая 1925

* * *

Зная только одни августейшие беды, как любовь к нелюбящему, смерть матери, тоску по своему семилетию, – *такое,* зная только *чистые* беды: раны *(не* язвы!) – и все это в прекрасном декоруме: сначала феодального дома, затем – эвксинского брега – не забыть хлыстовской Тарусы, точно нарочно данной отродясь, чтобы весь век ее во всем искать и нигде не находить – я до самого 1920 г. недоумевала: зачем

героя непременно в подвал и героиню непременно с желтым билетом. Меня знобило от Достоевского. Его черноты жизни мне казались предвзятыми, отсутствие природы (сущей и на Сенной: и *над* Сенной в виде – *неба:* вездесущего!) не давало дышать. Дворники, углы, номера, яичные скорлупы, плевки – когда есть небо: *для всех.*

То же – toutes proportions gardées![1] – я ощущала от стихов 18-летнего Эренбурга, за которые (присылку которых – присылал все книжки) – его даже не благодарила, ибо в каждом стихотворении – писсуары, весь Париж – сплошной писсуар: Париж набережных, каштанов, Римского Короля, одиночества, – Париж моего шестнадцатилетия.

То же – toutes proportions encore mieux gardées[2] – ощущаю во всяком Союзе Поэтов, революционном или эмигрантском, где что ни стих – то нарыв, что ни четверостишие – то бочка с нечистóтами: между нарывом и нужником. *Эстетический подход! – Этический отскок.*

Сад

За этот ад,
За этот бред,
Пошли мне сад
На старость лет.

На старость лет,
На старость бед:
Рабочих – лет,
Горбатых – лет...

На старость лет
Собачьих – клад:
Горячих лет –
Прохладный сад...

Для беглеца
Мне сад пошли:
Без ни – лица,
Без ни – души!

Сад: ни шажка!
Сад: ни глазка!
Сад: ни смешка!
Сад: ни свистка!

Без ни – ушка
Мне сад пошли:
Без *ни* – душка!
Без ни – души!

Скажи: довольно мýки – на
Сад – одинокий, как сама.
(Но около и Сам не стань!)
– Сад, одинокий, как ты Сам.

Такой мне сад на старость лет...
– Тот сад? А может быть – тот свет?
На старость лет моих пошли –
На отпущение души.

1 октября 1934

* * *

Умирая, не скажу: *была.*
И не жаль, и не ищу виновных.
Есть на свете поважней дела
Страстных бурь и подвигов любовных.

Ты – крылом стучавший в эту грудь,
Молодой виновник вдохновенья –
Я тебе повелеваю: – будь!
Я – не выйду из повиновенья.

30 июня 1918

1 С учетом пропорций (*фр.*).
2 С еще большим учетом пропорций (*фр.*).

* * *

На што мне облака и степи
И вся подсолнечная ширь!
Я раб, свои взлюбивший цепи,
Благословляющий Сибирь.

Эй вы, обратные по трахту!
Поклон великим городам.
Свою застеночную шахту
За всю свободу не продам.

Поклон тебе, град Божий, Киев!
Поклон, престольная Москва!
Поклон, мои дела мирские!
Я сын, не помнящий родства...

Не встанет — любоваться рожью
Покойник, возлюбивший гроб.
Заворожил от света Божья
Меня верховный рудокоп.

3 мая 1921

Эмигрант

Здесь, меж вами: домами, деньгами, дымами
Дамами, Думами,
Не слюбившись с вами, не сбившись с вами,
Неким —
Шуманом пронося под полой весну:
Выше! из виду!
Соловьиным тремоло на весу —
Некий — избранный.

Боязливейший, ибо взяв на дыб —
Ноги лижете!
Заблудившийся между грыж и глыб
Бог в блудилище.

Лишний! Вышний! Выходец! Вызов! Ввысь
Не отвыкший... Виселиц
Не принявший... В рвани валют и виз
Веги — выходец.

9 февраля 1923

Поэты

1

Поэт — издалека заводит речь.
Поэта — далеко заводит речь.

Планетами, приметами, окольных
Притч рытвинами... Между *да* и *нет*
Он даже размахнувшись с колокольни
Крюк выморочит... Ибо путь комет —

Поэтов путь. Развеянные звенья
Причинности — вот связь его! Кверх лбом —
Отчаетесь! Поэтовы затменья
Не предугаданы календарем.

Он тот, кто смешивает карты,
Обманывает вес и счет,
Он тот, кто *спрашивает* с парты,
Кто Канта наголову бьет,

Кто в каменном гробу Бастилий
Как дерево в своей красе.
Тот, чьи следы — всегда простыли,
Тот поезд, на который все
Опаздывают...
— ибо путь комет

Поэтов путь: жжя, а не согревая.
Рвя, а не взращивая — взрыв и взлом —

Твоя стезя, гривастая кривая,
Не предугадана календарем!

8 апреля 1923

2

Есть в мире лишние, добавочные,
Не вписанные в окоем.
(Нечислящимся в ваших справочниках,
Им свалочная яма – дом.)

Есть в мире полые, затолканные,
Немотствующие – навоз,
Гвоздь – вашему подолу шелковому!
Грязь брезгует из-под колес!

Есть в мире мнимые, невидимые:
(Знак: лепрозариумов крап!)
Есть в мире Иовы, что Иову
Завидовали бы – когда б:

Поэты мы – и в рифму с париями,
Но выступив из берегов,
Мы бога у богинь оспариваем
И девственницу у богов!

22 апреля 1923

3

Что же мне делать, слепцу и пасынку,
В мире, где каждый и отч и зряч,
Где по анафемам, как по насыпям –
Страсти! где насморком
Назван – плач!

Что же мне делать, ребром и промыслом
Певчей! – как провод! загар! Сибирь!
По наважденьям своим – как по́ мосту!
С их невесомостью
В мире гирь.

Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший – сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью
В мире мер?!

22 апреля 1923

Крестины

Воды не перетеплил
В чану, зазнобил – как надобно –
Тот поп, что меня крестил.
В ковше плоскодонном свадебном

Вина не пересластил –
Душа да не шутит брашнами! –
Тот поп, что меня крестил
На трудное дело брачное:

Тот поп, что меня венчал.
(Ожжясь, поняла танцовщица,
Что сок твоего, Анчар,
Плода в плоскодонном ковшике

Вкусила...)
– На вечный пыл
В пещи *смоляной* поэтовой
Крестил – кто меня крестил
Водою неподогретою

Речною, – на свыше сил
Дела, *не вершимы женами* –
Крестил – кто меня крестил
Бедою неподслащенною:

Беспримесным тем вином.
Когда поперхнусь – напомните!

Каким опалюсь огнем?
Всé страсти водою комнатной

Мнé кажутся. Трижды прав
Тот поп, что меня обкарнывал.
Каких убоюсь отрав?
Все яды — водой отварною

Мне чудятся. Что мне рок
С его родовыми страхами —
Раз собственные, вдоль щек,
Мне слезы — водою сахарной!

А ты, что меня крестил
Водой исступленной Савловой
(Так Савл, занеся костыль,
Забывчивых останавливал) —

Молись, чтоб тебя простил —
Бог.

1 января 1925

Разговор с гением

Глыбами — лбу
Лавры похвал.
«Петь не могу!»
— «Будешь!» — «Пропал,

(На толокно
Переводи!)
Как молоко —
Звук из груди.

Пусто. Суха́.
В полную веснь —
Чувство сука».
— «Старая песнь!

Брось, не морочь!»
«Лучше мне впредь —
Камень толочь!»
— «Тут-то и петь!»

«Что́ я, снегирь,
Чтоб день-деньской
Петь?»
— «Не моги,
Пташка, а пой!

На́зло врагу!»
«Коли двух строк
Свесть не могу?»
— «Кто когда — *мог?!*»

«Пытка!» — «Терпи!»
«Скошенный луг —
Глотка!» — «Хрипи:
Тоже ведь — звук!»

«Львов, а не жен
Дело». — «*Детей:*
Распотрошен —
Пел же — Орфей!»

«Так и в гробу?»
— «И под доской».
«*Петь* не могу!»
— «*Это* воспой!»

Медон,
4 июня 1928

* * *

Вскрыла жилы: неостановимо,
Невосстановимо хлещет жизнь.
Подставляйте миски и тарелки!

Всякая тарелка будет — мелкой,
Миска — плоской.
Через край — и *мимо* —
В землю черную, питать тростник.
Невозвратно, неостановимо,
Невосстановимо хлещет стих.

6 января 1934

* * *

Есть счастливцы и счастливицы,
Петь *не* могущие. Им —
Слезы лить! Как сладко вылиться
Горю — ливнем проливным!

Чтоб под камнем что-то дрогнуло.
Мне ж — призвание как плеть —
Меж стенания надгробного
Долг повелевает — петь.

Пел же над другом своим Давид,
Хоть пополам расколот!
Если б Орфей не сошел в Аид
Сам, а послал бы голос

Свой, только голос послал во тьму,
Сам у порога *лишним*
Встав, — Эвридика бы по нему
Как по канату вышла...

Как по канату и как на свет,
Слепо и без возврата.
Ибо раз *голос* тебе, поэт,
Дан, остальное — взято.

Январь 1935

Я БЛАГОДАРНА ПОЭТАМ

А.С. Пушкину

(1799–1837)

Встреча с Пушкиным

Я подымаюсь по белой дороге,
Пыльной, звенящей, крутой.
Не устают мои легкие ноги
Выситься над высотой.

Слева – крутая спина Аю-Дага,
Синяя бездна – окрест.
Я вспоминаю курчавого мага
Этих лирических мест.

Вижу его на дороге и в гроте...
Смуглую руку у лба...
– Точно стеклянная на повороте
Продребезжала арба...

Запах – из детства – какого-то дыма
Или каких-то племен...
Очарование прежнего Крыма
Пушкинских милых времен.

Пушкин! – Ты знал бы по первому взору,
Кто у тебя на пути.
И просиял бы, и под руку в гору
Не предложил мне идти.

Не опираясь о смуглую руку,
Я говорила б, идя,
Как глубоко презираю науку
И отвергаю вождя,

Как я люблю имена и знамена,
Волосы и голоса,
Старые вина и старые троны,
– Каждого встречного пса! –

Полуулыбки в ответ на вопросы,
И молодых королей...
Как я люблю огонек папиросы
В бархатной чаще аллей,

Комедиантов и звон тамбурина,
Золото и серебро,
Неповторимое имя: Марина,
Байрона и болеро,

Ладанки, карты, флаконы и свечи,
Запах кочевий и шуб,
Лживые, в душу идущие, речи
Очаровательных губ.

Эти слова: никогда и навеки,
За колесом – колею...
Смуглые руки и синие реки,
– Ах, – Мариулу твою! –

Треск барабана – мундир властелина –
Окна дворцов и карет,
Рощи в сияющей пасти камина,
Красные звезды ракет...

Вечное сердце свое и служенье
Только ему. Королю!
Сердце свое и свое отраженье
В зеркале... – Как я люблю...

Кончено... – Я бы уж не говорила,
Я посмотрела бы вниз...
Вы бы молчали, так грустно, так мило
Тонкий обняв кипарис.

Мы помолчали бы оба – не так ли? –
Глядя, как где-то у ног,
В милой какой-нибудь маленькой сакле
Первый блеснул огонек.

И – потому что от худшей печали
Шаг – и не больше – к игре! –
Мы рассмеялись бы и побежали
За руку вниз по горе.

1 октября 1913

* * *

Счастие или грусть –
Ничего не знать наизусть,
В пышной тальме катать бобровой,
Сердце Пушкина теребить в руках,
И прослыть в веках –
Длиннобровой,
Ни к кому не суровой –
Гончаровой.

Сон или смертный грех –
Быть как шелк, как пух, как мех,
И, не слыша стиха литого,
Процветать себе без морщин на лбу.
Если грустно – кусать губу,
И потом, в гробу,
Вспоминать – Ланского.

11 ноября 1916

Психея

Пунш и полночь. Пунш — и Пушкин,
Пунш — и пенковая трубка
Пышущая. Пунш — и лепет
Бальных башмачков по хриплым
Половицам. И — как призрак —
В полукруге арки — птицей —
Бабочкой ночной — Психея!
Шепот: «Вы еще не спите?
Я — проститься...» Взор потуплен.
(Может быть, прощенья просит
За грядущие проказы
Этой ночи?) Каждый пальчик
Ручек, павших Вам на плечи,
Каждый перл на шейке плавной
По сто раз перецелован.
И на цыпочках — как пери! —
Пируэтом — привиденьем —
Выпорхнула.
Пунш — и полночь.
Вновь впорхнула: «Что за память!
Позабыла опахало!
Опоздаю... В первой паре
Полонеза...»
Плащ накинув
На одно плечо — покорно —
Под руку поэт — Психею
По трепещущим ступенькам
Провожает. Лапки в плед ей
Сам укутал, волчью полость
Сам запахивает... — «С Богом!»
А Психея,
К спутнице припав — слепому
Пугалу в чепце — трепещет:
Не прожег ли ей перчатку
Пылкий поцелуй арапа...
. . . . . .
Пунш и полночь. Пунш и пепла

Ниспаденье на персидский
Палевый халат — и платья
Бального пустая пена
В пыльном зеркале...

Начало марта 1920

Стихи к Пушкину

1

Бич жандармов, бог студентов,
Желчь мужей, услада жен,
Пушкин — в роли монумента?
Гостя каменного? — он,

Скалозубый, нагловзорый
Пушкин — в роли Командора?

Критик — но́я, нытик — вторя:
«Где же пушкинское (взрыд)
Чувство меры?» Чувство — моря
Позабыли — о гранит

Бьющегося? Тот, соленый
Пушкин — в роли лексикона?

Две ноги свои — погреться —
Вытянувший, и на стол
Вспрыгнувший при самодержце
Африканский самовол —

Наших прадедов умора —
Пушкин — в роли гувернера?

Черного не перекрасить
В белого — неисправим!
Недурен российский классик,
Небо Африки — своим

Звавший, невское — проклятым!
— Пушкин — в роли русопята?

Ох, брадатые авгуры!
Задал, задал бы вам бал
Тот, кто царскую цензуру
Только с дурой рифмовал,

А «Европы Вестник» — с...
Пушкин — в роли гробокопа?

К пушкинскому юбилею
Тоже речь произнесем:
Всех румяней и *смуглее*
До сих пор на свете всем,

Всех живучей и живее!
Пушкин — в роли мавзолея?

То-то к пушкинским избушкам
Лепитесь, что сами — хлам!
Как из душа! Как из пушки —
Пушкиным — по соловьям

Слова, соколáм полета!
— Пушкин — в роли пулемета!

Уши лопнули от вопля:
«Перед Пушкиным во фрунт!»
А куда девали пёкло
Губ, куда девали — бунт

Пушкинский? уст окаянство?
Пушкин — в меру пушкиньянца!

Томики поставив в шкафчик —
Посмешаете ж его,
Беженство свое смешавши
С белым бешенством его!

Белокровье мозга, морга
Синь — с оскалом негра, горло
Кажущим...

Поскакал бы, Всадник Медный,
Он со всех копыт — назад.
Трусоват был Ваня бедный,
Ну, а он — *не* трусоват.

Сей, глядевший во все страны —
В роли собственной Татьяны?

Что́ вы делаете, карлы,
Этот — голубей олив —
Самый вольный, самый крайний
Лоб — навеки заклеймив

Низостию двуединой
Золота и середины?

«Пушкин — тога, Пушкин — схима,
Пушкин — мера, Пушкин — грань...»
Пушкин, Пушкин, Пушкин — имя
Благородное — как брань

Площадную — попугаи.
— Пушкин? Очень испугали!

1931

2

Петр и Пушкин

Не флотом, не пóтом, не задом
В заплатах, не Шведом у ног,
Не ростом — из всякого ряду,
Не сносом — всего, чему срок,

Не лотом, не бóтом, не пивом
Немецким сквозь кнастеров дым,

И даже и не Петро-дивом
Своим (Петро-делом своим!).

И бóльшего было бы мало
(Бог дал, человек не обузь!) –
Когда б не привез Ганнибала –
Арапа на белую Русь.

Сего афричонка в науку
Взяв, всем россиянам носы
Утер и наставил, – от внука-
то *негрского* – свет на Руси!

Уж он бы вертлявого – в струнку
Не стал бы! – «На волю? Изволь!
Такой же ты камерный юнкер,
Как я – машкерадный король!»

Поняв, что ни пеной, ни пемзой –
Той Африки, – царь-грамотей
Решил бы: «Отныне *я* – цензор
Твоих африканских страстей».

И дав бы ему по загривку
Курчавому (стричь – не остричь!):
«Иди-ка, сынок, на побывку
В свою африканскую дичь!

Плыви – ни об чем не печалься!
Чай есть в паруса кому дуть!
Соскучишься – так ворочайся,
А нет – хошь и дверь позабудь!

Приказ: ледяные туманы
Покинув – за пядию пядь
Обследовать жаркие страны
И виршами нам описать».

И мимо наставленной свиты,
Отставленной – прямо на склад,

Гигант, отпустивши пииту,
Помчал – по земле или *над*?

Сей не по снегам смуглолицый
Российским – снегов Измаил!
Уж он бы заморскую птицу
Архивами не заморил!

Сей, не по кровям торопливый
Славянским, сей *тоже* – метис!
Уж ты б у него по архивам
Отечественным не закис!

Уж он бы с тобою – поладил!
За непринужденный поклон
Разжалованный – Николаем,
Пожалованный бы – Петром!

Уж он бы жандармского сыска
Не крыл бы «отечеством чувств»!
Уж он бы тебе – василиска
Взгляд! – не замораживал уст.

Уж он бы полтавских не комкал
Концов, не тупил бы пера.
За что недостойным потомком –
Подонком – опенком Петра

Был сослан в румынскую область,
Да ею б – пожалован был
Сим – так ненавидевшим робость
Мужскую, – что сына убил

Сробевшего. – «Эта мякина –
Я? – Вот и роди! и расти!»
Был *негр* ему истинным сыном,
Так истинным правнуком – *ты*

Останешься. Заговор равных.
И вот не спросясь повитух

Гигантова крестника правнук
Петров унаследовал дух.

И шаг, и светлейший из светлых
Взгляд, коим поныне светла...
Последний – посмертный – *бес*смертный
Подарок России – Петра.

2 июля 1931

3

(Станок)

Вся его наука –
Мощь. Светло́ – гляжу:
Пушкинскую руку
Жму, а не лижу.

Прадеду – товарка:
В той же мастерской!
Каждая помарка –
Как своей рукой.

Вольному – под стопки?
Мне, в *котле* чудес
Сём – открытой скобки
Ведающей – вес,

Мнящейся описки –
Смысл, короче – всё.
Ибо нету сыска
Пуще, чем родство!

Пелось как – поется
И поныне – та́к.
Знаем, как «дается»!
Над тобой, «пустяк»,

Знаем – как потелось!
От тебя, мазок,

Знаю – как хотелось
В лес – на бал – в возок..

И как – спать хотелось!
Над цветком любви –
Знаю, как скрипелось
Негрскими зубьми!

Перья на востро́ты –
Знаю, как чинил!
Пальцы не просохли
От его чернил!

А зато – меж талых
Свеч, картежных сеч –
Знаю – как стрясалось!
От зеркал, от плеч

Голых, от бокалов
Битых на полу –
Знаю, как бежалось
К голому столу!

В битву без злодейства:
Самого́ – с самим!
– Пушкиным не бейте!
Ибо бью вас – им!

1931

4

Преодоленье
Косности русской –
Пушкинский гений?
Пушкинский мускул

На кашалотьей
Туше судьбы –

Мускул полета,
Бега,
Борьбы.

С утренней негой
Бившийся – бодро!
Ровного бега,
Долгого хода –

Мускул. Побегов
Мускул степных,
Шлюпки, что к брегу
Тщится сквозь вихрь.

Не онеду́жен
Русскою кровью –
О, не верблюжья
И не воловья
Жила (усердство
Из-под ремня!) –
Конского сердца
Мышца – моя!

Больше балласту –
Краше осанка!
Мускул гимнаста
И арестанта,
Что на канате
Собственных жил
Из каземата –
Соколом взмыл!

Пушкин – с монаршьих
Рук руководством
Бившийся так же
На́смерть – как бьется
(Мощь – прибывала,

Сила – росла)
С мускулом вала
Мускул весла.

Кто-то, на фуру
Несший: «Атлета
Мускулатура,
А не поэта!»

То – серафима
Сила – была:
Несокрушимый
Мускул – крыла.

10 июля 1931

Поэт и царь

1(5)

Потусторонним
Залом царей.
– А непреклонный
Мраморный сей?

Столь величавый
В золоте барм.
– Пушкинской славы
Жалкий жандарм.

Автора – хаял,
Рукопись – стриг.
Польского края –
Зверский мясник.

Зорче вглядися!
Не забывай:
Певцоубийца

Царь Николай
Первый.

2(6)

Нет, бил барабан перед смутным полком,
Когда мы вождя хоронили:
То зубы царёвы над мертвым певцом
Почетную дробь выводили.

Такой уж почет, что ближайшим друзьям —
Нет места. В изглавьи, в изножьи,
И справа, и слева — ручищи по швам —
Жандармские груди и рожи.

Не диво ли — и на тишайшем из лож
Пребыть поднадзорным мальчишкой?
На что-то, на что-то, на что-то похож
Почет сей, почетно — да слишком!

Гляди, мол, страна, как, молве вопреки,
Монарх о поэте печется!
Почетно — почетно — почетно — архи-
почетно, — почетно — до черту!

Кого ж это так — точно воры вора́
Пристреленного — выносили?
Изменника? Нет. С проходного двора —
Умнейшего мужа России.

Медон,
19 июля 1931

7

Народоправству, свалившему трон,
Не упразднившему — тренья:
Не поручать палачам похорон
Жертв, цензорам — погребенья

Пушкиных. В непредуказанный срок,
В предотвращение смуты.

Не увозить под (великий!) шумок
По воровскому маршруту —

Не обрекать на последний мрак,
Полную глухонемость —
Тела, обкарнанного и так
Ножницами — в поэмах.

Июль 1931

А. Шенье
(1762–1794)

Андрей Шенье

1

Андрей Шенье взошел на эшафот,
А я живу – и это страшный грех.
Есть времена – железные – для всех.
И не певец, кто в порохе – поет.

И не отец, кто с сына у ворот
Дрожа срывает воинский доспех.
Есть времена, где солнце – смертный грех.
Не человек – кто в наши дни живет.

17 апреля 1918

2

Не узнаю в темноте
Руки – свои иль чужие?
Мечется в страшной мечте
Черная Консьержерия.

Руки роняют тетрадь,
Щупают тонкую шею.
Утро крадется как тать.
Я дописать не успею.

17 апреля 1918

П.Ж. Беранже
(1780–1857)

Памяти Беранже

Дурная мать! – Моя дурная слава
Растет и расцветает с каждым днем.
То на пирушку заведет Лукавый,
То первенца забуду – за пером...

Завидуя императрицам моды
И маленькой танцовщице в трико,
Гляжу над люлькой, как уходят – годы,
Не видя, что уходит – молоко!

И кто из вас, ханжи, во время оно
Не пировал, забыв о платеже!
Клянусь бутылкой моего патрона
И вашего, когда-то, – Беранже!

Но одному – сквозь бури и забавы –
Я, несмотря на ветреность, – верна.
Не ошибись, моя дурная слава:
– Дурная мать, но верная жена!

6 июля 1918

Г. Гейне
(1797–1856)

Памяти Г. Гейне

Хочешь не хочешь – дам тебе знак!
Спор наш не кончен – а только начат!
В нынешней жизни – выпало так:
Мальчик поет, а девчонка плачет.

В будущей жизни – любо глядеть! –
Ты будешь плакать, *я* буду – петь!

Бубен в руке!
Дьявол в крови!
– Красная юбка
В черных сердцах!

Красною юбкой – в небо пылю!
Честь молодую – ковром подстелешь.
Как с мотыльками тебя делю –
Так с моряками меня поделишь!

Красная юбка? – Как бы не так!
Огненный парус! – Красный маяк!

Бубен в руке!
Дьявол в крови!
Красная юбка
В черных сердцах!

Слушай приметы: бела как мел,
И не смеюсь, а губами движу.
А чтобы – как увидал – сгорел! –
Не позабудь, что приду я – рыжей.

Рыжей, как этот кленовый лист,
Рыжей, как тот, что в лесах повис.

Бубен в руке!
Дьявол в крови!
Красная юбка
В черных сердцах!

<Начало апреля 1920>

А.А. Блоку
(1880–1921)

Стихи к Блоку

1

Имя твое — птица в руке,
Имя твое — льдинка на языке,
Одно-единственное движенье губ,
Имя твое — пять букв.
Мячик, пойманный на лету,
Серебряный бубенец во рту,

Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут.
В легком щелканье ночных копыт
Громкое имя твое гремит.
И назовет его нам в висок
Звонко щелкающий курок.

Имя твое — ах, нельзя! —
Имя твое — поцелуй в глаза,
В нежную стужу недвижных век,
Имя твое — поцелуй в снег.
Ключевой, ледяной, голубой глоток.
С именем твоим — сон глубок.

17 апреля 1916

2

Нежный призрак,
Рыцарь без укоризны,
Кем ты призван
В мою молодую жизнь?

Во мгле сизой
Стоишь, ризой
Снеговой одет.

То не ветер
Гонит меня по городу,
Ох, уж третий
Вечер я чую во́рога.

Голубоглазый
Меня сглазил
Снеговой певец.

Снежный лебедь
Мне по́д ноги перья стелет.
Перья реют
И медленно никнут в снег.

Так, по перьям,
Иду к двери,
За которой — смерть.

Он поет мне
За синими окнами,
Он поет мне
Бубенцами далекими,

Длинным криком,
Лебединым кликом —
Зовет.

Милый призрак!
Я знаю, что все мне снится.

Сделай милость:
Аминь, аминь, рассыпься!
Аминь.

1 мая 1916

3

Ты проходишь на Запад Солнца,
Ты увидишь вечерний свет,
Ты проходишь на Запад Солнца,
И метель заметает след.

Мимо окон моих – бесстрастный –
Ты пройдешь в снеговой тиши,
Божий праведник мой прекрасный,
Свете тихий моей души.

Я на душу твою – не зарюсь!
Нерушима твоя стезя.
В руку, бледную от лобзаний,
Не вобью своего гвоздя.

И по имени не окликну,
И руками не потянусь.
Восковому святому лику
Только *издали поклонюсь.*

И, под медленным снегом стоя,
Опущусь на колени в снег,
И во имя твое святое,
Поцелую вечерний снег.

Там, где поступью величавой
Ты прошел в гробовой тиши,
Свете тихий – святыя славы –
Вседержитель моей души.

2 мая 1916

4

Зверю – берлога,
Страннику – дорога,
Мертвому – дроги.
Каждому – свое.

Женщине – лукавить,
Царю – править,
Мне – славить
Имя твое.

2 мая 1916

5

У меня в Москве – купола горят!
У меня в Москве – колокола звонят!
И гробницы в ряд у меня стоят, –
В них царицы спят и цари.

И не знаешь ты, что зарей в Кремле
Легче дышится – чем на всей земле!
И не знаешь ты, что зарей в Кремле
Я молюсь тебе – до зари!

И проходишь ты над своей Невой
О ту пору, как над рекой-Москвой
Я стою с опущенной головой,
И слипаются фонари.

Всей бессонницей я тебя люблю,
Всей бессонницей я тебе внемлю –
О ту пору, как по всему Кремлю
Просыпаются звонари...

Но моя река – да с твоей рекой,
Но моя рука – да с твоей рукой
Не сойдутся. Радость моя, доколь
Не догонит заря – зари.

7 мая 1916

6

Думали — человек!
И умереть заставили.
Умер теперь, навек.
— Плачьте о мертвом ангеле!

Он на закате дня
Пел красоту вечернюю.
Три восковых огня
Треплются, лицемерные.

Шли от него лучи —
Жаркие струны по́ снегу!
Три восковых свечи —
Солнцу-то! Светоносному!

О поглядите, ка́к
Веки ввалились темные!
О поглядите, как
Крылья его поломаны!

Черный читает чтец,
Крестятся руки праздные...
— Мертвый лежит певец
И воскресенье празднует.

4 мая 1916

7

Должно быть — за то́й рощей
Деревня, где я жила,
Должно быть — любовь проще
И легче, чем я ждала.

— Эй, идолы, чтоб вы сдохли!
Привстал и занес кнут,
И окрику вслед — о́хлест,
И вновь бубенцы поют.

Над валким и жалким хлебом
За жердью встает — жердь.
И проволока под небом
Поет и поет смерть.

13 мая 1916

8

И тучи оводов вокруг равнодушных кляч,
И ветром вздутый калужский родной кумач,
И посвист перепелов, и большое небо,
И волны колоколов над волнами хлеба,
И толк о немце, доколе не надоест,
И желтый-желтый-за синею рощей-крест,
И сладкий жар, и такое на всем сиянье,
И имя твое, звучащее словно: ангел.

18 мая 1916

9

Как слабый луч сквозь черный морок адов —
Так голос твой под рокот рвущихся снарядов.

И вот в громах, как некий серафим,
Оповещает голосом глухим, —

Откуда-то из древних утр туманных —
Как нас любил, слепых и безымянных,

За синий плащ, за вероломства — грех...
И как нежнее всех — ту, глубже всех

В ночь канувшую — на дела лихие!
И как не разлюбил тебя, Россия.

И вдоль виска — потерянным перстом
Все водит, водит... И еще о том,

Какие дни нас ждут, как Бог обманет,
Как станешь солнце звать — и как *не* встанет...

Так, узником с собой наедине
(Или ребенок говорит во сне?),

Предстало нам — всей площади широкой! —
Святое сердце Александра Блока.

9 мая 1920

10

Вот он — гляди — уставший от чужбин,
Вождь без дружин.

Вот — горстью пьет из горной быстрины —
Князь без страны.

Там всё ему: и княжество, и рать,
И хлеб, и мать.

Красно твое наследие, — владей,
Друг без друзей!

15 августа 1921

11

Други его — не тревожьте его!
Слуги его — не тревожьте его!
Было так ясно на лике его:
Царство мое не от мира сего.

Вещие вьюги кружили вдоль жил, —
Плечи сутулые гнулись от крыл.
В певчую прорезь, в запекшийся пыл —
Лебедем душу свою упустил!

Падай же, падай же, тяжкая медь!
Крылья изведали право: лететь!
Губы, кричавшие слово: ответь! —
Знают, что этого нет — умереть!

Зори пьет, море пьет — в полную сыть
Бражничает. — Панихид не служить!
У навсегда повелевшего: быть! —
Хлеба достанет его накормить!

15 августа 1921

12

А над равниной —
Крик лебединый.
Матерь, ужель не узнала сына?
Это с заоблачной — он — версты,
Это последнее — он — прости.

А над равниной —
Вещая вьюга.
Дева, ужель не узнала друга?
Рваные ризы, крыло в крови...
Это последнее он: — Живи!

Над окаянной —
Взлет осиянный.
Праведник душу урвал — осанна!
Каторжник койку — обрел — теплынь.
Пасынок к матери в дом. — Аминь.

Август 1921

13

Не проломанное ребро —
Переломленное крыло.

Не расстрельщиками навылет
Грудь простреленная. Не вынуть

Этой пули. Не чинят крыл.
Изуродованный ходил.

Цепок, цепок венец из терний!
Что усопшему — трепет черни,

Женской лести лебяжий пух...
Проходил, одинок и глух,

Замораживая закаты
Пустотою безглазых статуй.

Лишь одно еще в нем жило:
Переломленное крыло.

Август 1921

14

Без зова, без слова, –
Как кровельщик падает с крыш.
А может быть, снова
Пришел, – в колыбели лежишь?

Горишь и не меркнешь,
Светильник немногих недель...
Какая из смертных
Качает твою колыбель?

Блаженная тяжесть!
Пророческий певчий камыш!
О, кто мне расскажет,
В какой колыбели лежишь?

– «Покамест не продан!»
Лишь с ревностью этой в уме
Великим обходом
Пойду по российской земле.

Полночные страны
Пройду из конца и в конец.
Где рот – его – рана,
Очей синеватый свинец?

Схватить его! Крепче!
Любить и любить его лишь!

О, кто мне нашепчет,
В какой колыбели лежишь?

Жемчужные зерна,
Кисейная сонная сень.
Не лавром, а терном
Чепца острозубая тень.

Не полог, а птица
Раскрыла два белых крыла!
– И снова родиться,
Чтоб снова метель замела?!

Рвануть его! Выше!
Держать! Не отдать его лишь!
О, кто мне надышит,
В какой колыбели лежишь?

А может быть, ложен
Мой подвиг, и даром – труды.
Как в землю положен,
Быть может – проспишь до трубы.

Огромную впалость
Висков твоих – вижу опять.
Такую усталость –
Ее и трубой не поднять!

Державная пажить,
Надежная, ржавая тишь.
Мне сторож покажет,
В какой колыбели лежишь.

22 ноября 1921

15

Как сонный, как пьяный,
Врасплох, не готовясь.
Височные ямы:
Бессонная совесть.

Пустые глазницы:
Мертво и светло.
Сновидца, всевидца
Пустое стекло.

Не ты ли
Ее шелестящей хламиды
Не вынес –
Обратным ущельем Аида?

Не эта ль,
Серебряным звоном полна,
Вдоль сонного Гебра
Плыла голова?

25 ноября 1921

16

Так, Господи! И мой обол
Прими на утвержденье храма.
Не свой любовный произвол
Пою – своей отчизны рану.

Не скаредника ржавый ларь –
Гранит, коленами протертый.
Всем отданы герой и царь,
Всем – праведник – певец – и мертвый.

Днепром разламывая лед,
Гробовым не смущаясь тесом,
Русь – Пасхою к тебе плывет,
Разливом тысячеголосым.

Так, сердце, плачь и славословь!
Пусть вопль твой – тысяча который? –
Ревнует смертная любовь.
Другая – радуется хору.

3 декабря 1921

Письмо к Ахматовой
(После смерти Блока)

Дорогая Анна Андреевна! Мне трудно Вам писать. Мне кажется – Вам ничего не нужно. Есть немецкое слово Säule[1] – по-русски нет – такой я Вас вижу: прекрасным обломком среди уцелевших деревьев. Их шум и Ваше молчание – что́ тут третьему? И все-таки пишу Вам, потому что я тоже дерево: бренное, льну к вечному. Дерево и людям: проходят, садятся (мне под тень, мне под солнце) – проходят. Я – пребываю. А потом меня срубят и сожгут и я буду огонь. (Шкафов из меня не делают.)

Смерть Блока. Еще ничего не понимаю и долго не буду понимать. Думаю: смерти никто не понимает. Когда человек говорит: смерть, он думает: жизнь. Ибо, если человек, умирая, задыхается и боится – или – наоборот – <пропуск одного слова> то все это: и задыхание – и страх – и <пропуск одного слова> жизнь. Смерть – это когда меня *нет*. Я же не могу почувствовать, что меня нет. Значит, своей смерти нет. Есть только смерть чужая: т. е. местная пустота, опустевшее место (уехал и где-то *живет*), т. е. опять-таки жизнь, не смерть, *немыслимая* пока ты жив. Его нет *здесь* (но где-то *есть*). Его нет – нет, ибо нам ничего не дано понять иначе как через себя, всякое иное понимание – попугайное повторение звуков.

Я думаю: страх смерти есть страх *бытия в небытии*, жизни – в гробу: буду лежать и по мне будут ползать черви. Таких как я и *поэтому* нужно жечь.

Кроме того – разве мое тело – я? Разве *оно* слушает музыку, пишет стихи и т.д.? Тело умеет только служить, слушаться. Тело – платье. Какое мне дело, если у меня его украли, в какую дыру, под каким камнем его закопал вор?

Чорт с ним! (и с вором и с платьем).

1 Колонна (*нем.*). (Твоя смерть). Повторение не мысли, а явления, однородную мысль вызывающего. Недаром я Блока ощущаю братом Р<ильке>, его младшим в святости – и мученичестве. Знаю, что из всех русск<их> поэтов Р<ильке> больше всего любил бы Блока. (*Прим. М. Цветаевой.*)

Смерть Блока.

Удивительно не то, что он умер, а то, что он жил[1]. Мало земных примет, мало платья. Он как-то сразу стал ликом, заживо-посмертным (в нашей любви). Ничего не оборвалось — отделилось. Весь он — такое явное торжество духа, такой воочию — дух, что удивительно, как жизнь вообще — допустила? (Быть *так* в нем — разбитой!)

Смерть Блока я чувствую как вознесение.

Человеческую боль свою глотаю: для него она кончена, не будем и мы думать о ней (отождествлять его с ней). Не хочу его в гробу, хочу его в зорях. (Вытянувшись на той туче!)

Но так как я более человек, чем кто-либо, так как мне дороги все земные приметы (здесь — священные), то нежно прошу Вас: напишите мне *правду* о его смерти. Здесь дорого всё. В Москве много легенд, отталкиваю. Хочу правды о праведнике.

1921

1 Впоследствии, точь-в-точь, слово в слово о Р<ильке>.

В.И. Иванову
(1866–1949)

Вячеславу Иванову

1

Ты пишешь перстом на песке,
А я подошла и читаю.
Уже седина на виске.
Моя голова — золотая.

Как будто в песчаный сугроб
Глаза мне зарыли живые.
Так дети сияющий лоб
Над Библией клонят впервые.

Уж лучше мне камень толочь!
Нет, горлинкой к воронам в стаю!
Над каждой песчинкою — ночь.
А я все стою и читаю.

2

Ты пишешь перстом на песке,
А я твоя горлинка, Равви!
Я первенец твой на листке
Твоих поминаний и здравий.

Звеню побрякушками бус,
Чтоб ты оглянулся — не слышишь!

О Равви, о Равви, боюсь –
Читаю не то, что ты пишешь!

А сумрак крадется, как тать,
Как черная рать роковая.
Ты знаешь – чтоб лучше читать –
О Равви – глаза закрываю...

Ты пишешь перстом на песке...

Москва, Пасха
1920

3

Не любовницей – любимицей
Я пришла на землю нежную.
От рыданий не подымется
Грудь мальчишая моя.

Оттого-то так и нежно мне –
– Не вздыхаючи, не млеючи –
На малиновой скамеечке
У подножья твоего.

Если я к руке опущенной
Ртом прильну – не вздумай хмуриться!
Любованье – хлеб насущный мой:
Я молитву говорю.

Всех кудрей златых – дороже мне
Нежный иней индевеющий
Над малиновой скамеечкой
У подножья твоего.

Головой в колени добрые
Утыкаючись – все думаю:
Все ли – до последней – собраны
Розы для тебя в саду?

Но в одном клянусь: обобраны
Все – до одного! – царевичи –
На малиновой скамеечке
У подножья твоего.

А покамест песни пела я,
Ты уснул – и вот блаженствую:
Самое святое дело мне –
Сонные глаза стеречь!

– Если б знал ты, как божественно
Мне дышать – дохнуть не смеючи –
На малиновой скамеечке
У подножья твоего!

1-е Воскресенье после Пасхи
1920

К.Д. Бальмонту
(1867–1942)

Бальмонту

Пышно и бесстрастно вянут
Розы нашего румянца.
Лишь камзол теснее стянут:
Голодаем как испанцы.

Ничего не можем даром
Взять – скорее гору сдвинем!
И ко всем гордыням старым –
Голод: новая гордыня.

В вывернутой наизнанку
Мантии Врагов Народа
Утверждаем всей осанкой:
Луковица – и свобода.

Жизни ломовое дышло
Спеси не перешибило
Скакуну. Как бы не вышло:
– Луковица – и могила.

Будет наш ответ у входа
В Рай, под деревцем миндальным:
– Царь! На пиршестве народа
Голодали – как гидальго!

Ноябрь 1919

Бальмонту
(К тридцатипятилетию поэтического труда)

Дорогой Бальмонт!

Почему я приветствую тебя на страницах журнала «Своими путями»? Плененность словом, следовательно – смыслом. Что такое – своими путями? Тропинкой, вырастающей под ногами и зарастающей по следам: место не хожено – не езжено, не автомобильное шоссе роскоши, не ломовая громыхалка труда, – свой путь, без пути. Беспутный! Вот я и дорвалась до своего любимого слова! Беспутный – ты, Бальмонт, и беспутная – я, все поэты беспутны, – своими путями ходят. Есть такая детская книжка, Бальмонт, какого-то англичанина, я ее никогда не читала, но написать бы ее взялась: – «Кошка, которая гуляла сама по себе». Такая кошка – ты, Бальмонт, и такая кошка – я. Все поэты такие кошки. Но, оставляя кошек и возвращаясь к «Своим путям»:

Пленяют меня в этом названии равно-сильно оба слова, возникающая из них формула. Что́ поэт назовет здесь своим, кроме пути? Что́ сможет, что́ захочет назвать своим, – кроме пути? Все остальное – чужое: «ваше», «ихнее», но путь – мой. Путь – единственная собственность «беспутных»! Единственный возможный для них случай собственности и единственный, вообще, случай, когда собственность – священна: одинокие пути творчества. Таков ты был, Бальмонт, в Советской России, – таким собственником! – один против всех – собственников, тех или этих. (Видишь, как дорого *тебе* это название!)

И пленяет меня еще, что не «своим», а – «своими», что их мно-ого путей! – как людей, – как страстей. И в этом мы с тобой – братья.

Двое, Бальмонт, побывали в Аиде живыми: бытовой Одиссей и небесный Орфей. Одиссей, помнится, не раз спрашивал дорогу, об Орфее не сказано, доскажу я. Орфея в Аид, на свидание с любимой, привела его *тоска*: та, что всегда ходит – своими путями! И будь Орфей слеп, как Гомер, он все равно нашел бы Эвридику.

Юбилярам (пошлое слово! заменим его триумфатором) – триумфаторам должно приносить дары, дарю тебе один вечер твоей жизни – пять лет назад – 14-го мая 1920 г. – твой голодный юбилей в московском «Дворце искусств».

Слушай:

Юбилей Бальмонта

(Запись)

Юбилей Бальмонта во «Дворце искусств». Речи Вячеслава и Сологуба. Гортанный, взволнованный, отрывистый, значительный – ибо плохо говорит по-русски и выбирает только самое необходимое – привет японочки Инамэ. Бальмонт – как царь на голубом троне – кресле. Цветы, адреса. Сидит, спокойный и не смущенный, на виду у всей залы. Рядом, в меньшем кресле – старый Вячеслав – немножко Magister Tinte[1]. Перед Бальмонтом, примостившись у ног, его «невесточка» – Аля, с маком в руке, как маленький паж, сзади – Мирра, дитя Солнца, сияющая и напружённая, как молодой кентавр, рядом с Миррой – в пышном белом платьице, с розовой атласной сумочкой в черной руке, почти неподвижно пляшет Алина однолетка – дворцовая цыганочка Катя. А рядом с говорящим Вячеславом, почти прильнув к нему – какой-то грязный 15-летний оболтус, у которого непрестанно течет из носу. Чувствую, что вся зала принимает его за сына Вячеслава. («Бедный поэт!» – «Да, дети великих отцов...» – «Хоть бы ему носовой платок завел...» – «Впрочем – поэт, – не замечает!..») – А еще больше чувствую, что этого именно и боится Вячеслав – и не могу – давлюсь от смеха – вгрызаюсь в платок...

Вячеслав говорит о солнце соблазняющем, о солнце слепом, об огне неизменном (огонь не растет – феникс сгорает и вновь возрождается – солнце каждый день восходит и каждый день заходит – отсутствие развития – неподвижность). Надо быть солнцем, а не как солнце. Бальмонт – не только влюбленный соловей, но костер самосжигающий.

1 Дословно: магистр чернил (*нем.*).

Потом приветствие английских гостей – толстая мужеподобная англичанка – шляпа вроде кепи с ушами. Мелькают слова: пролетариат – Интернационал. И Бальмонт: «Прекрасная английская гостья», – и чистосердечно, ибо: раз женщина – то уже прекрасна, и вдвойне прекрасна – раз гостья (славянское гостеприимство!).

Говорит о союзе всех поэтов мира, о нелюбви к слову Интернационал и о замене его «всенародным»... «Я никогда не был поэтом рабочих, – не пришлось, – всегда уводили какие-то другие[1] пути. Но может быть, это еще будет, ибо поэт – больше всего: завтрашний день»... О несправедливости накрытого стола жизни для одних и объедков для других. Просто, человечески. Обеими руками подписываюсь.

Кто-то с трудом протискивается с другого конца залы. В руке моего соседа слева (сижу на одном табурете с Еленой), очищая место, высоко и ловко, широким уверенным нерусским движением – века вежливости! – взлетает тяжеленное пустое кресло и, описав в воздухе полукруг, легко, как игрушка, опускается тут же рядом. Я, восхищенно: «Кто это?» Оказывается – английский гость. (Кстати, за словом гость совершенно забываю: коммунист. Коммунисты в гости не ходят, – с мандатом приходят!) Топорное лицо, мало лба, много подбородка – лицо боксера, сплошной квадрат.

Потом – карикатуры. Представители каких-то филиальных отделений «Дворца Искусств» по другим городам. От Кооперативных товариществ какой-то рабочий, без остановки – на аго и ого – читающий, – нет, списывающий голосом! – с листа бумаги приветствие, где самое простое слово: многогранный и многострунный.

Потом я с адресом «Дворца Искусств», – «От всей лучшей Москвы»... И – за неимением лучшего – поцелуй. (Второй в моей жизни при полном зале!)

И японочка Инамэ – бледная, безумно-волнующаяся: «Я не знаю, что мне Вам сказать. Мне грустно. Вы уезжаете. Константин Дмитриевич! Приезжайте к нам в Японию, у нас хризантемы и ирисы. И...» Как раскатившиеся жемчужины, японский щебет. («До свидания», должно быть.) Со

1 Свои! (*Прим. М. Цветаевой.*)

скрещенными ручками – низкий поклон. Голос глуховатый, ясно слышится биение сердца, сдерживаемое задыхание. Большие перерывы. – Ищет слов. – Говор гортанный, немножко цыганский. Личико желто-бледное. И эти ручки крохотные!

«Русские хитрее японцев. У меня был заранее подготовлен ответ», – и стихи ей – прелестные.

Потом, под самый конец, Ф. Сологуб – старый, бритый, седой, – лица не вижу, но, думается – похож на Тютчева.

«Равенства нет, и слава Богу, что нет. Бальмонт сам бы был в ужасе, если бы оно было. – Чем дальше от толпы, тем лучше. – Поэт, не дорожи любовию народной. – Поэт такой редкий гость на земле, что каждый день его должен был бы быть праздником. – Равенства нет, ибо среди всех, кто любит стихи Бальмонта, много ли таких, которые слышат в них еще нечто, кроме красивых слов, приятных звуков. Демократические идеи для поэта – игра, как монархические идеи[1], поэт играет всем. Единственное, чем он *не* играет – слово».

Никогда не рукоплещущая, яростно рукоплещу. Ф. Сологуб говорит последним. Забыла сказать, что на утверждение: «Равенства нет» – из зала угрожающие выкрики: «Неправда!» – «Как кому!»

Бальмонт. Сологуб. Сологуб Бальмонта не понял: Бальмонт, восстающий против неравенства вещественного и требующий насыщения низов – и Сологуб, восстающий против уравнения духовного и требующий раскрепощения высот. Перед хлебом мы все равны (Бальмонт), но перед Богом мы не равны (Сологуб). Сологуб, в своем негодовании, только довершает Бальмонта. – «Накормите всех!» (Бальмонт) – «И посмотрите, станут ли все Бальмонтами» (Сологуб). Не может же Сологуб восставать против хлеба для голодного, а Бальмонт – против хлеба для отдельного. Так согласив, рукоплещу обоим. Но – какие разные! Бальмонт – движение, вызов, выпад. Весь – здесь. Сологуб – покой, отстранение, чуждость. Весь – там. Сологуб каждым словом себя изымает из зала, Бальмонт – каждым себя залу дарит. Бальмонт – вне себя, весь в зале, Сологуб вне зала, весь в себе. Восславляй Бальмонт Сиракузских тиранов и Иоанна Грозного – ему бы простили. Восславляй Сологуб Спартака и Парижскую Коммуну – ему бы – не простили: *тона*, каким бы он восславлял! За Бальмонта – вся стихия человеческого сочувствия, за Сологуба – скрежет всех уединенных душ, затравленных толпой и обществом. С кем я? С обоими, как всегда.

1 «Доигрались» – Блок и Гумилев. (*Прим. М. Цветаевой.*)

Кроме всего прочего, Сологуб нескрываемо-неискоренимо барственен. А барство в Советской России еще пущий грех, нежели духовное избранничество.

Кусевицкий не играл: «хотел прийти и сыграть для тебя, но палец болит» (зашиб топором), говорит о своем восторге, не находящем слов. Мейчик играет Скрябина, Эйгес «Сказку» (маленькие жемчуга) на слова Бальмонта. Были еще женщины: Полина Доберт в пенсне, Варя Бутягина (поэтесса), Агнесса Рубинчик (кажется, тоже), но все это не важно.

Главное: Бальмонт, Вячеслав и Сологуб. И Инамэ. (Описала плохо, торопилась.)

Множество адресов и цветов. Наконец, все кончено. Мы на Поварской. Аля, в моей коричневой юбке на плечах, en guice de mantille[1], с Еленой и Миррой впереди, я иду с Бальмонтом, по другую сторону Варя.

Бальмонт, с внезапным приливом кошачьей ласковости: – Марина! Возьмите меня под руку.

Я, шутливо: – Ты уже с Варей под руку. Не хочу втроем.

Бальмонт, молниеносно:

– Втроем нету, есть два вдвоем: мое с Варей и мое с Вами.

– По половинке на брата? Вроде как советский паек. (И, великодушно:) Впрочем, когда целое – Бальмонт...

У Бальмонта в руке маленький букет жасмина, – все раздарил. И вдруг, в отчаянии:

– Я позабыл все мои документы! (Об адресах.) И: – Мне не хочется домой! Почему все так скоро кончается?! Только что вошел во вкус, и уже просят о выходе! Сейчас

1 Вместо мантилии (*фр.*).

бы хорошо куда-нибудь ужинать, сидеть всем вместе, перекидываться шутками...

И А. Н., идущая позади нас:

– Марина! Знаете, как говорила Ниночка Бальмонт, когда была маленькая? «То, что я хочу – я хочу сейчас!» и еще: «Я люблю, чтобы меня долго хвалили!»

– Весь Бальмонт!

У дома Бальмонтов нас нагоняет Вячеслав. Стоим под луной. Лицо у Вячеслава доброе и растроганное.

– Ты когтил меня, как ястреб, – говорит Бальмонт. – Огонь – солнце – костер – феникс...

– На тебя не угодишь. С кем же тебя было сравнить? Лев? Но это «только крупный пес», – видишь, как я все твои стихи помню.

– Нет, все-таки – человек! У человека есть – тоска. И у него, единственного из всех существ, есть эта способность: закрыть глаза и сразу очутиться на том конце земли, – и так поглощать...

– Но ты непоглощаем, нерастворим.

Не помню что. О Венеции и Флоренции, кажется. Мечта Бальмонта о том, «как там по ночам стучат каблучки» – и Вячеслав, укрываясь в Царьград своей мысли:

– Человек – существо весьма проблематическое. Сфинкс, состоящий из: Льва – Тельца – Орла... И – Ангела. Так ведь?

Москва,
14-го мая 1920 г.

Марина Цветаева

P. S. Милый Бальмонт! Не заподозри меня в перемене фронта: пишу по-старому, только печатаюсь по-новому.

М.Ц.

Прага,
2-го апреля 1925 г.

А.А. Ахматовой
(1889–1966)

Анне Ахматовой

Узкий, нерусский стан –
Над фолиантами.
Шаль из турецких стран
Пала, как мантия.

Вас передашь одной
Ломаной черной линией.
Холод – в весельи, зной –
В Вашем унынии.

Вся Ваша жизнь – озноб,
И завершится – чем она?
Облачный – темен – лоб
Юного демона.

Каждого из земных
Вам заиграть – безделица!
И безоружный стих
В сердце нам целится.

В утренний сонный час,
– Кажется, четверть пятого, –
Я полюбила Вас,
Анна Ахматова.

11 февраля 1915

Стихи к Ахматовой

1

О, Муза плача, прекраснейшая из муз!
О ты, шальное исчадие ночи белой!
Ты черную насылаешь метель на Русь,
И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы.

И мы шарахаемся и глухое: ох! –
Стотысячное – тебе присягает: Анна
Ахматова! Это имя – огромный вздох,
И в глубь он падает, которая безымянна.

Мы коронованы тем, что одну с тобой
Мы землю топчем, что небо над нами – то же!
И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой,
Уже бессмертным на смертное сходит ложе.

В певучем граде моем купола горят,
И Спаса светлого славит слепец бродячий...
И я дарю тебе свой колокольный град,
– Ахматова! – и сердце свое в придачу.

19 июня 1916

2

Охватила голову и стою,
– Что людские козни! –
Охватила голову и пою
На заре на поздней.

Ах, неистовая меня волна
Подняла на гребень!
Я тебя пою, что у нас – одна,
Как луна на небе!

Что, на сердце вороном налетев,
В облака вонзилась.
Горбоносую, чей смертелен гнев
И смертельна – милость.

Что и над червонным моим Кремлем
Свою ночь простерла,
Что певучей негою, как ремнем,
Мне стянула горло.

Ах, я счастлива! Никогда заря
Не сгорала чище.
Ах, я счастлива, что, тебя даря,
Удаляюсь – нищей,

Что тебя, чей голос – о глубь, о мгла! –
Мне дыханье сузил,
Я впервые именем назвала
Царскосельской Музы.

22 июня 1916

3

Еще один огромный взмах –
И спят ресницы.
О, тело милое! О, прах
Легчайшей птицы!

Что делала в тумане дней?
Ждала и пела...
Так много вздоха было в ней,
Так мало – тела.

Не человечески мила
Ее дремота.
От ангела и от орла
В ней было что-то.

И спит, а хор ее манит
В сады Эдема.
Как будто песнями не сыт
Уснувший демон!

Часы, года, века. – Ни нас,
Ни наших комнат.

И памятник, накоренясь,
Уже не помнит.

Давно бездействует метла,
И никнут льстиво
Над Музой Царского Села
Кресты крапивы.

23 июня 1916

4

Имя ребенка — Лев,
Матери — Анна.
В имени его — гнев,
В материнском — тишь.
Во́лосом он рыж
— Голова тюльпана! —
Что ж, осанна
Маленькому царю.

Дай ему Бог — вздох
И улыбку матери,
Взгляд — искателя
Жемчугов.
Бог, внимательней

За ним присматривай:
Царский сын — гадательней
Остальных сынов.

Рыжий львеныш
С глазами зелеными,
Страшное наследье тебе нести!

Северный Океан и Южный
И нить жемчужных
Черных четок — в твоей горсти!

24 июня 1916

5

Сколько спутников и друзей!
Ты никому не вторишь.
Правят юностью нежной сей —
Гордость и горечь.

Помнишь бешеный день в порту,
Южных ветров угрозы,
Рев Каспия — и во рту
Крылышко розы.

Как цыганка тебе дала
Камень в резной оправе,
Как цыганка тебе врала
Что-то о славе...

И — высо́ко у парусов —
Отрока в синей блузе.
Гром моря и грозный зов
Раненой Музы.

25 июня 1916

6

Не отстать тебе! Я — острожник,
Ты — конвойный. Судьба одна.
И одна в пустоте порожней
Подорожная нам дана.

Уж и нрав у меня спокойный!
Уж и очи мои ясны!
Отпусти-ка меня, конвойный,
Прогуляться до той сосны!

26 июня 1916

7

Ты, срывающая покров
С катафалков и с колыбелей,

Разъярительница ветров,
Насылательница метелей,

Лихорадок, стихов и войн,
– Чернокнижница! – Крепостница!
Я заслышала грозный вой
Львов, вещающих колесницу.

Слышу страстные голоса –
И один, что молчит упорно.
Вижу красные паруса –
И один – между ними – черный.

Океаном ли правишь путь,
Или воздухом – всею грудью
Жду, как солнцу, подставив грудь
Смертоносному правосудью.

26 июня 1916

8

На базаре кричал народ,
Пар вылетал из булочной.
Я запомнила алый рот
Узколицей певицы уличной.

В темном – с цветиками – платке,
– Милости удостоиться –
Ты, потупленная, в толпе
Богомолок у Сергий-Троицы,

Помолись за меня, краса
Грустная и бесовская,
Как поставят тебя леса
Богородицей хлыстовскою.

27 июня 1916

9

Златоустой Анне – всея Руси
Искупительному глаголу, –
Ветер, голос мой донеси
И вот этот мой вздох тяжелый.

Расскажи, сгорающий небосклон,
Про глаза, что черны от боли,
И про тихий земной поклон
Посреди золотого поля.

Ты в грозовой выси
Обретенный вновь!
Ты! – Безымянный!
Донеси любовь мою
Златоустой Анне – всея Руси!

27 июня 1916

10

У тонкой проволоки над волной овсов
Сегодня голос – как тысяча голосов!

И бубенцы проезжие – свят, свят, свят –
Не тем же ль голосом, Господи, говорят.

Стою и слушаю и растираю колос,
И темным куполом меня замыкает – голос.

Не этих ивовых плавающих ветвей
Касаюсь истово, – а руки твоей.

Для всех, в томленьи славящих твой подъезд, –
Земная женщина, мне же – небесный крест!

Тебе одной ночами кладу поклоны, –
И всé *твоими* очами глядят иконы!

1 июля 1916

11

Ты солнце в выси мне застишь,
Всé звезды в твоей горсти!
Ах, если бы – двери настежь! –
Как ветер к тебе войти!

И залепетать, и вспыхнуть,
И круто потупить взгляд,
И, всхлипывая, затихнуть,
Как в детстве, когда простят.

2 июля 1916

«Всё о себе, всё о любви». Да, о себе, о любви – и еще – изумительно – о серебряном голосе оленя, о неярких просторах Рязанской губернии, о смуглых главах Херсонесского храма, о красном кленовом листе, заложенном на Песни Песней, о воздухе, «подарке Божьем»... и так без конца... И есть у нее одно восьмистишие о юном Пушкине, которое покрывает все изыскания всех его биографов. Ахматова пишет о себе – о вечном. И Ахматова, не написав ни единой отвлеченно-общественной строчки, глубже всего – через описание пера на шляпе – передаст потомкам свой век... О маленькой книжке Ахматовой можно написать десять томов – и ничего не прибавишь... Какой трудный и соблазнительный подарок *поэтам* – Анна Ахматова!

<1917>

Москва, 26-го русского апреля 1921 г.

Дорогая Анна Андреевна!

Так много нужно сказать – и так мало времени! Спасибо за очередное счастье в моей жизни – «Подорожник». Не расстаюсь, и Аля не расстается. Посылаю Вам обе книжечки, надпишите.

Не думайте, что я ищу автографов, – сколько надписанных книг я раздарила! – ничего не ценю и ничего не храню, а Ваши книжечки в гроб возьму – под подушку!

Еще просьба: если Алконост [Издательство, организованное в 1918 г. в Петрограде] возьмет моего «Красного Коня» (посвящается Вам) – и мне нельзя будет самой держать корректуру, – сделайте это за меня, верю в Вашу точность.

Вещь совсем маленькая, это у Вас не отнимет времени. Готовлю еще книжечку: «Современникам» [Не была издана. Замысел был реализован лишь в рукописном виде.] – стихи Вам, Блоку и Волконскому. Всего двадцать четыре стихотворения. Среди написанных Вам есть для Вас новые.

Ах, как я Вас люблю, и как я Вам радуюсь, и как мне больно за Вас, и высоко от Вас! – Если были бы журналы, какую бы я статью о Вас написала! – Журналы – статью – смеюсь! – Небесный пожар!

Вы мой самый любимый поэт, я когда-то – давным-давно – лет шесть тому назад – видела Вас во сне, – Вашу будущую книгу: темно-зеленую, сафьянную, с серебром – «Словеса золотые», – какое-то древнее колдовство, вроде молитвы (вернее – обратное!) – и – проснувшись – я знала, что Вы ее напишете.

Мне так жалко, что все это только слова – любовь – я так не могу, я бы хотела настоящего костра, на котором бы меня сожгли.

Я понимаю каждое Ваше слово: весь полет, всю тяжесть. «И шпор твоих *легонький* звон», – это нежнее всего, что сказано о любви.

И это внезапное – дико встающее – *зрительно* дикое «ярославец». – Какая *Русь!*

Напишу Вам о книге еще.

Как я рада им всем трем – таким беззащитным и маленьким! Четки – Белая Стая – Подорожник. Какая легкая ноша – с собой! Почти что горстка пепла.

Пусть Блок (если *он* повезет рукопись) покажет Вам моего Красного Коня. (Красный, как на иконах.) – И непременно напишите мне, – больше, чем тогда! Я ненасытна на Вашу душу и буквы.

Целую Вас нежно, моя страстнейшая мечта – поехать в Петербург. Пишите о своих ближайших судьбах, – где будете летом, и всё.

Ваши оба письмеца ко мне и к Але – всегда со мной.

М. Ц.

К Ахматовой

(в ответ на упорный слух о ее смерти)

Соревнования короста
В нас не осилила родства.
И поделили мы так просто:
Твой – Петербург, моя – Москва.

Блаженно так и бескорыстно
Мой гений твоему внимал.
На каждый вздох твой рукописный
Дыхания вздымался вал.

Но вал моей гордыни польской –
Как пал он! С златозарных гор
Мои стихи как добровольцы
К тебе стекались под шатер...

Дойдет ли в пустоте эфира
Моя лирическая лесть?
И безутешна я,
Что женской лиры
Одной, одной мне тягу несть.

31-го авг<уста> 1921 г.

31-го р<усского> авг<уста> 1921 г.

Дорогая Анна Андреевна! Все эти дни о Вас ходили мрачные слухи, с каждым часом упорнее и неопровержимей. Пишу Вам об этом, потому что знаю, что до Вас все равно дойдет – хочу, чтобы по крайней мере дошло верно.

Скажу Вам, что единственным – с моего ведома – Вашим другом (друг – действие!) – среди поэтов оказался Маяковский, с видом убитого быка бродивший по картонажу «Кафе Поэтов». *Убитый* горем – у него, правда, был такой вид. Он же и дал через знакомых телегр<амму> с запросом о Вас, и *ему я обязана второй нестерпимейшей радостью* своей жизни (первая – весть о Сереже, о ко<тор>ом я ничего не знала два года). Об остальных (поэтах) не буду рассказывать – не потому, что это бы Вас огорчило: кто они, чтобы это могло Вас огорчить? – просто не хочется тупить пера.

Эти дни я – в надежде узнать о Вас – провела в Кафе Поэтов – что за уроды! что за убожества! что за ублюдки! Тут всё: и гомункулусы, и автоматы, и ржущие кони, и ялтинские проводники с накрашенными губами.

Вчера было состязание: лавр – титул *соревнователя* в действительные члены Союза. Общих два русла: Надсон и Маяковский. Отказались бы и Надсон и Маяковский. Тут были и розы, и слезы, и пианисты, играющие в четыре ноги по клавишам мостовой... и «монотонный тон кукушки» (та́к начинается один стих!), и поэма о японской девушке, которую я любил (тема Бальмонта, исполнение Северянина):

Это было у моря,
Где цветут анемоны...

И весь зал хором:

Где встречается редко
Городской экипаж...

Но самое нестерпимое и безнадежное было то, что больше всего ржавшие и гикавшие – сами такие же, – со вчерашнего состязания.

Вся разница, что они уже поняли немодность Северянина, заменили его (худшим!) Шершеневичем.

На эстраде – Бобров, Аксенов, Арго (громадный ражий детина вроде мясника), Грузинов. – Поэты.

И – Шантанный номер: крохотный – с мизинчик! – красноармеец (красноармейчик) вроде Петрушки, красная <рисунок шапки> шапка (каж<ется> – шлык!), лицо луковицей.

— Товарищи! А я вам расскажу, как один прапор справлял имянины! (Руки — рупором:) — Матрёшка! Коли гости придут — не принимать, нет дома.

Кто-то из жюри, вежливо: — «Позвольте, товарищ! Да ведь это анекдот».

— Матрё-ошка!!

— Здесь стихи читают.

И красноармеец: — «Довольно нам, товарищи, катать на своей спине бар! Пусть теперь баре нас покатают!»

Я, на блок-ноте, Аксенову: «Господин Аксенов, ради Бога, — достоверность об Ахматовой». (Был слух, что он видел Маяковского.) «Боюсь, что не досижу до конца состязания».

И учащенный кивок А<ксено>ва. Значит — жива.

Дорогая Анна Андреевна, чтобы понять этот мой вчерашний вечер, этот аксеновский — мне — кивок, нужно было бы знать три моих предыдущих дня — *несказа́нных. Страшный сон: хочу проснуться* — и не могу. Я ко всем подходила в упор, вымаливала Вашу жизнь. Еще бы немножко — я бы словами сказала: — «Господа, сделайте так, чтобы Ахматова была жива». Я загадывала на Вас по Библии — вот: Le Dieu des forces...[1] Утешила меня Аля: «Марина! У нее же сын!» (Скажу еще одно — спокойно: после С. и Али Вы мое самое дорогое на земле. Такого восторга как Вы мне не дает никто.)

Вчера после окончания вечера просила у Боброва командировку: к Ахматовой. Вокруг смеются. «Господа! Я вам десять вечеров подряд буду читать бесплатно — и у меня всегда полный зал!» Эти три дня (*без Вас*) для меня Петербурга уже не существовало, — да что Петербурга... Эти дни — *Октябрь* и *Перекоп*. Вчерашний вечер — чудо: «Стала облаком в славе лучей». На днях буду читать о Вас — в первый раз в жизни: питаю отвращение к докладам, но не могу уступить этой чести другому! Впрочем, всё, что я имею сказать, — осанна! Не «доклад», а любовь.

1 Боже сил... (*фр.*).

То, что скажу, запишу и привезу Вам. Привезу Вам и Алю.

Кончаю — как Аля кончает письма к отцу:

Целую и низко кланяюсь.

М. Ц.

Ахматовой

Кем полосынька твоя
Нынче выжнется?
Чернокосынька моя!
Чернокнижница!

Дни полночные твои,
Век твой таборный...
Все работнички твои
Разом забраны.

Где сподручники твои,
Те сподвижнички?
Белорученька моя,
Чернокнижница!

Не загладить тех могил
Слезой, славою.

Один заживо ходил —
Как удавленный.

Другой к стеночке пошел
Искать прибыли.
(И гордец же был-соко́л!)
Разом выбыли.

Высоко твои братья!
Не докличешься!
Яснооконька моя,
Чернокнижница!

А из тучи-то (хвала –
Диво дивное!)
Соколиная стрела,
Голубиная...

Знать, в два перышка тебе
Пишут тамотка,
Знать, уж в скорости тебе
Выйдет грамотка:

– Будет крылышки трепать
О булыжники!
Чернокрылонька моя!
Чернокнижница!

29 декабря 1921

Эллису
(Л.Л. Кобылинскому, 1879–1947)

Чародей
Поэма

Анастасии Цветаевой

Он был наш ангел, был наш демон,
Наш гувернер – наш чародей,
Наш принц и рыцарь. – Был нам всем он
Среди людей!

В нем было столько изобилий,
Что и не знаю, как начну!
Мы пламенно его любили –
Одну весну.

Один его звонок по зале –
И нас охватывал озноб,
И до безумия пылали
Глаза и лоб.

И как бы шевелились корни
Волос, – о, эта дрожь и жуть!
И зала делалась просторней,
И у́же – грудь.

И руки сразу леденели,
И мы не чувствовали ног.

– Семь раз в течение недели
Такой звонок!
. . . . . .
Он здесь. Наш первый и последний!
И нам принадлежащий весь!
Уже выходит из передней!
Он здесь, он здесь!

Он вылетает к нам, как птица,
И сам влетает в нашу сеть!
И сразу хочется кружиться,
Кричать и петь.
. . . . . .
Прыжками через три ступени
Взбегаем лесенкой крутой
В наш мезонин – всегда весенний
И золотой.

Где невозможный беспорядок,
Где точно разразился гром
Над этим ворохом тетрадок
Еще с пером.

Над этим полчищем шарманок,
Картонных кукол и зверей,
Полуобгрызанных баранок,
Календарей,

Неописуемых коробок,
С вещами не на всякий вкус,
Пустых флакончиков без пробок,
Стеклянных бус,

Чьи ослепительные грозди
– Clinquantes, éclatantes grappes[1] –
Звеня опутывают гвозди
Для наших шляп.

1 Звенящие, лопающиеся гроздья (*фр.*).

Садимся – смотрим – знаем – любим,
И чуем, не спуская глаз,
Что за него себя погубим,
А он – за нас.

Два скакуна в огне и в мыле –
Вот мы! – Лови, когда не лень! –
Мы говорим о том, как жили
Вчерашний день.

О том, как бегали по зале
Сегодня ночью при луне,
И что и как ему сказали
Потом во сне.

И как – и мы уже в экстазе! –
За наш непокоримый дух
Начальство наших двух гимназий
Нас гонит двух.

Как никогда не выйдем замуж,
– Так и останемся втроем! –
О, никогда не выйдем замуж,
Скорей умрем!

Как жизнь уже давным-давно нам –
Сукно игорное: – vivat![1]
За Иоанном – в рай, за доном
Жуаном – в ад.
. . . . . .
Жерло заговорившей Этны –
Его заговоривший рот.
Ответный вихрь и смерч, ответный
Водоворот.

Здесь и проклятья, и осанна,
Здесь всё сжигает и горит.

1 Да здравствует! (*лат.*)

О всем, что в мире несказанно,
Он говорит.

Нас — нам казалось — насмерть раня
Кинжалами зеленых глаз,
Змеей взвиваясь на диване!..
О, сколько раз

С шипеньем раздраженной кобры,
Он клял вселенную и нас, —
И снова становился добрый...
Почти на час.

Чревовещание — девизы —
Витийства — о, король плутов! —
Но нам уже доносят снизу,
Что чай готов.

. . . . . .

Среди пятипудовых теток
Он с виду весит ровно пуд:
Так легок, резок, строен, четок,
Так страшно худ.

Да нет, — он ничего не весит!
Он ангельски — бесплотно — юн!
Его лицо, как юный месяц,
Меж полных лун.

Упершись в руку подбородком,
— О том, как вечера тихи,
Читает он. — Как можно теткам
Читать стихи?!

. . . . . .

О, как он мил и как сначала
Преувеличенно-учтив!
Как, улыбаясь, прячет жало
И как, скрестив

Свои магические руки,
Умеет — берегись, сосед! —

Любезно отдаваться скуке
Пустых бесед.

Но вдруг — безудержно и сразу! —
Он вспыхивает мятежом,
За безобиднейшую фразу
Грозя ножом.

Еще за полсекунды чинный,
Уж с пеной у́ рта взвел курок. —
Прощай, уют, и именинный,
Прощай, пирог!

. . . . . .

Чай кончен. Удлинились тени,
И домурлыкал самовар.
Скорей на свежий, на весенний
Тверской бульвар!

Нам так довольно о Бодлере!
Пусть ветер веет нам в лицо!
Поют по-гоголевски двери,
Скрипит крыльцо. —

В больших широкополых шляпах
Мы, кажется, еще милей...
— И этот запах, этот запах
От тополей.

. . . . . .

Бульвар сверкает. По дорожке
Косые длинные лучи.
Бегут серсо, за ними ножки,
Летят мячи,

Другие остаются в сетках.
Вот мальчик в шапочке «Варяг»
На платьице в шотландских клетках
Направил шаг.

Сияют кудри, щечки, глазки,
Ревун надулся и охрип.

Скрипят колесами коляски,
– Протяжный скрип. –

Там мама наблюдает зорко
За девочкой с косой, как медь.
В одной руке ее – ведерко,
В другой – медведь.

Какой-то мальчик просит кашки.
Ох, как он, бедный, не дорос
До гимназической фуражки
И папирос!

О вейтесь, кудри, вейтесь, ленты!
Увы, обратно нет путей!
Проходят парами студенты
Среди детей.

Играет солнце по аллеям...
– Как жизнь прелестна и проста! –
Нам ровно тридцать лет обеим:
Его лета.

. . . . . .

О, как вас перескажешь ныне –
Четырнадцать – шестнадцать лет!
Идем, наш рыцарь посредине,
Наш свой – поэт.

Мы по бокам, как два привеска,
И видит каждая из нас:
Излом щеки, сухой и резкий,
Зеленый глаз,

Крутое острие бородки,
Как злое острие клинка,
Точеный нос и очерк четкий
Воротничка.

(– Кто с нашим рыцарем бродячим
Теперь бредет в луче златом?.. –)

Над раскаленным, вурдалачьим,
Тяжелым ртом, –

Уса, взлетевшего высоко,
Надменное полукольцо...
– И всё заглядываем сбоку
Ему в лицо.

А там, в полях необозримых,
Служа Небесному Царю,
Чугунный правнук Ибрагимов
Зажег зарю.

. . . . . .

На всём закат пылает алый,
Пылают где-то купола,
Пылают окна нашей залы
И зеркала.

Из черной глубины рояля
Пылают гроздья алых роз.
– «Я рыцарь Розы и Грааля,
Со мной Христос,

Но шел за мной по всем дорогам
Тот, кто присутствует и здесь.
Я между Дьяволом и Богом
Разорван весь.

Две правды – два пути – две силы –
Две бездны: Данте и Бодлер!»
О, как он по-французски, милый,
Картавил «эр».

Но, милый, Данте ты оставишь,
И с ним Бодлера, дорогой!
Тихонько нажимаем клавиш,
За ним другой –

И звуки – роем пчел из улья –
Жужжат и вьются – кто был прав?!

Наш Рыцарь Розы через стулья
Летит стремглав.

Он, чуть ли не вселенной старше –
Мальчишка с головы до пят!
По первому аккорду марша
Он весь – солдат!

Чу! – Звон трубы! – Чу! – Конский топот!
Треск барабана! – Кивера!
Ах, к черту ум и к черту опыт!
Ура! Ура!

Он Тот, в чьих белых пальцах сжаты
Сердца и судьбы, сжат весь мир.
На нем зеленый и помятый
Простой мундир.

Он Тот, кто у кремлевских башен
Стоял во весь свой малый рост,
В чьи вольные цвета окрашен
Аркольский мост.
. . . . . .
Должно быть, бледны наши лица,
Стук сердца разрывает грудь.
Нет времени остановиться,
Нет сил – вздохнуть.

Магическою силой руки
По клавишам – уже летят!
Гремят вскипающие звуки,
Как водопад.

Цирк, раскаленный, как Сахара,
Сонм рыжекудрых королев.
Две гордости земного шара:
Дитя и лев.

Под куполом – как царь в чертоге –
Красуется британский флаг.

Расставив клетчатые ноги,
Упал дурак...

В плаще из разноцветных блесток,
Под говор напряженных струн,
На площадь вылетел подросток,
Как утро – юн!

– Привет, миледи и милорды! –
Уже канат дрожит тугой
Под этой маленькой и твердой
Его ногой.

В своей чешуйке многозвездной,
– Закончив резвый пируэт, –
Он улыбается над бездной,
Подняв берет.
. . . . . .
Рояль умолкнул. Дребезжащий
Откуда-то – на смену – звук.
Играет музыкальный ящик,
Старинный друг,

Весь век до хрипоты, до стона,
Игравший трио этих пьес:
Марш кукол – Auf der Blauen Donau[1] –
И экосез.

В мир голосов и гобеленов
Открылась тайная тропа:
О, рай златоволосых венок!
О, вальс в три па!

Под вальс невинный, вальс старинный
Танцуют наши три весны,
Холодным зеркалом гостиной –
Отражены.

1 На голубом Дунае (*нем.*).

Так, залу окружив трикраты,
– Тройной тоскующий тростник, –
Вплываем в царство белых статуй
И старых книг.
. . . . . .
На вышке шкафа, сер и пылен,
Видавший лучшие лета,
Угрюмо восседает филин
С лицом кота.

С набитым филином в соседстве
Спит Зевс, тот непонятный дед,
Которым нас пугали в детстве,
Что – людоед.

Как переполненные соты –
Ряд книжных полок. Тронул блик

Пергаментные переплеты
Старинных книг.

Цвет Греции и слава Рима, –
Неисчислимые тома!
Здесь – сколько б солнца ни внесли мы,
Всегда зима.

Последним солнцем розовея,
Распахнутый лежит Платон...
Бюст Аполлона – план Музея –
И всё – как сон.
. . . . . .
Уже везде по дому ставни
Захлопываются, стуча.
В гостиной – где пожар недавний? –
Уж ни луча.

Все меньше и все меньше света,
Все ближе и все ближе стук...
Уж половина кабинета
Ослепла вдруг.

Еще единым мутным глазом
Белеет левое окно.
Но ставни стукнули – и разом
Совсем темно.

Самозабвение – нирвана –
Что, фениксы, попались в сеть?! –
На дальних валиках дивана
Не усидеть!

Уже в углу вздохнуло что-то,
И что-то дрогнуло чуть-чуть.
Тихонько скрипнули ворота:
Кому-то в путь.

Иль кто-то держит путь обратный
– Уж наши руки стали льдом –
В завороженный, невозвратный
Наш старый дом.

Мать под землей, отец в Каире...
Еще *какое-то* пятно!
Уже ничто смешное в мире
Нам не смешно.

Уже мы поняли без слова,
Что белое у шкафа – гроб.
И сердце, растеряв подковы,
Летит в галоп.
. . . . . .
– «Есть в мире ночь. Она беззвёздна.
Есть в мире дух, он весь – обман.
Есть мир. Ему названье – бездна
И океан.

Кто в этом океане плавал –
Тому обратно нет путей!
Я в нем погиб. – Обратно, Дьявол!
Не тронь детей!

А вы, безудержные дети,
С умом, пронзительным, как лед, —
С безумьем всех тысячелетий,
Вы, в ком поет,

И жалуется, и томится —
Вся несказанная земля!
Вы, розы, вы, ручьи, вы, птицы,
Вы, тополя —

Вы, мертвых Лазарей из гроба
Толкающие в зелень лип,
Вы, без кого давным-давно бы
Уже погиб

Наш мир — до призрачности зыбкий
На трех своих гнилых китах —
О, золотые рыбки! — Скрипки
В моих руках! —

В короткой юбочке нелепой
Несущие богам — миры,
Ко мне прижавшиеся слепо,
Как две сестры,

Вы, чей отец сейчас в Каире,
Чьей матери остыл и след —
Узнайте, вам обеим в мире
Спасенья нет!

Хотите, — я сорву повязку?
Я вам открою новый путь?»
«Нет, — лучше расскажите сказку
Про что-нибудь...»
. . . . . .
О Эллис! — Прелесть, юность, свежесть,
Невинный и волшебный вздор!
Плач ангела! — Зубовный скрежет!
Святой танцор,

Без думы о насущном хлебе
Живущий — чем и как — Бог весть!
Не знаю, есть ли Бог на небе! —
Но, если есть —

Уже сейчас, на этом свете,
Все до единого грехи
Тебе отпущены за эти
Мои стихи.

О Эллис! — Рыцарь без измены!
Сын голубейшей из отчизн!
С тобою раздвигались стены
В иную жизнь...

— Где б ни сомкнулись наши веки
В безлюдии каких пустынь —
Ты — наш и мы — твои. Во веки
Веков. Аминь.

Феодосия,
15 февраля – 4 мая 1914

С.Я. Парнок
(1885–1933)

Подруга

1

Вы счастливы? – Не скажете! Едва ли!
И лучше – пусть!
Вы слишком многих, мнится, целовали,
Отсюда грусть.

Всех героинь шекспировских трагедий
Я вижу в Вас.
Вас, юная трагическая леди,
Никто не спас!

Вы так устали повторять любовный
Речитатив!
Чугунный обод на руке бескровной –
Красноречив!

Я Вас люблю. – Как грозовая туча
Над Вами – грех –
За то, что Вы язвительны и жгучи
И лучше всех,

За то, что мы, что наши жизни – разны
Во тьме дорог,
За Ваши вдохновенные соблазны
И темный рок,

За то, что Вам, мой демон крутолобый,
Скажу прости,
За то, что Вас – хоть разорвись над гробом! –
Уж не спасти!

За эту дрожь, за то – что – неужели
Мне снится сон? –
За эту ироническую прелесть,
Что Вы – не он.

16 октября 1914

2

Под лаской плюшевого пледа
Вчерашний вызываю сон.
Что это было? – Чья победа? –
Кто побежден?

Все передумываю снова,
Всем перемучиваюсь вновь.
В том, для чего не знаю слова,
Была ль любовь?

Кто был охотник? – Кто – добыча?
Все дьявольски – наоборот!
Что понял, длительно мурлыча,
Сибирский кот?

В том поединке своеволий
Кто, в чьей руке был только мяч?
Чье сердце – Ваше ли, мое ли
Летело вскачь?

И все-таки – что ж это было?
Чего так хочется и жаль?
Так и не знаю: победила ль?
Побеждена ль?

23 октября 1914

3

Сегодня таяло, сегодня
Я простояла у окна.
Взгляд отрезвленной, грудь свободней,
Опять умиротворена.

Не знаю, почему. Должно быть,
Устала попросту душа,
И как-то не хотелось трогать
Мятежного карандаша.

Так простояла я — в тумане —
Далекая добру и злу,
Тихонько пальцем барабаня
По чуть звенящему стеклу.

Душой не лучше и не хуже,
Чем первый встречный — этот вот, —
Чем перламутровые лужи,
Где расплескался небосвод,

Чем пролетающая птица
И попросту бегущий пес,
И даже нищая певица
Меня не довела до слез.

Забвенья милое искусство
Душой усвоено уже.
Какое-то большое чувство
Сегодня таяло в душе.

24 октября 1914

4

Вам одеваться было лень,
И было лень вставать из кресел.
— А каждый Ваш грядущий день
Моим весельем был бы весел.

Особенно смущало Вас
Идти так поздно в ночь и холод.
— А каждый Ваш грядущий час
Моим весельем был бы молод.

Вы это сделали без зла,
Невинно и непоправимо.
— Я Вашей юностью была,
Которая проходит мимо.

25 октября 1914

5

Сегодня, часу в восьмом,
Стремглав по Большой Лубянке,
Как пуля, как снежный ком,
Куда-то промчались санки.

Уже прозвеневший смех...
Я так и застыла взглядом:
Волос рыжеватый мех,
И кто-то высокий — рядом!

Вы были уже с другой,
С ней путь открывали санный,
С желанной и дорогой, —
Сильнее, чем я — желанной.

— Oh, je n'en puis plus, j'étouffe![1] —
Вы крикнули во весь голос,
Размашисто запахнув
На ней меховую полость.

Мир — весел и вечер лих!
Из муфты летят покупки...

Так мчались Вы в снежный вихрь,
Взор к взору и шубка к шубке.

1 О, я больше не могу, я задыхаюсь! (*фр.*)

И был жесточайший бунт,
И снег осыпался бело.
Я около двух секунд –
Не более – вслед глядела.

И гладила длинный ворс
На шубке своей – без гнева.
Ваш маленький Кай замерз,
О Снежная Королева.

26 октября 1914

6

Ночью над кофейной гущей
Плачет, глядя на Восток.
Рот невинен и распущен,
Как чудовищный цветок.

Скоро месяц – юн и тонок –
Сменит алую зарю.
Сколько я тебе гребенок
И колечек подарю!

Юный месяц между веток
Никого не устерег.
Сколько подарю браслеток,
И цепочек, и серег!

Как из-под тяжелой гривы
Блещут яркие зрачки!
Спутники твои ревнивы? –
Кони кровные легки!

6 декабря 1914

7

Как весело сиял снежинками
Ваш – серый, мой – соболий мех,
Как по рождественскому рынку мы
Искали ленты ярче всех.

Как розовыми и несладкими
Я вафлями объелась – шесть!
Как всеми рыжими лошадками
Я умилялась в Вашу честь.

Как рыжие поддевки – парусом,
Божась, сбывали нам тряпье,
Как на чудных московских барышень
Дивилось глупое бабье.

Как в час, когда народ расходится,
Мы нехотя вошли в собор,
Как на старинной Богородице
Вы приостановили взор.

Как этот лик с очами хмурыми
Был благостен и изможден
В киоте с круглыми амурами
Елисаветинских времен.

Как руку Вы мою оставили,
Сказав: «О, я ее хочу!»
С какою бережностью вставили
В подсвечник – желтую свечу...

– О, светская, с кольцом опаловым
Рука! – О, вся моя напасть! –
Как я икону обещала Вам
Сегодня ночью же украсть!

Как в монастырскую гостиницу
– Гул колокольный и закат –
Блаженные, как имянинницы,
Мы грянули, как полк солдат.

Как я Вам – хорошеть до старости –
Клялась – и просыпала соль,
Как трижды мне – Вы были в ярости! –
Червонный выходил король.

Как голову мою сжимали Вы,
Лаская каждый завиток,
Как Вашей брошечки эмалевой
Мне губы холодил цветок.

Как я по Вашим узким пальчикам
Водила сонною щекой,
Как Вы меня дразнили мальчиком,
Как я Вам нравилась такой...

Декабрь 1914

8

Свободно шея поднята,
Как молодой побег.
Кто скажет имя, кто — лета,
Кто — край ее, кто — век?

Извилина неярких губ
Капризна и слаба,
Но ослепителен уступ
Бетховенского лба.

До умилительности чист
Истаявший овал.
Рука, к которой шел бы хлыст,
И — в серебре — опал.

Рука, достойная смычка,
Ушедшая в шелка,
Неповторимая рука,
Прекрасная рука.

10 января 1915

9

Ты проходишь своей дорогою,
И руки твоей я не трогаю.
Но тоска во мне — слишком вечная,
Чтоб была ты мне — первой встречною.

Сердце сразу сказало: «Милая!»
Всё тебе — наугад — простила я,
Ничего не знав, — даже имени! —
О, люби меня, о, люби меня!

Вижу я по губам — извилиной,
По надменности их усиленной,
По тяжелым надбровным выступам:
Это сердце берется — приступом!

Платье — шелковым черным панцирем,
Голос с чуть хрипотцой цыганскою,
Всё в тебе мне до боли нравится, —
Даже то, что ты не красавица!

Красота, не увянешь за лето!
Не цветок — стебелек из стали ты,
Злее злого, острее острого
Увезенный — с какого острова?

Опахалом чудишь, иль тросточкой, —
В каждой жилке и в каждой косточке,
В форме каждого злого пальчика, —
Нежность женщины, дерзость мальчика.

Все усмешки стихом парируя,
Открываю тебе и миру я
Всё, что нам в тебе уготовано,
Незнакомка с челом Бетховена!

14 января 1915

10

Могу ли не вспомнить я
Тот запах White-Rose[1] и чая,
И севрские фигурки
Над пышащим камельком...

1 Модных в то время духов.

Мы были: я — в пышном платье
Из чуть золотого фая,
Вы — в вязаной черной куртке
С крылатым воротником.

Я помню, с каким вошли Вы
Лицом — без малейшей краски,
Как встали, кусая пальчик,
Чуть голову наклоня.

И лоб Ваш властолюбивый,
Под тяжестью рыжей каски,
Не женщина и не мальчик, —
Но что-то сильней меня!

Движением беспричинным
Я встала, нас окружили.
И кто-то в шутливом тоне:
«Знакомьтесь же, господа».

И руку движеньем длинным
Вы в руку мою вложили,
И нежно в моей ладони
Помедлил осколок льда.

С каким-то, глядевшим косо,
Уже предвкушая стычку, —
Я полулежала в кресле,
Вертя на руке кольцо.

Вы вынули папиросу,
И я поднесла Вам спичку,
Не зная, что делать, если
Вы взглянете мне в лицо.

Я помню — над синей вазой —
Как звякнули наши рюмки.
«О, будьте моим Орестом!»,
И я Вам дала цветок.

С зарницею сероглазой
Из замшевой черной сумки
Вы вынули длинным жестом
И выронили — платок.

28 января 1915

11

Все глаза под солнцем — жгучи,
День не равен дню.
Говорю тебе на случай,
Если изменю:

Чьи б ни целовала губы
Я в любовный час,
Черной полночью кому бы
Страшно ни клялась, —

Жить, как мать велит ребенку,
Как цветочек цвесть,
Никогда ни в чью сторонку
Глазом не повесть...

Видишь крестик кипарисный?
— Он тебе знаком —
Все проснется — только свистни
Под моим окном.

22 февраля 1915

12

Сини подмосковные холмы,
В воздухе чуть теплом — пыль и деготь.
Сплю весь день, весь день смеюсь, — должно быть
Выздоравливаю от зимы.

Я иду домой возможно тише:
Ненаписанных стихов — не жаль!
Стук колес и жареный миндаль
Мне дороже всех четверостиший.

Голова до прелести пуста,
Оттого что сердце — слишком полно!
Дни мои, как маленькие волны,
На которые гляжу с моста.

Чьи-то взгляды слишком уж нежны
В нежном воздухе едва нагретом...
Я уже заболеваю летом,
Еле выздоровев от зимы.

13 марта 1915

13

Повторю в канун разлуки,
Под конец любви,
Что любила эти руки
Властные твои

И глаза — кого — кого-то
Взглядом не дарят! —
Требующие отчета
За случайный взгляд.

Всю тебя с твоей треклятой
Страстью — видит Бог! —
Требующую расплаты
За случайный вздох.

И еще скажу устало,
— Слушать не спеши! —
Что твоя душа мне встала
Поперек души.

И еще тебе скажу я:
— Все равно — канун! —
Этот рот до поцелуя
Твоего был юн.

Взгляд — до взгляда — смел и светел,
Сердце — лет пяти...

Счастлив, кто тебя не встретил
На своем пути.

28 апреля 1915

14

Есть имена, как душные цветы,
И взгляды есть, как пляшущее пламя...
Есть темные извилистые рты
С глубокими и влажными углами.

Есть женщины. — Их волосы, как шлем,
Их веер пахнет гибельно и тонко.
Им тридцать лет. — Зачем тебе, зачем
Моя душа спартанского ребенка?

Вознесение, 1915

15

Хочу у зеркала, где муть
И сон туманящий,
Я выпытать — куда Вам путь
И где пристанище.

Я вижу: мачта корабля,
И Вы — на палубе...
Вы — в дыме поезда... Поля
В вечерней жалобе...

Вечерние поля в росе,
Над ними — во́роны...
— Благословляю Вас на все
Четыре стороны!

3 мая 1915

16

В первой любила ты
Первенство красоты,

Кудри с налетом хны,
Жалобный зов зурны,

Звон — под конем — кремня,
Стройный прыжок с коня,
И — в самоцветных зернах —
Два челночка узорных.

А во второй — другой —
Тонкую бровь дугой,
Шелковые ковры
Розовой Бухары,
Перстни по всей руке,
Родинку на щеке,
Вечный загар сквозь блонды
И полунощный Лондон.

Третья тебе была
Чем-то еще мила...

— Что от меня останется
В сердце твоем, странница?

14 июля 1915

17

Вспомяните: всех голов мне дороже
Волосок один с моей головы.
И идите себе... — Вы тоже,
И Вы тоже, и Вы.

Разлюбите меня, все разлюбите!
Стерегите не меня поутру!
Чтоб могла я спокойно выйти
Постоять на ветру.

6 мая 1915

В.В. Маяковскому
(1893–1930)

Маяковскому

Превыше крестов и труб,
Крещенный в огне и дыме,
Архангел-тяжелоступ —
Здорово, в веках Владимир!

Он возчик, и он же конь,
Он прихоть, и он же право.
Вздохнул, поплевал в ладонь:
— Держись, ломовая слава!

Певец площадных чудес —
Здорово, гордец чумазый,
Что камнем — тяжеловес
Избрал, не прельстясь алмазом.

Здорово, булыжный гром!
Зевнул, козырнул — и снова
Оглоблей гребет — крылом
Архангела ломового.

18 сентября 1921

Владимир Маяковский, двенадцать лет подряд верой и правдой, душой и телом служивший —

Всю свою звонкую силу поэта
Я тебе отдаю, атакующий класс!

кончил сильнее, чем лирическим стихотворением — лирическим выстрелом. Двенадцать лет подряд человек Маяковский убивал в себе Маяковского-поэта, на тринадцатый поэт встал и человека убил.

Если есть в этой жизни самоубийство, оно не там, где его видят, и длилось оно не спуск курка, а двенадцать лет жизни.

Никакой державный цензор так не расправлялся с Пушкиным, как Владимир Маяковский с самим собой.

Если есть в этой жизни самоубийство, оно не одно, их два, и оба не самоубийства, ибо первое — подвиг, второе — праздник. Превозможение природы и прославление природы.

Прожил как человек и умер как поэт.

(Из статьи «Поэт и время», 1932)

Маяковскому

1

Чтобы край земной не вымер
Без отчаянных дядéй,
Будь, младенец, Володимир:
Целым миром володей!

2

Литературная — не в ней
Суть, а вот — кровь пролейте!
Выходит каждые семь дней.
Ушедший — раз в столетье

Приходит. Сбит передовой
Боец. Каких, столица,
Еще тебе вестей, какой
Еще — передовицы?

Ведь это, милые, у нас,
Черновец — милюковцу:
«Владимир Маяковский? Да-с.
Бас, говорят, и в кофте

Ходил»...
Эх кровь-твоя-кровца!
Как с новью примириться,
Раз первого ее бойца
Кровь — на второй странице
(Известий.)

3

«В гробу, в обыкновенном темном костюме, в устойчивых, грубых ботинках, подбитых железом, лежит величайший поэт революции».

(«Однодневная газета»,
24 апреля 1930 г.)

* * *

В сапогах, подкованных железом,
В сапогах, в которых гору брал —
Никаким обходом ни объездом
Не доставшийся бы перевал —

Израсходованных до сиянья
За двадцатилетний перегон.
Гору пролетарского Синая,
На котором праводатель — он.

В сапогах — двустопная жилплощадь,
Чтоб не вмешивался жилотдел —
В сапогах, в которых, понаморщась,
Гору нес — и брал — и клял — и пел —

В сапогах и *до* и *без* отказу
По невспаханностям Октября,

В сапогах – почти что водолаза:
Пехотинца, чище ж говоря:

В сапогах великого похода,
На донбассовских, небось, гвоздях.
Гору горя своего народа
Стапятидесяти (Госиздат)

Миллионного ... – В котором роде
Своего, когда который год:
«Ничего-де своего в заводе!»
Всех народов горя гору – вот.

Так вот в этих – про его Роллс-Ройсы
Говорок еще не приутих –
Мертвый пионерам крикнул: Стройся!
В сапогах – *свидетельствующих.*

4

Любовная лодка разбилась о быт

И полушки не поставишь
На такого главаря.
Лодка-то твоя, товарищ,
Из какого словаря?

В лодке, да еще в любовной
Запрокинуться – скандал!
Разин – чем тебе не ровня? –
Лучше с *бытом* совладал.

Эко новшество – лекарство
Хлещущее, что твой кран!
Парень, не по-пролетарски
Действуешь – а что твой пан!

Стоило ж в богов и в матку
Нас, чтоб – кровь, а не рассвет! –

Класса белую подкладку
Выворотить напослед.

Вроде юнкера, на То́ске
Выстрелившего – с тоски!
Парень! не по-маяковски
Действуешь: по-шаховски.

Фуражечку б на бровишки
И – прощай, моя джаным!
Правнуком своим проживши,
Кончил – прадедом своим.

То-то же, как на поверку
Выйдем – стыд тебя заест:
Совето-российский Вертер.
Дворяно-российский жест.

Только раньше – в околодок,
Нынче ж...
– Враг ты мой родной!
Никаких любовных лодок
Новых – нету под луной.

5

Выстрел – в самую душу,
Как только что по врагам.
Богоборцем разрушен
Сегодня последний храм.

Еще раз не осекся,
И, в точку попав – усоп.
Было стало быть сердце,
Коль выстрелу следом – стоп.

(Зарубежье, встречаясь:
«Ну, казус! Каков фугас!
Значит – тоже сердца есть?
И с той же, что и у нас?»)

Выстрел – в самую точку,
Как в ярмарочную цель.
(Часто – левую мочку
Отбривши – с женой в постель.)

Молодец! Не прошибся!
А женщины ради – что ж!
И Елену паршивкой
– Подумавши – назовешь.

Лишь одним, зато знатно,
Нас лефовец удивил:
Только вправо и знавший
Палить-то, а тут – слевил.

Кабы в правую – свёрк бы
Ланцетик – и здрав ваш шеф.
Выстрел в *левую* створку:
Ну в самый-те Центропев!

6

Зёрна огненного цвета
Брошу на ладонь,
Чтоб предстал он в бездне света
Красный как огонь.

Советским вельможей,
При полном Синоде...
– Здорово, Сережа!
– Здорово, Володя!

Умаялся? – Малость.
– По общим? – По личным.
– Стрелялось? – Привычно.
– Горелось? – Отлично.

– Так стало быть *пожил?*
– Пасс в нек'тором роде
...Негоже, Сережа!
...Негоже, Володя!

А помнишь, как матом
Во весь свой эстрадный
Басище – меня-то
Обкладывал? – Ладно

Уж... – Вот-те и шлюпка
Любовная лодка!
Ужель из-за юбки?
– Хужей из-за водки.

Опухшая рожа.
С тех пор и на взводе?
Негоже, Сережа.
– Негоже, Володя.

А впрочем – не бритва –
Сработано чисто.
Так стало быть бита
Картишка? – Сочится.

– Приложь подорожник.
– Хорош и коллодий.
Приложим, Сережа?
– Приложим, Володя.

А что на Рассее-
На матушке? – То есть
Где? – В Эсэсэсере
Что нового? – Строят.

Родители – ро́дят,
Вредители – точут,
Издатели – водят,
Писатели – строчут.

Мост новый заложен,
Да смыт половодьем.
Все то же, Сережа!
– Все то же, Володя.

А певчая стая?
– Народ, знаешь, тертый!
Нам лавры сплетая,
У нас, как у мертвых,

Прут. Старую Росту
Да завтрашним лаком.
Да не обойдешься
С одним Пастернаком.

Хошь, руку приложим
На ихнем безводье?
Приложим, Сережа?
– Приложим, Володя!

Еще тебе кланяется...
– А что добрый
Наш Льсан Алексаныч?
– Вон – ангелом! – Федор

Кузьмич? – На канале:
По красные щеки
Пошел. – Гумилев Николай?
– На Востоке.

(В кровавой рогоже,
На полной подводе...)
– Все то же, Сережа.
– Все то же, Володя.

А коли все то же,
Володя, мил-друг мой –
Вновь руки наложим,
Володя, хоть рук – и –

Нет.
– Хотя и нету,
Сережа, мил-брат мой,
Под царство и *это*
Подложим гранату!

И на растворoженном
Нами Восходе –
Заложим, Сережа!
– Заложим, Володя!

7

Много храмов разрушил,
А этот – ценней всего.
Упокой, Господи, душу
Усопшего врага твоего.

Савойя,
август 1930

С.А. Есенину
(1895–1925)

* * *

Брат по песенной беде –
Я завидую тебе.
Пусть хоть так она исполнится
– Помереть в отдельной комнате! –
Скольких лет моих? лет ста?
Каждодневная мечта.

И не жалость: мало жил,
И не горечь: мало дал.
Много жил – кто в *наши* жил
Дни: всё дал, – кто песню дал.

Жить (конечно не новей
Смерти!) жилам вопреки.
Для чего-нибудь да есть –
Потолочные крюки.

Начало января 1926

(О Есенине)

– У Е<сенина> был песенный дар, а личности не было. Его трагедия – трагедия пустоты. К 30-ти годам он внутренне кончился. У него была *только молодость*.

(Пел – и пил.)

1926

Есенин погиб, потому что не свой, чужой заказ (времени – обществу) принял за свой (времени – поэту), один из заказов – за весь заказ. Есенин погиб, потому что другим позволил знать за себя, забыл, что он сам – провод: самый прямой провод!..

Есенин погиб, потому что забыл, что он сам такой же посредник, глашатай, вожатый времени – по крайней мере настолько же сам себе время, как и те, кому во имя и от имени времени дал себя сбить и загубить.

(«Поэт и время», 1932)

П.Г. Антокольскому
(1896–1978)

П. Антокольскому

Дарю тебе железное кольцо:
Бессонницу – восторг – и безнадежность.
Чтоб не глядел ты девушкам в лицо,
Чтоб позабыл ты даже слово – нежность.

Чтоб голову свою в шальных кудрях
Как пенный кубок возносил в пространство,
Чтоб обратило в угль – и в пепл – и в прах
Тебя – сие железное убранство.

Когда ж к твоим пророческим кудрям
Сама Любовь приникнет красным углем,
Тогда молчи и прижимай к губам
Железное кольцо на пальце смуглом.

Вот талисман тебе от красных губ,
Вот первое звено в твоей кольчуге, –
Чтоб в буре дней стоял один – как дуб,
Один – как Бог в своем железном круге!

Март 1919

Н.П. Гронскому
(1909–1934)

Надгробие

1

«Иду на несколько минут...»
В работе (хаосом зовут
Бездельники) оставив стол,
Отставив стул – куда ушел?

Опрашиваю весь Париж.
Ведь в сказках лишь да в красках лишь
Возносятся на небеса!
Твоя душа – куда ушла?

В шкафу – двустворчатом, как храм, –
Гляди: все книги по местам.
В строке – все буквы налицо.
Твое лицо – куда ушло?

Твое лицо,
Твое тепло,
Твое плечо –
Куда ушло?

3 января 1935

2

Напрасно глазом — как гвоздем,
Пронизываю чернозем:
В сознании — верней гвоздя:
Здесь нет тебя — и нет тебя.

Напрасно в ока оборот
Обшариваю небосвод:
— Дождь! дождевой воды бадья.
Там нет тебя — и нет тебя.

Нет, некоторое из двух:
Кость слишком — кость, дух слишком — дух.
Где — ты? где — тот? где — сам? где — весь?
Там — слишком там, здесь — слишком здесь.

Не подменю тебя песком
И па́ром. Взявшего — родством
За труп и призрак не отдам.
Здесь — слишком здесь, там — слишком там.

Не ты — *не ты — не ты — не ты.*
Что́ бы ни пели нам попы,
Что смерть есть жизнь и жизнь есть смерть, —
Бог — слишком Бог, червь — слишком червь.

На труп и призрак — неделим!
Не отдадим тебя за дым
Кадил,
Цветы
Могил.

И если где-нибудь ты *есть* —
Так — в нас. И лучшая вам честь,
Ушедшие — презреть раскол:
Совсем ушел. Со *всем* — ушел.

5–7 января 1935

3

За то, что некогда, юн и смел,
Не дал мне заживо сгнить меж тел
Бездушных, замертво пасть меж стен —
Не дам тебе — умереть совсем!

За то, что за руку, свеж и чист,
На волю вывел, весенний лист —
Вязанками приносил мне в дом! —
Не дам тебе — порасти быльем!

За то, что первых моих седин
Сыновней гордостью встретил — чин,
Ребячьей радостью встретил — страх, —
Не дам тебе — поседеть в сердцах!

7–8 января 1935

4

Удар, заглушенный годами забвенья,
Годами незнанья.
Удар, доходящий — как женское пенье,
Как конское ржанье,

Как страстное пенье сквозь <косное> зданье
Удар — доходящий.
Удар, заглушенный забвенья, незнанья
Беззвучною чащей.

Грех памяти нашей — безгласой, безгубой,
Безмясой, безносой!
Всех дней друг без друга, ночей друг без друга
Землею наносной

Удар — заглушённый, замшённый — как тиной.
Так плющ сердцевину
Съедает и жизнь обращает в руину...
— Как нож сквозь перину!

...Оконною ватой, набившейся в уши,
И той, заоконной:
Снегами — годами — <пудами> бездушья
Удар — заглушенный...

А что если вдруг
. . . . . .
А что если вдруг
А что если — вспомню?

<Начало января 1935>

5

Оползающая глыба —
Из последних сил спасибо
— Рвущееся — умолчу —
Дуба юному плечу.

Издыхающая рыба,
Из последних сил спасибо
Близящемуся — прости! —
Силящемуся спасти
Валу первому прилива.

Иссыхающая нива —
Божескому, нелюдскóму.
Бури чудному персту.

Как добры — в час без спасенья
Силы первые — к последним!
Пока рот не пересох —
Спаси — боги! Спаси — Бог!

Лето 1928

О книге Н.П. Гронского «Стихи и поэмы»

Девятый год стоит Россия
Моей заморскою страной...

Н. П. Г.

Мне кажется, что спор о том, может ли быть эмигрантская молодая литература, или не может быть, на этот раз сам собой разрешен в недавно вышедшей книге покойного молодого поэта Н. П. Гронского.

Книга открывается словами: «Помню Россию — так мало, помню Россию — всегда»... Это сразу дает нам и возраст, и духовную особь пишущего. Мало помнят, но все же помнят — десяти лет расставшиеся помнят свою страну — изгнанники, всегда помнят — рожденные поэты. Книга открывается — формулой, ибо короче и полнее о себе и о России человек его поколения сказать не может. Эта цитата, по недостатку места, останется единственной. Пусть читатель, до прочтения книги, поверит на слово, что она редкостной словесной силы. Поэтически — первокачественная.

Читаем названия: Иоанн Безземельный — Римляне — Карл XII — Эней — Роланд — Наполеон — перед нами школьные годы, т. е. школьные герои поэта. Первый вывод: не зря ходил в школу. Дальше героика недавних времен: поэма Миноносец, трагическая героика не взятых на английский миноносец добровольцев (по страсти, с какой написано, ясно, что в основе — живое происшествие). Листаем дальше: — Из первой книги Царств — Россия — Август — Римские дороги — Савойя — Моисей — Дракон, — по названиям одним ясно: юноша читает, ходит, глядит, думает — и, наконец, альпийская поэма Белла Донна, лучшая вещь в книге и во всей поэзии эмиграции. К этой поэме отношу читателя, как к сердцевине книги и поэта и самой лирической поэзии. Дальше: Валгалла — дальше прекрасная поэма Авиатор, как все поэмы Гронского взятая из *жизни*, — поэма Финляндия (родина поэта), — Михаил Черниговский и Александр Невский, — драматические сцены Спиноза — и последнее в книге и в его молодой жизни — Повесть о Сер-

гии Радонежском, о медведе его Аркуде и о битве Куликовской. Книга, начатая Россией, Россией кончается. Россией кончается и его жизнь.

Где же, господа, неизбежное эмигрантское убожество тем, трагическая эмигрантская беспочвенность? Все здесь — почва: благоприобретенная, пешком исхоженная почва Савойи, почва медонских римских дорог, и в крови живущая отечественная почва тверской земли, и родная, финляндская, и библейская — Сиона и Синая, и небесная, наконец — Валгаллы и авионов.

Перед вами, молодые поэты, юноша — ваш сверстник, ваш школьный товарищ, с вашими же источниками питания: собственной ранней памяти, живого изустного сказа, огромного мирового города, природы, которая везде и всегда, и наиживейшим из всех источников, без которого все остальные — сушь: самой лирической жилой. Так почему же у вас в стихах метро и бистро, а у него Валгалла — и Авиаторы — и Спиноза? Вы жили в одном Париже. И Париж ни при чем.

Верней, Гронскому Париж много дал, потому что Гронский много сумел взять: Национальную библиотеку и Тургеневскую библиотеку, старые соборы и славные площади, и, что несравненно важнее, не только взять сумел, но отстоять сумел: свой образ, свое юношеское достоинство, свою страсть к высотам, свои русские истоки и, во всем его богатстве, мощи и молодости — *свой* язык. Взяв у одного Парижа — всё, не отдал другому Парижу — ничего.

— «Но это одиночный случай...» Вся лирическая поэзия — одиночный — и даже какой *одинокий!* — случай. Непрерывная вереница таких одиночных случаев и есть лирическая поэзия. Но если допустить, что есть поэзия не лирическая — гражданская, скажем, эпическая — что́ мешает молодым эмигрантским поэтам соприсутствовать — издалека — событиям своей родины? Челюскин был на весь мир и для всего мира, и место действия его, Арктика, равно — отдалено от всех жилых мест. — «О Русь, вижу тебя из моего прекрасного далека!» Но если наше далёко нам кажется *не* прекрасным, если у нас на него нет глаз, можно ведь и: «О Русь, вижу тебя в твоем прекрасном далёке», распространяя

это далёко и на прошлое, и на настоящее, и на будущее. Поэт никогда не жил подножным кормом времени и места, и если Пушкина, к нашей великой, кровной обиде, так и не выпустили за границу, это не помешало ему дать невиденный им Запад — лучше видевших. Ведь если допустить, что поэт может питаться только от данного места — своей страны, то неизбежно придется ограничить это его питание и современным ему временем. Тогда, сам собой вывод: Пушкин в Испании не был и в средние века не жил, — стало быть Каменного Гостя написать не мог.

А — мечта на что? А — тоска на что?

Нет, господа, оставим время и место писателям-бытовикам (поэтов-бытовиков — нет), а сами, поскольку мы поэты, будем поступать как молодой Гронский:

Я — вселенной гость,
Мне повсюду пир,
И мне дан в удел —
Весь подлунный мир!

И не только подлунный!

<1936>

Б.Л. Пастернаку
(1890–1960)

Провода

Des Herzens Woge schäumte nicht so schön empor, und würde Geist, wenn nicht der alte stumme Fels, das Schicksal, ihr entgegenstände[1].

1

Вереницею певчих свай,
Подпирающих Эмпиреи,
Посылаю тебе свой пай
Праха дольнего.
По аллее
Вздохов – проволокой к столбу –
Телеграфное: лю-ю-блю...

Умоляю... (печатный бланк
Не вместит! Проводами проще!)
Это – сваи, на них Атлант
Опустил скаковую площадь
Небожителей...
Вдоль свай
Телеграфное: про-о-щай...

1 Сердечная волна не вздымалась бы столь высоко
И не становилась бы Духом,
Когда бы на ее пути не вставала
Старая немая скала – Судьба (*нем.*).

Слышишь? Это последний срыв
Глотки сорванной: про-о-стите...
Это – снасти над морем нив,
Атлантический путь тихий:

Выше, выше – и сли-лись
В Ариаднино: ве-ер-нись,

Обернись!.. Даровых больниц
Заунывное: не выйду!
Это – про́водами стальных
Проводов – голоса Аида

Удаляющиеся... Даль
Заклинающее: жа-аль...

Пожалейте! (В сем хоре – сей
Различаешь?) В предсмертном крике
Упирающихся страстей –
Дуновение Эвридики:

Через насыпи – и – рвы
Эвридикино: у-у-вы,

Не у –

17 марта 1923

2

Чтоб высказать тебе... да нет, в ряды
И в рифмы сдавленные... Сердце – шире!
Боюсь, что мало для такой беды
Всего Расина и всего Шекспира!

«Всé плакали, и если кровь болит...
Всé плакали, и если в розах – змеи»...
Но был один – у Федры – Ипполит!
Плач Ариадны – об одном Тезее!

Терзание! Ни берегов, ни вех!
Да, ибо утверждаю, в счете сбившись,
Что я в тебе утрачиваю всех
Когда-либо и где-либо *небывших!*

Какия чаянья – когда насквозь
Тобой пропитанный – весь воздух свыкся!
Раз Наксосом мне – собственная кость!
Раз собственная кровь под кожей – Стиксом!

Тщета! во мне она! Везде! закрыв
Глаза: без дна она! без дна! И дата
Лжет календарная...
Как ты – Разрыв,
Не Ариадна я и не...
– Утрата!

О по каким морям и городам
Тебя искать? (Незримого – незрячей!)
Я про́воды вверяю провода́м,
И в телеграфный столб упершись – плачу.

18 марта 1923

3

(Пути)

Все перебрав и все отбросив,
(В особенности – семафор!)
Дичайшей из разноголосиц
Школ, оттепелей... (целый хор

На помощь!) Рукава как стяги
Выбрасывая...
– Без стыда! –
Гудят моей высокой тяги
Лирические провода.

Столб телеграфный! Можно ль кратче
Избрать? Доколе небо есть –

Чувств непреложный передатчик,
Уст осязаемая весть...

Знай, что доколе свод небесный,
Доколе зори к рубежу –
Столь явственно и повсеместно
И длительно тебя вяжу.

Чрез лихолетие эпохи,
Лжей насыпи – из снасти в снасть –
Мои неизданные вздохи,
Моя неистовая страсть...

Вне телеграмм (простых и срочных
Штампованностей постоянств!)
Весною стоков водосточных
И проволокою пространств.

19 марта 1923

4

Самовластная слобода!
Телеграфные провода!

Вожделений – моих – выспренных,
Крик – из чрева и на́ ветер!
Это сердце мое, искрою
Магнетической – рвет метр.

– «Метр и меру?» Но чет – вертое
Измерение мстит! – Мчись
Над метрическими – мертвыми –
Лжесвидетельствами – свист!

Тсс... А ежели вдруг (всюду же
Провода и столбы?) лоб
Заломивши поймешь: трудные
Словеса сии – лишь вопль

Соловьиный, с пути сбившийся:
– Без любимого мир пуст! –
В Лиру рук твоих влю-бившийся,
И в Лейлу твоих уст!

20 марта 1923

5

Не чернокнижница! В белой книге
Далей донских навострила взгляд!
Где бы ты ни был – тебя настигну,
Выстрадаю – и верну назад.

Ибо с гордыни своей, как с кедра.
Мир озираю: плывут суда,
Зарева рыщут... Морские недра
Выворочу – и верну со дна!

Перестрадай же меня! Я всюду:
Зори и руды я, хлеб и вздох,
Есмь я и буду я, и добуду
Губы – как душу добудет Бог:

Через дыхание – в час твой хриплый,
Через архангельские суда
Изгороди! – Все уста о шипья
Выкровяню и верну с одра!

Сдайся! Ведь это совсем не сказка!
– Сдайся! – Стрела, описавши круг...
– Сдайся! – Еще ни один не спасся
От настигающего без рук:

Через дыхание... (Перси взмыли,
Веки не видят, вкруг уст – слюда...)
Как прозорливица – Самуила
Выморочу – и вернусь одна:

Ибо другая с тобой, и в судный
День не тягаются...

Вьюсь и длюсь.
Есмь я и буду я и добуду
Душу – как губы добудет уст –

Упокоительница...

25 марта 1923

6

Час, когда вверху цари
И дары друг к другу едут.
(Час, когда иду с горы);
Горы начинают ведать.

Умыслы сгрудились в круг.
Судьбы сдвинулись: не выдать!
(Час, когда не вижу рук)

Души начинают видеть.

25 марта 1923

7

В час, когда мой милый брат
Миновал последний вяз
(Взмахов, выстроенных в ряд),
Были слезы – больше глаз.

В час, когда мой милый друг
Огибал последний мыс
(Вздохов мысленных; вернись!)
Были взмахи – больше рук.

Точно руки – вслед – от плеч!
Точно губы вслед – заклясть!
Звуки растеряла речь,
Пальцы растеряла пясть.

В час, когда мой милый гость.
— Господи, взгляни на нас! —
Были слезы больше глаз
Человеческих и звезд
Атлантических...

26 марта 1923

8

Терпеливо, как щебень бьют,
Терпеливо, как смерти ждут,
Терпеливо, как вести зреют,
Терпеливо, как месть лелеют —

Буду ждать тебя (пальцы в жгут —
Так Монархини ждет наложник)
Терпеливо, как рифмы ждут,
Терпеливо, как руки гложут.

Буду ждать тебя (в землю — взгляд,
Зубы в губы. Столбняк. Булыжник).
Терпеливо, как негу длят,
Терпеливо, как бисер нижут.

Скрип полозьев, ответный скрип
Двери: рокот ветров таежных.
Высочайший пришел рескрипт:
— Смена царства и въезд вельможе.

И домой:
В неземной —
Да мой.

27 марта 1923

9

Весна наводит сон. Уснем.
Хоть врозь, а все ж сдается: всé
Разрозненности сводит сон.
Авось увидимся во сне.

Всевидящий, он знает, чью
Ладонь — и в чью, кого — и с кем.
Кому печаль мою вручу,
Кому печаль мою повем

Предвечную (дитя, отца
Не знающее и конца
Не чающее!). О, печаль
Плачущих без плеча!

О том, что памятью с перста
Спадет, и камешком с моста...
О том, что заняты места,
О том, что наняты сердца

Служить — безвыездно — навек,
И жить — пожизненно — без нег!
О заживо — чуть встав! чем свет! —
В архив, в Элизиум калек.

О том, что тише ты и я
Травы, руды, беды, воды...
О том, что выстрочит швея:
Рабы — рабы — рабы — рабы.

5 апреля 1923

10

С другими — в розовые груды
Грудей... В гадательные дроби
Недель...

А я тебе пребуду
Сокровищницею подобий

По случаю — в песках, на щебнях
Подобранных, — в ветрах, на шпалах
Подслушанных... Вдоль всех бесхлебных
Застав, где молодость шаталась.

Шаль, узнаешь ее? Простудой
Запахнутую, жарче ада
Распахнутую...
Знай, что чудо
Недр – под полой, живое чадо:

Песнь! С этим первенцем, что пуще
Всех первенцев и всех Рахилей...
– Недр достовернейшую гущу
Я мнимостями пересилю!

11 апреля 1923

Двое

1

Есть рифмы в мире сём:
Разъединишь – и дрогнет.
Гомер, ты был слепцом.
Ночь – на буграх надбровных.

Ночь – твой рапсодов плащ,
Ночь – на очах – завесой.
Разъединил ли б зрящ
Елену с Ахиллесом?

Елена. Ахиллес.
Звук назови созвучней.
Да, хаосу вразрез
Построен на созвучьях

Мир, и, разъединен,
Мстит (на согласьях строен!)
Неверностями жен
Мстит – и горящей Троей!

Рапсод, ты был слепцом:
Клад рассорил, как рухлядь.

Есть рифмы – в мире *том*
Подобранные. Рухнет

Сей – разведешь. Что́ нужд
В рифме? Елена, старься!
...Ахеи лучший муж!
Сладостнейшая Спарты!

Лишь шорохом древес
Миртовых, сном кифары:
«Елена: Ахиллес:
Разрозненная пара».

30 июня 1924

2

Не суждено, чтобы сильный с сильным
Соединились бы в мире сем.
Так разминулись Зигфрид с Брунгильдой,
Брачное дело решив мечом.

В братственной ненависти союзной
– Буйволами! – на скалу – скала.
С брачного ложа ушел, неузнан,
И неопознанною – спала.

Порознь! – даже на ложе брачном –
Порознь! – даже сцепясь в кулак –
Порознь! – на языке двузначном –
Поздно и порознь – вот наш брак!

Но и постарше еще обида
Есть: амазонку подмяв как лев –
Так разминулися: сын Фетиды
С дщерью Аресовой: Ахиллес

С Пенфезилеей.
О вспомни – снизу

Взгляд ее! сбитого седока
Взгляд! не с Олимпа уже, — из жижи
Взгляд ее — все ж еще свысока!

Что ж из того, что отсель одна в нем
Ревность: женою урвать у тьмы.
Не суждено, чтобы равный — с равным...
. . . . . .
Так разминовываемся — мы.

3 июля 1924

3

В мире, где всяк
Сгорблен и взмылен,
Знаю — один
Мне равносилен.

В мире, где столь
Многого хощем,
Знаю — один
Мне равномощен.

В мире, где все —
Плесень и плющ,
Знаю: один
Ты — равносущ

Мне.

3 июля 1924

* * *

Рас-стояние: версты, мили...
Нас рас-ставили, рас-садили,
Чтобы тихо себя вели
По двум разным концам земли.

Рас-стояние: версты, дали...
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распяв,
И не знали, что это — сплав

Вдохновений и сухожилий...
Не рассóрили — рассорúли,
Расслоили...

Стена да ров.
Расселили нас, как орлов-

Заговорщиков: версты, дали...
Не расстроили — растеряли.
По трущобам земных широт
Рассовали нас, как сирот.

Который уж, ну который — март?!
Разбили нас — как колоду карт!

24 марта 1925

* * *

Русской ржи от меня поклон,
Ниве, где баба застится.
Друг! Дожди за моим окном,
Беды и блажи нá сердце...

Ты, в погудке дождей и бед
То ж, что Гомер — в гекзаметре,
Дай мне руку — на весь тот свет!
Здесь — мои обе заняты.

Прага,
7 мая 1925

С моря

С Северо-Южным,
Знаю: неможным!
Можным — коль нужным!
В чем-то дорожном,

— Воздухокрутом,
Мчащим щепу! —
Сон три минуты
Длится. Спешу.

С кем — и не гляну! —
Спишь. Три минуты.
Чем с Океана —
Долго — в Москву-то!

Молниеносный
Путь — запасной:
Из своего сна
Прыгнула в твой.

Снюсь тебе. Четко?
Гладко? Почище,
Чем за решеткой
Штемпельной? Писчей —

Сто́ю? Почтовой —
Сто́ю? Красно?
Честное слово
Я, не письмо!

Вольной цезуры
Нрав. Прыгом с барки!
Что́ без цензуры —
Даже без марки!

Всех объегоря,
— Скоропись сна! —

Вот тебе с моря —
Вместо письма!

Вместо депеши.
Вес? Да помилуй!
Столько не вешу
Вся — даже с лирой

Всей, с сердцем Ченчи
Всех, *с целым там.*
Сон, это меньше
Десяти грамм.

Каждому по́ три —
Шесть (сон взаимный).
Видь, пока смотришь:
Не анонимный

Нос, твердозначен
Лоб, буква букв —
Ять, ять без сдачи
В подписи губ.

Я — без описки,
Я — без помарки.
Роз бы альпийских
Горсть, да хибарка

На́ море, да но
Волны добры.
Вот с Океана,
Горстка игры.

Мало-помалу бери, как собран.
Море играло. Играть — быть добрым.
Море играло, а я брала,
Море играло, а я клала

За́ ворот, за́ щеку, — терпко, мо́рско!
Рот лучше ящика, если горсти

Заняты. Валу, звучи, хвала!
Муза теряла, волна брала.

Крабьи кораллы, читай: скорлупы.
Море играло, играть – быть глупым.
Думать – седая прядь! –
Умным. Давай играть!

В ракушки. Темп un petit navir'a[1]
Эта вот – сердцем, а эта – лирой,
Эта, обзор трех куч,
Детства скрипичный ключ.

Подобрала у рыбацкой лодки.
Это – голодной тоски обглодки:

Камень – тебя щажу, –
Лучше волны гложу,

Осатанев на пустынном спуске.
Это? – какой-то любви окуски:

Восстановить не тщусь:
Так неглубок надкус.

Так и лежит не внесенный в списки.
Это – уже не любви – огрызки:

Совести. Чем слезу
Лить-то – ее грызу,

Не угрызомую ни на столько.
Это – да нашей игры осколки

Завтрашние. Не видь.
Жаль ведь. Давай делить.

Не что понравится, а что выну.
(К нам на кровать твоего бы сына

1 Речь идет о детской песенке (*фр.*).

Третьим – нельзя ль в игру?)
Первая – я беру.

Только песок, между пальцев, ливкий.
Стой-ка: какой-то строфы отрывки:
«Славы подземный храм».
Ладно. Допишешь сам.

Только песок, между пальцев, плёский.
Стой-ка: гремучей змеи обноски:
Ревности! Обновясь
Гордостью назвалась.

И поползла себе с полным правом.
Не напостовцы – стоять над крабом
Выеденным. Не краб:
Славы кирпичный крап.

Скромная прихоть:
Камушек. Пемза.
Полый как критик.
Серый как цензор

Над откровеньем.
– Спят цензора! –
Нашей поэме
Цензор – заря.

(Зори – те зорче:
С током Кастальским
В дружбе. На порчу
Перьев – сквозь пальцы...

«Вирши, голубчик?
Ну и черно́!»
И не взглянувши:
Разрешено!)

Мельня ты мельня, морское коло!
Мамонта, бабочку, – всё смололо

Море. О нем — щепоть
Праха — не нам молоть!

Вот только выговорюсь — и тихо.
Море! прекрасная мельничиха,
Место, где на мели
Мелочь — и нас смели!

Преподаватели! Пустомели!
Материки, это просто мели
Моря. Родиться (цель —
Множиться!) — сесть на мель.

Благоприятную, с торфом, с нефтью.
Обмелевающее бессмертье —
Жизнь. Невпопад горды!
Жизнь? Недохват воды

Надокеанской.
Винюсь заране:
Я нанесла тебе столько дряни,
Столько заморских див:
Всё, что нанес прилив.

Лишь оставляет, а брать не просит.
Странно, что это — отлив приносит,
Убыль, в ладонь, дает.
Не узнаешь ли нот,

Нам остающихся по́ две, по́ три
В час, когда бог их принесший — отлил,
Отбыл... Орфей... Арфист...
Отмель — наш нотный лист!

— Только минуту еще на сборы!
Я нанесла тебе столько вздору:
Сколько язык смолол, —
Целый морской подол!

Как у рыбачки, моей соседки.
Но припасла тебе напоследки
Дар, на котором строй:
Море роднит с Москвой,

Советороссию с Океаном
Республиканцу — рукой шуана —
Сам Океан-Велик
Шлет. Нацепи на шлык.

И доложи мужикам в колосьях,
Что на шлыке своем краше носят
Красной — не верь: вражду
Классов — морей звезду!

Мастеровым же и чужеземцам:
Коли отстали от Вифлеемской,
Клин отхватив шестой,
Обречены — морской:

Прабогатырской, первобылинной.
(Распространяюсь, но так же длинно
Море — морским пластам.)
Так доложи ж властям

— Имени-звания не спросила —
Что на корме корабля Россия
Весь корабельный крах:
Вещь о пяти концах.

Голые скалы, слоновьи ребра...
Море устало, устать — быть добрым.
Вечность, махни веслом!
Влечь нас. Давай уснем.

Вплоть, а не тесно,
Огнь, а не дымно.
Ведь не совместный
Сон, а взаимный:

В Боге, друг в друге.
Нос, думал? Мыс!
Брови? Нет, дуги,
Выходы из –

Зримости.

Вандея, St. Gilles-sur-Vie,
Май 1926 г.

Попытка комнаты

Стены косности сочтены
До меня. Но – заскок? случайность? –
Я запомнила три стены.
За четвертую не ручаюсь.

Кто же знает, спиной к стене?
Может *быть*, но ведь может *не*

Быть. И не было. Дуло. Но
Не стена за спиной – так?.. Всё, что
Не угодно. Депеша «Дно»,
Царь отрекся. Не только с почты

Вести. Срочные провода
Отовсюду и отвсегда.

На рояле играл? Сквозит.
Дует. Парусом ходит. Ватой –
Пальцы. Лист сонатинный взвит.
(Не забудь, что тебе – девятый.)

Для невиданной той стены
Знаю имя: стена спины

За роялем. Еще – столом
Письменным, а еще – прибором

Бритвенным (у стены – прием –
Этой – делаться коридором

В зеркале. *Перенес* – взглянул.
Пустоты переносный стул).

Стул для всех, кому не войти –
Дверью, – чуток порог к подошвам!
Та стена, из которой *ты*
Вырос – поторопилась с прошлым –

Между нами еще абзац
Целый. Вырастешь как Данзас –

Сзади.
Ибо Данзасом – *та*,
Званым, избранным, с часом, с весом,
(Знаю имя: стена хребта!)
Входит в комнату – не Дантесом.

Оборот головы. – Готов?
Так и ты через десять строф,

Строк.
Глазная атака в тыл.
Но, оставив разряд заспинный,
Потолок достоверно – *был*.
Не упорствую: как в гостиной,

Может быть и чуть-чуть косил.
(Штыковая атака в тыл –
Сил.)
И вот уже мозжечка
Сжим. Как глыба спина расселась.
Та сплошная стена Чека,
Та – рассветов, ну та – расстрелов

Светлых: четче, чем на тени
Жестов – в спину из-за спины.

То, чего не пойму: расстрел.
Но, оставив разряд застенный,
Потолок достоверно цел
Был (еще впереди — зачем нам
Он). К четвертой стене вернусь:
Та, куда, отступая, трус
Оступается.
«Ну, а пол —
Был? На чем-нибудь да ведь надо ж?..»
Был. — Не всем. — На качель, на ствол,
На коня, на канат, на шабаш, —

Выше!..
Всем нам не «*тем свету́*»
С пустотою сращать пяту
Тяготенную.

Пол — для ног.
— Как внедрен человек, как вкраплен! —
Чтоб не капало — потолок.
Помнишь, старая казнь — по капле

В час? Трава не росла бы в дом —
Пол, земля не вошла бы в дом —

Всеми — теми — кому и кол
Не препятствие ночью майской!
Три стены, потолок и пол.
Всё, как будто? Теперь — являйся!

Оповестит ли ставнею?
Комната на́спех составлена,
Белесоватым по́ серу —
В черновике набросана.

Не штукатур, не кровельщик —
Сон. На путях беспроволочных
Страж. В пропастях под веками
Некий нашедший некую.

Не поставщик, не мебельщик —
Сон, поголее ревельской
Отмели. Пол без блёсткости.
Комната? Просто — плоскости.

Дебаркадер приветливей!
Нечто из геометрии,
Бездны в картонном томике,
Поздно, но по́лно, понятой.

А фаэтонов тормоз-то —
Стол? Да ведь локтем кормится
Стол. Разлоктись по склонности,
Будет и стол — настольности.

Так же, как деток — аисты:
Будет нужда — и явится
Вещь. Не пекись за три версты!

Стул вместе с гостем вырастет.
Все вырастет,
Не ладь, не строй.
Под вывеской
Сказать — какой?

Взаимности
Лесная глушь
Гостиница
Свиданье Душ.

Дом встречи. Всé — разлуки —
Те, хоть южным на юг!
Прислуживают — руки?
Нет, то, что тише рук,

И легче рук, и чище
Рук. Подновленный хлам
С услугами? Тощища
Оставленная там!

Да, здесь мы недотроги,
И в праве. Рук – гонцы,
Рук – мысли, рук – итоги,
Рук – самые концы...

Без судорожных «где ж ты?».
Жду. С тишиной в родстве,
Прислуживают – жесты
В Психеином дворце.

Только ветер поэту дорог!
В чем уверена – в коридорах.
Прохожденье – вот армий база.
Дóлжно долго идти, чтоб сразу

Середь комнаты, с видом бога –
Лиродержца...
– Стиха дорога!

Ветер, ветер, над лбом – как стягом
Подымаемый нашим шагом!

Водворенное «и так дале» –
Коридоры: домашность дали.

С грачьим профилем иноверки
Тихой скоростью даль, по мерке

Детских ног, в дождевом пруфе
Рифмы милые: грифель – туфель –

Кафель... в павлиноватом шлейфе
Где-то башня, зовется Эйфель.

Как река для ребенка – галька,
Дали – долька, не даль – а далька,

В детской памяти, струнной, донной –
Даль с ручным багажом, даль – бонной...

Не сболтнувшая нам (даль в модах)
Чтó там тащится на подводах...

Доведенная до пенала...
Коридоры: домов каналы.

Свадьбы, судьбы, событья, сроки, –
Коридоры: домов притоки.

В пять утра, с письмецом подметным,
Коридором не только метлы

Ходят. Тмином разит и дерном.
Род занятия? Ко-ри-дорный.

То лишь требуя, что смолола –
Коридорами – Карманьола!

Кто коридоры строил
(Рыл), знал куда загнуть,
Чтобы дать время крови
Зá угол завернуть

Сéрдца – за тот за острый
Угол – громов магнит!
Чтобы сердечный остров
Со всех сторон омыт

Был. Коридор сей создан
Мной – не проси ясней! –
Чтобы дать время мозгу
Оповестить по всей

Линии – от «посадки
Нету» до узловой
Сердца: «Идет! Бросаться –
Жмурься! А нет – долой

С рельс!» Коридор сей создан
Мной (*не поэт* – спроста!),

Чтобы дать время мозгу
Распределить места,

Ибо свиданье — местность,
Роспись — подсчет — чертеж —
Слов, не всегда уместных,
Жестов, погрешных сплошь.

Чтобы любовь в порядке —
Вся, чтоб тебе люба —
Вся, до последней складки —
Губ или платья? Лба.

Платье всé оправлять умели!
Коридоры: домов туннели.

Точно старец, ведомый дщерью —
Коридоры: домов ущелья.

Друг, гляди! Как в письме, как в сне том —
Это *я* на тебя просветом!

В первом сне, когда веки спустишь —
Это *я* на тебя предчувствьем

Света. В крайнюю точку срока
Это *я* — световое око.

А потом?
Сон есть: в тон.
Был — подъем,
Был — наклон

Лба — и лба.
Твой — вперед
Лоб. Груба
Рифма: рот.

Оттого ль, что не стало стен —
Потолок достоверно крен

Дал. Лишь звательный цвел падéж
В ртах. А пол — достоверно брешь.

А сквозь брешь, зелена как Нил...
Потолок достоверно плыл.

Пол же — чтó, кроме «провались!» —
Полу? Чтó нам до половиц

Сорных? Мало мела? — Горé!
Весь поэт на одном тире

Держится...
Над *ничем* двух тел
Потолок достоверно пел —

Всеми ангелами.

St. Gilles-sur-Vie,
6-го июня 1926 г.

О.Э. Мандельштаму
(1891–1938)

* * *

Никто ничего не отнял!
Мне сладостно, что мы врозь.
Целую Вас – через сотни
Разъединяющих верст.

Я знаю, наш дар – неравен,
Мой голос впервые – тих.
Что Вам, *молодой* Державин,
Мой невоспитанный стих!

На страшный полет крещу Вас:
Лети, молодой орел!
Ты солнце стерпел, не щурясь, –
Юный ли взгляд мой тяжел?

Нежней и бесповоротней
Никто не глядел Вам вслед...
Целую Вас – через сотни
Разъединяющих лет.

12 февраля 1916

* * *

Собирая любимых в путь,
Я им песни пою на память –
Чтобы приняли как-нибудь,
Что когда-то дарили сами.

Зеленеющею тропой
Довожу их до перекрестка.
Ты без устали, ветер, пой,
Ты, дорога, не будь им жесткой!

Туча сизая, слез не лей, –
Как на праздник они обуты!
Ущеми себе жало, змей,
Кинь, разбойничек, нож свой лютый.

Ты, прохожая красота,
Будь веселою им невестой.
Потруди за меня уста, –
Наградит тебя Царь Небесный!

Разгорайтесь, костры, в лесах,
Разгоняйте зверей берложьих.
Богородица в небесах,
Вспомяни о моих прохожих!

17 февраля 1916

* * *

Ты запрокидываешь голову
Затем, что ты гордец и враль.
Какого спутника веселого
Привел мне нынешний февраль!

Преследуемы оборванцами
И медленно пуская дым,

Торжественными чужестранцами
Проходим городом родным.

Чьи руки бережные нежили
Твои ресницы, красота,
И по каким терновалежиям
Лавровая тебя верста... –

Не спрашиваю. Дух мой алчущий
Переборол уже мечту.
В тебе божественного мальчика, –
Десятилетнего я чту.

Помедлим у реки, полощущей
Цветные бусы фонарей.
Я доведу тебя до площади,
Видавшей отроков-царей...

Мальчишескую боль высвистывай,
И сердце зажимай в горсти...
Мой хладнокровный, мой неистовый
Вольноотпущенник – прости!

18 февраля 1916

* * *

Откуда такая нежность?
Не первые – эти кудри
Разглаживаю, и губы
Знавала темней твоих.

Всходили и гасли звезды,
– Откуда такая нежность?
Всходили и гасли очи
У самых моих очей.

Еще не такие гимны
Я слушала ночью темной,

Венчаемая – о нежность! –
На самой груди певца.

Откуда такая нежность,
И что с нею делать, отрок
Лукавый, певец захожий,
С ресницами – нет длинней?

18 февраля 1916

* * *

Разлетелось в серебряные дребезги
Зеркало, и в нем – взгляд.
Лебеди мои, лебеди
Сегодня домой летят!

Из облачной выси выпало
Мне прямо на грудь – перо.
Я сегодня во сне рассыпала
Мелкое серебро.

Серебряный клич – звóнок.
Серебряно мне – петь!
Мой выкормыш! Лебеденок!
Хорошо ли тебе лететь?

Пойду и не скажусь
Ни матери, ни сродникам.
Пойду и встану в церкви,
И помолюсь угодникам
О лебеде молоденьком.

1 марта 1916

* * *

Гибель от женщины. Вот знак
На ладони твоей, юноша.
Долу глаза! Молись! Берегись! Враг
Бдит в полуночи.

Не спасет ни песен
Небесный дар, ни надменнейший вырез губ.
Тем ты и люб,
Что небесен.

Ах, запрокинута твоя голова,
Полузакрыты глаза – что? – пряча.
Ах, запрокинется твоя голова –
Иначе.

Голыми руками возьмут – ретив! упрям!
Криком твоим всю ночь будет край звóнок!
Растреплют крылья твои по всем четырем ветрам
Серафим! – Орленок!

17 марта 1916

* * *

Приключилась с ним странная хворь,
И сладчайшая на него нашла оторопь.
Все стоит и смотрит ввысь,
И не видит ни звезд, ни зорь
Зорким оком своим – отрок.

А задремлет – к нему орлы
Шумнокрылые слетаются с клекотом,
И ведут о нем дивный спор.
И один – властелин скалы –
Клювом кудри ему треплет.

Но дремучие очи сомкнув,
Но уста полураскрыв – спит себе.
И не слышит ночных гостей,
И не видит, как зоркий клюв
Златоокая вострит птица.

20 марта 1916

Мой ответ Осипу Мандельштаму

Проза поэта. Поэт, наконец, заговорил на *нашем* языке, на котором говорим или можем говорить мы все. Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком. Чем же была твоя царственность? Тот лоскут пурпура, вольно или невольно оброненный тобою? Или есть у тебя – где-нибудь на плече или на сердце – царственный тайный знак?

Ужас и любопытство, страсть к познанию и страх его, вот что каждого любящего толкает к прозе поэта.

Вот ты передо мной голый, вне чар. Орфей без лиры, вот я, перед тобой, равный, – брат тебе и судья. Ты был царем, но кораблекрушение или прихоть загнали тебя голого на голый остров, где только две руки. Твой пурпур остался в море.

Два вопроса: сумеешь ли ты и без пурпура быть царем (и без стиха быть поэтом)?

Сумеешь ли ты им – царем или поэтом – *не* быть?

Есть ли поэт (царственность) – неотъемлемость, есть ли *поэт* в тебе – суть?

Поклонюсь ли тебе – голому?

Поэзия язык богов! Этого никто не повторил, это мы все сказали, каждый заново. Девочка трех лет, услыхав впервые живого поэта, спросила мать: «Это Бог говорит?» Девочка ничего не понимала, а поэт не пел. Поэт говорил, но по-другому, и это по-другому (*как*) заставило девочку молчать. Девочка признала божество. От Державина до Маяковского (а не плохое соседство!) – поэзия – язык богов. Боги не говорят, за них говорят поэты.

Есть в стихах, кроме всего (а его много!), что можно учесть, — неучтимое. Оно-то и есть стихи.

Итак, Осип Мандельштам, сбросив пурпур, предстал перед нами как человек: от него отказавшись, поэт — человек как я. Равные данные. Победи меня одним собою.

Осип Мандельштам. Шум времени.

Книга открылась на «Бармы закона» и взгляд, притянутый заглавной буквой, упал на слова: полковник Цыгальский.

Полковник Цыгальский? Я знаю полковника Цыгальского. Ничего не встает. Но я знаю полковника Цыгальского. Первому взгляду откликнулся первый слух. «Полковник Цыгальский нянчил сестру, слабоумную и плачущую, и больного орла, жалкого, слепого, с перебитыми лапами, — орла добровольческой армии. В одном углу его жилища как бы незримо копошился под шипение примуса эмблематический орел, в другом, кутаясь в шинель или в пуховый платок, жалась сестра, похожая на сумасшедшую гадалку»...

Пока, не веря глазам, читаю, вот что со дна, глубочайшего, нежели черноморское, подает память:

Полковник Цыгальский — доброволец, поэт, друг Макса Волошина и самого Мандельштама. В 19 г. был в Крыму, у него была больная жена и двое чудесных мальчиков. Нуждался. Помогал. Я его никогда не видела, но когда мне в 1921 г. вернувшийся после разгрома Крыма вручил книжечку стихов «Ковчег», я из всех стихов остановилась на стихах некоего Цыгальского, конец которых до сих пор помню наизусть. Вот он.

Я вижу Русь, изгнавшую бесов,
Увенчанную бармами закона,
Мне все равно: с царем — или без трона,
Но без меча над чашами весов.

Последние две строки я всегда приводила и привожу как формулу идеи Добровольчества. И как поэтическую формулу.

Читаю дальше:

«Запасные лаковые сапоги просились не в Москву, молодцами-скороходами, а скорее на базар. Цыгальский

создан был, чтобы кого-нибудь нянчить и особенно беречь чей-нибудь сон. И он, и сестра похожи были на слепых, но в зрачках полковника, светившихся агатовой чернотой и женской добротой, застоялась темная решимость поводыря, а у сестры только коровий испуг. Сестру он кормил виноградом и рисом, иногда приносил из юнкерской академии какие-то скромные пайковые кулечки, напоминая клиента Кубу или дома ученых. Трудно себе представить, зачем нужны такие люди в какой бы то ни было армии?»

Запасные лаковые сапоги просились на базар... Вывод: Цыгальский был нищ. Цыгыльский ухаживал за больной женщиной и скармливал ей последний паек. Вывод: Цыгальский был добр. Пайки Цыгальского умещались в скромных кулечках. Вывод: Цыгальский был чист. Это мои выводы, и твои, читатель. Вывод же Мандельштама: зачем нужны такие люди в какой бы то ни было армии.

Дальше:

«Однажды, стесняясь своего голоса, примуса, сестры, непроданных лаковых сапог и дурного табаку, он прочел стихи».

Почему голоса? Ни до, ни после никакого упоминания.

Почему примуса? На этом примусе он кипятил чай для того же Мандельштама. Почему сестры? Кто же стыдится чужой болезни? Почему — непроданных сапог? Если непроданности, — Мандельштам не кредитор, если лака (то есть *роскоши* в этом убожестве) — Мандельштам не лейтенант Армии Спасения, а если бы и был, ведь добрая воля к продаже есть! Поди и продай, тебе есть когда, Цыгальскому некогда, у Цыгальского на руках больная жена и двое детей: чужая болезнь и чужой голод, у Цыгальского на плечах все добровольчество, позади — му́ка, впереди, может быть завтра — смерть. У Вас, Осип Мандельштам, ничего, кроме собственного неутолимого аппетита, заставляющего Вас пожирать последние крохи Цыгальского, и очередного стихотворения — в 8 строк, которое вы пишете три месяца. Пойдите и продайте и не проешьте деньги на шоколад: они нужны больной женщине («с глазами коровы») и голодным детям, которых Вы по легкомыслию своему обронили на

дороге своего повествования. (Два кадетика, 12 и 13 лет, чуть ли не в тифу, имен не знаю.)

Почему голоса, примуса, сестры, непроданных сапог и дурного табаку (стыдился) – а не просто Вас, большого поэта Осипа Мандельштама, которому он, неизвестный поэт и скромный полковник Цыгальский читает стихи?

*Помнится, Вы, уже известный тогда поэт, в 1916 г. по*сле нелестного отзыва о Вас Брюсова – плакали. Дайте же постесняться неизвестному полковнику Цыгальскому.

А дурного табаку, может быть, действительно стыдился. Не того, что курит дурной табак, а того, что не может угостить Вас, большого поэта Мандельштама, высшим сортом. *По заслугам.*

«Там было неловкое выраженье: «Мне все равно, с царем, *или без трона...» и еще пожелание о том (?), какой нуж*на ему Россия: «Увенчанная бармами закона»...

Неловкое выражение. В чем неловкость? Думаю и не додумываюсь. Трон в конце строки вместо царя. Или царь в начале строки вместо трона. Как ни поверни, смысл ясен: Мне все равно – с царем или без царя, мне все равно, с троном или без трона.

Есть у Вас, Осип Мандельштам, строки более неловкие, а именно:

...ягнята и волы
На тучных пастбищах плодились...

«Плодились» Вы, по осто́рожному (до сей поры не оглашенному) совету друзей заменили «водились», но другая неловкость, увы, друзьями непредупрежденная, пребывает. О черепахе.

Она лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот.

Черепаха, лежащая на спине! Черепаха, перевернувшаяся и так блаженствующая? Вы их никогда не видели.

А в прекрасном стихе о Диккенсе, который у всех на устах – помните?

Я помню Оливера Твиста
Над кипою конторских книг.

Это Оливер Твист-то, взращенный в притоне воров! Вы его никогда не читали.

Все это *погрешности*, не только простительные, прощенные, но милые и очаровательные. И никогда бы не поставила их Вам в вину, если бы Вы не оказались взыскательнее к безвестному поэту Цыгальскому, чем к большому поэту, себе. Кроме того. Ваши погрешности – действительные: бессмыслица. Неловкость же двустишия Цыгальского Вами не доказана, а мной (тоже поэтом) посему не признана. Берегись мелочного суда. По признаку нелепости, неловкости от Вас мало останется.

«...По дикому этому пространству (поэт говорит о душе Цыгальского)[1] где-то между Курском и Севастополем, словно спасательные буйки, плавали бармы закона, и не добровольцы, а какие-то слепые рыбаки в челноках вылавливали эту странную принадлежность государственного туалета, о которой вряд ли знал и догадывался сам полковник до революции. Полковник-нянька с бармами закона!»

«Странную принадлежность государственного туалета» – явная пошлость, постыдная пошлость. Мы так привыкли к «принадлежностям *дамского* туалета», что слово *государственный* проскальзывает, мы – под гипнозом общего места – видим в воде не бармы, а гофрированные розовые резинки и прочую дамскую дребедень. Этого ли хотел Мандельштам? Или, оставляя *государственный* в силе, отождествляя по невежеству, недомыслию своему государственный с империалистический, целя в империалистическое, попал в государственное.

«Государственный туалет», применил ли бы он это выражение к чему-нибудь, касающемуся коммунизма? Нет. Явное желание пошлым оборотом унизить идею монархической власти, которую по недомыслию отождествляет с государственной. Осип Мандельштам, даже если Вы боец, – не так сражаются! Но если Вы искренне думаете, что бармы – часть одежды, Вы ошибаетесь. Так же не часть одежды, как Георгиевский крест или орден Красной звезды. Эти вещи – символы.

«Полковник-нянька с бармами закона» – вывод.

1 В скобках текст М. Цветаевой.

Итак: человек, ухаживающий за больной женщиной, — нянька. Если этот человек к тому же пишет стихи о бармах закона — он нянька с бармами закона.

Слабый вывод.

Вот логика и вот сердце Осипа Мандельштама.

Рассказик мал — 3 страницы, и привела я его почти целиком. Вот еще две выдержки:

«Грязная, на серой древесной бумаге, всегда похожая на корректуру, газетка Освага будила впечатленье русской осени в лавке мелочного торговца».

Бумага, на которой напечатаны эти строки, сера и грязна (Осип Мандельштам. Шум времени. Издательство «Время», Ленинград, 1925), но впечатлений осени в мелочной лавке — во мне не будит. Бумага, на которой печатаются вещи, во мне вообще ничего не будит то, *что* напечатано, и в данном случае: приведенные строки Мандельштама о плохости добровольческой бумаги будят во мне непреодолимое отвращение к такому эстетизму. Вокруг кровь, а Мандельштам недоволен бумагой. Впрочем, с кровью у Мандельштама вообще подозрительно, после 37 года (см. Пушкина) и кровь и стихи журчат иначе. Журчащая кровь. Нет ли в этом — жути? Точно человек лежал и слушал, услаждаясь невинностью звука. Забывая, *что́ журчит, удовлетворяясь* — как. Что касается журчания стихов — просто пошлость, слишком частая, чтобы быть жутью.

Выдержка последняя:

«Город был древнее, лучше и чище всего, что в нем происходило. К нему не приставала никакая грязь».

Древнее. В первую секунду — улыбка. Конечно, древнее! Генуэзская колония — и добровольцы двадцатого! Но — улыбка сошла — Мандельштам неправ и здесь: добрая воля *старше* города: без нее бы не возник ни один.

«В прекрасное тело его впились клещи тюрьмы и казармы, по улицам ходили циклопы в черных бурках, сотники, пахнущие собакой и волком, гвардейцы разбитой армии, с фуражки до подошв зараженные лисьим электричеством здоровья и молодости (Мандельштам точно ходит по зверинцу или по басне Крылова, переходит от клетки к клетке: собака, волк, лиса — ассоциация по смежности)[1]. На иных людей возможность безнаказанного убийства действует, как свежая нарзанная ванна, и Крым для этой породы людей с детскими наглыми и опасно пурпурными карими глазами был лишь курортом, где они проходили курс лечения, соблюдая бодряший, благотворный их природе режим».

Мандельштам, en connaissance de cause[2]: глаза у добровольцев и большевиков серые, средняя Россия, пришедшая в Крым, а не местное население: татары, болгары, евреи, караимы, крымчанки. Светлоглазая — так через 100 лет будет зваться наша Армия. Но это частности. *Не* частность же — Ваша намеренная слепость и глухость к Крыму тех дней. Вы не услышали добровольческих песен. Вы не увидели и пустых рукавов, и костылей. Вы не увидели на лбу — черты загара от фуражки. Загар тот свят.

Не мне — перед Вами — обелять Белую Армию. За нее — действительность и легенда. Но мне — перед лицом всей современности и всего будущего — заклеймить Вас, большого поэта. Из всех песен Армии (а были!) отметить только: Бей жидов — даже без сопутствующего: Спасай Россию[3], всю Добровольческую Армию отождествлять с Контрразведкой. Не знаю Вашей биографии — может быть, Вы в ней сидели, может быть, Вы от нее терпели. Но полковник Цыгальский, *тоже доброволец*, поил Вас чаем (последним) и читал Вам (может быть, первые!) стихи. Есть другой поэт, тоже еврей, которому добровольцы на пароходе выбили зубы. Это последнее, на что он ссылается в своих обвинениях Добровольческой Армии. Потому что он зряч и знает. Не Добрая Воля выбивает еврею зубы, а злая, что прокалывала добровольцам глаза в том же Крыму — краткий срок спустя. Не идея, а *отсутствие идей*. Красная Армия не есть Чека и добровольчество не есть контрразведка. Вы могли предпочесть Красную, Вы не смели оплевывать Белую. Герои везде и подлецы везде. Говоря о подлецах наших, Вы обязаны сказать о подлецах *своих*.

1 В скобках текст М. Цветаевой.
2 Со знанием дела (*фр.*).
3 Выражение иносказательное. Говорю об: <не дописано>. (*Прим. М. Цветаевой.*)

Если бы Вы были *мужем*, а не «.....»[1], Мандельштам, Вы бы не лепетали тогда в 18 г. об «удельно-княжеском периоде» и новом Кремле, Вы бы взяли винтовку в руки и пошли сражаться. У Красной Армии был бы свой поэт, у Вас – чистая совесть, у Вашего народа – еще одно право на существование, в мире – на одну гордость больше и на одну низость меньше. Ибо, утверждаю, будь Вы в Армии – (любой!), Вы этой книги бы не написали...

Это взгляд со стороны, живописный, эстетский. В Ваших живописаниях Крыма 21 г. – те 90-е годы, тот пастернаковский червь (с Потемкина), от которых Вы так отмежевываетесь. Ваша книга – nature morte, и если знак времени, то не нашего. В наше время (там, как здесь) кровь не «журчит», как стихи, и сами стихи не журчат. Журчит ли Пастернак? Журчит ли Маяковский? Журчали ли Блок, Гумилев, Есенин? Журчите ли Вы сами, Мандельштам?

Это книга презреннейшей из людских особей – эстета, вся до мозга кости (NB! Мозг есть, кости нет) гниль, вся подтасовка, без сердцевины, без сердца, без крови, – только глаза, только нюх, только слух, – да и то предвзятые, с поправкой на 1925 год.

Будь Вы живой, Мандельштам, Вы бы живому полковнику Цыгальскому по крайней мере изменили фамилию, не нападали бы на беззащитного. – Ведь что́ – если жив и встретитесь? Как посмотрите ему в глаза? Или снова – как тогда, в 1918 г., в коридоре, когда я Вам не подала руки – захлопочете, залепечете, закинув голову, но сгорев до ушей.

Есть и мне что рассказать о Ваших примусах и сестрах. – Брезгую!

Выдержки.

Патриотическая какофония увертюры 12 года.

Случилось так, что раннее мое петербургское детство прошло под знаком самого настоящего милитаризма, и, право, в этом не моя вина, а вина моей няни и тогдашней петербургской улицы.

1 Пропуск в рукописи.

Характерно, что в Казанский собор, несмотря на табачный сумрак его сводов и дырявый лес знамен, я не верил ни на грош. Подкова каменной колоннады и широкий тротуар с цепочками предназначались для бунта. (автор говорит о восприятии 6-тилетнего ребенка)[1*].

Я был в восторге, когда фонари затянули черным крепом и подвязали черными лентами по случаю похорон наследника. (По случаю смерти Ленина.)*

«Проездами» тогда назывались уличные путешествия царя и его семьи. Я хорошо навострился распознавать эти штуки. (Пошлость.)*

Меня забавляло удручать полицейских расспросами, кто и когда поедет, чего они никогда не смели сказать (NB! дух революции.)* Нужно признать, что промельк гербовой кареты с золотыми птичками на фонарях или английских санок с рысаками в сетке, всегда меня разочаровывал. Тем не менее игра в проезд представлялась мне довольно забавной.

Но какое оскорбление – скверная, хотя и грамотная речь раввина, какая пошлость, когда он произносит «государь-император», какая пошлость все, что он говорит (Хаос иудейский).

Не так ли римляне нанимали рабов-греков, чтобы блеснуть за ужином дощечкой с ученым трактатом? (У Мандельштама, мальчика, репетитор.)*

Ходить с ним по улице было одно удовольствие, потому что он показывал гороховых шпиков и нисколько их не боялся... Ткнуть лицом в грязь генерала или действительного

1 В скобках, помеченных звездочкой, приводится текст М. Цветаевой.

статского советника было для него высшим счастьем, полагая счастье математическим, несколько отвлеченным пределом.

Разве Каутский – Тютчев? А представьте, что для известного возраста и мгновения Каутский (я называю его, конечно, к примеру, не он, так Маркс, Плеханов, с гораздо большим правом) тот же Тютчев, то есть источник космической радости, податель сильного и стройного мироощущенья, мыслящий тростник и покров, накинутый над бездной.

...зримый мир с ячменями, проселочными дорогами, замками и солнечной паутиной я сумел населить, социализировать, рассекая схемами, подставляя под голубую твердь далеко не библейские лестницы, по которым всходили и опускались не ангелы Иакова (религиозная благонадежность!)*, а мелкие и крупные собственники, проходя через стадии капиталистического хозяйства.

Да, я слышал с живостью настороженного далекой молотилкой в поле слуха, как набухает и тяжелеет не ячмень в колосьях, не северное яблоко, а мир, капиталистический мир набухает, чтобы упасть.

...Некая Наташа, нелепое и милое создание. Борис Наумович терпел ее как домашнюю дуру. Наташа была по очереди эсдечкой, эсеркой, православной, католичкой, эллинисткой, теософкой с разными перебоями. От частой перемены убеждений она преждевременно поседела. (История – только в обратном порядке – самого Мандельштама. Империалист, эллинист, православный, эсер, коммунист. Но Наташа – женщина и дура – седеет. Мандельштам – не седеет!)*

Все это была мразь по сравнению с миром Эрфуртской программы, Коммунистических Манифестов и аграрных споров.

Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых-внуков, влюбленных в семейственные архивы, с эпическими домашними воспоминаньями. Повторяю – память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведеньем, а над отстраненьем прошлого (*искаженьем его.* М. Ц.).

Для революции характерна эта боязнь, этот страх получить что-нибудь из чужих рук, она не смеет, она боится подойти к источникам бытия. (73 стр. Мандельштам говорит во славу, а не в осуждение.)*

Больные, воспаленные веки Фета мешали спать. Тютчев ранним склерозом, известковым слоем ложился в жилах.

«Для меня, для меня, для меня», говорит Революция. «Сам по себе, сам по себе, сам по себе» – отвечает мир.

Чья это исповедь? Революционера с колыбели, наконец дорвавшегося до революции. Иного жара он, казалось, не знал. Ребяческий империализм он всецело кладет на совесть няньки и отодвигает его к возрасту, когда ребенок без няньки не ходит. Чуть вырос, уж бонны – рабыни, уж провозглашение здравия государю-императору раввином – пошлость. И пошло и пошло? Отчего не принять на веру? Потому что до «Шума времени» у Мандельштама есть книга «Камень», потому что до Мандельштама-прозаика был Мандельштам-поэт.

Откроем «Камень»: «Поедем в Царское Село», «Над желтизной правительственных зданий», ..., ...

Откроем вторую книгу «Tristia». «В разноголосице девического хора» (Успенский собор), «Не веря воскресенья чуду» (опять Москва и православие), «О, этот воздух смутой пьяный» (прямое перечисление кремлевских соборов).

Где же Эрфуртская программа, где же падающее яблоко капиталистического мира, хотя бы отзвук один героического тенишевского школьничества? Мальчишки где? Нигде. Потому что *их не было.*

Мандельштам-поэт предает Мандельштама-прозаика. Весь этот сложный, сплошной, прекрасный, законно-незаконный мятеж: *поэта* (князя Духа) против деспота (царя тел), *иудея* — (загнанного) против царизма (гонителя), школьника (сердце!) против казака (нагайки!), сына, наконец, (завтра) против отца (бывшего) — весь этот сложный, сплошной, прекрасный, законно-незаконный мятеж ВЕЛИЧИЯ против ВЛАСТИ — вымысел.

Революционность Мандельштама не с 1917 г. — вперед, а с 1917 г. назад. Не 1891–1917 (как он этого *ныне* хочет), а с 1917 г. — 1891 г. — справа налево, ложь. Перевранная команда Октября. Октябрь знает: вперед, он не знает назад. Октябрь знает: будет, он не знает было, зря старался Мандельштам с его вымышленными революционными пеленками. Революция застает вещи, как они есть. Революция в трехлетнем революционере Мандельштаме не нуждается. Она застала его 25-летним, таким он ей нужен, — если нужен... Дело Мандельштама было родиться заново: я родился в 1917 г., до этого меня просто не было. Дело Мандельштама, если он в Революцию прозрел, было наглухо забыть и начисто перечеркнуть все до 1917 г. Дело Мандельштама было всенародно и громогласно отречься от себя «православного», «империалиста», «эсера», «эллиниста», принести Революции полную и громкую повинную. — «Да, я воспевал соборы и монастыри, и юродивых, и ереси, и царских уланов, и фрейлин, и правоведов в бобровых шинелях. Да, я воспевал все, что смели — вы. Теперь я переродился. Октябрь отверз мне очи. То, что должен был сделать я, поэт, — со мной, поэтом, сделала Революция. Революция со мной сделала то чудо, которое обыкновенно поэт делает с миром: преобразила меня. Я был слеп и глух. Я не слышал близкого грома, я не видел молний. Я не был пророком. Я был просто певцом существующего. Все это я сознаю и приношу вам свою повинную голову. Ваша воля, ваша власть».

— Власть! — Вот оно, слово ко всему, тайный ключ к Мандельштаму.

«Шум времени» — подарок Мандельштама властям, как многие стихи «Камня» — дань.

Если бы Мандельштам любил величие, а не власть, он 1) до 1917 г. был бы революционером (как лучшая тогдашняя молодежь) — он революционером не был; 2) даже пусть революционером до 1917 г. не быв, революционером после коммунистического Октября не сделался бы — он им сделался; 3) даже сделавшись революционером после коммунистического Октября — столь не вовремя (или вовремя!) отозвавшись и на это величие, не отказался от своего вчерашнего представления о величии. Но Мандельштам воспевает власть (*именно* жандармов! Улан — разница!), бессмысленную внешнюю красоту ее. До преображения вещи он никогда не возносился. Власть рухнула, да здравствует следующая!

Я тебя любил и больше не люблю. Я не тебя любил, а свою мечту о тебе. — Так, кончив любить, говорит каждый.

Я тебя не любил, а любил своего врага, — так, кончив любить, говорит Мандельштам.

Не-революционер до 1917 г., революционер с 1917 г. — история обывателя, негромкая, нелюбопытная. За что здесь судить? За то, что Мандельштам не имел мужества признаться в своей политической обывательщине до 1917 г., за то, что сделал себя героем и пророком — назад, за то, что подтасовал свои тогдашние чувства, за то, что оплевал то, что — по-своему, по-обывательскому, но все же — любил.

Возьмем Эренбурга — кто из нас укорит его за «Хулио Хуренито» после «Молитвы о России». Тогда любил это, теперь то. Он чист. У каждого из нас была своя трагедия со старым миром. Мандельштам просто через него переступил.

Это не шум Времени. Время шумит в прекрасной канунной поэме Маяковского «Мир и Война», в «Рабочем» Гумилева, в российских пожарах Блока. Шум времени — всегда — канунный, осуществляющийся лишь в разверстом слухе поэта, предвосхищаемый им. Маркс мог знать, поэт должен был видеть. И самым большим поэтом российской революции был Гейне с его провидческим:

«И говорю вам, настанет год, когда весь снег на Севере будет красным».

Шум времени Мандельштама — оглядка, ослышка труса. Правильность фактов и подтасовка чувств. С таким попутчиком Советскую власть не поздравляю. Он так же предаст ее, как Керенского ради Ленина, в свой срок, в свой час, а именно: в секунду ее падения.

Не эпоху 90-х годов я беру под защиту, а слабое, малое, но все-таки чистое сердце Мандельштама, мальчика и подростка.

Вчитайтесь внимательно: маленький резонер, маленький домашний обличитель, Немезида в коротких брючках с Эрфуртской программой под одной мышкой, с Каутским — под другой. Напыщенный персонаж кукольного театра. Гомункулос Революции. Есть что-то гофмановское в существе, которое Осип Мандельштам выдает за себя ребенка. Убийца радости — Magister Tinte[1] в пеленках.

Из школьника (голова, сердце, ранец), начиненного бомбами, народовольчеством и Шмидтом, мог вырасти поэт Осип Мандельштам. Из этого маленького чудовища, с высока своих марксистских лестниц взиравшего на торг рабынь (наем бонны) и слушавшего вместо доброй дроби достоверных яблок о землю набухание капиталистического яблока — ничего не могло выйти для поэзии и все для прямого врага ее — мог выйти политик фанатизма. Им Мандельштам не стал. Ложь, ложь и ложь.

В прозе Мандельштама не только не уцелела божественность поэта, но и человечность человека. Что уцелело? Острый глаз. Видимый мир Мандельштам прекрасно видит и пока не переводит его на незримое — не делает промахов.

Для любителей словесной живописи книга Мандельштама, если не клад, так вклад.

1 Магистр чернил (*нем.*).

Было бы низостью умалчивать о том, что Мандельштам-поэт (обратно прозаику, то есть человеку) за годы Революции остался *чист*. Что спасло? Божественность глагола. Любящего читателя отослала бы к «Tristia», к постепенности превращения слабого человека и никакого гражданина из певца старого мира — в глашатаи нового. Большим поэтом (чары!) он пребыл.

Мой ответ Осипу Мандельштаму — мой вопрос всем и каждому: как может большой поэт быть маленьким человеком? Ответа не знаю.

Мой ответ Осипу Мандельштаму — сей вопрос ему.

Март 1926

М.А. Волошину
(1878–1932)

ICI – Haut[1]
(Памяти Максимилиана Волошина)

1

Товарищи, как нравится
Вам в проходном дворе
Всеравенства – перст главенства:
– Заройте на горе!

В век распевай, как хочется
Нам – либо упраздним,
В век скопищ – одиночества
– «Хочу лежать один» –
Вздох...

17 сентября 1932

2

Ветхозаветная тишина,
Сирой полыни крестик.
Похоронили поэта *на*
Самом высоком месте.

Так и во гробе еще – подъем
Он даровал – несущим.

1 Здесь – в поднебесье (*фр.*).

...Стало быть, именно на своем
Месте, ему присущем.

Выше которого только вздох,
Мой из моей неволи.
Выше которого – только Бог!
Бог – и ни вещи боле.

Всечеловека среди высот
Вечных при каждом строе.
Как подобает поэта – *под*
Небом и *над* землею.

После России, где *меньше* он
Был, чем последний смазчик –
Первым в ряду – всех из ряда вон
Равенства – выходящих.

В гор ряду, в зорь ряду, в гнезд ряду,
Орльих, по всем утесам.
На пятьдесят, хоть, восьмом году –
Стал рядовым, *был* способ!

Уединенный вошедший в круг –
Горе? – Нет, радость в доме!
На сорок верст высоты вокруг –
Солнечного да кроме

Лунного – ни одного лица,
Ибо соседей – нету.
Место откуплено до конца
Памяти – и планеты.

3

В стране, которая – одна
Из всех звалась Господней,
Теперь меняют имена
Всяк, как ему сегодня

На ум или не-ум (потом
Решим!) взбредет. «Леонтьем
Крещеный — просит о таком-
то прозвище». — Извольте!

А впрочем, что ему с холма,
Как звать такую малость?
Я *гору* знаю, что *сама*
Переименовалась.

Среди казарм, и шахт, и школ:
Чтобы душа не билась! —
Я гору знаю, что в престол
Души преобразилась.

В котлов и общего котла,
Всеобщей котловины
Век — гору знаю, что светла
Тем, что на ней *единый*

Спит — на отвесном пустыре
Над уровнем движенья.
Преображенье на горе?
Горы — преображенье.

Гора, как все была: стара,
Меж прочих не отметишь.
Днесь Вечной Памяти Гора,
Доколе солнце светит —

Вожатому — душ, а не масс!
Не двести лет, не двадцать,
Гора та — как бы ни звалась —
До веку будет зваться
Волошинской.

23 сентября 1932

4

— «Переименовать!» Приказ —
Одно, народный глас — другое.
Так, погребенья через час,
Пошла «Волошинскою горою»

Гора, названье Янычар
Носившая — четыре века.
А у почтительных татар:
— Гора Большого Человека.

22 мая 1935

5

Над вороным утесом —
Белой зари рукав.
Ногу — уже с заносом
Бега — с трудом вкопав

В землю, смеясь, что первой
Встала, в зари венце —
Макс! мне было — так *верно*
Ждать на твоем крыльце!

Позже, отвесным полднем,
Под колокольцы коз,
С всхолмья да на восхолмье,
С глыбы да на утес —

По трехсаженным креслам:
— Тронам иных эпох! —
Макс! мне было — так *лестно*
Лезть за тобою — Бог

Знает куда! Да, виды
Видящим — путь скалист.
С глыбы на пирамиду,
С рыбы — на обелиск...

Ну, а потом, на плоской
Вышке – орлы вокруг –
Макс! мне было – так *просто*
Есть у тебя из рук,

Божьих или медвежьих,
Опережавших «дай»,
Рук неизменно-брежных,
За воспаленный край

Раны умевших браться
В веры сплошном луче.
Макс, мне было так *братски*
Спать на твоем плече!

(Горы... Себе на горе
Видится мне одно
Место: с него *два* моря
Были видны по дно

Бездны... два моря сразу!
Дщери иной поры,
Кто вам свои два глаза
Преподнесет с горы?)

...Только теперь, в подполье,
Вижу, когда потух
Свет – до чего мне вольно
Было в охвате двух

Рук твоих... В первых встречных
Царстве – о сам суди,
Макс, до чего мне *вечно*
Было в твоей груди!

Пусть ни единой травки,
Площе, чем на столе –
Макс! мне будет – так *мягко*
Спать на твоей скале!

Кламар, 28 октября 1932

А. Белому
(1880–1934)

Пленный дух
(Моя встреча с Андреем Белым)

Посвящается
Владиславу Фелициановичу Ходасевичу

1. *Предшествующая легенда*

Легкий огнь, над кудрями пляшущий,
Дуновение – вдохновения!

– Спаси, Господи, и помилуй папу, маму, няню, Асю, Андрюшу, Наташу, Машу и Андрея Белого...

– Ну, помолилась за Андрея Белого, теперь за Сашу Черного помолись!

Самое забавное, что нянька и не подозревала о существовании Саши Черного (а существовал ли он уже тогда, как детский поэт? 1916 год), что она его в противовес: в *противоцвет* Андрею Белому – сама сочинила, по женскому деревенскому добросердечию смягчив полное имя на уменьшительное.

Почему молилась о нем сама трехлетняя Аля? Белый у нас в доме не бывал. Но книгу его «Серебряный голубь» часто называли. Серебряный голубь Андрея Белого. Какой-то Андрей, у которого есть серебряный голубь, а этот Андрей еще и белый. У кого же может быть серебряный голубь, как не у ангела, и кто же еще, кроме ангела, может называться –

Белый? Все Ивановичи, Александровичи, Петровичи, а этот просто — Белый. Белый ангел с серебряным голубем на руках. За него и молилась трехлетняя девочка, помещая его, как самое любимое — или самое важное — на самый последок молитвы. (Об ангелах тоже нужно молиться, особенно когда на земле. Вспомним бедного уэльсовского ангела, который в земном бытовом окружении был просто *непристоен*!)

Но имя Белого прозвучало в нашем доме еще до Алиной молитвы, задолго до самой Али, и совсем не в этом доме, и совсем иначе, ибо произнесено оно было далеко не трехлетним ангелом, а именно: моей теткой, женой моего дяди, историка, профессора Димитрия Владимировича Цветаева, и с далеко не молитвенной интонацией.

— Последние времена пришли! — кипела она и пенилась на моего тихонько отсаживавшегося отца. — Вот еще какой-то Андрей Белый завелся, завтра читает лекцию. Мало им Горького — Максима, Белый —Андрей понадобился! А то еще какой-то Александр Блок (что за фамилия такая? Из жидов, должно быть!) сочинил «Прекрасную Даму», уж одно название чего стоит, стыда нет! Раньше тоже про *дам* писали, только не печатали, а в стол прятали, — разве что в приятельской компании. А всего хуже, что из приличной семьи, профессорский сын, Николая Димитриевича Бугаева сын. Почему не Бугаев — Борис, а Белый — Андрей? От отца отрекаться? Видно, уж такого насочинил, что подписать стыдно? Что за Белый такой? Ангел или в нижнем белье сумасшедший на улицу выскочил? — разорялась она, вся трясясь бриллиантами, крючковатым носом и непрестанно моргающими (нервный тик) желтыми глазами.

— Молодость, Елизавета Евграфовна, молодость! — кротко отвечал мой отец. — А о чем лекция?

— О символизме, изволите ли видеть! То-то символизм какой-то выдумали, что символа веры не знают!

— Ну, ничего такого особо вредного я в этом еще не вижу... — осторожно (так по неизбежности просовывают руку в клетку к злому попугаю) вставлял мой отец, опасавшийся раздражать людей, а особенно — дам, а особенно — родственных, а особенно — родственных с нервным тиком (всегда — вся — тряслась, как ненадежно поставленная, неосторожно задетая, перегруженная свечами и мелочами зажженная елка, ежесекундно угрожающая рухнуть, загореться и сжечь). — Все лучше, чем ходить на сходки...

— Студент! — уже кричала Какаду (прозвище из-за крючковатости носа и желтизны птичьих глаз). — Учиться надо, а не лекции читать, отца позорить!

— Ну, полно, полно, голубушка, — ввязался вовремя подоспевший добродушнейший мой дядя Митя, заслуженный профессор, автор капитального труда о скучнейшем из царей — Василии Шуйском и директор Коммерческого училища на Остоженке, воспитанниками которого за малый рост, огромную черную бороду, прыть и черносотенство был прозван Черномор. — Что ты так разволновалась? Одни в юности за хорошенькими женщинами ухаживают, другие — про символизм докладывают, ха-ха-ха! Отец — почтенный, может быть, еще и из сына выйдет прок. — А ты как думаешь, Марина? Что лучше: на балах отплясывать или про символизм докладывать? Впрочем, тебе еще рано... — неизвестно к чему относя это «рано», к балам или символизму...

И не мы одни были такая семья. Так встречало молодой символизм, за редчайшими исключениями, все старое поколение Москвы.

Так я и унесла из розовых стен Коммерческого училища на Остоженке в шоколадные стены нашего дома в Трехпрудном имя Андрея Белого, где оно и осталось до поры до сроку, заглохло, притаилось, легло спать.

Разбудил его, года два спустя, поэт Эллис (Лев Львович Кобылинский, сын педагога Поливанова, переводчик Бодлера, один из самых страстных ранних символистов, разбросанный поэт, гениальный человек).

— Вчера Борис Николаевич... Я от вас к Борису Николаевичу... Как бы это понравилось Борису Николаевичу...

Естественно, что мы с Асей, сгоравшие от желания его увидеть, никогда не попросили Эллиса нас с ним познакомить и — естественно, а может быть, *не* естественно? — что Эллис, дороживший нашим домом, всем миром нашего дома: тополиным двором, мезонином, моими никем не слы-

шанными стихами, полновластным царством над двумя детскими душами – никогда нам этого не предложил. Андрей Белый – табу. Видеть его нельзя, только о нем слышать. Почему? Потому что он – знаменитый поэт, а мы средних классов гимназистки.

Русских – и детей – и поэтов – фатализм.

Эллис жил в меблированных комнатах «Дон», с синей трактирной вывеской, на Смоленском рынке. Однажды мы с Асей, зайдя к нему вместо гимназии, застали посреди его темной, с утра темной, всегда темной, с опущенными шторами – не выносил дня! – и двумя свечами перед бюстом Данте – комнаты – что-то летящее, разлетающееся, явно на отлете – ухода. И, прежде чем мы опомниться могли, Эллис:

– Борис Николаевич Бугаев. А это – Цветаевы, Марина и Ася.

Поворот, почти пируэт, тут же повторенный на стене его огромной от свечей тенью, острый взгляд, даже укол, глаз, конец перебитой нашим входом фразы, – человек уходил, и ничто уже его не могло остановить, и, с поклоном, похожим на па какого-то балетного отступления:

– Всего хорошего.

– Всего лучшего.

Дома, ложась спать:

– А все-таки увидели Андрея Белого. Он мне сказал: «Всего лучшего».

– Нет, мне – всего лучшего. Тебе – всего хорошего.

– Нет, именно тебе – всего хорошего, а мне...

– Ну, *тебе* – лучшего! (Про себя: сама знаешь, что – *мне*!)

«Хорошего» или «лучшего» – осуществилось оно не через него. Встреча не повторилась. Странно, что, вращаясь в самом близком его кругу: Эллис, его друг Нилендер, К.П. Христофорова, сестры Тургеневы, Сережа Соловьев, брат и сестра Виноградовы – я его в той моей дозамужней юности больше не встретила. Никогда и не искала. Дала судьба раз – не надо просить второго. Слава Богу, что – раз. Могло бы и не быть.

Впрочем, видела его часто, года два спустя, в «Мусагете», но именно – видела, и чаще – спиной, с белым мелком в руке обтанцовывающего черную доску, тут же испещряемую – как из рукава сыпались! – запятыми, полулиниями и зигзагами ритмических схем, так напоминавших гимназические геометрические, что я, по естественному чувству самосохранения (а вдруг обернется и вызовет к доске?), с танцующей спины Белого переходила на недвижные фасы тайного советника Гёте и доктора Штейнера, во все свои огромные глаза глядевшие или *не* глядевшие на нас со стены.

Так это у меня и осталось: первый Белый, танцующий перед Гёте и Штейнером, как некогда Давид перед ковчегом. В жизни символиста всё – символ. *Не*-символов – нет.

...Но есть у меня еще одно, более раннее, до знакомства, воспоминание, незначительное, но рассказа стоящее, хотя бы уже из-за тургеневских мест, с которыми Белый вдвойне связан: как писатель и как страдатель.

Тульская губерния, разъезд «Толстое», тут же город Чермь, где Иван беседовал с чертом, тут же Бежин Луг. И вот, на каких-то именинах, в сновиденном белом доме с сновиденным черным парком –

– Какая вы розовая, здоровая, наверное рассудительная, – поет, охая от жары и жиру, хозяйка-помещица – мне, – а вот мои – сухие, как козы, и совсем сумасшедшие. Особенно Бишетка – это ее бабушка так назвала, за глаза и за прыжки. Ну, подумайте, голубушка, сижу я, это, у нас в Москве в столовой и слышу, Бишетка в передней по телефону: «Позовите, пожалуйста, к телефону Андрея Белого». Ну, тут я сразу насторожилась, уж странно очень – ведь либо Андрей, либо Андрей Петрович, скажем, а то что же это за «Андрей Белый» такой, точно каторжник или дворник?

Стоит, ждет, долго ждет, должно быть, не идет, и вдруг, голубушка моя, ушам своим не верю: «Вы – Андрей Белый? Будьте так любезны, скажите, пожалуйста, какие у вас глаза? Мы с сестрами держали пари...» Тут молчание настало долгое, – ну, думаю, наверное, ее отчитывает – Бог знает за

кого принял! – уж встать хочу, объяснить тому господину, что она – по молодости, и без отца росла, и без всякого там, скажем, какого-нибудь умысла... словом: *дура* – что... и вдруг, опять заговорила: «Значит, серые? Правда, серые? Нет, вовсе не как у всех людей, а как ни у кого в Москве и на всем свете! Я на лекции была и сама видела, только не знала, серые или зеленые... Вот и выиграла пари... Ура! Ура! Ура! Спасибо вам, Андрей Белый, за серые!»

Влетает ко мне: «Ма-ама! Серые!» – «Да уж слышу, что серые, а отдала бы я тебя лучше в Екатерининский институт, как мне Анна Семеновна советовала...» – «Да какие там Екатерининские институты? Ты знаешь, с кем я сейчас по телефону говорила? (А сама скачет вверх вниз, вверх вниз, под самый потолок, – вы ведь видите, какая она у меня высокая, а потолки-то у нас в Москве низкие, сейчас люстру башкой сшибет!) С Андреем Белым, с самым знаменитым *писателем России*! А ты знаешь, *что он мне ответил*? «Совсем не знаю, сейчас посмотрю». И пошел смотреться в зеркало, оттого так долго. И, конечно, оказались – серые. Ты понимаешь, мама: Андрей Белый, тот, что читал лекцию, еще скандал был, страшно свистели... Я теперь и с Блоком познакомлюсь...»

Рассказчица переводит дух и, упавшим голосом:

– Уж какой он там самый великий писатель – не знаю. *Мы* Тургенева читали, благо и места наши... Ну, великий или не великий, писатель или не писатель, а все же человек порядочный, не выругал, не заподозрил, а сразу понял – дура... и пошел в зеркало смотреться... как дурак... Потом я ее спрашиваю: «А не спросил он, Бишетка, какие у *тебя* глаза?» – «Да что ты, мама, очень ему интересно, какие у меня глаза? Разве я знаменитость какая-нибудь?»

Милый Борис Николаевич, когда я четырнадцать лет спустя в берлинской «Pragerdiele» вам это рассказала, ваш первый вопрос был:

– А какие у нее были? Бишет? Bichette?[1] Козочка? Серые, наверное? И вот такие? (перерезает воздух вкось) – как у настоящей козы? Сколько ей тогда было лет? Семнадцать? Такая, такая, такая высокая? Пепельно-русая? И прыгала неподвижно (чуть не опрокидывает стол) – вот так, вот так, вот так?

1 Козочка (*фр.*).

(«Борис Николаевич показывает Марине Ивановне эвритмию», – шепот с соседнего столика.)

– Почему же она мне никогда не написала? Родная, голубушка, ее нельзя было бы найти? Нельзя – нигде? Она, конечно, умерла. Все, все они умирают – или уходят (вызывающий взгляд на круговую) – вы не понимаете! Абрам Григорьевич, и вы слушайте! Девушка с козьими глазами, Bichette, которая была на моем чтении...

Издатель, вяло:

– На котором чтении? Уже здесь?

Он, вперясь:

– Конечно, здесь, потому что я сейчас *там*, потому что *там* сейчас *здесь*, и никакого *здесь*, кроме *там*! Никакого *сейчас*, кроме *тогда*, потому что *тогда* вечно, вечно, вечно!.. Это и есть фетовское *теперь*.

(Подходит и другой его издатель.) Белый моляще:

– Соломон Гитманович, слушайте и вы. Девушка. Четырнадцать лет назад. Bichette, с козьими глазами, которая *вот так* от радости, что я ей ответил по телефону, какие у меня глаза... Четырнадцать лет назад. Она сейчас – Валькирия... Вернее, она была бы Валькирия... Я знаю, что она умерла...

(Почтительное, сочувственно-недоуменное и чуть-чуть комическое молчание. Так молчат, когда внезапно узнают о смерти человека, о котором впервые слышат, и о котором тут же убивается один из присутствующих.) Белый, с внезапным поворотом всего тела, хотя странно о нем говорить *всего* и *тела*, до того этого *всего* было мало, и до того это было *не тело*, – напуская на меня всю птицу своего тела:

– А эта Bichette–действительно была? Вы это не... сочинили? (Подозрительно и агрессивно.) Потому что я ничего не помню, никаких глаз по телефону... Я вам, конечно, верю, но... (Окружающим.) Потому что это чрезвычайно важно. Потому что, если она была – то это была моя судьба. Моя не-судьба. Потому у меня и не было судьбы. И я только теперь знаю, отчего я погиб. До чего я погиб!

Не зная, что сказать, и чувствуя, что девушка уже исчерпана, что остается одно беловское беснование, издатели с женами и писатели с женами незаметно и молниеносно... даже не: исчезают: их — нет. Белый, изучающий тиснение скатерти, точно ища в ней рун, письмен, следов — внезапно вскинув голову и заливая меня светом — каких угодно, только не серых глаз, явно меня *не* видящих:

— Bichette... Bichette... Я что-то, что-то, что-то помню. Но... не совпадает! Я тогда был совсем маленьким, меня почти еще не было, меня просто не было...

Не зная и я, что сказать в ответ на такое полное небытие, жду, что через секунду он уже опять *будет*.

Меня не было, было: *я, оно*. Вы, конечно, меня понимаете? (Вечный вопрос всех, на понимание до того не рассчитывающих, что даже не пережидают ответа.) Одну секунду... Стойте! Сейчас всплывет. (Властный жест мага.) Сейчас появится! Но почему Bichette, когда — Biquette! Потому что — на эшафот готов взойти, что — Biquette! Но почему Biquette, когда Bichette?

— Борис Николаевич, теперь уж вы — стойте! (и, напевом)

Ah, tu sortiras, Biquette, Biquette,
Ah, tu sortiras de ce chou là![1]

Потому что вам в младенчестве, когда вас еще не было, это вам пела ваша французская — нет, швейцарская M-lle, которая у вас *была*.

Пауза. Сижу, буквально залитая восторгом из его глаз, одетая им, как плащом, как лучом, как дождем, вся, от темени до подола моего пока еще нового, пока еще синего, пока еще единственного берлинского платья. Беря через стол мою руку, неся ее к губам, не донеся до губ:

— Вы, вы мне поверьте, что я за эту Biquette — заметьте, что я сейчас о Biquette — капустной козе говорю, что я за эту швейцарскую молочную капустную младенческую козу готов для вас десять лет подряд с утра до поздней ночи таскать на себе булыжники.

1 Ах, ты выйдешь, Бикетта, Бикетта.
Ах, ты выйдешь из этого кочна! (*фр.*)

Я, потрясенная:

— Господи!

Он, императивно:

— Булыжники. (Пауза.) И должен сказать вам, что я никогда никого в жизни еще так не уважал, как вас в эту минуту.

Милая Bichette, может быть, вы все-таки еще живы и это прочтете? А может быть, уже сейчас, через плечо, пока пишу, нет, *до* написанного — читаете? А что, если вы первая встретили его у входа и взяли за руку и повели, сероглазая — сероглазого, вечно-юная — вечно-юного, по рощам блаженных, его настоящей родине...

Из Берлина 1922 года в Москву 1910 года. Странно, только сейчас замечаю, что имя Белого до встречи с ним дважды представало мне в окружении трех сестер. В первый раз — в кругу трех сестер, из которых старшая была Bichette, во второй раз в трехсестринском кругу Тургеневых.

О сестрах Тургеневых шла своя отдельная легенда. Двоюродные внучки Тургенева, в одну влюблен поэт Сережа Соловьев, племянник Владимира, в другую — Андрей Белый, в третью, пока, никто, потому что двенадцать лет, но скоро влюбятся все. Первая Наташа, вторая Ася, третья Таня. Говорю — легенда, ибо при знакомстве оказалось, что Наташа — уже замужем, что Таня пока что самая обыкновенная гимназистка, а что в Асю — и Андрей Белый, и Сережа Соловьев.

Асю Тургеневу я впервые увидела в «Мусагете», куда привел меня Макс. Пряменькая, с от природы занесенной головкой в обрамлении гравюрных ламартиновских «anglaises»[1], с вечно дымящей из точеных пальцев папироской, в вечном сизом облаке своего и мусагетского дыма, из которого только еще точнее и точеней выступала ее прямизна. Красивее из рук не видала. Кудри и шейка и руки, — вся она была с английской гравюры, и сама была гравер, и уже сделала обложку для книги стихов Эллиса

1 Локонов (*фр.*).

«Stigmata», с каким-то храмом. С английской гравюры — брюссельской школы гравер, а главное, Ася Тургенева — тургеневская Ася, любовь того Сергея Соловьева с глазами Владимира, «Жемчужная головка» его сказок, невеста Андрея Белого и Катя его «Серебряного голубя», Дарьяльский которого — Сережа Соловьев. (Все это, гордясь за всех действующих лиц, а немножечко и за себя, захлебываясь сообщил мне Владимир Оттонович Нилендер, должно быть, сам безнадежно влюбленный в Асю. Да не влюбиться было нельзя.)

Не говорила она в «Мусагете» никогда, разве что — «да», впрочем, как раз не «да», а «нет», и это «нет» звучало так же веско, как первая капля дождя перед грозой. Только глядела и дымила, и потом внезапно вставала и исчезала, развевая за собой пепел локонов и дымок папиросы. Помню, как я в общей сизой туче всех дымящих папирос всегда ловила ее отдельную струйку, следя ее от исхода губ до моря — морей — потолка. На лекциях «Мусагета», честно говоря, я ничего не слушала, потому что ничего не понимала, а может быть, и не понимала, потому что не слушала, вся занятая неуловимо-вскользнувшей Асей, влетающим Белым, недвижным Штейнером, черным оком царящим со стены, гримасой его бодлеровского рта. Только слышала: гносеология и гностики, значения которых не понимала и, отвращенная носовым звучанием которых, никогда не спросила. В гимназии — геометрия, в «Мусагете» — гносеология. А это, что сейчас вот как-то коварно изнизу, а уж через секунду, чуть повернувшись (как осколок в калейдоскопе!), уже отвесно сверху Гершензону возражает, это Андрей Белый, тот самый, который — вечность! уже две зимы назад — сказал нам тогда с Асей, мне (утверждаю и сейчас, а ведь *как* не сбылось!) — «Всего лучшего», — ей — «Всего *доброго!*» Со мной он не говорил никогда, только, случайно присев на смежный стул, с буйной и несказанно-изумленной радостью: «Ах! Это — вы?» — за которым никогда ничего не следовало, ибо я-то *знала*, что это — он.

В «Мусагете» я, как Ася Тургенева, никогда ничего не говорила, только она от превосходства своего над всеми, я — всех над собой. Она — от торжествующей, я от непрерывно-

ранимой гордости. Не говорила, конечно, и с ней, которую я с первой встречи ощутила «царицей здешних мест».

Каким чудом осуществилось наше сближение? Кто настоял? Думаю — никто, а нечто: простой голый факт, та срочная деловая необходимость, служащая нам несравненно больше чужой доброй воли и нашего собственного страстного желания, когда нужно — горы сводящая! В данном случае предполагавшееся издание «Мусагетом» моей второй книги и поручение Асе для нее обложки.

Помню, что первая пришла я — к ней. В какие-то переулочные снега. Кажется — на Арбат.

Из каких-то неосвещенных глубин на слабый ламповый исподлобный свет Ася в барсовой шкуре на плечах, в дыму «anglaises» и папиросы, кланяющаяся — исподлобья, руку жмущая по-мужски.

Прелесть ее была именно в этой смеси мужских, юношеских повадок, я бы даже сказала — мужской деловитости, с крайней лиричностью, девичеством, девчончеством черт и очертаний. Когда огромная женщина руку жмет по-мужски — одно, но — такой рукою! С гравюры! От такой руки — такое пожатье!

На диване старшая сестра Наташа, и вбег Тани, трепаной, розовой, гимназической и которую я в свой культ включила явно в придачу, для ровного счета, достоверно зная от *моей* Аси, учившейся с ней в гимназии, что она самая обыкновенная девчонка, без никакого ни отношения, ни интереса к литературе, читать совсем не любящая, и с которой *моя* Ася, несмотря ни на какие мои просьбы, не соглашалась дружить. «Очень нужно, дружи сама, что мне от ее тургеневства, только и говорит, что о пирогах и о грудных детях — как назло!» (Может быть, действительно — назло? Зная, что от нее ждут «поэзии»? Вернее же — просто настоящая четырнадцатилетняя девчонка, помещичья дочка, дитя природы.)

Водяная диванная гладь Наташи, самостоятельный гром Тани и зоркое безмолвие застывшей передо мной Аси — в барсовом пледе.

— Какая киса чудная!

— Барс.

– Барс, это с кистями на ушах?

– Рысь.

(Не поговоришь!) Оттянув к себе барсью полу, глажу, счастливая, что нашла себе безмолвное увлекательное занятие. И вдруг, со всей безудержностью настоящего откровения:

– Да вы сама, Ася, барс! Это вы с *себя* шкуру сняли: надели. Чудный смех, взблеск чудных глаз, – волшебная смена из «Цветов маленькой Иды» – хватая мою руку, другой с лампы колпак:

– А у вас какие? Ну, конечно, зеленые, я так и знала! Дитя символистической эпохи, ее героиня, что же для нее могло быть важней – цвета глаз? И что больше ценилось – зеленых, открытых Бальмонтом и канонизированных его последователями?

– И какое у вас чудное имя. (Испытующе:) А вы действительно Марина, а не Мария? Марина: морская. Вы курите? (Молча протягиваю портсигар.) И курит, и глаза зеленые, и морская, – Ася, тоном счетовода – сестрам.

Сидим уже на диване, уже стихи, под неугомонный гром Тани – такая тонкая девочка, а как гремит! – разнообразимый дребезгом со всего размаху ставимых на стол чашек, блюдец, вазочек.

Ни слова не помню про обложку. (Так кончались все мои деловые свидания!) Зато *всё* помню про барса, этого вот барсенка: бесенка с собственной шкурой на плечах, зябкого, знобкого... Ни слова и про Андрея Белого. (Слово «жених» тогда ощущалось неприличным, а «муж» (и слово и вещь) просто невозможным.)

И, странно (впрочем, здесь все странно или ничего), уже начало какой-то ревности, уже явное занывание, уже первый укол Zahnschmerzen im Herzen[1], что вот – уедет, меня – разлюбит, и чувство более благородное, более глубокое: тоска за всю расу, плач амазонок по уходящей, переходящей на *тот* берег, *тем* отходящей – сестре.

– Чудный барс. В следующий раз в «Мусагет» приходите в барсе. Приводите барса, чтобы было на чем отвести душу.

1 Зубной боли в сердце (*нем.*).

(Молча: «Ася! Ася! Ася! Не выходите замуж, хотя бы за Андрея Белого!»)

Вслух:

– Я не понимаю, что такое гносеология и почему все время о ней говорят. И почему все – разное, когда она – одна.

(Молча: «Ася! Ведь вы – Mignon[1], не из оперы, а из Гёте. Mignon не должна выходить замуж – даже за молодого Гёте...») Вслух:

– Я не люблю Вячеслава Иванова, потому что он мне сказал, что мои стихи – выжатый лимон. Чтобы посмотреть, что я на это скажу. А я сказала: «Совершенно верно». Тогда на меня очень рассердился, сразу разъярился – Гершензон.

(Молча: «O lasst mich scheinen, bis ich werde! Zieht mir das weisse Kleid nicht aus![2] Ася! ведь это измена этому же, вашему же – Белому! Вы должны быть умнее, сильнее, потому что вы женщина... *За него понять*!»)

Вслух:

– Вы отлично знаете, что ваши стихи – *не* выжатый лимон! Зачем же вы смеетесь над Вячеславом Ивановичем – и всеми нами?

(Молча: «Ася, у меня, конечно, квадратные пальцы, совсем не художественные, и я вся не стою вашего мизинца и ногтя Белого, но, Ася, я все-таки пишу стихи и сама не знаю, чем еще буду – знаю, что буду! – так вот, Ася, не выходите замуж за Белого, пусть он один едет в Сицилию и в Египет, оставайтесь одна, оставайтесь с барсом, оставайтесь – барсом».)

– Марина, о чем вы думаете?

Замечаю, что я совсем забыла говорить про Гершензона. (О, потрясение человека, который вдруг осознал, что молчит и совсем не знает, сколько.)

– Бойтесь меня, я умею читать мысли.

И оборотом головы на сестер:

– Почему у Цветаевых такие красные губы? И у Марины и у Аси. Они – не вампиры? Может быть, *мне* вас, Марина, надо бояться? Вы не придете ко мне ночью? Вы не будете пить мою кровь?

1 Миньона (*фр.*).

2 Какой кажусь, такой я стану!//Не троньте белый мой убор! (*нем.*).

– А ваш барс на что? Ночью он спит у вашей постели, и у него – клыки!

Другое явление – видение – Аси, знобкой и зябкой, без барса, но незримо – в нем, на границе нашей залы и гостиной в Трехпрудном, с потолками такими высокими, что всякому дыму есть куда уйти.

Между нами уже простота любви, сменившая во мне веревку – удавку – влюбленности. Я знаю, что она знает, что мы одной породы. Влюбляешься ведь только в чужое, родное – любишь. Про ее отъезд не говорим, его не называем, не называем никогда. Это еще пока – девичество, вольница, по сю сторону *той* реки.

Ей нужно уходить, ей не хочется уходить, стягивает, натягивает, перебрасывает с плеча на плечо невидимого барса. Не удерживаю, ибо в жизни свое место знаю, и если оно не последнее, то только потому, что вовсе не становлюсь в ряд... (А *со мной, в моей простой любви* (а есть – простая?) – в моем веселом девичьем дружестве, в Трехпрудном переулке, дом № 8, шоколадный, со ставнями, ты бы все-таки была счастливее, чем с ним в Сицилии, с ним, которого ты неизбежно потеряешь...)

– Ася, вы скоро едете?

– Скоро еду, а сейчас иду.

Простившись с ней *совсем* в нашем полосатом, в винно-белую полоску, матрасном парадном, естественным следствием всех последних прощаний, влезаю в своего гимназического синего барана (мне – баран, тебе – барс, все как следует, и они бар(ан) и бар(с) все-таки родня) и иду с ней вдоль снежного переулка – ряда переулков – до какого-то белого дома (может быть – ее, может быть, его, может быть – ничьего), который зовется «здесь». Здесь – прощаемся.

– А завтра Ася с Борисом Николаевичем уезжают в Сицилию!

Это Владимир Оттонович Нилендер, тоже мятущаяся и смещенная разом со всех земных мест душа, âme en peine – d'éternité[1], уже с порога, вознеся над головой руки, точно

1 Душа, смятенная вечностью (*фр.*).

моля ими зальную Афродиту отвести от этой головы беду. (Теперь замечаю, что и у Нилендера и у Эллиса были беловские жесты. Подвлиянность? Сродство?)

– Вы можете передать от меня Асе стихи?

– А вы на вокзале не будете?

– Нет. В руки. В руку. После третьего звонка, конечно, чтобы...

– Понял. Понял.

– Нет. *Не* поняли и не после третьего, потому что после третьего все сразу лезут на подножку опять прощаться. Так вот, после последней подножки и последней руки. Ей, в машущую...

День спустя, выпрастывая шею из седого и от снега бобра. (Барс, баран, бобер... Бобром он этим потом тушил свой филологический пожар. Бобер сгорел, но зато были спасены *все* книги филолога!)

– Марина! Уехали! Это было растравительно. Она, бедняжка, храбрилась, *не* плакала, но вся сжалась, скрутилась в жгут, как собственный платочек – и ни слезы!

(Точно в Нерчинск! А ведь, кажется, – в Монреале, да еще с любимым, да еще этот любимый – Андрей Белый! Но таковы тогда были души и чувства.)

– А он?

– Он, кажется, был (с величайшим недоумением) – просто счастлив? От него шло сияние!

– От него всегда идет сияние.

– Вы правы. Но вчера – особенное. Он не уезжал – отлетал! Точно не паром двинулись вагоны, а его...

Я:

– Вдохновением.

– Счастливая Ася. Бедная Ася.

И я, вторя:

Никому, с участьем или гневно,
Не позволь в былое заглянуть.
Добрый путь, погибшая царевна,
Добрый путь!

– Марина, какое безумие, какое преступление – брак! Это говорит – мне говорит! В глаза говорит! – человек, ко-

торого... который... – и весь рассказ об Асе и Белом – *о нас* рассказ, если бы один из нас был хоть чуточку безумнее или преступнее другого из нас. Но зато – и какое в этом несравненное сияние! – знаю, что если я, сейчас, столько лет спустя, или еще через десять лет, или через все двадцать, войду в его филологическую берлогу, в грот Орфея, в пещеру Сивиллы, он правой оттолкнет молодую жену, левой обвалит мне же на голову подпотолочную стопу старых книг – и кинется ко мне, раскрывши руки, которые будут – крылья.

Это нам и всем подобным нам награда за все нами отвергнутые Монреали.

От Аси, год спустя, уже не знаю откуда, прилетело письмо: разумное, точное, деловое. С адресами и с ценами. В ответ на мой такой же запрос: куда ехать в Сицилию. И мое свадебное путешествие, год спустя, было только хождение по ее – Аси, Кати, Психеи – следам. И та глухонемая сиракузская девочка в черном диком лавровом саду, в дикий полдневный, синий дочерна час, от которого у меня и сейчас в глазах синё и черно, бежавшая передо мною по краю обрыва и внезапно остановившаяся с поднятым пальчиком: «вот!» – а «вот» была статуя благороднейшего из поэтов Гр. Августа Платена – August von Platen – seine Freunde[1] – та глухонемая девочка, самовозникшая из чащи, была, конечно, душа Аси, или хоть маленький ее *мой* отрез! – стерегшая меня в этом черном саду.

Больше я Аси никогда не видала.

Девочка... козочка... Bichette... ах, это вы, Bichette?

1920 год. В филологической берлоге Нилендера встречаю священника с страшными глазами: синими поднебесными безднами. Я эти глаза – знаю. Только это глаза со стены, и не подобает им глядеть на меня через советский примус.

– Вы меня не узнаете? Неузнаваем? Соловьев. Сережа Соловьев. (Да, да, нужно было именно сказать: Сережа, чтобы не подумала – среди бела дня, в гостях Владимир!

1 *Августу фон Платену – его друзья (нем.).*

Но куда же девался чудный, розового мрамора, круг лица? Священник – куда стихи?)

«Как Таня?» – «Таня в деревне. У Тани три девочки». – «Опять – три?» – «Опять – три». – «Тургеневской породы?» – «Тургеневской. И одна очень похожа на Асю». – «Спасибо».

Для пояснения нужно прибавить, что Таня Тургенева, прельщенная примером моей Аси, вышла замуж из того же шестого класса гимназии – за Сережу Соловьева. Так что разговор *шел о соловьевско-тургеневских девочках.*

По выходе этого прекрасно- и страшноглазого священника, Нилендер – мне:

– Мечтает о воссоединении церквей. Сначала был православным, потом перешел в католичество, а теперь – униат. Сначала был поэт!

Знают, стройно и напевно
В полночь вставшие снега,
Что свершает путь царевна,
Взяв оленя за рога...

– О, это давно... Это был – другой человек... Это было в Асины времена... – с той особенной отраженной нежностью мужчины, самого не бывшего влюбленным – не решавшегося! – но возле влюбленного, влюбленных стоящего и их нежностью кормившегося...

У-ни-ат... Какая сосущая гимназическая жуть: рассвет... водовоз... вставать... жить... отвечать про польскую Унию...

Но не сбылись вторично сестры Тургеневы. В 1922 году, на Воздвиженке, меня окликнула молодая женщина с той обычной советской присыпкой пепла на лице, серьезной заботы и золы, уравнивающей и пол и возраст, молодость заравнивающей как лопатой.

– Таня, Таня Тургенева. Но вы *тоже* очень изменились. А у меня (все еще *те* глаза внезапно и до краев наливаются слезами) – умерла дочка. Вторая. Вот карточка, где они еще три.

На меня с дешевой, уже посеревшей, как Танино и мое лицо, открытки глядят три маленьких Тургеневы, три Леди Джен. Таня, тыча все еще точеным пальчиком с черным ногтем в одну из головок:

– *Эта* умерла.

Эта, конечно, «Ася».

Аси я больше никогда не видала. Есть встречи, есть чувства, когда дается сразу все и продолжения не нужно. Продолжать, ведь это – проверять.

Они даже не оставляют тоски. Тоска (зарез), когда не додано, тем или мною, нами. Пустота, когда – недостойному – передаю. (Достойному не передашь!) Асю я с первой секунды ощутила – уезжающей, для себя, в длительности – потерянной. Так любят умирающего: разом – все, все слова последние, или никаких слов. Встреча началась с моего безусловного, на доверии, подчинения, с полного признания ее превосходства. Я сразу внутренне уступила ей все места, на которых мы когда-либо могли столкнуться. Так же естественно, как уступают место видению, привидению: ведь все равно пройдет насквозь.

Уже шестнадцати лет я поняла, что внушать стихи больше, чем писать стихи, больше «дар Божий», большая богоизбранность, что не будь в мире «Ась» – не было бы в мире поэм.

Проще же говоря, я поступила, как все меня окружавшие мужские друзья: я просто в нее влюбилась, душевно ей предалась, со всей беззаветностью и бескорыстностью поэта.

Не хочешь ревности, обиды, ранения, ущерба – не тягайся-предайся, растворись всем, что в тебе растворимо, из оставшегося же создай видение, бессмертное. Вот мой завет какой-нибудь моей дальней преемнице, поэту, возникшему в *женском* образе.

Белого после его возвращения из Дорнаха я просто не помню. Помню только, что он сразу стал налетать на меня со

всех лестниц Тео и Наркомпроса: редких лестниц, ибо я присутственные места всегда огибала, редких, но всех. Два крыла, ореол кудрей, сияние.

– Вы? Вы? Вы? Как всегда приятно вас видеть! Вы всегда улыбаетесь!

И обежав как цирковая лошадка по кругу, овеяв как птица шумом рассекаемого воздуха, оставляя в глазах сияние, в ушах и в волосах – веяние, – куда-то трещащими от машинок коридорами, на бегу уже обвешиваемый слушателями, слушательницами. В такие минуты он напоминал советский перегруженный, не всегда безопасный трамвай.

Или, во Дворце искусств (дом Ростовых на Поварской) на зеленой лужайке. Что это? Воблу выдают? Нет, хвоста нет, и хвостов нет, что-то беспорядочнее и праздничнее и воблы вдохновительнее, ибо даже рыжебородый лежебок, поэт Рукавишников, встал и, руки в карманы, прислонился к березе.

Я, какой-то барышне:

– Что это?

– Борис Николаевич.

– Лекцию читает?

– Нет, слушает ничевоков.

– Ничего – что́?

(Барышня, деловито:)

– Это новое направление, группа. Они говорят, что ничего нет.

Подхожу. То есть как же *слушает,* когда говорит? Говорит, не закрывая рта, а обступившие его молодые люди, эти самые ничевоки, только свои раскрыли. И, должно быть, давно говорит, потому что, вот, вытер с сияющего лба пот.

– Ничего: чего: черно. Ч – о, ч – чернота – о – *пустота*: zero[1]. Круг пустоты и черноты. Заметьте, что ч – само черно: ч: ночь, черт, чара. Ничевоки... а *ки* – ваша множественность, заселенность этой черной дыры мелочью: чью, мелкой черной мелочью: меленькой, меленькой, меленькой... Ничевоки, это блохи в опустелом доме, из которого хозяева выехали на лето. А хозяева (подымая палец и медленно его устремляя в землю и следя за ним и заставляя

1 Нуль (*фр.*).

всех следить)—выехали! Выбыли! Пустая дача: *ча*, и в ней ничего, и еще *ки*, ничего, разродившееся... *ки*... Дача! Не та бревенчатая дача в Сокольниках, а дача – дар, чей-то дар, и вот, русская литература *была* чьим-то таким даром, *дачей*, но... (палец к губам, таинственно) хо-зя-е-ва вы-е-ха-ли. И не осталось – ничего. Одно ничего осталось, поселилось. Но это еще не вся беда, совсем не беда, когда *одно* ничего, *оно* – ничего, *само* – ничего, беда, когда – *ки*... Ки, ведь это, кхи... При-шел сме-шок. При-тан-це-вал на тонких ножках сме-шок, кхи-шок. Кхи... И от всего осталось... кхи. От всего осталось не ничего, а кхи, хи... На черных ножках– блошки... И как они колются! Язвят! Как они неуязвимы... как вы неуязвимы, господа, в своем ничего-ше-стве! По краю черной дыры, проваленной дыры, где погребена русская литература (таинственно)... и еще что-то...на спичечных ножках – ничегошки. А детки ваши будут – ничегошеньки.

Блок оборвался, потому что Блок – *чего*, и если у Блока – черно, то это черно – *чего*, весь плюс черноты, чернота, как присутствие, наличность, данность. В комнате, из которой унесли свет – темно, но ночь, в которую ты вышел из комнаты, есть сама чернота, *она*.

...Не потому, что от нее светло,
А потому, что с ней – не надо света...

С ночью – не надо света.

И Блок, не выйдя с лампой в ночь – мудрец, такой же мудрец, как Диоген, вышедший с фонарем – днем, в белый день – с фонарем. Один *света* прибавил, другой – тьмы. Блок, отдавши себя ночи, растворивший себя в ней – прав. Он к черноте прибавил, он ее сгустил, усугубил, углубил, учернил, он сделал ночь еще черней – обогатил стихию... а вы – хи-хи? По краю, не срываясь, хи-хи-хи... Не платя – хи-хи... Сти-хи?..

...Но если вы *мне* скажете, что...– тогда я вам скажу, что... А если вы мне на это ответите, что... – я вам уже заранее объявляю, что... Заметьте, что – сейчас, в данную минуту, когда вы еще ничего не сказали.

«Не сказали»... А поди – скажи! Скажешь тут...

Но это не просто вдохновение словесное, это – танец. Барышня с таким же успехом могла бы сказать: «Это Белый übertanzt[1] ничевоков...» Ровная лужайка, утыканная желтыми цветочками, стала ковриком под его ногами – и сквозь кружавшегося, приподымающегося, вспархивающего, припадающего, уклоняющегося, вот-вот имеющего отделиться от земли – видение девушки с козочкой, на только что развернутом коврике, под двубашенным видением веков...

– Эсмеральда! Джали!

То с перил, то с кафедры, то с зеленой ладони вместе с ним улетевшей лужайки, всегда обступленный, всегда свободный, расступаться не нужно, ich überflieg euch![2] в вечном сопроводительном танце сюртучных фалд (пиджачных? все равно – сюртучных!), старинный, изящный, изысканный, птичий – смесь магистра с фокусником, в двойном, тройном, четвертном танце: смыслов, слов, сюртучных ласточкиных фалд, ног, – о, не ног! – всего тела, всей второй души, еще-души своего тела, с отдельной жизнью своей дирижерской спины, за которой – в два крыла, в две восходящих лестницы оркестр бесплотных духов...

– о, таким тебя видели все, от швейцарского тайновидца до цоссенской хозяйки, о, таким ты останешься, пребудешь, легкий дух, одинокий друг!

Прелесть – вот тебе слово: прельститель, и, как все говорят, впрочем, с нежнейшей улыбкой – предатель! О, в высоком смысле, как все – здесь, заведет тебя в дебри, занесет за облака и там, одного, внезапно уклонившись, нырнув в соседнюю смежную родную бездну – бросит: задумается, воззрится, забудем тебя, которого только что, с мольбой и надеждой («Мы никогда не расстанемся? Мы никогда не расстанемся?») звал своим лучшим другом.

Не верь, не верь поэту, дева,
Его своим ты не зови...

О, не только «дева», – дева – что! а лучший друг, потому, что у поэта над самым лучшим другом – друг еще лучший, еще ближайший, которому он не изменит никогда и

1 Перетанцовывает (*нем.*).
2 Я перелетаю через вас! (*нем.*).

ради которого изменит всем, которому он предан – не в переводном смысле верности, а в первичном страшном страдательном *преданности*: кем-нибудь кому-нибудь в руки: предан – как продан, предан – как пригвожден.

– Бисер перед свиньями...– шепчет милая человечная поэтесса Ада Чумаченко, тамошняя служащая, – я и то расстраиваюсь, когда он передо *мной* начинает... Стыдно... Точно – разбрасывает, а я подбираю...

– А эти не расстраиваются.

– Потому что не понимают, кто – он.

– И кто – они.

Но кроме Ады Чумаченки, да меня, случайной редкой гостьи, не смевшей и близко подойти, да такого же редкого и робкого гостя Бориса Пастернака – никто Белого не жалел, о нем не болел, все его использовывали, лениво, вяло, как сытые кошки сливки – подлизывали, полизывали, иные даже полеживая на лужку, беловский жемчуг прикарманивая – лежа.

«Что это?» – «Да опять Белый из себя выходит».

Не входя в вас. Ибо когда наше входит, доходит, растраты нет, пустоты нет – есть разгрузка и пополнение, обмен, общение, взаимопроникновение, гармония.

А так...

Бедный, бедный, бедный Белый, из «Дворцов искусств» шедший домой, в грязную нору, с дубящим топором справа, визжащей пилой слева, сапожищами над головой и грязищей под ногами, в то ужасное одиночество совместности, столь обратное благословенному уединению.

В 1921 году, вскоре после смерти Блока, в мою последнюю советскую зиму я подружилась с последними друзьями Блока, Коганами, им и ею. Коган недавно умер, и если я раньше не сказала всего того доброго, что о нем знаю и к нему чувствую, то только потому, что не пришлось.

П.С. Коган ни поэтов, ни стихов не понимал, но любил и чтил и делал для тех и других, что мог: и тех, и других – устраивал. И между пониманием, пальцем не шевелящим, и непониманием, руками и ногами помогающим (да, и ногами, ибо в те годы, чтобы устроить человека – ходили!), каждый поэт и вся поэзия, конечно, выберет непонимание.

Восхищаться стихами – и не помочь поэту! Пить воду и давать источнику засоряться грязью, не вызволить его из земной тины, смотреть руки сложа и даже любуясь его «поэтичной» зеленью. Слушать Белого и не пойти ему вслед, не затопить ему печь, не вымести ему сор, не отблагодарить его за то, что он – есть. Если я не шла вслед, то только потому же, почему и близко подойти не смела: по устоявшемуся благоговению моих четырнадцати лет. Помочь ведь тоже – посметь. И еще потому, что как-то с рождения решила (и тем, может быть, в своей жизни и предрешила), что все места возле несчастного величия, все бертрановские посты преданности уже заняты. От священной робости – помехи.

– А еще писатель, большой человек, скандал!..– вяло, без малейшей интонации негодования, надрывается Петр Семенович Коган, ероша и волосы, и усы (одни у него ввысь, другие вниз).

– Кто? Что?

– Да Белый. Настоящий скандал. Думали – доклад о Блоке, литературные воспоминания, оценка. И вдруг: «С голоду! С голоду! С голоду! Голодная подагра, как бывает – сытая! *Душевная* астма!»

– Вы же сами посылали Блоку мороженую картошку из Москвы в Петербург.

– Но я об этом не кричу. Не время. Но это еще не все. И вдруг – с Блока – на себя. «У меня нет комнаты! Я – писатель русской земли (так и сказал!), а у меня нет камня, где бы я мог преклонить свою голову, то есть именно камень, камень – есть, но – позвольте – мы не в каменной Галилее, мы в революционной Москве, где писателю *должно* быть оказано содействие. Я написал «Петербург»! Я провидел крушение царской России, я видел во сне конец царя, в 1905 еще году видел, – слева пила, справа топор...»

Я:

– Такой сон?

Коган, с гримасой:

– Да нет же! Это уже не сон, это у *него* рядом: один пилит, другой рубит. «Я не могу писать! Это позор! Я должен

стоять в очереди за воблой! Я писать хочу! Но я и есть хочу! Я – *не* дух! *Вам* я не дух! Я хочу есть на чистой тарелке, селедку на *мелкой* тарелке, и чтобы не я ее мыл. Я заслужил! Я с детства работал! Я вижу здесь же в зале лентяев, дармоедов (так и сказал!), у которых по две, по три комнаты – под различными предлогами, да: по комнате на предлог – да, и они ничего не пишут, только подписывают. Спекулянтов! Паразитов! А я – пролетариат: Lumpenproletariat! Потому что на мне лохмотья. Потому что уморили Блока и меня хотят! Я не дамся! Я буду кричать, пока меня услышат: «А-а-а-а!» Бледный, красный, пот градом, и такие страшные глаза, еще страшнее, чем всегда, видно, что ничего не видят. А еще – интеллигент, культурный человек, серьезный писатель. Вот так почтил память вставанием...

– А по-вашему – все это неправда?

– Правда, конечно. Должна быть у него комната, во-первых – потому что у всех должна быть, во-вторых – потому что он писатель, и *нам* писатель не враждебный. И, вообще, мы всячески... Но нельзя же – так. Вслух. Криком. При всех. Точно на эшафоте перед казнью. И если Блок действительно умер от последствий недоедания, то – кто же его ближе знал, чем я? – только потому, что был *настоящий* великий человек, скромный, о себе не только не кричал, но погнали его разгружать баржу – пошел, себя не назвал. Это – действительно величие.

– Но так ведь может не остаться писателей...

– И это – верно. Писатели нужны. И не только общественные. Вы, может быть, удивитесь, что это слышите от старого убежденного марксиста, но я, например, сам люблю поваляться на диване и почитать Бальмонта – потребность в красоте есть и у нас, и она, с улучшением экономического положения, все будет расти – и потребность, и красота... Писатели *нужны*, и мы для них все готовы сделать – дали же вам паек и берем же вашу «Царь-Девицу» – но при условии – как бы сказать? – сдержанности. Как же теперь, после происшедшего, дать ему комнату? Ведь выйдет, что мы его... испугались?

– Дадите?

– Дадим, конечно. Свою бы отдал, чтобы только не

произошло – то, что произошло. За него неприятно: подумают – эгоист. А я ведь знаю, что это не эгоизм, что он из-за Блока себе комнаты требует, во имя Блока, *Блоку* – комнату, Блока любя – и нас любя (потому что он нас все-таки как-то чем-то любит – как и вы) – чтобы опять чего-нибудь не произошло, за что бы нам пришлось отвечать. Но, позвольте, не можем же мы допустить, чтобы писатели на нас... кричали? Это уж (с добрым вопросительным выражением близоруких глаз)... слишком?

Жилье Белому устроил мгновенно, и не страха людского ради, а страха Божия, из уважения к человеку, а также и потому, что вдруг как-то особенно ясно понял, что писателю комната – нужна. Хороший был человек, сердечный человек. Все мог понять и принять – всякое сумасбродство поэта и всякое темнейшее место поэмы, – только ему нужно было хорошо объяснить. Но шуток он не понимал. Когда на одной его вечеринке – праздновали его свежее университетское ректорство – жена одного писателя, с размаху хлопнув его не то по плечу, не то по животу (хлопала кого попало, куда попало – и *всегда* попадало) – «Да ну их всех, П. С., пускай их домой едут, если спать хотят. А мы с вами здесь – а? – вдвоем – такое разделаем – наедине-то! А?» – он, не поняв шутки: «С удовольствием, но я, собственно, нынче ночью должен еще работать, статью кончать...» На что она: «А уж испугался! Эх ты, Иосиф Прекрасный, хотя ты и Петр, Семенов сын. А все-таки – а, Маринушка? – хороший он, наш Петр Семенович-то? Красавец бы мужчина, если бы не очки, а? И тебе нравится? Впрочем, все они хорошие. Плохих – нет...»

С чем он, ввиду гуманности вывода, а главное поняв, что – пронесло, почтительно и радостно согласился.

Ныне, двенадцать лет спустя, не могу без благодарности вспомнить этого очкастого и усатого ангела-хранителя писателей, ходатая по их земным делам. Когда буду когда-нибудь рассказывать о Блоке, вспомяну его еще.

Это был мой последний московский заочный Белый, изустный Белый, как ни упрощаемый – всегда узнаваемый. Белый легенды, длившейся 1908 год – 1922 год – четырнадцать лет.

Теперь – наша встреча.

II. *Встреча*

(Geister auf dem Gange)
Drinnen gefangen isl Einer[1].

Берлин. «Pragerdiele» на Pragerplatz'e. Столик Эренбурга, обрастающий знакомыми и незнакомыми. Оживление издателей, окрыление писателей. Обмен гонорарами и рукописями. (Страх, что и то, и другое скоро падет в цене.) Сижу частью круга, окружающего.

И вдруг через все — через всех — протянутые руки — кудри — сияние:

— Вы? Вы? (Он так и не знал, как меня зовут.) Здесь? Как я счастлив! Давно приехали? Навсегда приехали? А за вами, по дороге, не следили? Не было такого... (скашивает глаза)... брюнета? Продвижения за вами брюнета по вагонному ущелью, по вокзальным сталактитовым пространствам... Пристукиванья тросточкой... не было? Заглядывания в купе: «Виноват, ошибся!» И через час опять «виноват», а на третий раз уж вы — ему: «Виноваты: ошиблись!» Нет? Не было? Вы... хорошо помните, что не было?

— Я очень близорука.

— А он в очках. Да-с. В том-то и суть, что вы, которая не видит, без очков, а он, который видит, — в очках. Угадываете?

— Значит, он тоже ничего не видит.

— Видит. Ибо стекла не для видения, а для видоизменения... видимости. Простые. Или даже — пустые. Вы понимаете этот ужас: пустые стекла, нечаянно ткнешь пальцем — и теплый глаз, как только что очищенное, облупленное подрагивающее крутое яйцо. И такими глазами — вкрутую сваренными — он осмеливается глядеть в ваши: ясные, светлые, с живым зрачком. Удивительной чистоты цвет. Где я такие видел? Когда?

...Почему мы с вами так мало встречались в Москве, так мимолетно? Я все детство о вас слышал, все *ваше* детство, конечно, — но вы были невидимы. Все ваше детство я слышал о вас. У нас с вами был общий друг: Эллис, он мне всегда рассказывал о вас и о вашей сестре — Асе: Марине и Асе. Но в последнюю минуту, когда нужно было вдвоем идти к вам, он — уклонялся.

— А мы с Асей так мечтали когда-нибудь вас увидеть! И как мы были счастливы *тогда*, в «Доне», когда случайно...

— Вы? Вы? Это были — вы! Неужели та — вы? Но где же тот румянец?! Я тогда так залюбовался! Восхитился! Самая румяная и серьезная девочка на свете. Я тогда всем рассказывал: «Я сегодня видел самую румяную и серьезную девочку на свете!»

— Еще бы! Мороз, владимирская кровь — и вы!

— А вы... владимирская? (Интонация: из Рюриковичей?) Из тех лесов дремучи-их?

— *Мало, из тех лесов!* А *еще из города* Тарусы Калужской губернии, где на каждой могиле серебряный голубь. Хлыстовское гнездо — Таруса.

— Таруса? Родная! («Таруса» он произнес как бы «Маруся», а «родную» нам с Тарусой пришлось поделить.) Ведь с Тарусы и начался Серебряный Голубь. С рассказов Сережи Соловьева — про те могилы...

(Наш стол уже давно опустел, растолкнутый явным лиризмом встречи: скукой ее чистоты. Теперь, при двукратном упоминании *могил*, уходит и последний.)

— Так вы — родная? Я всегда знал, что вы родная. Вы — дочь профессора Цветаева. А я — сын профессора Бугаева. Вы — дочь профессора, и я сын профессора. Вы — дочь, я — сын.

Сраженная неопровержимостью, молчу.

— Мы — профессорские дети. Вы понимаете, что это значит: профессорские дети? Это ведь целый круг, целое Credo. (Углубляющая пауза.) Вы не можете понять, как вы меня обрадовали. Я ведь всю жизнь, не знаю почему, *один* был профессорский сын, и это на мне было, как клеймо, — о, я ничего не хочу дурного сказать о профессорах, я иногда думаю, что я сам профессор, самый настоящий профессор — но, все-таки одиноко? schickssalschwer?[1] Если уж непременно нужно быть чьим-то сыном, я бы предпочел, как Андерсен, быть сыном гробовщика. Или наборщика... Честное слово. Чистота и уют ремесла. Вы этого не ощущаете

1 (Духи в сенях)
Один из нас в ловушке! (*нем.*)

1 Роковой, фатальный (*нем.*).

клеймом? Нет, конечно, вы же – дочь. Вы не несете на себе тяжести преемственности. Вы – просто вышли замуж, сразу замуж – да. А сын может только жениться, и это совсем не то, тогда его жена – жена сына профессора Бугаева. (Шепотом:) А бугай, это – бык. (И, уже громко, с обворожительной улыбкой:) Производитель.

Но оставим *профессорских* детей, оставим только одних детей. Мы с вами, как оказалось, дети (вызывающе:) – все равно чьи! И наши отцы – умерли. Мы с вами – сироты, и – вы ведь тоже пишете стихи? – сироты и поэты. Вот! И какое счастье, что это за одним столом, что мы можем оба заказать кофе и что нам обоим дадут – тот же самый, из одного кофейника, в две одинаковых чашки. Ведь это роднит? Это уже – связь? (Не удивляйтесь: я очень одинок, и мне грозит страшная, страшная, страшная беда. Я – под ударом.) Вы ведь могли оказаться – в Сибири? А я – в Сербии. Есть еще такое простое счастье.

На другое утро издатель, живший в том же пансионе и у которого ночевал Белый, когда запаздывал в свой загород, передал мне большой песочный конверт с императивным латинским Б (В), надписанный вершковыми буквами, от величины казавшимися нарисованными.

– Белый уехал. Я дал ему на ночь вашу «Разлуку». Он всю ночь читал и страшно взволновался. Просил вам передать.

Читаю:

«Zossen, 16 мая 22 г.

Глубокоуважаемая Марина Ивановна.

Позвольте мне высказать глубокое восхищение перед[1] совершенно крылатой мелодией Вашей книги «Разлука».

Я весь вечер читаю – почти вслух; и – почти распеваю. Давно я не имел такого эстетического наслаждения.

А в отношении к *мелодике* стиха, столь нужной после расхлябанности Москвичей и мертвенности Акмеистов, ваша книга *первая* (это – безусловно).

Пишу – и спрашиваю себя, не переоцениваю ли я свое впечатление? Не приснилась ли мне Мелодия?

И – нет, нет; я с большой скукой развертываю все новые книги стихов. Со скукой развернул и сегодня «Разлуку». И вот – весь вечер под властью чар ее. Простите за неподдельное выражение моего восхищения и примите уверения в совершенном уважении и преданности.

Борис Бугаев»

1 «Перед» вставлено потом. (*Прим. М. Цветаевой.*)

Письмо это написано такой величины буквами, что каждый из тех немногих, которым я после беловской смерти его показывала: «Так не пишут. Это письмо сумасшедшего». Нет, не сумасшедшего, а человека, желающего остаться в границах, величиной букв занять все то место, оставшееся бы безмерности и беспредметности, во-вторых же, внешней вескостью выявить вескость внутреннюю. Так ребенок, например, в обычном тексте письма, вдруг, до сустава обмакнув и от плеча нажав: «Мама, я *очень* вырос!» Или: «Мама, я *страшно* тебя люблю». Так-то, господа, мы в поэте объявляем сумасшествием вещи самые разумные, первичные и законные.

Я сразу ответила – про мелодию. Помню образ реки, несущей на хребте – всё. Именно на хребте, мощном и гибком хребте реки: рыбы, русалки. Реку, данную в образе пловца, расталкивающего плечами берега, плечами прокладывающего себе русло, движением создающего течение. Мелодию – в образе этой реки. Он ответил – письма этого у меня здесь нет, мне – письмом, себе самому статьей (в «Днях», кажется) о моей «Разлуке». Помню, что трех четвертей статьи я не поняла, а именно всего ритмического исследования, всех его доказательств. Вечером опять встретились.

– Вы прочли? Не очень неграмотно?

– Так грамотно, что я не поняла.

– Значит, плохо.

– Значит, я – неграмотная. Я, честное слово, никогда не могла понять, когда мне пытались объяснить, что я делаю. Просто, сразу теряю связь, как в геометрии. «Понимаете?» – «Понимаю», – и только один страх, как бы не начали проверять. Если бы для писания пришлось понимать, я бы никогда ничего не смогла. Просто от страху.

– Значит, вы – чудо? Настоящее чудо поэта? И это дается – мне? За что? Вы знаете, что ваша книга изумительна, что у меня от нее физическое сердцебиение. Вы знаете,

что это не книга, а песня: голос, самый чистый из всех, которые я когда-либо слышал. Голос самой тоски: Sehnsucht. (Я должен, я должен, я должен написать об этом исследование!) Ведь – никакого искусства, и рифмы в конце концов бедные... Руки – разлуки – кто не рифмовал? Ведь каждый... ублюдок лучше срифмует... Но разве дело в этом? Как же я мог до сих пор вас *не* знать? Ибо я должен вам признаться, что я до сих пор, до той ночи, не читал ни одной вашей строки. Скучно – читать. Ведь веры нет в стихи. Изолгались стихи. Стихи изолгались или поэты? Когда стали их писать без нужды, они сказали нет. Когда стали их писать, составлять, они уклонились.

Я *никогда* не читаю стихов. И *никогда* их уже не пишу. Раз в три года – разве это поэт? Стихи должны быть единственной возможностью выражения и постоянной насущной потребностью, человек должен быть на стихи обречен, как волк на вой. Тогда – поэт. А вы, вы – птица! Вы поете! Вы во мне каждой строкой поете, я пою вас дальше, вы во мне поете дальше, я вас остановить в себе не могу. С *этого* уже два дня прошло... Думал – разделаюсь письмом, статьей – нет! И боюсь (хотя не надо этого бояться), что теперь скоро сам...

Статьей и устной хвалой не ограничился. Измученный, ничего для себя не умеющий, сам, без всякой моей просьбы устроил две моих рукописи: «Царь-Девицу» в «Эпоху» и «Версты» в «Огоньки», подробно оговорив все мои права и преимущества. Для себя не умеющий – для другого смог. С смущенной и все же удовлетворенной улыбкой (а глаза у него все-таки были самые неверные, в которые я когда-либо глядела, гляделась):

– Вы меня простите, это вас ни к чему не обязывает, но я подумал, это, может быть, так – проще, что другому, со стороны – легче... Не примите это за вмешательство в вашу личную жизнь...

Такого другого, с той стороны, с которой – легче, всей той стороны, с которой легче – у Белого в жизни не оказалось.

Так мы опять просидели дотемна. Так он опять пропустил свой последний поезд, и на этот раз с утра в дверную

щель (влезал всегда, как зверь, головой, причем глядел не на вас, а вкось, точно чего-то на стене или на полу ища или опасаясь), итак, в дверную щель его робкое сияющее лицо в рассеянии серебрящихся волос. (И, вдруг, озарение: да ведь он сам был серебряный голубь, хлыстовский, грозный, но все же робкий, но все же голубь, серебряный голубь. А ко мне приручился потому, что я его не пугала – и не боялась.)

– Встали? Кофе пили? Можно еще раз вместе? Хорошо? – И захватывая в один круговой взгляд: балконную синь, лужу солнца на полу, собственный букет на столе, серый с ремнями чемодан, меня в синем платье:

– Хорошо? (Все.)

В одну из таких ночевок, на этот раз решенную заранее (зачем уезжать, когда с утра опять приезжать? и зачем бояться пропустить последний поезд, на котором все равно не поедешь?), бедный Белый сильно пострадал от моей восьмилетней дочери и пятилетнего сына издателя, объединившихся. Гадкие дети догадались, что с Белым можно то, чего нельзя ни с кем, потому что сам он с ними таков, как никто, потихоньку, никому не сказав, положили ему в постель всех своих резиновых зверей, наполненных водой. Утром к столу Белый с видом настоящего Победоносца. У детей лица вытягиваются. И Белый, радостно:

– Нашел! Нашел! Обнаружил, ложась, и выбросил – полными. Я на них *не* лег, я только чего-то толстого и холодного... коснулся... Какого-то... живота. (Шепотом:) Это был живот свиньи.

Сын издателя:

– Моя свинья.

– Ваша? И вы ее... любите? Вы в нее... играете? Вы ее... берете в руки? (Уже осуждающе:) – Вы можете взять ее в руки: холодную, вялую, трясущуюся, или еще хуже: страшную, раздутую? Это называется... играть? Что же вы с ней делаете, когда вы в нее играете?

Ошеломленный «Вы», выкатив чудные карие глаза, явно и спешно *глотает*. Белый, оторвав от него невидящие

(свиным видением заполненные) глаза и скосив их в пол, *как Георгий на дракона, со страхом и угрозой:*

– Я... не люблю свинью... Я – боюсь свинью!..

Этим *ю* как перстом или даже копьем упираясь в свинорыльный пятак.

Перерыв, который лучше всего бы заполнить графически – тире; уезжал, писал, тосковал, – не знаю. Просто пропал на неделю или десять дней. И вдруг возник, днем, в кафе «Pragerdiele».

Я сидела с одним писателем и двумя издателями, столик был крохотный и весь загроможденный посудой и локтями, и еще рукописями, и еще рукопожатиями непрерывно подходящих и здоровающихся. И вдруг – две руки. Через головы и чашки и локти две руки, хватающие мои.

– Вы! Я по вас соскучился! Стосковался! Я все время чувствовал, что мне чего-то не хватает, главного не хватает, только не мог догадаться, как курильщик, который забыл, что *можно* курить, и, не зная *чего*, все время ищет: перемещает предметы, заглядывает под вешалку, под бювар...

Кто-то ставит стул, расчищает стол.

– Нет, нет, я хочу рядом с... ней. Голубушка, родная, я – погибший человек! Вы, конечно, *знаете?* Все – уже знают! И все знают, почему, а я – нет! Но не надо об этом, не спрашивайте, дайте мне просто быть счастливым. Потому что сейчас я – счастлив, потому что от нее – всегда сияние. Господа, вы видите, что от нее идет сияние?

Писатель вытряс трубку, один издатель полупоклонился в мою сторону, а другой, Белого отечески любивший и опекавший, отчетливо сказал:

– Конечно, видим все.

– Сияние и успокоение. Мне с ней сразу спокойно, покойно. Мне даже сейчас, вот, внезапно захотелось спать, я бы мог сейчас заснуть. А ведь это, господа, высшее доверие – спать при человеке. Еще большее, чем раздеться донага. Потому что спящий – сугубо наг: весь обнажен вражде и суду. Потому что спящего – так легко убить! Так – соблазнительно убить! (В себе, в себе, в себе убить, в себе

уничтожить, развенчать, изобличать, поймать с поличным, заклеймить, закатать в Сибирь!)

Кто-то:

– Борис Николаевич, вам, может быть, кофе?

– Да. Потому что на лбу у спящего, как тени облаков, проходят самые тайные мысли. Глядящий на спящего читает тайну. Потому так страшно спать при человеке. Я совсем не могу спать при другом. Иногда, в России (оборот головы на Россию), я этим страшно мучился, среди ночи вставал и уходил. Заснешь, а тот проснется – и взглянет. Слишком пристально посмотрит – и сглазит. Даже не от зла, просто – от глаз. Я больше всего боялся, когда ехал из России, что очнусь – под взглядом. Я просто боялся спать, старался не спать, стоял в коридоре и глядел на звезды... (К одному из издателей:) Вы говорите во сне? Я – кричу.

...А при ней – могу... Она на меня наводит сон. Я буду спать, спать, спать. Ну дайте вашу руку, ну, дайте мне руку и не берите обратно, совершенно все равно, что они все здесь...

Смущенная, все ж руку даю, обратно не беру, улыбкой на шутку не свожу, на окружающие улыбки – не иду. И он, должно быть, по напряженности моей руки, внезапно поняв:

– Простите! Я, может быть, не так себя вел. Я ведь отлично знаю, что нельзя среди бела дня, в кафе, говорить вещи – раз навсегда! Но я – всегда в кафе! Я – обречен на кафе! Я, как беспризорный пес, шляюсь по чужим местам. У меня нет дома, своего места. (*Будка* есть, но я *не* пес!) Я всегда должен пить кофе... или пиво... эту гадость!.. весь день что-то пить, маленькими порциями, и потом звенеть ложкой о кружку или чашку и вынимать бумажку... Не может человек *весь* день пить! Вот опять кофе... Я *должен* его выпить, а я не хочу: я не бегемот, наконец, чтобы весь день глотать, с утра до вечера и даже ночью, потому что в Берлине ночи нет. Родная! Голубушка! Уйдем отсюда, пусть они сами пьют...

Не забыв заплатить за кофе (таких вещей не забывал никогда), выводит меня, почти бегом, но никогда и ничего не задев, за руку между столиками.

— Теперь куда? Хотите — просто к вам? Но у вас дочь, обязанности... А нельзя же, чтобы маленькая девочка *сейчас* знала, как поступить через двадцать лет, когда человек отдаст ей всю свою жизнь, а она на нее наступит... хуже! Перешагнет — как через лужу.

...Как чист Берлин! Я иногда устаю от его чистоты... Хотите просто ходить? Но ходить это ведь (лукаво) заходить: и опять пить, а я от *этого* бегу...

— Можно просто на скамейку.

— А вы знаете такую скамейку? Без глаз? Потому что, если даже шутцман — как это у них издевательски: муж защиты! — если даже такой муж защиты, так мало похожий на человека, так сильно похожий на столб — вдруг, вперит, нет, вопрёт, свое око, не обернув головы: только око, оловянное око — как, знаете, были в детстве такие приманки в кофейных витринах, на Неглинной: неподвижная рожа, с вращающимися глазами. Точно *прозревший* голландский сыр... Я в детстве так боялся. Мамочка думала развлечь, а я из деликатности делал вид — устарелое слово «деликатность» — из деликатности, говорю, делал вид, что страшно весело, а сам дрожал, дрожал... Рожа не двигается, а глаза вот так, вот так, ни разу — эдак. Как я тогда молча молил: «Сломайся!»

Значит, вы знаете такую скамейку? Как на Никитском бульваре, подойдет собака, погладишь, опять уйдет... Желтая, с желтыми глазами... Здесь нет такой собаки, я уже смотрел, здесь все — чьи-нибудь, всё — чье-нибудь, здесь только люди — ничьи, а может быть, я один — ничей? Потому что самое главное — быть чьим, о, чьим бы ни было! Мне совершенно все равно — вам тоже? — чей я, лишь бы тот знал, что я — *его*, лишь бы меня не «забыл», как я в кафе забываю палку. Я тогда бы и кафе любил. Вот Икс, Игрек, все, что с нами сидят, ведь у них, кроме нас, есть еще что-то — неважно, что у них есть (и неважно, что у них — есть), но каждый из них *чей-то*, принадлежность. Они могут идти в кафе, потому что могут из него уйти не в кафе... В кафе — всё вам это уже рассказали, а теперь я скажу — три дня назад кончилась *моя жизнь*.

— Но вы где-то все-таки...

— По-ка-жу. Сами увидите, что это за «где-то» и какое

это «все-таки». Именно—все-таки. Вы гениально сказали: все-таки. О, я бы вас сейчас с собой повез, нно... это ужасно далёко: сначала на трамвае, потом по железной дороге, и гораздо дольше и дальше, это уже за краем всех... возможностей. Это — без адреса... Удивительно, что туда доходят письма, *ваши* письма, потому что *другие* — вполне естественно, нельзя более естественно. По существу, туда бы должны доходить только одни счета — за шляпу в английском магазине «Жак» двадцать лет назад или за мою будущую могилу на Ваганькове...

А знаете? Мы туда возьмем *дочь*, вы приедете с ней, мы будем втроем, ребенок —это всегда имманентность мгновению, это разгоняет всякие видения...

— А теперь я поеду, нет, нет, не провожайте, я вас уже измучил, я вам бесконечно благодарен... Видите? *Наш* трамвай!

Привычным движением — сына, отродясь подсаживавшего мать в карету — подсаживает. Вскакивает следом. Стоим на летящей площадке, плечо к плечу. Беря мою руку:

— Я больше всего на свете хотел бы сейчас положить вам голову на плечо... И спать стоя. Лошади стоя ведь спят.

Перед зданием вокзала, *отпустив наконец* руку (держал ее все время у сердца, вжимал в него):

— Нет. Сегодня — нет. Я ведь знаю, сколько я беру сил. Берегите на когда совсем задохнусь. Сейчас я — счастлив, совсем успокоен. Приеду домой и буду писать вам письмо.

— Как Белый сегодня к вам кинулся! Ведь — на глазах загорелся! Это был настоящий coup de foudre![1] — сказал мне за ужином издатель.

— Человек, громом пораженный, может упасть и на человека, — был мой ответ.

Coup de foudre? Нет. Не так они происходят. Это было общение с моим покоем, основным здоровьем, всей моей неизбывной жизненностью. Больше — ничего. Но такая малость в такие минуты — много. Всё.

А минута была тяжелая. Полный перелом хребта.

1 Удар молнии. Здесь: любовь с первого взгляда (*фр.*).

Держа в руках подробнейший трогательнейший рукописный и рисованный маршрут – в мужчинах того поколения всегда было что-то отеческое, старинный страх, что заблудимся, испугаемся, где-нибудь на повороте будем сидеть и плакать, – маршрут мало в стрелках и в крестиках, но с трамваями в виде трамваев, с нарисованным вокзалом и, уж конечно, собственным, как дети рисуют, домиком: вот дом, вот труба, вот дым идет из трубы, а вот я стою.

– Я бы с величайшим счастьем сам за вами заехал и довез бы, но – вы не сердитесь, я знаю, что это бессовестнейший готтентотский эгоизм – мне так хочется завидеть вас издали, синей точкой на белом шоссе – так хорошо, что вы носите синее, какая в этом благость! – сначала точкой синей, потом тенью синей, такой же синей, как ваша собственная, вашей же тенью, длинной утренней тенью, вставшей с земли и на меня идущей... Знаете, синяя тень, напоенная небесной лазурью...

– Золото в лазури! – по ассоциации говорю я. Он, хватая мою руку:

– Вы не знаете, что вы сейчас сказали! – Вы – назвали. Я об этом все время думаю – и боюсь. Боюсь – начать. Боюсь – все выйдет по-другому... Для них – «переиздать»... Для них – «стихи». Но теперь, когда вы это слово сказали, я начну... Я со всем усердием примусь, это будет ваша лазурь.

...Выйдя с вокзала – прямо, потом (переводя меня через нарисованный шлях) перейти шоссе (умоляюще:) только раз перейти! Не сердитесь, не сердитесь, родная! Но мне так безумно хочется вас ждать, вас *наверное* ждать. Завидеть вас издали, в синем платье, ведущей *дочь* за руку...

Не отрываясь от маршрута, тщательностью которого больше смущена, чем просвещена: столько нарисовал и написал, так крестиками и стрелками путь к себе заставил, что, кажется, добраться невозможно; устрашенная силой его ожидания – когда *так* ждут, всегда что-нибудь случается, ясно сознавая, что дело не во мне, а в моей синеве – сначала еду, потом еще еду, а затем, наконец, иду, держа дочь за руку, по тому белому шоссе, на котором должна возникнуть синей тенью.

Пустынно. Неуют новорожденного поселка. Новосотворенного, а не рожденного. Весь неуют муниципальной преднамеренности. Была равнина, решили – стройтесь. И построились, как солдаты. Дома одинаковые, заселенно-нежилые. Постройки, а не дома. Сюда можно приезжать и отсюда можно – нужно! – уезжать, *жить* здесь нельзя. И странное население. Странное, во-первых, чернотою; в такую жару – все в черном. (Впрочем, эту же черноту отметила уже в вагоне, и слезла она вся на моей станции.) В черном суконном, душном, непродышанном. То и дело обгоняют повозки с очень краснолицыми господами в цилиндрах и такими же краснолицыми дамами, очень толстыми, с букетами – и, кажется, венками? –на толстых животах. Цветы – лиловые.

Наконец – дом, все тот же первый увиденный и сопровождавший нас слева и справа вдоль всего шоссе. Барак, а не дом. Между насестом и будкой. С крыльцом. А на крыльце, с крыльца:

– Вы? Вы? Родная! Родная!

Ведет вверх по новейшей и отзывчивейшей лесенке, явно для пожара – уж и спички готовы: перила! – вводит в совершенно голую комнату с белым некрашеным столом посредине, усаживает.

– Как вам здесь нравится? Мне... не нравится. Не знаю почему, но не нравится... Не понравилось сразу, как вошел... Уже когда ехал – не понравилось... Говорили, у Берлина чудные окрестности... Я ждал... вроде Звенигорода... А здесь... как-то... голо? Вы заметили деревья? (Не заметила никаких, ибо нельзя же счесть деревьями тончайшие прутья, обнесенные толстенными решетками.) Без тени! Это человек был без тени – в каком-то немецком предании, но это был – человек, деревья – обязаны отбрасывать тень! И птицы не поют – понятно: в таких деревьях! У меня в Москве по утрам – всегда пели, даже в двадцатом году – пели, даже в больнице – пели, даже в тифу – пели...

И население противное. Подозрительно-тихое. Ступают, точно на войлочных подошвах. Вы не заметили? И – может быть, это под Берлином мода такая? – все в черном,

ни одного даже коричневого и серого, все черное, даже женщины – в черном.

(Я, мысленно: «А, милый, вот откуда твоя страсть к моей синеве!»)

– А мебель – белая, и пахнет свежим тесом. В этом что-то (отрясаясь)... зловещее? Может быть, это какой-нибудь *особенный* поселок?

Я, быстро отводя:

– Нет, нет, после войны – везде так.

Он, явно облегченно:

– Ах! Значит – вдовы и вдовцы! Отдельный поселок для вдов и вдовцов... Как это по-немецки... по-прусски... И как по-немецки, что они не догадаются переженить и одеться во что-нибудь другое... Теперь я понимаю и венки, это обилие венков и букетов – совершенно необъяснимое при отсутствии цветов, – потому что цветов, вы заметили, нет, потому что – садов нет, только сухие дворы. Здесь, наверное, где-нибудь близко кладбище? Гигантское кладбище! Они просто построились на кладбище, теперь я понимаю однородность построек... Но вот что изумительно: вид у них, при всем их вдовстве, цветущий, я нигде не видал таких красных лиц... Впрочем, понятно: постоянные поминки... Как с кладбища, так поминать – сосисками и пивом, помянули – опять на кладбище! Но так ведь поправиться можно! Ожирение сердца нажить – с тоски!

Теперь я и цилиндры понимаю. Когда он идет на могилу к жене, он надевает цилиндр, который перед могилой снимает, – в этом жесте весь обряд. Но, знаете, странно, *они* на могилу ездят целыми фурами, фургонами... Вы таковых не встречали? Полные фургоны черных людей... Немецкий корпорационный дух: и слезы вместе, и расходы вместе... Вдовье место, вдовцово место, противное место...

И слово не нравится: Zossen. Острое и какое-то плоское, точно клецка.

Простите, что я вас сюда позвал!

Но мы ведь ничем не связаны? (Наклоняясь к моему уху:) Мы ведь можем уехать? Сначала – посидеть, а потом – уехать? Провести чудный день?

Я только что сам приехал. Вы знаете, ведь я вчера *ту-*

да – сюда! – не поехал, я тотчас же свернул вам вслед, следующим же трамваем – в «Pragerdiele», но... устыдился... Весь вечер ходил по кафе и в одном встретил (называет язвящее его имя). Что вы об этом думаете? Может она его любить?

Я, твердо:

– Нет.

– Не правда ли: нет? Так что же все это значит? Инсценировка? Чтобы сделать больно – мне? Но ведь она же меня *не* любит, зачем же ей тогда мне делать больно? Но ведь это же прежде всего – делать больно себе. Вы его знаете?

Рассказываю.

– Значит, неплохой человек... Я пробовал читать его стихи, но... ничего не чувствую: слова. Может быть, я – устарел? Я очень усердно читал, всячески пытался что-нибудь вычитать, почувствовать, обрести. Так мне было бы легче.

...Можно любить и совершенно даже естественно полюбить после писателя человека совсем простого, дикаря... Но этот дикарь не должен писать теоретических стихов!

(Взрывом.) О, вы не знаете, как она зла! Вы думаете – *он* ей нужен, дикарь ей нужен, ей, которой (отлет головы)... тысячелетия... Ей нужно (шепотом) ранить меня в самое сердце, ей нужно было *убить* прошлое, убить себя – ту, сделать, чтобы *той* – никогда не было. Это – месть. Месть, которую оценил я один. Потому что для других это просто увлечение. Так... естественно. После сорокалетнего лысеющего нелепого – двадцатилетний черноволосый, с кинжалом и так далее. Ну, влюбилась и забылась: разбила всю жизненную форму. О, если бы это было так! Но вы ее не знаете: она холодна, как нож. Все это – голый расчет. Она к нему ничего не чувствует. Я даже убежден, что она его ненавидит... О, вы не знаете, как она умеет молчать, вот так: сесть – и молчать, стать и молчать, глядеть – и молчать.

– Месть? Но за что?

– За Сицилию. За «Офейру». «Я вам больше не жена». – Но – прочтите мою книгу! Где же я говорю, что она мне – жена? Она мне – она... Мерцающее видение... Козочка на ус-

тупе... Нелли. Что же я такого о ней сказал? Да и книга уже была отпечатана... Где она увидела «интимность», «собственничество», печать (недоуменно) мужа?

Гордость демона, а поступок маленькой девочки. Я тебе настолько не жена, что, вот... жена другого. Точно я без этого не ощутил. Точно я *всегда* этого не знал. И вот, из сложнейших душевных источников, грубейший факт, которым оскорблены все, кроме меня.

...Мне ее *так* жаль.

Вы ее видели? Она прекрасна. Она за эти годы разлуки так выросла, так возмужала. Была Психея, стала Валькирия. В ней — сила! Сила, данная ей ее одиночеством. О, если бы она по-человечески, не проездом с группой, с труппой, полчаса в кафе, а дружески, по-человечески, по-глубокому, по-высокому — я бы, обливаясь кровью, первый приветствовал и порадовался...

Вы не знаете, как я ее любил, как ждал! Все эти годы — ужаса, смерти, тьмы — как ждал. Как она на меня сияла...

И его мне жаль. Если он человек с сердцем, он за это жестоко поплатится. Она зальет его презрением... «Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти». А он, должно быть, ее безумно любит!

(«Как у тебя все по-высокому, говорю я внутри рта, вот он уже у тебя и Мавр... И как с мужской, по крайней мере, стороны все несравненно проще, — той простотой, которой тебе не дано понять. А «безумная любовь» — сидит в «Pragerdiele», угрюмый, как сыч, и, заглатывая зевоту: «Ну и скучища же с ней! Молчит, не разговаривает, никогда не улыбнется. Точно сова какая-то...» Но *этого* ты не узнаешь никогда».)

— Простите, я вас измучил! Такое солнце, а я вас измучил! Только приехали, а я вас уже измучил. Не надо больше о ней. Ведь — кончено. Ведь я — стихи пишу. Ведь я после вашей «Разлуки» опять стихи пишу. Я думаю — я не поэт. Я могу — годами не писать стихов. Значит, не поэт. А тут, после вашей «Разлуки» — хлынуло. Остановить не могу. Я пишу вас — дальше. Это будет целая книга: «После Разлуки»,—после разлуки — с нею, и «Разлуки»—вашей. Я мысленно посвящаю ее вам и если не проставляю посвящения, то только потому, что она ваша, из вас, я не могу дарить вам вашего, это было бы — нескромно.

Можно вам прочесть? Когда устанете, остановите, я сам не остановлюсь, я никогда не остановлюсь...

И вот над унынием цоссенского ландшафта:

Ты, вставая, сказала, что — нет!
И какие-то призраки мы.
Не осиливает — свет.
Не осиливает — тьмы.

Ты ушла. Между нами года —
Проливаемая — куда
Проливаемая — вода?
Не увижу тебя никогда.

Пробегает листки, как клавиши.

Да, ты выспренней ложью обводишь
Злой круг вкруг себя.
И ты с искренней дрожью уходишь
Навеки, злой друг, от меня
Без ответа.
И я *никогда* не увижу тебя
И — *себя* — ненавижу за это!

И еще это! — В его руке листки, как стайка белых, готовых сорваться, крыльев.

— Ты — тень теней, тебя не назову,
Твое лицо холодное и злое...
Плыву туда, за дымку дней, зову
За дымку дней, — нет, не тебя: былое,

Которое я рву (в который раз!),
Которое в который раз восходит,
Которое в который раз, алмаз,
Алмаз звезды, звезды любви, *низводит*...

И, точно удивившись внезапно проступившей тишине:

— А какая тихая дочь. Ничего не говорит. (Зажмурившись:) Приятно! Вы знаете, я ведь боюсь детей. (Глядя из всех глаз и этим их безмерно расширяя:) Я бе-зум-но их боюсь. О, с детства! С Пречистенского бульвара. С каждой ел-

ки, с каждого дня рождения. (Шепотом, как жалуются на могущественного врага:) Они у меня все ломали, их приход был нашествие... (Вскипая:) Ангелы? Я и сейчас еще слышу треск страницы: листает такой ангел любимую книгу и перервет вкось – точно рваная рана... И не скажите – нечаянно, редко – нечаянно, всегда – нарочно, всё нарочно, назло, искоса, исподлобья – скажу или нет. О, они, как звери, не выносят чужого и чуют слабого. Все дело только – не показать страха, не дрогнуть... Больной волк ведь, когда заболеет, наступает на больную лапу... Знает, что разорвут. О, как я их боюсь! А вы – не боитесь?

– Своих – нет.

– А у меня своих – нет. И, наверное, уже не будет. Может быть – жаль? Может быть, лучше было бы, если бы – были? Я иногда жалею. Может быть, я как-то... прочнее был бы на земле?..

Аля, давно уже хмуро и многозначительно на меня поглядывавшая:

– Ма-ама!

Я, с самонасильственной простотой:

– Борис Николаевич, где у вас здесь, а то девочке нужно.

– Конечно, девочке нужно. Девочке нужно, нужно, нужно.

Убедившись, что другого ответа не будет, настойчивее:

– Ей в одно местечко нужно.

– А-ах! Этого у нас нет. Местечка у нас нет, но место есть, сколько угодно – все место, которое вы видите из окна. На лоне природы, везде, везде, везде! Это называется – Запад (шипя, как змея:) цивилизация.

– Но кто же вас здесь... поселил? (Сказав это, понимаю, что он здесь именно на поселении.)

– Друзья. Не знаю. Уложили. Привезли. Очевидно – так нужно. Очевидно, это *кому-то* нужно. – И, уже как узаконенный припев: – Девочке нужно, нужно, нужно.

– Аля, как тебе не стыдно! Прямо перед окном!

– Во-первых, вы слишком долго с ним разговаривали, во-вторых, он все равно ничего не видит.

– Как не видит? Ты думаешь, он слепой?

– Не слепой, а сумасшедший. Очень тихий, очень вежливый, но *настоящий* сумасшедший. Разве вы не видите, что он все время глядит на невидимого врага?

Чтобы кончить о «девочке, которой нужно» и Белом. Несколько дней спустя приехал из Праги ее отец и ужаснулся ее страсти к пиву.

– Бездонная бочка какая-то! В восемь лет! Нет, этому нужно положить конец. Сегодня я ей дам столько пива, сколько она захочет – чтобы навсегда отучить.

И вот, после которой-то кружки, Аля, внезапно:

– А теперь я иду спать, а то я уже чувствую, что скоро начну говорить такие глупости, как Андрей Белый.

– Конечно, Пушкин писал своего «Годунова» в бане, – говорит Белый, обозревая со мной из окна свои цоссенские просторы. – Но разве это сравнимо с баней? О, я бы дорого дал за баню! (Шепотом, стыдливо улыбаясь:) Я же ведь здесь совершенно перестал мыться. Воды нет, таза нет – разве это таз? Ведь сюда – только нос! Так и не моюсь, пока не попаду в Берлин, оттого я так часто и езжу в Берлин и в конце концов ничего не пишу. (Уже угрожающе:) Чтобы вымыть лицо, мне нужно ехать в Берлин!

А теперь... (дверь без стука, но с треском открывается, впуская сначала поднос, потом женский клетчатый живот) – чем богаты, тем и рады! Не осудите: я обречен на полное отсутствие кулинарной фантазии моей хозяйки.

Суп безмолвно и отрывисто ро́злит по тарелкам. После хозяйкиного ухода Белый, упавшим голосом:

– Haferbrühe[1]... Овсянка... Я так и знал...

Сидим, браво хлебаем не то суп, не то кашу, для гущи – жидкое, для жидкости – густое...

– Haferbrühe, Haferbrühe, Haferbrühe, – бормочет Белый. – Brühe... Brüten... точно она этот овес высиживает, в жару собственного тела его размаривает, собой его морит... Milchsuppe – Haferbrühe, Haferbrühe – Milchsuppe[2]...

1 Овсяная похлебка (*нем.*).
2 Brühe – похлебка; Brüten – высиживать (птенцов); Milchsuppe – молочный суп (*нем.*).

И дохлебав последнюю ложку, просияв, как больной, у которого вырвали зуб:

— А теперь едемте обедать!

Берлин. Ресторан «Медведь»: «zum Bäreh».

— Никаких супов, да? Супы мы уже ели! Мы будем есть мясо, мясо, мясо! Два мясных блюда! Три? (С любопытством и даже любознательностью:) А *дочь* сможет съесть три мясных блюда?

— Пива, — флегматический ответ.

— Как она у вас хорошо говорит — лаконически. Конечно, пива. А мы — вина. А дочь не пьет вина?

Первое из трех мясных блюд. (Потом Аля, мне: «Мама, он ел совершенно как волк. С улыбкой и кося... Он точно нападал на мясо...»)

По окончании второго и в нетерпении третьего Белый, мне:

— Не примите меня за волка! Я три дня на овсе. Один — я не смею: некрасиво как-то и предательство по отношению к хозяйке. Она ведь то же ест и в Берлин не ездит... Но сегодня я себе разрешил, потому что вы-то с моей хозяйкой никакими узами совместной беды не связаны. За что же вы будете терпеть? Да еще с дочерью. А я уж к вам — присоседился.

И, по явной ассоциации с волком:

— А теперь — едем в Zoo[1].

В Zoo, перед клеткой огромного льва, львам — льва, Аля:

— Мама, смотрите! Совершенный Лев Толстой! Такие же брови, такой же широкий нос и такие же серые маленькие злые глаза — точно *все* врут.

— Не скажите! —учтиво и агрессивно сорокалетний — восьмилетней. — Лев Толстой, это единственный человек, который сам себя посадил под стеклянный колпак и проделал над собой вивисекцию.

Поглощенная спутником, кроме льва, из всего Zoo на

1 Зоопарк (*нем.*).

этот раз помню только бегемота, и то из-за следующего беловского примечания:

— В прошлый раз я попал сюда на свадьбу бегемотов. За это иные любители деньги платят! Я не расслышал, что говорит смотритель, и пошел за ним, потому что он шел. Это был такой ужас! Я чуть в обморок не упал...

Помню еще, что с тигром он поздоровался по-тигрячьи: как-то «иау», между лаем и мяуканьем, сопровождаемым изворотом всего тела, с которого, как водопад, хлынул плащ. (Ходил он в пелерине, которая в просторечье зовется размахайкой, а на нем выглядела крылаткой. Оттого, может быть, я так остро помню его руки, совсем свободные и бедные, точно голые без верхних рукавов, вероломным покроем якобы освобожденные, на самом же деле — связанные. Оттого он так и метался, что пелерина за ним повторяла, усугубляла каждый его жест, как разбухшая и разбушевавшаяся тень. Пелерина была его живым фоном, античным хором. Из Kaufhaus des Westens[1] или еще старинная московская — не знаю. Серая.)

Простоявши *поклеточно* весь сад:

— Я очень люблю зверей. Но вы не находите, что их здесь... слишком много? Почему я на них должен смотреть, а они на меня — нет? Отворачиваются!

Сидим на каком-то бревне, невозможном бы в Германской империи, — совсем пресненском! — друг с другом и без зверей, и вдруг, как в прорвавшуюся плотину — повесть о молодом Блоке, его молодой жене и о молодом нем-самом. Лихорадочная повесть, сложнейшая бесфабульная повесть сердца, восстановить которую совершенно не могу и оставшаяся в моих ушах и жилах каким-то малярийным хинным звоном, с обрывочными видениями какой-то ржи — каких-то кос — чьего-то шелкового пояса — ранний Блок у него вставал добрым молодцем из некрасовской «Коробушки», иконописным ямщиком с лукутинской табакерки, — чем-то сплошь-цветным, совсем без белого, и — сцена меняется — Петербург, метель, синий плащ... вступление в игру юного гения, демона, союз трех, смущенный союз двух, неосуществившийся союз новых двух — отъезды — приезды — точ-

1 Название торговой фирмы (*нем.*).

ное чувство, что отъездов в этой встрече было больше, чем приездов, может быть, оттого, что приезды были короткие, а отъезды — такие длинные, начинавшиеся с самой секунды приезда и все оттягиваемые, откладываемые до мгновения внезапного бегства... Узел стягивается, все в петле, не развязать, не разрубить. И последнее, отчетливо мною помнимое слово:

— Я очень плохо с ней встретился в последний раз. В ней ничего от прежней не осталось. Ничего. Пустота.

Тут же я впервые узнала о сыне Любови Димитриевны, ее собственном, не блоковском, не беловском — Митьке, о котором так пекся Блок: «Как мы Митьку будем воспитывать?» — и которого так сердечно оплакивал в стихах, кончающихся обращением к Богу:

Нет, над младенцем, над блаженным
Стоять я буду без тебя!

Строки, которых я никогда не читаю без однозвучащих во мне строк пушкинской эпитафии первенцу Марии Раевской:

С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

Помню еще одно: что слово «любовь» в этой сложнейшей любовной повести не было названо ни разу, — только подразумевалось, каждый раз благополучно миновалось, в последнюю секунду заменялось — ближайшим и отдаляющим, так что я несколько раз в течение рассказа ловила себя на мысли: «Что ж это было?» — именно на мысли, ибо чувством знала: *то*. Убеждена, что так же обходилось, миновалось, заменялось, не называлось оно героями и в жизни. Такова была эпоха. Таковы были тогда души. Лучшие из душ. Символизм меньше всего *литературное* течение.

И — еще одно. Если нынешние не говорят «люблю», то от страха, во-первых — себя связать, во-вторых — *передать*: снизить себе цену. Из чистейшего себялюбия. *Те* — мы — не говорили «люблю» из мистического страха, назвав, убить любовь, и еще от глубокой уверенности, что есть нечто

высшее любви, от страха это высшее — снизить, сказав «люблю» — недодать. Оттого нас так мало и любили.

Тогда же, в Zoo, я узнала, что «Синий плащ», всей Россией до тоски любимый...

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла,
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла... —

синий плащ Любови Димитриевны. «О, он всю жизнь о ней заботился, как о больной, ее комната всегда была готова, она всегда могла вернуться... отдохнуть... но *то* было разбито, жизни шли врозь и никогда больше не сошлись».

Zoo закончилось очередным Алиным пивом в длинном сквозном бревенчатом строении, тоже похожем на клетку. Никогда не забуду Белого, загоревшего за этот день до какого-то чайного, самоварного цвета, от которого еще синей синели его явно азиатские глаза, на фоне сквозь брусья клетки зеленью и солнцем брызжущей лужайки. Откидывая серебро волос над медью лба:

— Хорошо ведь? Как я все это люблю. Трава, вдалеке большие звери, вы, такая простая... И дочь тихая, разумная, ничего не говорит... (И, уже как припев:) Приятно!

Оттого ли, что было лето, оттого ли, что он всегда был взволнован, оттого ли, что в нем уже сидела его смертная болезнь — сосудов, я никогда не видела его бледным, всегда — розовым, желто-ярко-розовым, медным. От розовости этой усугублялась и синева глаз, и серебро волос. От серебра же волос и серый костюм казался серебряным, мерцающим. Серебро, медь, лазурь — вот в каких цветах у меня остался Белый, летний Белый, берлинский Белый, Белый бедового своего тысяча девятьсот двадцать второго лета.

В первый раз войдя в мою комнату в Pragerpension'е, Белый на столе увидел – вернее, стола не увидел, ибо весь он был покрыт фотографиями царской семьи: наследника всех возрастов, четырех великих княжон, различно сгруппированных, как цветы в дворцовых вазах, матери, отца...

И он наклонясь:

– Вы это... любите?

Беря в руки великих княжон:

– Какие милые!.. Милые, милые, милые!

И с каким-то отчаянием:

– Люблю тот мир!

Стоим с ним на какой-то вышке, где – не помню, только очень-очень высоко. И он, с разлету беря меня за руку, точно открывая со мной мазурку:

– Вас тянет броситься? Вот так (младенческая улыбка)... кувырнуться!

Честно отвечаю, что не только не тянет, а от одной мысли мутит.

– Ах! Как странно! А я, я оторвать своих ног не могу от пустоты! Вот так (сгибается под прямым углом, распластывая руки)... Или еще лучше (обратный загиб, отлив волос) – вот так...

Через несколько дней после Zoo и Zossen'а приехал из Праги мой муж – после многих лет боев пражский студент-филолог.

Помню особую усиленную внимательность к нему Белого, внимание к каждому слову, внимание каждому слову, ту особую жадность поэта к миру действия, жадность, даже с искоркой зависти... (Не забудем, что все поэты мира любили военных.)

– Какой хороший ваш муж, – говорил он мне потом, – какой выдержанный, спокойный, безукоризненный. Таким и должен быть воин. Как я хотел бы быть офицером! (Быстро сбавляя:) Даже солдатом! Противник, свои, чер-

ное, белое – какой покой. Ведь я *этого* искал у Доктора, *этого* не нашел.

Выдержанность воина скоро была взята на испытание, и вот как: Белый потерял рукопись. Рукопись своего «Золота в лазури», о которой его издатель мне с ужасом:

– Милая Марина Ивановна, повлияйте на Бориса Николаевича. Убедите его, что раньше – тоже было хорошо. Ведь против первоначального текста – камня на камне не оставил. Был разговор о переиздании, а это – новая книга, неузнаваемая! Да я против нового ничего не имею, но зачем тогда было набирать старую? Ведь каждая его корректура – целая новая книга! Книга неудержимо и неостановимо новеет, у наборщиков руки опускаются...

И вот, эту новизну, этот весь ворох новизн – огромную, уже не вмещающую папку – Белый вдруг потерял.

– Потерял рукопись! – с этим криком он ворвался ко мне в комнату. – Рукопись потерял! Золото потерял! В Лазури – потерял! Потерял, обронил, оставил, провалил! В каком-то из проклятых кафе, на которые я обречен, будь они трекляты! Я шел к вам, но потом решил – я хоть погибший человек, но я приличный человек – что сейчас вам не до меня, не хотел омрачать радости вашей встречи – вы же дети по сравнению со мной! вы еще в Парадизе! а я *горю в аду!* – не хотел вносить этого серного Ада с дирижирующим в нем Доктором – в ваш Парадиз, решил: сверну, один ввергнусь, словом – зашел в кафе: то, или другое, или третье (с язвительной усмешкой): сначала в то, потом в другое, потом в третье... И после – которого? – удар по ногам: нет рукописи! Слишком уж стало легко идти, левая рука слишком зажила своей жизнью – точно в этом суть: зажить своей жизнью! – в правой трость, а в левой – ничего... И это «ничего» – моя рукопись, труд трех месяцев, что – трех месяцев! Это – сплав *тогда* и *теперь*, я двадцать лет своей жизни оставил в кабаке... В каком из семи?

На пороге – недоуменное явление Сергея Яковлевича.

– Борис Николаевич рукопись потерял, – говорю я спешно, объясняя крик.

— Вы меня простите! — Белый к нему навстречу. — Я сам временами слышу, как я ужасно кричу. Но — перед вами погибший человек.

— Борис Николаевич, дорогой, успокойтесь, найдем, отыщем, обойдем все места, где вы сидели, вы же, наверное, куда-нибудь заходили? Вы ее, наверное, где-нибудь оставили, не могли же вы потерять ее на улице.

Белый, упавшим голосом:

— Боюсь, что мог.

— Не могли. Это же *вещь*, у которой есть *вес*. Вы где-нибудь ее уже искали?

— Нет, я прямо кинулся сюда.

— Так идем.

И — пошли. И — пошло! Во-первых, не мог точно сказать, в которое кафе заходил, в которое — нет. То выходило, во все заходил, то — ни в одно. Подходим — *то*, войдем — не то. И, ничего не спросив, только обозрев, ни слова не сказав — вон. «Die Herrschaften wünschen? (Господа желают?)». Белый, агрессивно: «Nichts! Nichts! (Ничего, ничего!)». Легкое пожатие кельнерских плечей, — и мы опять на улице. Но, выйдя: «А вдруг — это? Там еще вторая зала, я туда не заглянул». Сережа, великодушно: «Зайдем опять?» Но и вторая зала — неузнаваема.

В другом кафе — обратное: убежден, что был, — и стол тот, и окно так, и у кассирши та же брошь, все совпадает, только рукописи нет. «Aber der Herr war ja gar nicht bei uns (Но господин к нам вовсе не заходил), — сдержанно-раздраженно — обер. — Полчаса назад? За этим столом? Я бы помнил». (В чем не сомневаемся, ибо Белый — красный, с взлетевшей шляпой, с взлетевшими волосами, с взлетевшей тростью — действительно незабываем.) «Ich habe hier meine Handschrift vergessen! Manuskript, verstehen Sie? Hier, auf diesem Stuhl! Eine schwarze Pappe: Mappe! (Я здесь забыл свою рукопись! Манускрипт, понимаете? Здесь на этом стуле! Черную папку![1]) — кричит все более и более раскрасневающийся Белый, стуча палкой. — Ich bin Schriftsteller, russischer Schriftsteller! Meine Handschrift ist alles für mich!

1 Папка, по-немецки — Марре, а Pappe — бессмыслица. (*Прим. М. Цветаевой.*)

(Я — писатель, русский писатель, моя рукопись для меня — всё!)»

— Борис Николаевич, посмотрим в соседнем, — спокойно советует Сережа, мягко, но твердо увлекая его за порог, — тут ведь рядом еще одно есть. Вы легко могли перепутать.

— Это? Чтобы я *в этом* сидел? (Ехидно:) Не-ет, я в этом не сидел! Это — явно нерасполагающее, я бы в такое и не зашел. (Упираясь палкой в асфальт.) И сейчас не зайду.

Сережа, облегченно:

— Ну, тогда зайду — я. А вы с Мариной здесь постойте. Стоим.

Выходит с пустыми руками. Белый, торжествующе:

— Вот видите? Разве я мог в такое зайти? Да в таком кафе не то что рукопись, — руки-ноги оставишь. Разве вы не видите, что это — кокаин??

Очередное по маршруту — просто минуем. Несмотря на наши увещевания, даже не оборачивает головы и явно ускоряет шаг.

— Но почему же вы даже поглядеть не хотите?

— Вы не заметили, что там сидит брюнет? Я не говорю вам, что тот *самый*, но, во всяком случае, — из тех. Крашеных. Потому что таких черных *волос* нет. Есть только такая черная краска. Они все — крашеные. Это их тавро.

И, останавливаясь посреди тротуара, с страшной улыбкой:

— А не проделки ли это — Доктора? Не повелел ли он оттуда моей рукописи пропасть: упасть со стула и провалиться сквозь пол? Чтобы я больше *никогда* не писал стихов, потому что теперь — кончено, я уже ни строки не напишу. Вы не знаете этого человека. Это — Дьявол.

И, поднимая трость, в такт, ею — по чем попало: по торцам, прямым берлинским стволам, по решеткам, и вдруг—со всего размаху ярости—по огромному желтому догу, за которым, во весь рост своего самодовольства, вырастает лейтенант.

«Verzeihen Sie, Herr Leutnant, ich habe meine Handschrift verloren. (Простите, господин лейтенант, я потерял свою рукопись)». — «Ja was? (Что такое?)» — «Der Herr ist Dichter, ein grosser russischer Dichter. (Этот господин — поэт,

большой русский поэт)»,— спешно и с мольбою оповещаю я. «Ja was? Dichter? (Что такое? Поэт?)» — и — не снизойдя до обиды, залив со всего высока своего прусского роста всем своим лейтенантским презрением этого штатского — да еще русского, да еще Dichter'а, оттянув собаку — минует.

— Дьявол! Дьявол! — вопит Белый, бия и биясь.

— Ради Бога, Борис Николаевич, ведь лейтенант подумает, что вы — о нем!

— О нем? Пусть успокоится. Есть только один дьявол — Доктор Штейнер.

И, выпустив этот последний заряд, совершенно спокойно:

— Больше не будем искать. *Пропала.* И, может быть, лучше, что пропала. Ведь я, по существу, не поэт, я годы могу *не* писать, а кто может не писать — писать не смеет.

Замечаю, что в моем повествовании нет никакого crescendo. Нет в повествовании, потому что не было в жизни. Наши отношения не развивались. Мы сразу начали с лучшего. На нем и простояли — весь наш недолгий срок.

Лично он меня никогда не разглядел, но, может быть, больше ощутил меня, мое целое, живое целое моей силы, чем самый внимательный ценитель и толкователь, и, может быть, никому я в жизни, со всей и всей моей любовью, не дала столько, сколько ему — простым присутствием дружбы. Присутствием в комнате. Сопутствием на улице. *Возле.*

Рядом с ним я себя всегда чувствовала в сохранности полного анонимата.

Он не собой был занят, а своей бедой, не только данной, а отрожденной: бедой своего рождения в мир.

Не эгоист, а эгоцентрик боли, неизлечимой болезни — жизни, от которой вот только 8 января 1934 года излечился.

Чтобы не забыть. К моему имени-отчеству он прибегал только в крайних случаях, с третьими лицами, и всегда в третьем лице, говоря обо мне, не мне, со мной же — Вы, просто — Вы, только — Вы. Мое имя-отчество для него было что-то постороннее, для посторонних, со мной не связанное, с той мной, с которой так сразу связал себя он, условное наименование, которое он сразу забывал наедине. Я у него звалась Вы. (Как у Каспара Гаузера сторож звался «der Du»[1].)

И, в нашем случае, он был прав. Имя, ведь, останавливает на человеке, другом, именно — этом. Вы — включает всех, включает всё. И еще: имя разграничивает, имя это явно — не-я. Вы (как и ты) это тот же я. («Вы не думаете, что?..» Читай: «Я думаю, что...») Вы — включительное и собирательное, имя-отчество — отграничительное и исключительное.

И еще: что ему было «Марина Ивановна» и даже Марина, когда он даже собственным ни Борисом, ни Андреем себя не ощутил, ни с одним из них себя не отождествил, ни в одном из них себя не узнал, так и прокачался всю жизнь между нареченным Борисом и сотворенным Андреем, отзываясь только на *я*.

Так я и осталась для него «Вы», та Вы, которая в Берлине, Вы — неизбежно-второго лица. Вы — присутствия, наличности, очности, потому что он меня так скоро и забыл, ибо, рассказывая обо мне, он должен был неминуемо говорить «Марина Ивановна», а с Мариной Ивановной он никогда никакого дела не имел.

Единственный раз, когда он меня назвал по имени, было, когда он за мной в нашу первую «Pragerdiele» повторил слово «Таруса». Меня назвал и позвал.

Двойственность его не только сказалась на Борисе Николаевиче Бугаеве и Андрее Белом, она была вызвана ими, — С кем говорите? Со мной, Борисом Николаевичем, или со мной, Андреем Белым? Конечно, и каждый пишущий, и я, например, могу сказать: с кем говорите, со мной, «Мариной Цветаевой», или мной — мной (я, Марина Ивановна, для себя так же не существую, как для Андрея Белого); но и Марина — я, и Цветаева — я, значит, и «Марина Цветаева» — я. А Белый должен был разрываться между нареченным Борисом и самовольно-созданным Андреем. Разорвался — навек.

1 Ты (*нем.*).

Каждый литературный псевдоним прежде всего отказ от отчества, ибо отца не включает, исключает. Максим Горький, Андрей Белый – кто им отец?

Каждый псевдоним, подсознательно, – отказ от преемственности, потомственности, сыновнести. Отказ от отца. Но не только от отца отказ, но и от святого, под защиту которого поставлен, и от веры, в которую был крещен, и от собственного младенчества, и от матери, звавшей Боря и никакого «Андрея» не знавшей, отказ от всех корней, то ли церковных, то ли кровных. Après moi le déluge![1] Я – сам!

Полная и страшная свобода маски: личины: не-своего лица. Полная безответственность и полная беззащитность.

Не этого ли искал Андрей Белый у доктора Штейнера, не отца ли, соединяя в нем и защитника земного, и заступника небесного, от которых, обоих, на заре своих дней столь вдохновенно и дерзновенно отрекся?

Безотчесть и беспочвенность, ибо, как почва, Россия слишком *все без исключения*, чтобы только собою, на себе, продержать человека.

«Родился в России», это почти что – родился везде, родился – нигде.

Ничего одиноче его вечной обступленности, обсмотренности, обслушанности я не знала. На него смотрели, верней: *его смотрели, как спектакль*, сразу, после занавеса бросая его одного, как огромный Императорский театр, где остаются одни мыши.

А смотреть было на что. Всякая земля под его ногою становилась теннисной площадкой: ракеткой: ладонью. Земля его как будто *отдавала* – туда, откуда бросили, а *то* – опять возвращало. Просто, им небо и земля играли в мяч.

Мы – смотрели.

Его доверчивость равнялась только его недоверчивости. *Он* доверял – вверялся! – первому встречному, *но что-то* в нем не доверяло – лучшему другу. Потому их и не было.

1 После меня – потоп! (*фр.*)

Как он всегда боялся: задеть, помешать, оказаться лишним! Как даже не вовремя, а раньше времени – исчезал, тут же, по мнительности своей, выдумав себе срочное дело, которое оказывалось сидением в первом встречном осточертелом кафе. Какой – опережающий вход – опережающий взгляд, сами глаза опережающий страх из глаз, страх, которым он как щупальцами ощупывал, как рукой обшаривал и, в нетерпении придя, как метлой обмахивал пол и стены – всю почву, весь воздух, всю атмосферу данной комнаты, страх – меня бы первую ввергший в столбняк, если бы я разом, вскочив на обе ноги, не дав себе понять и подпасть – на его страх, как Дуров на злого дога: «Борис Николаевич! Господи, как я вам рада!»

Страх, сменявшийся – каким сиянием!

Не знаю его жизни до меня, знаю, что передо мною был затравленный человек. Затравленность и умученность ведь вовсе не требуют травителей и мучителей, для них достаточно самых простых нас, если только перед нами – несвой: негр, дикий зверь, марсианин, поэт, призрак. Не-свой *рожден* затравленным.

О Белом всегда говорили с интонацией «бедный». «Ну, как вчера Белый?» – «Ничего. Как будто немножко лучше». Или: «А Белый нынче был совсем хорош». Как о трудно-больном. Безнадежно-больном. С тем пусть крохотным, пусть истовым, но непременным оттенком превосходства: здоровья над болезнью, здравого смысла над безумием, нормы – хотя бы над самым прекрасным *казусом*.

Остается последнее: вечерне-ночная поездка с ним в Шарлоттенбург. И это последнее осталось во мне совершенным сновидением. Просто – как схватило дух, так до самого подъезда и не отпустило, как я до самого подъезда не отпустила его руки, которую на этот раз – сама взяла.

Помню только расступающиеся статуи, рассекаемые перекрестки, круто огибаемые площади – серизну – розовизну – голубизну...

Слов не помню, кроме отрывистого: «Weiter! Weiter![1]» – звучащего совсем не за пределы Берлина, а за пределы земли.

Думаю, что в этой поездке я впервые увидела Белого в его основной стихии: полете, в родной и страшной его стихии– пустых пространств, потому и руку взяла, чтобы *еще* удержать на земле.

Рядом со мной сидел пленный дух.

Как это было? Этого вовсе не было. Прощания вовсе не было. Было – исчезновение.

Думаю, его просто увезли – друзья, так же просто на неуютное немецкое море, как раньше в то самое Zossen, и он так же просто дал себя увезти. Белый всякого встречного принимал за судьбу и всякое случайное жилище за суждённое.

Одно знаю, – что я его *не* провожала, а не проводить я его не могла только потому, что не знала, что он едет. Думаю, он и сам до последней секунды не знал.

А дальше уже начинается – танцующий Белый, каким я его не видела ни разу и, наверное, не увидела бы, миф танцующего Белого, о котором так глубоко сказал Ходасевич, вообще о нем сказавший лучше нельзя, и к чьему толкованию танцующего Белого я прибавлю только одно: фокстрот Белого – чистейшее хлыстовство: даже не свистопляска, а (мое слово) – *христопляска*, то есть опять-таки «Серебряный голубь», до которого он, к сорока годам, *физически* дотанцевался.

Со своего моря он мне не писал.

Но был еще один привет – последний. И прощание все-таки было – и какое беловское!

1 Дальше! (*нем.*)

В ноябре 1923 года – вопль, письменный вопль в четыре страницы, из Берлина в Прагу: «Голубушка! Родная! Только Вы! Только к Вам! Найдите комнату рядом, где бы Вы ни были – рядом, я не буду мешать, я не буду заходить, мне только нужно знать, что за стеной – живое – живое тепло! – Вы. Я измучен! Я истерзан! К Вам – под крыло!» (И так далее, и так далее, полные четыре страницы лирического вопля вперемежку с младенчески-беспомощными практическими указаниями и даже описаниями вожделенной комнаты: чтобы был стол, чтобы этот стол *стоял*, чтобы было окно, куда глядеть, и, если возможно, – не в стену квартирного дома, но если *мое* – в такую стену, то пусть и *его*, ничего, лишь бы рядом.) «Моя жизнь этот год – кошмар. Вы мое единственное спасение. Сделайте чудо! Устройте! Укройте! Найдите, найдите комнату».

Тотчас же ответила ему, что комната имеется: рядом со мной, на высоком пражском холму – Смихове, что из окна деревья и просторы: косогоры, овраги, старики и ребята пускают змеев, что и мы будем пускать... Что М.Л. Слоним почти наверное устроит ему чешскую стипендию в тысячу крон ежемесячно, что обедать будем вместе и никогда не будем есть овса, что заходить будет, когда захочет, и даже, если захочет, не выходить, ибо он мне дороже дорогого и роднее родного, что в Праге археологическое светило – восьмидесятилетний Кондаков, что у меня, кроме Кондакова, есть друзья, которых я ему подарю и даже, если нужно, отдам в рабство...

Чего не написала! *Всё* написала!

Комната ждала, чешская стипендия ждала. И чехи ждали. И друзья, обреченные на рабство, ждали.

И я – ждала.

Через несколько дней, раскрывши «Руль», читаю в отделе хроники, что такого-то ноября 1923 года отбыл в Советскую Россию писатель Андрей Белый.

Такое-то ноября было таким-то ноября его вопля ко мне. То есть уехал он именно в тот день, когда писал ко мне то письмо в Прагу. Может быть, в вечер того же дня.

— А меня он все-таки когда-нибудь вспоминал? — спросила я в 1924 году одного из последних очевидцев Белого в Берлине, приехавшего в Прагу.

Тот, с заминкой...

— Да... но странно как-то.

— То есть как — странно?

— А — так: «Конечно, я люблю Цветаеву, как же мне не любить Цветаеву: когда она *тоже* дочь профессора...» Сами посудите, что...

Но я, молча, посудила — иначе.

Больше я о нем ничего не слыхала.

Ничего, кроме смутных слухов, что живет он где-то под Москвой, не то в Серебряном Бору, не то в Звенигороде (еще порадовалась чудному названию!), пишет много, печатает мало, в современности не участвует и порядочно-таки — забыт.

(Geister auf dem Gange) ...
Und er hat sich losgemacht![1]

10-го января 1934 года мой восьмилетний сын Мур, хватая запретные «Последние новости»:

— Мама! Умер Андрей Белый!

— Что???

— Нет, не там, где покойники. Вот здесь.

Между этим возгласом моего восьмилетнего сына и тогдашней молитвой моей трехлетней дочери — вся моя молодость, быть может, — вся моя жизнь.

Умер Андрей Белый «от солнечных стрел», согласно своему пророчеству 1907 года.

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел... —

то есть от последствий солнечного удара, случившегося с ним в Коктебеле, на бывшей даче Волошина, ныне писательском доме. Перед смертью Белый просил кого-то из друзей прочесть ему эти стихи, этим в последний раз опережая события: наше посмертное, этих его солнц, сопоставление: свое посмертье.

1 (Духи в сенях)
И он освободился! (*нем.*)

Господа, вглядитесь в два последних портрета Андрея Белого в «Последних новостях».

Вот на вас по каким-то мосткам, отделяясь от какого-то здания, с тростью в руке, в застывшей позе полета — идет человек. Человек? А не та последняя форма человека, которая остается после сожжения: дохнешь — рассыпется. Не чистый дух? Да, дух в пальто, и на пальто шесть пуговиц — считала, но какой счет, какой вес когда-либо кого-либо убедил? разубедил?

Случайная фотография? Прогулка? Не знаю, как другие, я, только взглянув на этот снимок, сразу назвала его: *переход*. Так, а не иначе, тем же шагом, в той же старой шляпе, с той же тростью, оттолкнувшись от того же здания, по тем же мосткам и так же перехода не заметив, перешел Андрей Белый на тот свет.

Этот снимок — астральный снимок.

Другой: одно лицо. Человеческое? О нет. Глаза — человеческие? Вы у человека видали такие глаза? Не ссылайтесь на неясность отпечатка, плохость газетной бумаги, и т. д. Все это, все эти газетные изъяны, на этот раз, на этот редкий раз поэту — послужило. На нас со страницы «Последних новостей» глядит лицо духа, с просквоженным тем светом глазами. На нас — сквозит.

На панихиде по нем в Сергиевском Подворье, — православных проводах сожженного, которыми мы обязаны заботе Ходасевича и христианской широте о. Сергия Булгакова, — на панихиде по Белом было всего семнадцать человек — считала по свечам — с десяток из пишущего мира, остальные завсегдатаи. Никого из писателей, связанных с ним не только временем и ремеслом, но долгой личной дружбой, кроме Ходасевича, не было. Зато с умилением обнаружила среди стоявших Соломона Гитмановича Каплуна, издателя, пришедшего в последний раз проводить своего трудного,

неуловимого, подчас невыносимого опекаемого им писателя. Убеждена, что не меньше, чем я, им больше, чем всем нам, порадовался ему и сам Белый.

Странно, я все время забывала, вернее, я ни разу не осознала, что гроба — нет, что его — нет: казалось — о. Сергий его только застит, отойдет о. Сергий — и я увижу — увидим — и настолько сильно было во мне это чувство, что я несколько раз ловила себя на мысли: «Сначала все, потом — я. Прощусь последняя...»

До того, должно быть, эта панихида была ему необходима и до того сильно он на ней присутствовал.

И никогда еще, может быть, я за всю свою жизнь с таким рвением и осознанием не повторяла за священником, как в этой темной, от пустоты огромной церкви Сергиевского Подворья, над мерещащимся гробом за тридевять земель сожженного:

— Упокой, Господи, душу новопреставленного раба твоего — Бориса.

Post Scriptum.

Я иногда думаю, что конца — нет. Так у меня было с Максом, когда, много спустя по окончании моей рукописи, все еще долетали о нем какие-то вести, как последние от него приветы.

Вчера, 26 февраля, Сергей Яковлевич, вечером, мне:

— Достал «После Разлуки». Прочел стихи — вам.

— Как — мне? Вы шутите!

— Это вы — шутите, не можете же вы не помнить этих стихов. Последние стихи в книге. Единственное посвящение. Больше никому нет.

Все еще не веря, беру в руки и на последней странице, в постепенности узнавания, читаю:

М.И. Цветаевой

Неисчисляемы
Орбиты серебряного прискорбия.
Где праздномыслия
Повисли тучи.
Среди них —
Тихо пою стих
В неосязаемые угодия
Ваших образов.
Ваши молитвы —
Малиновые мелодии
И —
Непобедимые
Ритмы.

Цоссен,
1922 года.

В.Я. Брюсову
(1873–1924)

* * *

В.Я. Брюсову

Улыбнись в мое «окно»,
Иль к шутам меня причисли, –
Не изменишь, все равно!
«Острых чувств» и «нужных мыслей»
Мне от Бога не дано.
Нужно петь, что все темно,
Что над миром сны нависли...
– Так теперь заведено. –
Этих чувств и этих мыслей
Мне от Бога не дано!

* * *

В.Я. Брюсову

Я забыла, что сердце в вас – только ночник,
Не звезда! Я забыла об этом!
Что поэзия ваша из книг
И из зависти – критика. Ранний старик,
Вы опять мне на миг
Показались великим поэтом...

Волшебство в стихах Брюсова

Есть поэты – волшебники в каждой строчке. Их души – зеркала, собирающие все лунные лучи волшебства и отражающие только их. Не ищите в них ни пути, ни этапов, ни цели. Их муза с колыбели до гроба – принцесса и волшебница. Не к ним принадлежит Брюсов. У Брюсова много муз – муза в лавровом венке, в венце из терний, муза в латах и шлеме, муза «с поддельной красотой ланит», но есть и волшебница, есть и девушка-муза. Об этой редкой гостье в стихах Брюсова я и хочу рассказать.

Доказать волшебство – в лице ли, в голосе ли, в стихах ли оно – невозможно. Заглянуть в чьи-нибудь черты, прочтя какую-нибудь строчку, мы только можем воскликнуть: ах!, только взрогнуть от сознания, что волшебство здесь, перед нами. Кто докажет улыбку Джоконды?

Немного раз улыбнулась волшебница-муза на 600 страницах «Путей и перепутий». Но эти улыбки единственны и незабвенны.

Вот стихотворение «Идеал». Уже с первой строчки «Ее он увидел в магический час» – нас охватывает легкая дрожь, первая предвестница волшебства. «Магический час» – мы уже чувствуем, что это час сумерек, странный час после заката. «Был вечер лазурным и запад погас...» Мы входим в сказку. Несложная это сказка и с грустным концом, как все лучшие сказки. Вся она в трех словах: увиделись, поняли, расстались. Но это было на заре жизни и в сумерках дня. Юность и сумерки – и уже волшебство! Нельзя уйти от этого стихотворения, не отметив несколько несказанно глубоких, слишком редких у Брюсова строк:

То был мотылек, пилигрим вечеров,
Который подслушал прощанье без слов,
То было смущенное облачко мая...

Какая в них простота, какая проникновенность. Эти строки – почти молитва.

Соединение образов девушки и мотылька не единственно в стихах поэта. Мы встречаем его и в стихотворе-

нии «Женщина», где поэт прямо отождествляет девушку с мотыльком.

О девушки, о мотыльки на воле!
Вас на балу звенящий вальс влечет,
Вы в нашей жизни, как цветы магнолий.
Но каждая узнает свой черед...

Может быть, завтра один из этих мотыльков на воле будет биться в золотой бахроме из стихотворения «Продажная» и тосковать о навеки утраченных зеленых листьях:

Альков задрожал золотой бахромой.
Она задернула длинные кисти...
О, да, ей грезился свод голубой
И зеленые листья...

В этом стихотворении уже не улыбка, в нем плач девушки-музы.

Все девушки Брюсова — обречены. Что ждет ее, проходящую по бульвару «с опущенным взором, в пелериночке белой», и ту, чьи «прикрыты стыдливо виски», и ту из стихотворения «Весна»? Остановимся на нем. Я так ясно вижу героиню. Ей 15, 16 лет. Она кого-то любит, она ничего не знает о жизни. Все ушли, и вот она стала у окна и чертит «его» инициалы. О чем она думает? Быть может, совсем не о нем. Думает о море, которое знает только по стихам и картинкам, о какой-то будущей боли, о какой-то не нашей весне.

Где-то за морем тогда расцветала весна...

Мне кажется, что волшебство мира заключено в этой строчке, как в выражении «звенящий бал» — вся юность. На что обречены они, юные и нежные героини лучших стихотворений Брюсова? Ответ на это в строчках:

Вот и тайна земных наслаждений,
Но такой ли ее я ждала накануне? Я дрожу от стыда,
я смеюсь...

Вслед за звенящими вальсами — золотая клетка алькова; за мечтой о любви — осуществление ее. Но это не конец. Из

глубины плена до нас доходит тихая жалоба, последняя мечта:

И если Бог пошлет мне сон
О недоступном и о счастье,
Мне про любовь не скажет он,
Мне не приснится сладострастье.
И буду вновь ребенком я
Под тихим пологом кроватки,
И сядет рядом мать моя,
Озарена огнем лампадки.

Не все погибло! — Есть воспоминание.

Музыкой юности, вызванной властью воспоминаний, звучат стихотворения «Одиночество» и «Первые встречи». В них оживает убитое жизнью волшебство. Перед нами образ двух сестер, слышавших когда-то первые клятвы поэта; тенистый сад перед нами — сад его юности.

Мы ведь дети, все мы дети, мотыльки вокруг огней!

Много ликов у волшебства. Всех времен оно, всех возрастов и стран. Видеть его лишь в тонких чертах шестнадцатилетних — ошибка. Юность равна волшебству, но волшебство — не только юности. Не юноша и девушка перед нами в стихотворении «Встреча».

О этот крик желанья пленного!

Но уже первые строки заставляют нас сжать руки и широко раскрыть глаза:

О эти встречи мимолетные
На гулких улицах столиц!

Шум экипажей, блеск витрин, смена лиц, и среди нескольких лиц вдруг одно на миг единственное, — вот оно, волшебство улицы! Кто она, эта незнакомка? Не все ли равно! Из глаз ее глядят неповторимое и тайна.

Улица — самое любимое Брюсовым проявление волшебства. Ее холод лишь для тех, чьи глаза не зажигаются от фонарей и витрин, чье сердце не зажигается с глазами.

Горят электричеством луны
На выгнутых, длинных столбах.

В этом стихотворении – все волшебство городской весны. Прочтите его вы, отрицающий музыку в душе и стихах поэта. Прочтите вслух эти строки:

Как тихие звуки клавира
Далекие рокоты дня...

Что может быть ближе к самим звукам клавира, чем эта строка о них?

Слово «клавир» сразу переносит нас в Германию, страну лучших сказок. Ей обязан Брюсов другим своим прекрасным стихотворением:

Помню вечер, помню лето,
Рейна полные струи...

Зеленоватый Рейн с повторенными у берегов башнями старого Кельна и сверкающими вдали парусами; темная зелень виноградников; «песня милой старины...».

О, волшебство старой Германии! О, Heinrich Heine! Мысль о Германии наводит меня на волшебство вагона. Мчится поезд. За окнами ночь. В еле освещенном купе чьи-то зеленые глаза:

И было ль то влиянье
Качания и тьмы,
Но было там влиянье,
В котором никли мы...

И вновь перед нами двое чужих, соединенных на миг волшебством ночи и вагона:

И чьи-то губы близились
Во тьме к другим губам,
И чьи-то губы сблизились, –
Иль снилось это нам?

Снилось ли? Лучше так! Кто знает, какими оказались бы при ровном дневном свете эти зеленые глаза?

Нет мечтательней любви, покинутой волшебством! И на вопрос поэта своей Миньоне:

Как объяснишь, что покинуло нас! – есть только один ответ: сердце любви – волшебство! Лихорадочное биение этого сердца слышим мы в стихотворении «Который раз».

Будет миг, как долгий сон,
Качать, баюкать нас.
Я странно счастлив, я влюблен...
Влюблен! – который раз!

Каким прекрасным было бы это стихотворение без последней строфы:

И в стройных строфах вновь мечты
Поют – который раз
А месяц смотрит с высоты –
Веков холодный глаз.

Такой конец разрушает все. До стройности ли строф, когда любишь? И может ли месяц быть для влюбленного лишь холодным глазом веков? Нет печальней поэта в последней – главной – строфе, покинутого волшебством!

Но вот уж опять оно нахлынуло волнами «Бала»:

Забвенье, и круженье, и движенье
Вдаль, без возврата...

Еще несколько слов о волшебном из волшебных стихотворений поэта – «Встреча» («Близ медлительного Нила»). Из него нельзя приводить отдельных строк, как нельзя из груды драгоценных камней выбрать один лучший. Приходится, как дети, говорить: «все лучше» – и брать все.

Измена романтизму; оскорбление юности в намеренно-небрежной критике молодых поэтов; полная бездарность психодрамы «Прихожий», – да простится все это Брюсову за то, что и в его руках когда-то сверкал многогранный алмаз волшебства.

<1910>

Герой труда

Часть первая

«И с тайным восторгом гляжу я в лицо врагу».

Бальмонт

I
Поэт

Стихи Брюсова я любила с 16 л. по 17 л. — страстной и краткой любовью. В Брюсове я ухитрилась любить самое небрюсовское, то, чего он был так до дна, до тла лишен — песню, песенное начало. Больше же стихов его — и эта любовь живет и поныне — его «Огненного Ангела», тогда — и в замысле и в исполнении, нынче только в замысле и в воспоминании, «Огненного Ангела» — в неосуществлении. Помню, однако, что уже тогда, 16-ти лет, меня хлестнуло на какой-то из патетических страниц слово «интересный», рыночное и расценочное, немыслимое ни в веке Ренаты, ни в повествовании об Ангеле, ни в общей патетике вещи. Мастер — и такой промах! Да, ибо мастерство — не всё. Нужен слух. Его не было у Брюсова.

Антимузыкальность Брюсова, вопреки внешней (местной) музыкальности целого ряда стихотворений — антимузыкальность сущности, сушь, отсутствие реки. Вспоминаю слово недавно скончавшейся своеобразной и глубокой поэтессы Аделаиды Герцык о Максе Волошине и мне, тогда 17-летней: «В вас больше реки, чем берегов, в нем — берегов, чем реки». Брюсов же был сплошным берегом, гранитным. Сопровождающий и сдерживающий (в пределах города) городской береговой гранит — вот взаимоотношение Брюсова с современной ему живой рекой поэзии. За-городом набережная теряет власть. Так, не предотвратил ни окра́инного Маяковского, ни ржаного Есенина, ни героя своей последней и жесточайшей ревности — небывалого, как первый день творения, Пастернака. Все же, что город, кабинет, цех, если не иссякло от него, то приняло его очертания.

Вслушиваясь в неумолчное слово Гёте:

«In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister» — слово, направленное на преодоление в себе безмерности (колыбели всякого творчества и, именно как колыбель, преодоленной быть долженствующей), нужно сказать, что в этом смысле Брюсову нечего было преодолевать: он родился ограниченным. Безграничность преодолевается границей, преодолеть же в себе границы никому не дано. Брюсов был бы мастером в гётевском смысле слова только, если бы преодолел в себе природную *границу*, раздвинул, а может быть, и — разбил себя. Брюсов, в ответ на Моисеев жезл, немотствовал. Он остался invulnérable (во всем объеме непереводимо), вне лирического потока. Но, утверждаю, матерьялом его был гранит, а не картон.

* * *

(Гётевское слово — охрана от *демонов:* может быть, самой крайней, тайной, безнадежной страсти Брюсова.)

* * *

Брюсов был римлянином. Только в таком подходе — разгадка и *справедливость*. За его спиной, явственно, Капитолий, а не Олимп. Боги его никогда не вмешивались в Троянские бои, — вспомните раненую Афродиту! молящую Фетиду! омраченного неминуемой гибелью Ахилла — Зевеса. Брюсовские боги высились и восседали, окончательно покончившие с заоблачьем и осевшие на земле боги. Но, настаиваю, матерьялом их был мрамор, а не гипс.

* * *

Не хочу лжи о Брюсове, не хочу посмертного лягания Брюсова. Брюсов не был quantité négligeable, еще меньше qualité. По рожденью русский целиком, он являет собою загадку. Такого второго случая в русской лирике не было: застегнутый наглухо поэт. Тютчев? Но это — в жизни: в черновике, в подстрочнике лиры. Брюсов же именно в творении своем был застегнут (а не забит ли?) наглухо, забронирован

без возможности прорыва. Какой же это росс? И какой же это поэт? Русский – достоверно, поэт – достоверно тоже: в пределах воли человеческой – поэт. Поэт предела. Есть такие дома, первые, когда подъезжаешь к большому городу: многоокие (многооконные), но – слепые какие-то, с полной немыслимостью в них жизни. Казенные (и, уже лирически), казненные. Таким домом мне мерещится творчество Брюсова. А в высших его достижениях гранитным коридором, выход которого – тупик.

Брюсов: поэт входов без выходов.

Чтобы не звучало голословно, читатель, проверь: хотелось ли тебе хоть раз продлить стихотворение Брюсова? Гётевское: «Verweile doch! du bist so schön!» – было ли у тебя хоть раз чувство оборванности (вел и бросил!), разверзлась ли хоть раз на неучтимость сердечного обмирания за строками – страна, куда стихи только ход: в самой дальней дали – на самую дальную даль – распахнутые врата. Душу, как Музыка, срывал тебе Брюсов? («Всё? уже?») Душа, как после музыки, взмаливалась к Брюсову: «уже? еще!» Выходил ли ты хоть раз из этой встречи – неудовлетворенным?

Нет, Брюсов удовлетворяет вполне, дает всё и ровно то, что обещал, из его книги выходишь, как из выгодной сделки (показательно: с другими поэтами – книга ушла, ты вслед, с Брюсовым: ты ушел, книга – осталась) – и, если чего-нибудь не хватает, то именно – неудовлетворенности.

* * *

Под каждым стихотворением Брюсова невидимо проставленное «конец». Брюсов, для цельности, должен был бы проставлять его и графически (типографически).

* * *

Творение Брюсова больше творца. На первый взгляд – лестно, на второй – грустно. Творец, это все завтрашние творения, всё Будущее, вся неизбывность возможности: неосуществленное, но не неосуществимое – неучтимое – в неучтимости своей непобедимое: завтрашний день.

Дописывайте до конца, из жил бейтесь, чтобы дописать до конца, но если я, читая, этот конец почувствую, тогда – конец – Вам.

И – странное чудо: чем больше творение (Фауст), тем меньше оно по сравнению с творцом (Гёте). Откуда мы знаем Гёте? По Фаусту. Кто же нам сказал, что Гёте – больше Фауста? Сам Фауст – совершенством своим.

Возьмем подобие:

– «Как велик Бог, создавший такое солнце!» И, забывая о солнце, ребенок думает о Боге. Творение, совершенством своим, отводит нас к творцу. Что же солнце, как не повод к Богу? Что же Фауст, как не повод к Гёте? Что же Гёте, как не повод к божеству? Совершенство не *есть завершенность, совершается здесь, вершится* – Там. Где Гёте ставит точку – там только и начинается! Первая примета совершенности творения (абсолюта) – возбужденное в нас чувство сравнительности. Высота только тем и высота, что она выше – чего? – предшествующего «выше», а это уже поглощено последующим. Гора выше лба, облако выше горы, Бог выше облака – и уже беспредельное повышение идеи Бога. Совершенство (состояние) я бы заменила совершаемостью (непрерывностью). Прорыв в божество, настолько же несравненно большее Гёте, как Гёте – Фауста, вот что делает и Гёте и Фауста бессмертными: малость их, величайших, по сравнению с без сравнения высшим. Единственная возможность восприятия нами высоты – непрерывное перемещение по вертикали точек измерения ее. Единственная возможность на земле величия – дать чувство высоты над собственной головой.

– «Но Гёте умер, Фауст остался»! А нет ли у тебя, читатель, чувства, что где-то – в герцогстве несравненно просторнейшем Веймарского – совершается – третья часть?

Обещание: завтра лучше! завтра больше! завтра выше! обещание, на котором вся поэзия – и нечто высшее поэзии – держится: чуда над тобой и, посему, твоего над другими – этого обещания нет ни в одной строке Брюсова:

Быть может, всё в жизни лишь средство
Для ярких певучих стихов,
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.

Слов вместо смыслов, рифм вместо чувств... Точно слова из слов, рифмы из рифм, стихи из стихов рождаются!

Задание, овеществленное пятнадцать лет спустя «брюсовским Институтом Поэзии».

* * *

Наисовершеннейшее творение, спроси художника, только умысел: то, что я хотел – и не смог. Чем совершеннее для нас, тем несовершеннее для него. Под каждой же строкой Брюсова: все, что я смог. И бóльшее, вообще, невозможно.

Как малого же он хотел, если столько смог!

Знать свои возможности – знать свои невозможности. (Возможность без невозможностей – всемощность.) Пушкин не знал своих возможностей, Брюсов – свои невозможности – знал. Пушкин писал на авось (при наичернейших черновиках – элемент чуда), Брюсов – наверняка (статут, Институт).

* * *

Волей чуда – весь Пушкин. Чудо воли – весь Брюсов. Меньшего не могу (Пушкин. Всемощность). Большего не могу (Брюсов. Возможности). Раз сегодня не смог, завтра смогу

(Пушкин. Чудо). Раз сегодня не смог, никогда не смогу (Брюсов. Воля). Но сегодня он – всегда мог.

* * *

Дописанные Брюсовым «Египетские ночи». С годными *или негодными средствами покушение – что его вызвало?* Страсть к пределу, к смысловому и графическому тире. Чуждый, всей природой своей, тайне, он не чтит и не чует ее в неоконченности творения. Не довелось Пушкину – доведу (до конца) я.

Жест варвара. Ибо, в иных случаях, довершать не меньшее, если не большее, варварство, чем разрушать.

* * *

Говорить чисто, все покушение Брюсова на поэзию – покушение с негодными средствами. У него не было данных стать поэтом (данные – рождение), он им стал. Преодоление невозможного. Kraftsprobe. А избрание сáмого себе обратного: поэзии (почему не естественных наук? не математики? не археологии?) – не что иное, как единственный выход силы: самоборство.

И, уточняя: Брюсов не с рифмой сражался, а со своей *нерасположенностью к ней. Поэзия, как поприще для самоборения.*

Поэт ли Брюсов после всего сказанного? Да, но не Божьей милостью. Стихотворец, творец стихов, и, что гораздо важнее, творец творца в себе. Не евангельский человек, не зарывший своего таланта в землю, – человек, волей своей, из земли его вынудивший. Нечто создавший из ничто.

Вперед, мечта, мой верный вол!

О, не случайно, не для рифмы этот клич, более похожий на вздох. Если Брюсов когда-нибудь был правдив – до

дна, то именно в этом вздохе. Из сил, из жил, как вол — что это, труд поэта? нет, мечта его! Вдохновение плюс воловий труд, вот поэт, воловий труд плюс воловий труд, вот Брюсов: вол, везущий воз. Этот вол не лишен величия.

У кого, кроме Брюсова, могло возникнуть уподобление мечты — волу? Вспомним Бальмонта, Вячеслава, Блока, Сологуба — говорю лишь о поэтах его поколения (почему выпадает Белый?) — кто бы, в какой час последнего изнеможения, произнес это «мечта — вол». Если бы вместо мечты — воля, стих был бы формулой.

* * *

Поэт воли. Действие воли, пусть кратко, в данный час беспредельно. Воля от мира сего, вся здесь, вся сейчас. Кто так властвовал над живыми людьми и судьбами, как Брюсов? Бальмонт? К нему влеклись. Блок? Им болели. Вячеслав? Ему внимали. Сологуб? О нем гадали. И всех — заслушивались. Брюсова же — слушались. Нечто от каменного гостя было в его появлениях на пирах молодой поэзии — Жуана. Вино оледеневало в стаканах. Под дланью Брюсова гнулись, не любя, и иго его было тяжко. «Маг», «Чародей», — ни о зачаровывающем Бальмонте, ни о магическом Блоке, ни о рожденном чернокнижнике — Вячеславе, ни о ненашем Сологубе, — только о Брюсове, об этом бесстрастном мастере строк. В чем же сила? Что за чары? Нерусская и нерусские: воля, непривычная на Руси, сверхъестественная, чудесная в тридевятом царстве, где, как во сне, всё возможно. Всё, кроме голой воли. И на эту голую волю чудесное тридевятое царство Души — Россия — польстилась, ей поклонилась, под ней погнулась[1]. На римскую волю московского купеческого сына откуда-то с Трубной площади.

— Сказка?

1 Поколение поэтов ведь та же Россия, и не худшая.

* * *

Мне кажется, Брюсов никогда не должен был видеть снов, но, зная, что поэты их видят, заменял невиденные — выдуманными.

Не отсюда ли — от невозможности просто увидеть сон — грустная страсть к наркотикам?

Брюсов. Брюс. (Московский чернокнижник 18-го века.) Может быть, уже отмечено. (Зная, что буду писать, своих предшественников в Брюсове не читала, — не из страха совпадения, из страха, в случае перехулы, собственного перехвала.) Брюсов. Брюс. Созвучие не случайное. Рационалисты, принимаемые современниками за чернокнижников. (*Просвещенность*, превращающаяся на Руси в *чернокнижие*.)

Судьба и сущность Брюсова трагичны. Трагедия одиночества? Творима всеми поэтами... «...Und sind ihr ganzes Leben so allein...» (Рильке о поэтах)

Трагедия пожеланного одиночества, искусственной пропасти между тобою и всем живым, роковое пожелание быть при жизни — памятником. Трагедия гордеца с тем грустным удовлетворением, что, по крайней мере, сам виноват. За этот памятник при жизни он всю жизнь напролом боролся: не долюбить, не передать, не снизойти.

Хотел бы я не быть Валерий Брюсов...

только доказательство, что всю жизнь свою он ничего иного не хотел. И вот, в 1922 г. пустой пьедестал, окруженный свистопляской ничевоков, никудыков, наплеваков. Лучшие — отпали, отвратились. Подонки, к которым он тщетно клонился, непогрешимым инстинктом низости чуя — величие, оплевывали («не наш! хорош!»). Брюсов был один. Не один *над* (мечта честолюбца), один — *вне*.

«Хочу писать по-новому, — не могу!» Это признание я собственными ушами слышала в Москве, в 1920 г. с эстрады Большого зала Консерватории. (Об этом вечере — после.) *Не могу!* Брюсов, весь смысл которого был в «могу», Брюсов, который, наконец, не смог!

* * *

В этом возгласе был — волк. Не человек, а волк. Человек — Брюсов всегда на меня производил впечатление волка. Так долго — безнаказанного! С 1918 г. по 1922 г. затравленного. Кем? Да той же поэтической нечистью, которая вопила умирающему (умер месяц спустя) Блоку: «Да разве вы не видите, что вы мертвы? Вы мертвец! Вы смердите! В могилу!» Поэтической нечистью: кокаинистами, спекулянтами скандала и сахарина, с которой он, мэтр, парнасец, сила, чары, братался. Которой, подобострастно и жалобно, подавал — в передней своей квартиры — пальто.

Оттолкнуть друзей, соратников, *современников* Брюсов — смог. Час не был их. Дела привязанностей — через них он переступил. Но без этих, именующих себя «новой поэзией», он обойтись не смог: *их* был — час!

* * *

Страсть к славе. И это — Рим. Кто из уже названных — Бальмонт, Блок, Вячеслав, Сологуб — хотел славы? Бальмонт? Слишком влюблен в себя и мир. Блок? Эта сплошная совесть? Вячеслав? На тысячелетия перерос. Сологуб?

Не сяду в сани при луне, —
И никуда я не поеду!

Сологуб с его великолепным презрением?

Русский стремление к прижизненной славе считает либо презренным, либо смешным. Славолюбие: себялюбие. Славу русский поэт искони предоставляет военным и этой славе преклоняется. — А «Памятник» Пушкина?[1] Прозрение — ничего другого. О славе же прижизненной:

Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца, —

важнейшую: количественную базу — славы. Не удержусь, чтобы не привести вопль лучшего русского поэта современности: «О, с какой бы радостью я сам во всеуслышанье

1 Есть и у Брюсова «Памятник». Кто читал — помнит.

объявил о своей посредственности, только бы дали посредственно существовать и работать!»

Вопль каждого поэта, особенно — русского, чем больше — тем громче. Только Брюсов один восхотел славы. Шепота за спиной: «Брюсов!», опущенных или вперенных глаз: «Брюсов!», похолодания руки в руке: «Брюсов!» Этот каменный гость был — славолюбцем. Не наше величие, для нас — смешное величие, *скажи я это по-русски*, звучало бы переводом une petitesse qui ne manque pas de grandeur.

* * *

«Первым был Брюсов, Анненский не был первым» (слова того же поэта). Да, несравненный поэт, вы правы: единственный не бывает первым. Первый, это ведь *степень*, последняя ступень лестницы, первая ступень которой — последний. Первый — условность, зависимость, в линии. Единственный — вне. У неповторимого нет второго.

Два рода поэзии.

Общее дело, творимое порознь:

(Творчество уединенных. Анненский.)

Частное дело, творимое совместно.

(Кружковщина. Брюсовский Институт.)

Одного порока у Брюсова не было: мелкости их. Все его пороки, с той же мелкости начиная, en grand. В Риме, хочется верить, они были бы добродетелями.

* * *

Слава? Любовь к тебе — биллионов. Власть? Перед тобой — биллионов — страх.

Брюсов не славу любил, а власть.

У каждого — свой глагол, дающий его деяния. Брюсовский — домогаться.

Есть некая низость в том, чтобы раскрывать карты поэта так, перед всеми. Кружковщины нет (презренна!), круговая порука — есть. Судить о художнике могут — так, по крайней мере, принято думать и делать — все. Судить художника — утверждаю — только художники. Художник должен

быть судим судом либо товарищеским, либо верховным, — собратьями по ремеслу, или Богом. Только им да Богу известно, что это значит: творить мир тот — в мирах сил. Обыватель поэту, каков бы он в жизни ни был, — не судья. Его грехи — не твои. И его пороки уже предпочтены твоим добродетелям.

Avoir les rieurs de son côté — вещь слишком легкая, эффект слишком грошовый. Я, de mon côté, хочу иметь не les rieurs, а les penseurs. И единственная цель этих записей — заставить *друзей* задуматься.

* * *

Цель прихода В.Я. Брюсова на землю — доказать людям, что может и чего не может, а главное все-таки что может — воля.

* * *

Три слова являют нам Брюсова: воля, вол, волк. Триединство не только звуковое — смысловое: и воля — Рим, и вол — Рим, и волк — Рим. Трижды римлянином был Валерий Брюсов: волей и волом — в поэзии, волком (homo homini lupus est) в жизни. И не успокоится мое несправедливое, но жаждущее справедливости сердце, покамест в Риме — хотя бы в отдаленнейшем из пригородов его — не встанет — в чем, если не в мраморе? — изваяние:

СКИФСКОМУ РИМЛЯНИНУ
РИМ

II
Первая встреча

Первая встреча моя с Брюсовым была заочная. Мне было 6 лет. Я только что поступила в музыкальную школу Зограф-Плаксиной (старинный белый особнячок в Мерзляковском пер., на Никитской). В день, о котором я говорю, было мое первое эстрадное выступление, пьеса в четыре руки (первая в сборнике Леберт и Штарк), партнер — Евгения Яковлевна Брюсова, жемчужина школы и моя любовь. Старшая ученица и младшая. Все музыкальные искусы пройденные — и белый лист. После триумфа (забавного свойства) иду к матери. Она в публике, с чужой пожилой дамой. И разговор матери и дамы о музыке, о детях, рассказ дамы о своем сыне Валерии (а у меня сестра была Валерия, поэтому запомнилось), «таком талантливом и увлекающемся», пишущем стихи и имеющем недоразумения с полицией. (Очевидно, студенческая история 98–99 гг.? Был ли в это время Брюсов студентом, и какие это были недоразумения — не знаю, рассказываю, как запомнилось.) Помню, мать соболезновала (стихам? ибо напасть не меньшая, чем недоразумения с полицией). Что-то о горячей молодежи. Мать соболезновала, другая мать жаловалась и хвалила. — *«Такой талантливый и увлекающийся».* — *«Потому и увлекающийся, что талантливый».* Беседа длилась. (Был антракт.) Обе матери жаловались и хвалили. Я слушала.

* * *

Полиция — зачем заниматься политикой — потому и увлекающийся.

Так я впервые встретилась с звуком этого имени.

III
Письмо

Первая заочная встреча — 6-ти лет, первая очная — 16-ти. Я покупала книги у Вольфа, на Кузнецком, — ростановского Chanteclair'a, которого не оказалось. Неполученная книга, за которой шел, это в 16 лет то же, что неполученное, до востребования, письмо: ждал — и нету, нес бы — пустота. Стою, уже ища замены, но Ростан — в 16 лет? нет, и сейчас в иные часы жизни — незаменим, стою уже не ища замены, как вдруг, за левым плечом, где ангелу быть полагается, — отрывистый лай, никогда не слышанный, тотчас же узнанный:

– «Lettres de Femmes» – Прево. «Fleurs du mal» – Бодлера, и «Chanteclair'a», пожалуй, хотя я и не поклонник Ростана.

Подымаю глаза, удар в сердце: Брюсов!

Стою, уже найдя замену, перебираю книги, сердце в горле, за такие минуты – и сейчас – жизнь отдам. И Брюсов, *настойчивым методическим лаем, откусывая и отбрасывая слова*: «Хотя я и не поклонник Ростана».

Сердце в горле – и дважды. Сам Брюсов! Брюсов Черной мессы, Брюсов Ренаты, Брюсов Антония! – И – не поклонник Ростана: Ростана – L'Aiglon, Ростана – Мелизанды, Ростана – Романтизма!

Пока дочувствовывала последнее слово, дочувствовать которого нельзя, ибо оно – душа, Брюсов, сухо щелкнув дверью, вышел. Вышла и я – не вслед, а навстречу: домой, писать ему письмо.

* * *

Дорогой Валерий Яковлевич,
(Восстанавливаю по памяти.)

Сегодня, в Магазине Вольфа, Вы, заказывая приказчику Chanteclair'a, добавили: «хотя я и не поклонник Ростана». И не раз утверждали, а дважды. Три вопроса:

Как могли Вы, поэт, объявлять о своей нелюбви к другому поэту – приказчику?

Второе: как можете Вы, написавший Ренату, не любить Ростана, написавшего Мелизанду?

Третье: и как смогли предпочесть Ростану – Марселя Прево?

Не подошла тогда же, в магазине, из страха, что Вы примете это за честолюбивое желание «поговорить с Брюсовым». На письмо же Вы вольны не ответить.

Марина Цветаева.

Адреса – чтобы не облегчать ответа – не приложила. (Я была тогда в VI кл. гимназии, моя первая книга вышла лишь год спустя, Брюсов меня не знал, но имя моего отца знал достоверно и, при желании, ответить мог).

Дня через два, не ошибаюсь – на адрес Румянцевского

Музея, директором которого состоял мой отец (жили мы в своем доме, в Трехпрудном) – закрытка. Не открытка – недостаточно внимательно, не письмо – внимательно слишком, die goldene Mitte, выход из положения – закрытка. (Брюсовское «не передать».) Вскрываю:

«Милостивая Государыня, г-жа Цветаева»,

(NB! Я ему – дорогой Валерий Яковлевич, и был он меня старше лет на двадцать!)

Вступления не помню. Ответа на поэта и приказчика просто не было. Марсель Прево испарился. О Ростане же дословно следующее:

«Ростан прогрессивен в продвижении от XIX в. к XX в. и регрессивен от XX в. к нашим дням» (дело было в 1910 г.). «Ростана же я не полюбил, потому что мне не случилось его полюбить. *Ибо любовь – случайность*» (подчеркнуто).

Еще несколько слов, указывающих на желание не то встретиться, не то дальнейшей переписки, но неявно, иначе бы запомнила. И – подпись.

На это письмо я, естественно (ибо страстно хотелось!), не ответила.

Ибо любовь – случайность.

* * *

Письмо это живо, хранится с моими прочими бумагами у друзей, в Москве.

Первое письмо осталось последним.

IV
Два стишка

Первая моя книга «Вечерний альбом» вышла, когда мне было 17 лет, – стихи 15-ти, 16-ти и 17-ти лет. Издала я ее по причинам, литературе посторонним, поэзии же родственным, – взамен письма к человеку, с которым была лишена возможности сноситься иначе. Литератором я так никогда и не сделалась, начало было знаменательно.

Книгу издать в то время было просто: собрать стихи, снести в типографию, выбрать внешность, заплатить по счету, – всё. Так я и сделала, никому не сказав, гимназисткой VII кл. По окончании печатания свезла все 500 книжек на склад, в богом забытый магазин Спиридонова и Михайлова (почему?) и успокоилась. Ни одного экземпляра на отзыв мною отослано не было, я даже не знала, что так делают, а знала бы – не сделала бы: напрашиваться на рецензию! Книги моей, кроме как у Спиридонова и Михайлова, нигде нельзя было достать, отзывы, тем не менее, появились – и благожелательные: большая статья Макса Волошина, положившая начало нашей дружбы, статья Марьетты Шагинян (говорю о, для себя, ценных) и, наконец, заметка Брюсова. Вот что мне из нее запало:

«Стихи г-жи Цветаевой обладают какой-то жуткой интимностью, от которой временами становится неловко, точно нечаянно заглянул в окно чужой квартиры...» (Я, мысленно: дома, а не квартиры!)

Середину, о полном овладении формой, об отсутствии влияний, о редкой для начинающего самобытности тем и явления их – как незапомнившуюся в словах – опускаю. И, в конце: «Не скроем, однако, что бывают чувства более острые и мысли более нужные, чем:

Нет! ненавистна мне надменность фарисея!

Но, когда мы узнаём, что автору всего семнадцать лет, у нас опускаются руки»...

Для Брюсова такой подход был необычаен. С отзывом, повторяю, поздравляли. Я же, из всех приятностей запомнив, естественно, неприятность, отшучивалась: «Мысли более нужные и чувства более острые? Погоди же!»

Через год вышла моя вторая книга «Волшебный фонарь» (1912 г. затем перерыв по 1922 г., писала, но не печатала) – и в ней стишок –

В.Я. Брюсову

Улыбнись в мое «окно»,
Иль к шутам меня причисли, –

Не изменишь, всё равно!
«Острых чувств» и «нужных мыслей»
Мне от Бога не дано.
Нужно петь, что всё темно,
Что над миром сны нависли...
– Так теперь заведено. –
Этих чувств и этих мыслей
Мне от Бога не дано!

Словом, войска перешли границу. Такого-то числа, такого-то года я, никто, открывала военные действия против – Брюсова.

Стишок не из блестящих, но дело не в нем, а в отклике на него Брюсова.

«Вторая книга г-жи Цветаевой «Волшебный фонарь», к сожалению, не оправдала наших надежд. Чрезмерная, губительная легкость стиха...» (ряд неприятностей, которых я не помню, и, в конце:) «Чего же, впрочем, можно ждать от поэта, который сам признается, что острых чувств и нужных мыслей ему от Бога не дано».

Слова из его первого отзыва, взятые мною в кавычки, как *его* слова, были явлены без кавычек. Я получалась – дурой. (Валерий Брюсов, «Далекие и близкие», книга критических статей.)

Рипост был мгновенный. Почти вслед за «Волшебным фонарем» мною был выпущен маленький сборник из двух первых книг, так и называвшийся «Из двух книг», и в этом сборнике, черным по белому:

В.Я. Брюсову

Я забыла, что сердце в Вас – только ночник,
Не звезда! Я забыла об этом!
Что поэзия ваша из книг
И из зависти – критика. Ранний старик,
Вы опять мне на миг
Показались великим поэтом.

* * *

Любопытно, что этот стих возник у меня не после рецензии, а после сна о нем, с Ренатой, волшебного, которого он никогда не узнал. Упор стихотворения — конец его, и я бы на месте Брюсова ничего, кроме двух последних слов, не вычитала. Но Брюсов был плохой читатель (душ).

* * *

Отзыва, на сей раз, в печати не последовало, но «в горах» (его крутой души) «отзыв» длился — всю жизнь.

* * *

Не обольщаюсь. Брюсов в опыте моих чувств, точнее: в молодом опыте вражды значил для меня несравненно больше, чем я — в его утомленном опыте. Во-первых, он для меня был Брюсов (твердая величина), меня не любящий, я же для него — Х, его не любящий и значущий только потому и тем, что его не любящий. Я не любила Брюсова, он не любил кого-то из молодых поэтов, да еще женщину, которых, вообще, презирал. Этого у меня к нему не было — презрения, ни тогда, на вершине его славы, ни спустя, под обломками ее. Знаю это по волнению, с которым сейчас пишу эти строки, непогрешимому волнению, сообщаемому нам только величием. Дерзала — да, дерзила — да, презирала — нет. И, может быть, и дерзала-то и дерзила только потому, что не умела (не хотела?) иначе выявить своего, сильнейшего во мне, чувства ранга. Словом, если перенести нашу встречу в стены школы, дерзила директору, ректору, а не классному наставнику. В моем дерзании было благоговение, в его задетости — раздражение. Значительность же вражды в прямой зависимости от значительности объекта. Посему в этом романе нелюбви в выигрыше (ибо единственный выигрыш всякого нашего чувства — собственный максимум его) — в выигрыше была я.

V

«Семья поэтов»

Той же зимой 1911 г. — 1912 г., между одним моим рифмованным выпадом и другим, меня куда-то пригласили читать — кажется, в «О-во Свободной Эстетики». (Должны были читать все молодые поэты Москвы.) Помню какую-то зеленую комнату, но не главную, а ту, в которой ждут выхода. Черная густая мужская группа поэтов и, головой превышая, действительно оглавляя — Брюсов. Вхожу и останавливаюсь, выжидая чьего-нибудь первого шага. Он был сделан тотчас же — Брюсовым.

— А это — поэтесса Марина Цветаева. Но так как «все друзья в семье поэтов», то можно (поворот ко мне) без рукопожатий.

(Не предвосхищенное ли советское «рукопожатия отменяются», но у советских — из-за чесотки, а у Брюсова из-за чего?)

Нацелившись на из всей группы единственного мне знакомого — Рубановича, подхожу и здороваюсь за руку, затем с ближайшим его соседом: «Цветаева», затем с соседом соседа, затем с соседом соседа соседа, и так на круговую, пока не перездоровалась со всеми — всеми, кроме Брюсова. Это — человек было около двадцати — все-таки заняло известное время, тем более что я, природно-быстрая, превратила проформу в чувство, обычай — в обряд. В комнате «царило молчание». Я представлялась: «Цветаева». Брюсов ждал. Пожав двадцатую руку, я скромно вышла из круга и стала в сторонке, невинно, чуть не по-институтски. И, одновременно, отрывистый, всей пастью, лай Брюсова:

— А теперь, господа, можно и начинать?

* * *

Чего хотел Брюсов своей «семьей поэтов»? Настолько-де друзья, что и здороваться не стоит? Избавить меня от двадцати чужих рук в одной моей? Себя — от пяти минут бездействия? Щадил ли предполагаемую застенчивость начинающего?

Может быть, одно из перечисленных, может быть, всё вместе, а вернее всего подсознательное нежелание близкого, человеческого (и, посему, обязывающего), через ладонь, знакомства. Отскок волка при виде чужой породы. Чутье на чужесть. Инстинкт.

Так это и пошло с тех пор, обмен кивками. С каждым разом становилось все позднее и позднее для руки. Согласитесь, что проздоровавшись десять лет подряд всухую, неловко как-то, неприлично как-то, вдруг ни с того ни с сего — за руку.

Так я и не узнала, какая у Брюсова ладонь.

VI
Премированный щенок

«Il faut à chacun donner son joujou».
E. Rostand

Был сочельник 1911 г. — московский, метельный, со звездами в глазах и на глазах. Утром того дня я узнала от Сергея Яковлевича Эфрона, за которого вскоре вышла замуж, что Брюсовым объявлен конкурс на следующие две строки Пушкина:

Но Эдмонда не покинет
Дженни даже в небесах.

— Вот бы Вам взять приз — забавно! Представляю себе умиление Брюсова! Допустим, что Брюсов — Сальери, знаете, кто его Моцарт?

— Бальмонт?

— Пушкин!

Приз, данный мне Брюсовым за стихи, представленные в последний час последнего дня (предельный срок был Сочельник) — идея была соблазнительной! Но — стих на тему![1] Стих — по заказу! Стих — по мановению Брюсова! И второй камень преткновения, острейший, — я совсем не знала, кто Эдмонда, мужчина или женщина, друг или подруга. Если родительный падеж: кого-чего? — то Эдмонд выходил мужчиной, и Дженни его не покинет, если же именительный падеж: кто-что? — то Эдмонда — женщина и не покинет свою подругу Дженни. Камень устранился легко. Кто-то, рассмеявшись и не поверив моему невежеству, раскрыл мне Пушкина на «Пире во время чумы» и удостоверил мужественность *Эдмонда.* Но время было упущено: над Москвой, в звездах и хлопьях, оползал Сочельник.

1 Теперь думаю иначе.

К темноте, перед самым зажжением елок, я стояла на углу Арбатской площади и передавала седому посыльному в красной шапке конверт, в котором еще конверт, в котором еще конверт. На внешнем был адрес Брюсова, на втором (со стихами) девиз (конкурс был тайный, с обнаружением автора лишь по присуждении приза), на третьем — тот же девиз; с пометкой: имя и адрес. Нечто вроде моря-окияна, острова Буяна и Кащеевой смерти в яйце. «Письмецо» я Брюсову посылала на дом, на Цветной бульвар, в виде подарка на елку.

Каков же был девиз? Из Ростана, конечно:

«Il faut à chacun donner son joujou»[1]
E. Rostand

Каков же был стих? Не на тему, конечно, стих, написанный вовсе не на Эдмонда, за полгода *до,* своему Эдмонду, стих не только не на тему, а обратный ей и, обратностью своей, подошедший. Вот он:

«Но Эдмонда не покинет
Дженни даже в небесах».

Воспоминанье слишком давит плечи,
Я о земном заплачу и в раю,
Я старых слов при нашей новой встрече
Не утаю[2].
Где сонмы ангелов летают стройно,
Где арфы, лилии и детский хор,
Где всё — покой, я буду беспокойно
Ловить твой взор.

1 NB! Брюсову, например, конкурс
2 Лучше бы: не повторю.

Виденья райские с усмешкой провожая,
Одна в кругу невинно-строгих дев,
Я буду петь, земная и чужая,
Земной напев!
Воспоминанье слишком давит плечи,
Настанет миг – я слез не утаю...
Ни здесь, ни там – нигде не надо встречи,
И не для встреч проснемся мы в раю!

Стих этот я взяла из уже набиравшегося тогда «Волшебного фонаря», вышедшего раньше выдачи, но уже после присуждения премий. («Волшебный фонарь», с.75.)

* * *

С месяц спустя – я только что вышла замуж – как-то заходим с мужем к издателю Кожебаткину.

– Поздравляю Вас, Марина Ивановна!

Я, думая о замужестве:

– Спасибо.

– Вы взяли первый приз, но Брюсов, узнав, что это вы, решил вам, за молодостью, присудить первый из двух вторых.

Я рассмеялась.

* * *

Получать призы нужно было в «О-ве Свободной Эстетики». Подробности стерлись. Помню только, что когда Брюсов объявил: «Первого не получил никто, первый же из двух вторых – г-жа Цветаева», – по залу прошло недоумение, а по моему лицу усмешка. Затем читались, кажется Брюсовым же, стихи, после «премированных» (Ходасевич, Рафалович, я) – «удостоившиеся одобрения», не помню чьи. Выдача самих призов производилась не на эстраде, а у входного столика, за которым что-то вписывала и выписывала милая, застенчивая, всегда все по возможности сглаживавшая и так выигрывавшая на фоне брюсовской жестокости – жена его, Жанна Матвеевна.

Приз – именной золотой жетон с черным Пегасом – непосредственно Брюсовым – из руки в руку – вручен. Хотя не в рукопожатии, но руки встретились! И я, продевая его сквозь цепочку браслета, громко и весело:

– Значит, я теперь – премированный щенок?

Ответный смех залы и – добрая – внезапная – волчья – улыбка Брюсова. «Улыбка» – условность, просто внезапное обнаружение и такое же исчезновение зубов. Не улыбка? Улыбка! Только не наша, волчья. (Оскал, осклаб, ощер.)

Тут я впервые догадалась, что Брюсов – волк.

* * *

Если не ошибаюсь, в тот же вечер я в первый (и единственный) раз увидела поэтессу Львову. Невысокого роста, в синем, скромном, черно-глазо-брово-головая, яркий румянец, очень курсистка, очень девушка. Встречный, к брюсовскому наклону, подъем. Совершенное видение мужчины и женщины: к запрокинутой гордости *им* – снисхождение гордости *собой*. С трудом сдерживаемая кругом осчастливленность.

Он – охаживал.

Часть вторая
Революция

I
Лито

Премированным щенком заканчивается мой юношеский эпизод с Брюсовым. С 1912 г. по 1920 г. мы – я жила вне литературной жизни – не встречались.

Был 1919 г. – самый чумный, самый черный, самый смертный из всех тех годов Москвы. Не помню кто, кажется Ходасевич, надоумил меня снести книгу стихов в Лито[1]. «Лито ничего не печатает, но все покупает». Я: «Чудесно», – «Отделом заведует Брюсов». Я: «Чудесно, но менее. Он ме-

1 Литературный отдел.

ня не выносит». – «Вас, но не ваши стихи. Ручаюсь, что купит. Все-таки – пять дней хлеба».

Переписала «Юношеские стихи» (1913–1916 гг., до сих пор неизданные) и «Версты» I (изданы в 1922 г. Госиздатом) и, взяв в правую – пятилетнюю тогда ручку своей дочери Али, в левую – рукопись, пошла пытать счастья в Лито. Никитская, кажется? Брюсова не было, был кто-то, кому я рукописи вручила. Вручила и кануло – и стихи и я.

Прошло около года. Я жила, стихи лежали. Вспоминала о них с неизменной неприязнью, как о вещи одолженной, вовремя не спрошенной и потому уже – не моей. Всё же как-то собралась. Прихожу в Лито: пустота: Буданцев. «Я пришла узнать про две книги стихов, сданных около году назад». Легкое смущение, и я, выручая: «Я бы очень хотела получить обратно рукописи, – ведь ничего, очевидно, не вышло?» Буданцев, радостно: «Не вышло, не вышло, *между нами – Валерий Яковлевич очень против вас*». – «Здесь и малого достаточно. Но рукописи – живы?» – «Живы, живы, сейчас верну». – «Чудесно. Это больше, чем в наши дни может требовать поэт».

Итак, домой с рукописями. Дома раскрываю, листаю, и – о сюрприз – второй в жизни автограф Брюсова! В целых три строчки отзыв – его рукой!

«Стихи М. Цветаевой, как ненапечатанные своевременно и не отражающие соответственной современности, бесполезны». Нет, еще что-то было, запомнила, как всегда, высшую ноту – конец. Зрительное же впечатление именно трех строк брюсовского сжатого, скупого, озабоченного почерка. Что могло быть в тех полутора? Не знаю, но хуже не было. Отзыв сей, вместе с прочими моими бумагами, хранится у друзей, в Москве. Развитием римской формулировки Брюсова – российски-пространная (на сей раз машинная) отпись его поклонника, последователя и ревнителя – С. Боброва. «До тошноты размазанные разглагольствования по поводу собственной смерти...» Это о «Юношеских стихах», о «Верстах» же помню всего одно слово, да и то не точно, вижу его написанным, но прочесть не могу, вроде «гносеологические», но означающие что-то, касающееся ритмики. «Стихи написаны тяжелым, неудобоваримым, «гносеологическим ямбом»... Брюсов дал тему, Бобров провариировал, в итоге – рукописи на руках.

Госиздат в 1922 г., в лице цензора коммуниста Мещерякова, оказался и сговорчивее и великодушнее.

* * *

(Написав слово «цензор», вдруг осознала: до чего само римское звучание соответствовало Брюсову! Цензор, ментор, диктатор, директор, цербер...)

* * *

Потом Буданцев, при встрече, горячо и трогательно просил отзывы вернуть:

– Вам не полагалось их читать, это мой недосмотр, с меня взыщут!

– Помилуйте, да ведь это мой titre de noblesse, тютчевский патент на благородство, почетный билет всюду, где чтят поэзию!

– Перепишите и верните подлинники!

– Как? Я – отдать автограф Брюсова? Автограф автора «Огненного Ангела»? (Пауза.) Отдать, когда можно – продать? Уеду за границу и там продам, так и передайте Брюсову!

– А отзыв Боброва? Ну, хоть Боброва верните!

– А Боброва за компанию. Три строки Брюсова – столько-то, в придачу четыре страницы Боброва. Так и передайте Боброву.

Отшучивалась и оставалась непреклонной.

II

Вечер в консерватории

(Запись моей, тогда семилетней, дочери Али)

Никитская, 8.

Вечер в Б. Зале Консерватории

Темная ночь. Идем по Никитской в Большой Зал Консерватории. Там будет читать Марина и еще много поэтов.

Наконец, пришли. Долго бродим и ищем поэтика В.Г. Шершеневича. Наконец, маме попадается знакомый, который приводит нас в маленькую комнатку, где уже сидели все, кто будет читать. Там сидел старик Брюсов с каменным лицом (после вечера я спала под его пальто). Я просила Марину поиграть на рояле, но она не решается. Скоро после того как мы вошли, я начала говорить стихи мамы к Брюсову, но она удержала меня. К маме подошел какой-то человек с завитыми волосами и в синей рубахе. Вид был наглеца. Он сказал: «Мне передали, что вы собираетесь выйти замуж». – «Передайте тем, кто так хорошо осведомлен, что я сплю и во сне вижу увидеться с Сережей, Алиным папой»[1]. Тот отошел. Скоро стал звонить первый звонок. К маме подошел Буданцев и пошел с ней на эстраду. Я пошла с ней. Эстрада похожа на сцену. Там стоит ряд стульев. Там сидели Марина, я и еще много народу. Первый раз вышел Брюсов. Он прочел вступительное слово, но я там ничего не слушала, потому что не понимала. Затем вышел имажинист Шершеневич. Он читал про голову, на голове стоит ботанический сад, на ботаническом саду стоит цирковой купол, а на нем сижу я и смотрю в чрево женщины как в чашу. Бедные машины, они похожи на стадо гусей, то есть на трехугольник. Весна, весна, ей радуются автомобили. И все вроде этого. Потом стал читать стихи Брюсов. После него вышла маленькая женщина с дуговатыми зубами. Она была в рваной фуфайке, с кротким лицом. У нее точно не было ни крыльев, ни шерсти, ни даже шкуры. Она держала в руках свое тощее тело и не может ни приручить его к себе, ни расстаться с ним. Наконец вызвали маму. Она посадила меня на свое место, а сама пошла к читальному столу. Глядя на нее, все засмеялись. (Наверное оттого, что она была с сумкой[2].) Она читала стихи про Стеньку Разина. Она читала ясно, без всяких иностранных слов. Она стояла как ангел. Весь народ в зале так смотрел на читающего, как ястреб или сова на беззащитную птицу. Какой-то имажинист сказал: «Посмотри-ка. На верхних ложах сидят «одинокие». Они держатся стаей». Она читала не очень громко. Один

1 Муж с декабря 1917 г. был в армии.
2 Офицерской походной.

мужчина даже встал и подошел ближе к эстраде. Стенька Разин, три стиха о том, как он любил персианочку. Потом его сон, как она пришла к нему за башмачком, который уронила на корабле. Потом она, когда кончила, *поклонилась*[1], чего никто не делал. Ей рукоплескали коротко, но все. Марина села опять на свое место, посадив меня на колени. После нее стал читать драму какой-то молодой черный человек, который сидел бок о бок с нами. Начало: под потолком в цирке на тоненькой веревочке висит танцовщица, а под ней на арене стоит горбач и хвалит ее. «Аля! Уйдем отсюда! Это будет долго длиться». – «Нет, Марина, посмотрим, как будет». Марина просила и я наконец согласилась. Мы вышли и прошли в потайную комнату. Там не было никого, кроме какой-то женщины, которая недавно приехала из деревни. Я с совершенно осоловелым видом села на стул, и мама предложила мне лечь, пока никто не пришел. Я согласилась с удовольствием. Я легла. Деревенская женщина предложила меня покрыть, и Марина накрыла чьим-то пальто. Вскоре после того, как я легла, ввалилась вся толпа поэтов. В комнатке было только четыре стула. Люди садились на столы, на подоконники, а я, хоть и слыхала смутно, что они садились даже на рояль, только протягивала ноги. Около самой распертой ручки примостилась мама с тощей поэтессой. «Она спит». – «Нет, у ней глаза открыты». – «Аля, ты спишь?» – «Ннет». Белые точки, головки, лошадки, мужики, дети, дома, снег... Круглый сад с серыми грядками. Решетка черная. Серый цирковой купол с крестом. А под ботаническим садом красная трехугольная чаша. Это мне приснились стихи сумасшедшего Шершеневича. Очнувшись, сбрасываю с себя одеяло из пальто на волчьем меху. Мама совсем задушена моими ногами. Поэты ходят, сидят на полу. Я села на диване. Мама обрадовалась, что я могу дать место другим. У стола стоят два человека. Один в летнем коротком пальто, другой в зимней дохе. Вдруг короткий понесся к двери, откуда вошел худой человек с длинными ушами[2]. «Сережа, милый дорогой Сережа, откуда ты?» – «Я восемь дней ничего не ел». – «А где ты был,

1 Подчеркнуто в подлиннике.
2 Сергей Есенин.

наш Сереженька?» — «Мне дали пол-яблока там. Даже воскресенья не празднуют. Ни кусочка хлеба там не было. Едва-едва вырвался. Холодно. Восемь дней белья не снимал. Ох, есть хочется!» — «Бедный, а как же ты вырвался?» — «Выхлопотали». — Все обступили и стали расспрашивать. Скоро мама получила 10 советских и мы стали собираться в поход. Я стала искать свои варежки и капор. Наконец мы снарядились и пошли. Мы вышли каким-то извилистым черным ходом в темный двор Большой Консерватории. Мы вышли. По всей Никитской стоят[1] фонари. Горит примус где-то в окне. Лает собака. Я всё время падаю, и мы идем разговариваем о Брюсове. Освещены витрины с куклами, с книгами[2]. Я сказала: «Брюсов — камень. Он похож на дедушку Лорда Фаунтельроя. Его может полюбить только такое существо, как Фаунтельрой. Если бы его повели на суд, он бы ложь говорил как правду, а правду как ложь».

* * *

Москва, начало декабря 1920 г.

Несколько дней спустя, читая «Джунгли».

— Марина! Вы знаете — кто Шер-Хан? — Брюсов! — Тоже хромой и одинокий, и у него там тоже Адалис. (Приводит:) «А старый Шер-Хан ходил и открыто принимал лесть»... Я так в этом узнала Брюсова! А Адалис — приблуда, из молодых волков.

* * *

Восполню пробелы. Войдя со мной в комнату и сразу, по моему описанию, распознав Брюсова, Аля уже жила исключительно им. Так, все предложения поиграть на рояле — исключительно для него, продержать в страхе: а что — заиграю? Брюсов усиленно не глядел, явно насторожась, чуя, что неспроста, и не зная, во что разыграется (Telle mère, telle fille. В случае чего положение выходило нелепейшее: с семилетними (а выглядела она, по советскому худосочию,

1 Но не горят.
2 По ночам — от воров — комиссионных магазинов.

пятилетней) не связываются. (Убеждена, что считался и с двухлетними!)

Примечание второе. Декламация моих стихов к Брюсову — Брюсову же — экспромт, от которого я похолодела. Чувство, что в комнате сразу стало тесно, — не комната, а клетка, и не только волк в ней — я с ним! Точное чувство совместной запертости с волком, с той же, первых секунд, неловкостью и зверя и человека. Но было и другое. Здесь, в этой спертости, почти лоб в лоб, при стольких свидетелях! услышать от семилетнего, с такими чудесными глазами! Ребенка — браваду его, так еще недавно семнадцатилетней, матери. Ушами услышать! Воушию! Был бы Брюсов глубок, будь у него чувства более острые, чем: Брюсов! (нужных мыслей у него было вдоволь) — перешагни он через себя, он бы оценил эту неповторяемость явлений...

Я забыла, что сердце в Вас — только ночник,
Не звезда! Я забыла об этом!
Что поэзия Ваша — из книг...

Остановилась на первой, остановилась на третьей строке. Но была, в этом вызове, кроме мести за меня, унаследованная от меня и тотчас мною узнанная — *влюбленность вражды*. И, если стих внезапно не окончился поцелуем — то только из застенчивости. (Такой породы в ласке робки, не в ударе.)

* * *

Что думал? Невоспитанная девочка? Нет, воспитанная. Подученная мною? Явно — нет, он же видел чистоту моего испуга. Не понравиться — внешне — тоже не могла (Вячеслав Иванов: «Раскрывает сердце и входит»). Думаю, что единственное, что он думал: «Скорей бы!» И — о ужас! — он на эстраду, она (со мной) — за ним! Сидим чуть ли не рядом. Что еще ждет? Какой «экспромт»?

К его чести скажу, что волчьей шубы своей с нее, спящей, он не снял, хотя спешил. Покашливал и покашливал. Во оправдание же свое скажу, что именно *его* шубы не выби-

рала. Просто — меховая! Хорошо под мехом! Аля может сказать: «Я спала под шкурой врага».

О руке же, не снявшей:

Если умру я, и спросят меня:
«В чем твое доброе дело?»
Молвлю я: «Мысль моя майского дня
Бабочке зла не хотела».

(Бальмонт)

III

Вечер поэтесс

Не очень много шили там,
И не в шитье была там сила...

Летом 1920 г., как-то поздно вечером ко мне неожиданно вошла... вошел... женский голос в огромной шляпе. (Света не было, лица тоже не было.)

Привыкшая к неожиданным посещениям — входная дверь не запиралась — привыкшая ко всему на свете и выработавшая за советские годы привычку никогда не начинать первой, я, вполоборота, ждала.

— Вы Марина Цветаева? — Да. — Вы так и живете без света? — Да. — Почему же вы не велите починить? — Не умею. — Чинить или велеть? — Ни того, ни другого. — Что же вы делаете по ночам? — Жду. — Когда зажжется? — Когда большевики уйдут. — Они не уйдут никогда. — Никогда.

В комнате легкий взрыв двойного смеха. Голос в речи был протяжен, почти что пенье. Смех явствовал ум.

— А я Адалис. Вы обо мне не слыхали? — Нет. — Вся Москва знает. — Я всей Москвы не знаю. — Адалис, с которой — которая... Мне посвящены всé последние стихи Валерия Яковлевича. Вы ведь очень его не любите? — Как он меня. — Он вас не выносит. — Это мне нравится. — И мне. Я вам бесконечно благодарна за то, что вы ему никогда не нравились. — Никогда.

Новый смех. Волна обоюдной приязни растет.

— Я пришла спросить вас, будете ли вы читать на вечере поэтесс. — Нет. — Я так и знала и сразу сказала В. Я. Ну, а со мной одной будете? — С вами одной, да. — Почему? Вы ведь моих стихов не знаете. — Вы умны и остры и не можете писать плохих стихов. Еще меньше — читать. (Голос вкрадчиво:) — Со мной и с Радловой? — Коммунистка? — Ну, женский коммунизм... — Согласна, что мужской монархизм — лучше. (Пауза.) Донской. Но, шутки в сторону, партийная или нет? — Нет, да нет же! — И вечер совершенно вне? — Совершенно вне. — Вы, Радлова и я. — Вы, Радлова и я. — Платить будут? — Вам заплатят. — О, не скажите! Меня любят, но мне не платят. — Брюсов вас не любит и вам заплатит. — Хорошо, что Брюсов меня не любит! — Повторяю, не выносит. Знаете, что он сказал, получив ваши рукописи? «Я высоко ценю ее, как поэта, но как женщину я ее не выношу, и она у меня никогда не пройдет!» — Но ведь стихи предлагал поэт, а не женщина! — Знаю, говорила — говорили — непереубедим. Что у вас, собственно, с ним было?

Рассказываю, смеясь, то, что читатель уже знает. Адалис: — Он мстителен и злопамятен. — Я никогда не считала его ни христианином, ни славянином. — И, временами, непомерно мелок. — За «непомерно» прощаю.

* * *

С поэтессой Адалис мы, если не подружились, приятельствовали. Она часто забегала ко мне, чаще ночью, всегда взволнованная, всегда голодная, всегда неожиданная, неизменно-острая.

— В. Я. меня к вам ревнует, я постоянно говорю о вас. — С целью или без цели? — И так и так. От одного звука вашего имени у него лицо темнеет. — Зачем темнить? И так не из светлых.

Внешность Брюсова. Первое: негибкость, негнущесть, вплоть до щетиной брызжущих из черепа волос («бобрик»). Невозможность изгиба (невозможность юмора, причуды, imprévu, — всего, что относится к душевной грации). Усы — как клыки, характерное французское en croc. Усы наладчика, шевелящиеся в гневе. Форма головы — конус, посадка

чуть кверху, взирание и вызов, неизменное свысока. Волевой, наполеоновский, *естественнейший* – сосредоточенной воли жест! – скрещивать руки. Руки вдоль тела – не Брюсов. Либо перо, либо крест. В раскосости и скуластости – перекличка с Лениным. Топорная внешность, топором, а не резцом, не крепко, но метко. При негодности данных – сильнейшее *данное* (не дано, дал).

Здесь, как в творчестве, Брюсов явил из себя всё, что мог.

* * *

А глаза каре-желтые, волчьи.

* * *

(Уже по написании этих строк. Одна моя знакомая, на мой вопрос, какое у него было лицо, с гениальностью женской непосредственности: «Не знаю, какое-то... обутое».)

* * *

У Адалис же лицо было светлое, рассмотрела белым днем в ее светлейшей светелке во Дворце Искусств (уг. Поварской и Кудринской, д. гр. Сологуба). Чудесный лоб, чудесные глаза, весь верх из света. И стихи хорошие, совсем не брюсовские, скорее мандельштамовские, явно-петербургские. (Брюсов совершенно вне элементарного, но в чем-то правильного деления русской поэзии на Москву и Петербург.)

«Все говорят, что Брюсов мне их выправляет, – жаловалась она, – но, уверяю вас..». – Вам нечего уверять. Брюсову на поэтесс везет, и если выправлять, то, во всяком случае, не ему в данный час, ваши. – «Что вы думаете о его стихах?» – Думаю? многое. Чувствую? ничего. – «Но большой мастер». – Но большой мастер.

* * *

Вот один из рассказов Адалис о Брюсове. Рассказ, от которого у меня сердце щемит.

«У В. Я. есть приемыш, четырехлетний мальчик, он его нежно и трогательно любит, сам водит гулять и особенно любит всё ему объяснять по дороге. «Вот это называется фронтон. Повтори: фронтон». – «Фронтон». – «А эта вот колонна – дорическая. Повтори: дорическая». – «Дорическая». – «А эта вот, завитком, ионический стиль. Повтори!» – «Ионический». И т. д. и т. д. И вот, недавно, – он мне сам рассказывал – собачка навстречу, с особенным каким-то хвостом, закорючкой. И мальчик Брюсову: «А эта собачка – какого стиля? Ионийского или Дорийского?»

* * *

Наше совместное выступление с Адалис состоялось больше полугода спустя, кажется в феврале 1921 г. Нельзя сказать, чтобы меня особенно вдохновили голубые афиши «Вечер поэтесс» – перечень девяти имен – со вступительным словом Валерия Брюсова. Речь шла о трех, здесь трижды три, вместо выступления – выставка. От одного такого женского смотра я в 1916 г. уже отказалась, считая, что есть в поэзии признаки деления более существенные, чем принадлежность к мужскому или женскому полу, и отродясь брезгуя всем, носящим какое-либо клеймо женской (массовой) отдельности, как-то: женскими курсами, суфражизмом, феминизмом, армией спасения, всем пресловутым женским вопросом, за исключением военного его разрешения: сказочных царств Пенфезилеи – Брунгильды – Марьи Моревны – и не менее сказочного петроградского женского батальона. (За школы кройки, впрочем, стою.) Женского вопроса в творчестве нет: есть женские, на человеческий вопрос, ответы, как-то: Сафо – Иоанна д'Арк – Св. Тереза – Беттина Брентано. Есть восхитительные женские вопли («Lettres de M-lle de Lespinasse»), есть женская мысль (Мария Башкирцева), есть женская кисть (Rosa Bonheur), но всё это – уединённые, о женском вопросе и не подозревавшие, его этим неподозрением – уничтожавшие (уничтожившие).

Но Брюсов, этот мужчина в поэзии par excellence, этот любитель пола вне человеческого, этот нелюбитель душ,

этот: правое – левое, черное – белое, мужчина – женщина, на такие деления и эффекты, естественно, льстился. Только вспомнить его «Стихи Нелли», – анонимную книгу от лица женщины, выдавшую автора именно бездушностью своей, – и удивительное по скудосердию предисловие к стихам Каролины Павловой. И не только на деление мужчина – женщина льстился, – на всякие деления, разграничения, разъятия, на всё, что подлежало цифре и графе. Страж при сорокачетырехразрядном кладбище – вот толкование Брюсовым вольного братства поэзии и его роль при нем. Для Брюсова поэт без «ист» не был поэтом. Так, в 1920 г. кажется, на вопрос, почему на вечер всех поэтических направлений («кадриль литературы») не были приглашены ни Ходасевич, ни я, его ответ был: «Они – никто. Под какой же я их проставлю рубрикой?» (Думаю, что для Ходасевича, как для меня, только такое «никто» – лишний titre de noblesse).

Брюсов всю жизнь любопытствовал женщинам. Влекся, любопытствовал и не любил. И тайна его разительного неуспеха во всем, что касается женской Психеи, именно в этом излишнем любопытствовании, в этом дальнейшем разъятии и так уже трагически разъятого, в изъятии женщины из круга человеческого, в этом искусственном обособлении, в этом им самим созданном зачарованном ее кругу. Волей здесь не возьмешь, и невольно вспоминается прекрасный перевод из весьма посредственного поэта:

Спросили они: «Как красавиц привлечь,
Чтоб сами, без чары, на страстную речь
Оне нам в объятия пали?»
– Любите! – оне отвечали.

* * *

Было у Брюсова всё: и чары, и воля, и страстная речь, одного не было – любви. И Психея – не говорю о живых женщинах – поэта миновала.

* * *

Вечер поэтесс был объявлен в Большом зале Политехнического Музея. Помню ожидальню, бетонную, с одной-единственной скамейкой и пустотой от – точно только что вынесенной – ванны. Поэтесс, по афише соответствовавших числу девять (только сейчас догадалась – девять Муз! Ах, ложно-классик!), казалось не девять, а трижды столько. Под напором волнения, духов, повышенных температур (многие кашляли), сплетен и кокаина, промерзлый бетон поддался и потек. В каморке стоял пар. Сквозь пар белесые же пятна – лица, красные кляксы – губы, черные circonflex'ы – брови. Поэтессы, при всей разномастности, удивительно походили друг на друга. Поименно и полично помню Адалис, Бэнар, поэтессу Мальвину и Поплавскую. Пятая – я. Остальные, в пару, испарились. От одной, впрочем, уцелел малиновый берет, в полете от виска до предельно спущенного с одного плеча выреза, срезавший ровно пол-лица. В этой параллельной асимметрии берета и выреза была неприятная симметрия: симметрия двух кривизн. Одеты были поэтессы, кроме Адалис (в закрытом темном), соответственно темам и размерам своих произведений – вольно и, по времени 1921 г., роскошно. Вижу одну, высокую, лихорадочную, сплошь танцующую, – туфелькой, пальцами, кольцами, соболиными хвостиками, жемчугами, зубами, кокаином в зрачках. Она была страшна и очаровательна, тем десятого сорта очарованием, на которое нельзя не льститься, стыдятся льститься, на которое бесстыдно, во всеуслышанье – льщусь. Из зрительных впечатлений, кроме красного берета и чахоточных мехов, уцелел еще гаменовский очерк поэтессы Бэнар – головка Гавроша на вольном стволе шеи – и, тридцатых годов, подчеркнуто – неуместно – нестерпимо-невинное видение поэтессы Мальвины, – «стильной» вплоть до голубых стеклянных бус под безоблачным полушарием лба.

Выставка, внешне, обещала быть удачной, Брюсов не прогадал.

* * *

Не упомянуть о себе, перебрав, приблизительно, всех, было бы лицемерием, итак: я в тот день была явлена «Риму и Миру» в зеленом, вроде подрясника, — платьем не назовешь (перефразировка лучших времен пальто), честно (то есть — тесно) стянутом не офицерским даже, а юнкерским, 1-ой Петергофской школы прапорщиков, ремнем. Через плечо, офицерская уже, сумка (коричневая, кожаная, для полевого бинокля или папирос), снять которую сочла бы изменой и сняла только на третий день по приезде (1922 г.) в Берлин, да и то по горячим просьбам поэта Эренбурга. Ноги в серых валенках, хотя и не мужских, по ноге, в окружении лакированных лодочек, глядели столпами слона. Весь же туалет, в силу именно чудовищности своей, снимал с меня всякое подозрение в нарочитости («ne peut pas qui veut»). Хвалили тонкость тальи, о ремне молчали. Вообще скажу, что в чуждом мне мире профессионалок наркотической поэзии меня встретили с добротой. Женщины, вообще, добрей. Мужчины ни голодных детей, ни валенок не прощают. Та же П-ская, убеждена, тотчас же сняла бы с плеч свои соболя, если бы я ей сказала, что у меня голодает ребенок. Жест? Да. И цельнее жеста Св. Мартина, царственно с высоты коня роняющего нищему половину (о ирония!) плаща. (Самый бездарный, самый мизерный, самый позорный из всех жестов даяния!)

Берёт, соболя, 30-ых годов пробор, Гаврош, мой подрясник (об Адалис особо), — если не прогадал Брюсов, не прогадал и зал.

* * *

Вспомнила, в процессе переписки, еще двух: грузинскую княжну, красивую, с, кажется, неплохими стихами, и некую Сусанну — красавицу — совсем без стихов.

* * *

Эстрада. Эстрада место явное. Явленность же и в самом звуке: «Здравствуй! радуйтесь!» Эстрада: поднятая от земли

площадь, и самочувствие на ней — самочувствие на плацдарме, перед ликом толп, конного. Страсти эстрады — боевые. Уж одно то, что ты фактически — физически — выше всех, создает друзей и врагов. То, что терпимо и даже мило в комнате («нет техники, но есть чувство», «нет размера, но есть чувство», «нет голоса, но есть чувство»), на эстраде — преступно. Превысив — хотя бы на три пяди! — средний уровень паркета, ты этим обязался на три сажени превысить средний (салонный) уровень в твоем искусстве. У эстрады свой масштаб: беспощадный. Место, где нет полумер. Один против всех (первый Скрябин, например), или один за всех (последний Блок, например), в этих двух формулах — формула эстрады. С остальными нужно сидеть дома и увеселять знакомых.

Эстрада Политехнического Музея — не эстрада. Место, откуда читают — дно морей. Выступающий — утопленник (утопающий), на которого давит все людское море, или же жертва, удушенная кольцевыми движениями удава (амфитеатр). Зритель на являемого — наваливается. Голос являемого — глас из глубины морей, вопль о помощи, не победы. Если освистан — конец, ибо даже того, чисто физически встающего утешения нет, что снизу. Освистанный на подмостках проваливается только до среднего уровня (зрителя), освистанный в Политехническом Музее — ниже можного, в тартарары. Тебя освистывает весь человеческий верх, вся идея верха. Эмпиреи, освистывающие Тартар. И не только освистывающие. Притяжение ли бездны, выявление ли чувства власти и легкости, но высота особенно располагает к швырянию предметов. Стадное чувство безнаказанности, единоличное чувство иерархически-топографического превосходства, тут же переходящее в превышение прав. Политехнический Музей — незаменимое место для стадной наглости и убийственное — для авторской робости. Макс Волошин однажды (доклад о Репине) героически с ним совладал.

И, догадалась, эстрада Политехнического Музея — просто арена, с той разницей, что тигры и львы — сверху.

Итак, арена. Мороз. И постепенным повышением взгляда — точно молясь на зрителя! — полуцепи, ожерелья,

лампионные гирлянды — лиц. (Кстати, почему лица, в наш век бескровные, в 1920 же году явно зеленые, с эстрады — неизменно розовые?) Гляжу на поэтесс: синие. Зал — три градуса ниже нуля, ни одна не накинет пальто. Вот он, героизм красоты. По грубоватости гула и сильному запаху голенищ заключаю, что зал молодой и военный.

Пока Брюсов пережидает — так и не наступающую тишину, вчувствовываюсь в мысль, что отсюда, с этого самого места, где стою (посмешищем), со дна того же колодца так недавно еще подымался голос Блока. И как весь зал, задержав дыхание, ждал. И как весь зал, опережая запинку, подсказывал. И как весь зал — отпустив дыхание — взрывался! И эту прорванную плотину — стремнину — лавину — всех к одному, — который один за всех! — любви.

— Товарищи, я начинаю.

Женщина. Любовь. Страсть. Женщина, с начала веков, умела петь только о любви и страсти. Единственная страсть женщины — любовь. Каждая любовь женщины — страсть. Вне любви женщина, в творчестве, ничто. Отнимите у женщины страсть... Женщина... Любовь... Страсть...

Эти три слова, всё в той же последовательности, возвращались через каждые иные три, возвращались жданно и неожиданно, как цифры выскакивают на таксометре мотора, с той разницей, что цифры новые, слова ж всё те ж. Уши мои, уже уставшие от механики, под волосами навострялись. Что до зала, он был безобразен, непрерывностью гула вынуждая лектора к все большей и большей смысловой и звуковой отрывистости. Казалось — зал читает лекцию, которую Брюсов прерывает отдельными выкриками. Стыд во мне вставал двойной: *таким* читать! *такое* читать! *с такими* читать! Тройной.

Итак: женщина: любовь: страсть. Были, конечно, и иные попытки, — поэтесса Ада Негри с ее гуманитарными запросами. Но это исключение и не в счет. (Даю почти дословно.) Лучший пример такой односторонности женского творчества являет собой... являет собой... — Пауза — ...Являет собой... товарищи, вы все знаете... Являет собой известная поэтесса... (с раздраженной мольбой:) — Товарищи, самая известная поэтесса наших дней... Является собой поэтесса...

Я, за его спиной, вполголоса, явственно: — Львова?

Передерг плечей и — почти что выкриком: — Ахматова! Являет собой поэтесса — Анна — Ахматова...

...Будем надеяться, что совершающийся по всему миру и уже совершившийся в России социальный переворот отразится и на женском творчестве. Но пока, утверждаю, он еще не отразился, и женщины все еще пишут о любви и о страсти. О любви и о страсти...

Уши, под волосами, определенно — встали. Торопливо листаю и закладываю спичками черную конторскую книжечку стихов.

— Теперь же, товарищи, вы услышите девять русских поэтесс, может быть, разнящихся в оттенках, но по существу одинаковых, ибо, повторяю, женщина еще не умеет петь ни о чем, кроме любви и страсти. Выступления будут в алфавитном порядке... (Кончил — как оторвал, и, вполоборота, к девяти музам:) — Товарищ Адалис?

Тихий голос Адалис: «Валерий Яковлевич, я не начну». — «Но»... — «Бесполезно, я не начну. Пусть начинает Бэнар». Брюсов, к Бэнар, тихо: «Товарищ Бэнар»? И звонкий гаменовский голосочек: «Товарищ Брюсов, я не хочу первая»... В зале смешки. Брюсов к третьей, к четвертой, ответ, с варьянтами, один: «Не начну». (Варьянты: «боюсь», «невыгодно», «не привыкла первой», «стихи забыла» и пр.). Положение — крайнее. Переговоры длятся. Зал уже грохочет. И я, дождавшись того, чего с первой секунды знала, что дождусь: одной миллиардной миллиметра поворота в мою сторону Брюсова, опережая просьбу, просто и дружески: «В.Я., хотите начну»? Чудесная волчья улыбка (вторая — мне — за жизнь!) и, освобожденным лаем:

— Товарищи, первый выступит (подчеркнутая пауза) *поэт* Цветаева.

Стою, как всегда на эстраде, опустив близорукие глаза к высоко поднятой тетрадке, — спокойная — пережидаю (тотчас же наступающую) тишину. И явственнейшей из дикций, убедительнейшим из голосов:

Кто уцелел — умрет, кто мертв — воспрянет...
И вот потомки, вспомнив старину:

— Где были вы? — Вопрос, как громом, грянет,
Ответ, как громом грянет: на Дону!

— Что делали? — Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон...
И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг напишут слово: Дон.

Секунда пережидания и — рукоплещут. Я, чуть останавливая рукой, — дальше. За Доном — Москва («кремлевские бока» и «Гришка-Вор»), за Москвой — Андрей Шенье («Андрей Шенье взошел на эшафот»), за Андреем Шенье — Ярославна, за Ярославной — Лебединый стан, так (о седьмом особо) семь стихов подряд. Нужно сказать, что после каждого стиха наставала недоуменная секунда тишины (то ли слышу?) и (очевидно, не то!) прорвалась — рукоплещут. Эти рукоплескания меня каждый раз, как Конек-Горбунок — царевича, выносили. Кроме того, подтверждали мое глубочайшее убеждение в том, что с первого раза, да еще с голосу, смысл стихов, вообще, не доходит, — скажу больше: что для большинства в стихах дело вовсе не в смысле, и — не слишком много скажу, — что на вечере поэтесс дело уже вовсе не в стихах. Здесь же, после предисловия Брюсова (пусть не слушали — слышали!) я могла разрешить себе решительно все, — le pavillon (Брюсов с его любовью и страстью) couvre la marchandise (меня, например, с моей Белой Гвардией). Делая такое явное безумие, я преследовала две, нет, три, четыре цели: 1) семь женских стихов без любви и местоимения «я», 2) проверка бессмысленности стихов для публики, 3) перекличка с каким-нибудь одним, понявшим (хоть бы курсантом!), 4) и главная: исполнение здесь, в Москве 1921 г., *долга чести*. И вне целей, бесцельное — пуще целей! — простое и крайнее чувство: — а ну?

Произнося, вернее, собираясь произнести некоторые строки: («Да, ура! За царя! Ура!») я как с горы летела. Не произнесла, но сейчас — уже волей не моей, а стиха — произнесу. Произношу. Неотвратимость.

Стих, оказавшийся последним, был и моей, в тот час, перед красноармейцами — коммунистами — курсантами — моей, жены белого офицера, последней правдой:

Кричали женщины ура
И в воздух чепчики бросали...

Руку на́ сердце положа:
Я не знатная госпожа!
Я — мятежница лбом и чревом.

Каждый встречный, вся площадь — все! —
Подтвердят, что в дурном родстве
Я с своим родословным древом.

Кремль! Черна чернотой твоей!
Но не скрою, что всех мощней
Преценнее мне — пепел Гришки!

Если ж чепчик кидаю вверх, —
Ах! не так же ль кричат на всех
Мировых площадях — мальчишки?!

Да, ура! — За царя! — Ура!
Восхитительные утра
Всех, с начала вселенной, въездов!

Выше башен летит чепец!
Но — минуя литой венец
На челе истукана — к звездам!

* * *

В этом стихе был мой союз с залом, со всеми залами и площадями мира, мое последнее — все розни покрывающее — доверие, взлет всех колпаков — фригийских ли, семейственных ли — поверх всех крепостей и тюрем — я сама — самая я.

— Г-жа Цветаева, достаточно, — повелительно-просящий шепот Брюсова. Вполоборота Брюсову: «Более чем», поклон залу — и в сторонку, давая дорогу —

— Сейчас выступит товарищ Адалис.

* * *

Товарищу Адалис в тот вечер, точнее в тот месяц ее жизни, выступать совсем не следовало, и выступление ее, как вся-

кое пренебрежение возможными, неминуемыми усмешками — героизм. Усмешки были, были и, явственно, смешки. Но голос, как всегда (а есть он не всегда), сделал свое: зал втянулся, вслушался. (Не в голосовых средствах дело: «on a toujours assez de voix pour être entendu».) А — Адалис, Б — Бэнар. Стихи Бэнар, помню, показались мне ультрасовременными, с злободневной дешевкой: мир — мы, мгла — глаз, туч — стучу, рифмовкой искусственной, зрительной, ничего не дающей слуху и звучащей только у (впервые ее введшей) Ахматовой — у которой все звучит. Темы и сравнения из мира железобетонного, острота звуков без остроты смыслов, не думаю, чтобы ценные — уж очень современные! — стихи. Бэнар, кивком откланявшись, устранилась.

На смену Бэнар — элегическое появление Мальвины. У нее был альбом, и поэты вписывали в него стихи, — не какие-нибудь, и не какое-нибудь, — мне посчастливилось открыть его на изысканно-простом посвящении Вячеслава. («Вячеслав» не из короткости с поэтом и не из заглазной фамильярности, — из той же ненужности этому имени фамилии, по которой фамилия Бальмонт обходится без имени. Вячеслав покрывает Иванова, как Бальмонт Константина. Иванов вслед за Вячеславом — то же, что Романов вслед за монархом — революционный протокол.) Итак, перед входящим во вкус залом элегическая ручьевая ивовая Мальвина. — О чем? — О ручьях и об ивах, кажется, о беспредметной тоске весны. (Брюсов, Брюсов, где же пресловутые любовь и страсть? Я — Белую Гвардию, Адалис — описательное, Бэнар — машины, Мальвина — ручейки (причем все, кроме меня, неумышленно!). Уж не есть ли ты сам — та женщина в единственном числе, и не придется ли тебе, во оправдание слов твоих, выступать после девяти муз — десятой?)

Стихов лихорадочной меховой красавицы мне услышать не довелось — не думаю, чтобы кокаин располагал к любовному — дослушав воркование мальвининых струй, пошла проведать тотчас же по выступлении исчезнувшую Адалис. Когда я вошла, товарищ Адалис лежала на скамейке, с востриа лакированной туфельки по вострие подбородка укутанная в подобие шубы. Вид был дроглый и невеселый.

Ну, как? — Всё читают. — А В. Я.? — Слушает. — А зал? — Смотрит. — Позор? — Смотрины.

Закурили. Зубы тов. Адалис лязгали. И внезапно, сбрасывая шубу: Вы знаете, Ц-ва, мне кажется, что у меня начинается. — Воображение. — Говорю вам, что у меня начинается. — А я говорю, что кажется. — Откуда вы знаете? — Слишком эффектно: вечер поэтесс — и... Вроде папессы Жанны. Это бывает в истории, в жизни так не бывает. — Смеемся. И через минуту Адалис певуче: «Ц-ва, я не знаю, начинается или нет, но можете вы мне оказать большую услугу?» — Я, что-то чуя — Да! — Так подите скажите В. Я.), что я его зову — срочно. — Прервав чтение? — Это уж — как хотите. — Адалис, он рассвирепеет. — Не посмеет, он вас боится, особенно после сегодняшнего. — Это ваше серьезное желание? — Sérieux comme la mort.

Вхожу в перерыв рукоплеска собольехвостой, отзываю в сторону Брюсова и, тихо и внятно, глаза в глаза: «Товарищ Брюсов, товарищ Адалис просит передать вам, что у нее, кажется, начинается». Брюсов, бровями: — ? — «Что — не знаю, передаю, как сказано, просит немедленно зайти: срочно».

Брюсов отрывисто выходит, вслед не иду, слушаю следующую, одну из тех, что испарились. (Кстати, нерусскость имен и фамилий: Адалис, Бэнар, Сусанна, Мальвина, полька Поплавская, грузинская княжна на «или» или «идзе». Нерусскость, на этот раз совпавшая с неорганичностью поэзии. Совпадение далеко не заведомое: Мандельштам, например, не только русский, но определенной российской поэтической традиции — поэт. Державиным я в 1916 г. его окрестила первая:

Что Вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!

И тот же Брюсов, купеческий сын, москвич, ни Москвы, ни России ни краем не отразивший. Национальность не ничто, но не всё.)

Через четыре четверостишия явление Брюсова, на этот раз он — ко мне. — Г-жа Цветаева, товарищ Адалис просит вас зайти... — тоже тихо и внятно, тоже глаза в глаза. Вхожу: Адалис перед зеркалом пудрит нос. — Это ужасный человек, ни-

чему не верит. – Я: – Особенно, если каждый день «начинается». Адалис, капризно: – Почему я знаю? Ведь может же, ведь начнется же когда-нибудь!.. Я его посылаю за извозчиком – не идет: «Мое место на эстраде». А мое – над. – Давайте, схожу? – Цветаева, миленькая, но у меня ни копейки на извозчика, и мне, действительно, скверно. – Взять у Брюсова? Она испуганно: Нет, нет, сохрани Бог!

Вытрясаем, обе, содержание наших кошельков, – безнадежно, не хватит и на четверть извозчика.

Вдруг – порыв ветра, надушенного, многоречивого и тревожного. Это собольехвостая влетает, в сопровождении молодого человека в куртке и шапке с ушами. Жемчуга на струнной шее гремят, соболиные хвосты летят, летят и оленьи уши: «Je vous assure, je vous assure, je vous jure...». Чистейшая французская речь с ее несравненным – в горле или в нёбе? нет, в веках и в крови гнездящимся – жемчужным, всю славянскую душу переворачивающим – эр. «Mais ce que je voudrais bien savoir, Madame, это уши задыхаются, – si c'est Vous ou Votre mari qui m'avez vendu?» Как слепые, как одержимые, не слышат, не видят. Молодой человек в последней степени неистовства, женщина сдерживается, только пристук лака о бетон. (Была бы змея, стучал бы самый хвостик.) «Это М, – уже забыв об извозчике, нашептывает мне в ухо Адалис, – она – баронесса, недавно вышла замуж за барона, а молодой человек...»

Молодой человек и женщина уже говорят одновременно, не слушая, не отвечая, не прерывая, – сплошные рулады р, каждый одно, каждый свое: – «Je Vous assure, je Vous assure, je Vous jure...» – «Je le saurai, Madame!» Частят слова: «Tchéka, fusillé, perquisition». Жемчуга в крайней опасности: вот-вот оборвет, посыплются, раскатятся теми же россыпями горловых рулад: «Je Vous assure, je Vous assure, je...»

Глаза у героини светлые, невидящие, превышающие собеседника и жизнь. На лунатическом лице только рот один живет, не смыкающийся, неустанно выбрасывающий рулады, каскады, мириады р. От этих р у меня уже глаза смыкаются, сонная одурь, как от тысячи грохочущих ручьев. Сцена из романа? Да. Из бульварного? Да. Равна бульвару по кровавости только застава. Но положение изменилось, теперь уже женщина наступает, настигает, швыряет в лицо оскорбление за оскорблением, а мужчина весь сжался, как собственные уши под меховыми, сполз, ссохся – совсем на нет – нет! Загнала собольехвостая – оленьеушего!

* * *

– А черт бы ее взял – женскую поэзию! Никакого сбора! Одни курсанты да экскурсанты. Говорыл я В. Я-чу, а он: «женская лырыка, женская лырыка...» Вот тебе и лырыка, – помещение да освещение!

Это физический импресарио вошел, устроитель вечера, восточный, на «идзе». (Ему, кстати, принадлежит всю Москву облетевшая тогда оценка ныне покойного писателя Гершензона, после одного, убыточного для него, идзе, выступления последнего: «Как мог я думать, что Союз Писателей выпустит такого дурака?!»)

Я:

– При Людовике XIV поэт Жильбер от лирики с ума сошел и ключ от рукописей проглотил, в XVIII в. англичанин Чэттертон – уже не помню, что – но от нее же, Андрей Шенье – голову обронил. Вредная вещь лирика. Радуйтесь, что так дешево отделались.

– Это вы про господ поэтов говорите, – их дело, что такую профессию выбирают, – ну а я, госпожа поэтесса, при чем?

– Возле лирики околачиваетесь. Нажить – с лирики!

– И напрасно думаете! Кто, вы думаете, устраивал вечер Игоря Северянина? Ваш покорный слуга. И отлично на этом Игоре заработал, и он в обиде не остался. Дело не в поэзии, а в...

– В бабах. Вот Вам и мораль: не связывайся с бабой, – всегда на бобах.

– Вам, госпожа поэтесса, смешно...

– Смешно. Женские души продавать! Вроде Чичикова! Вы бы телами занялись!

«Идзе», не слушая:

– Получите свой гонорар и (внезапно прерывая:) Что там за катастрофа?

Выбегаем всé: импресарио, враждующие любовники, N, Адалис, я. Плотина прорвалась. Потолок не выдержал? Политехнический Музей возомнил себя Везувием? Или Москва проваливается — за грехи?

На эстраде, с милейшей, явнейшей, малиновейшей из улыбок — красный берет!

Легкое отступление. Рукоплескали нам всем, Адалис, Бэнар, поэтессе в жемчугах, Мальвине, мне — приблизительно равно: в пределах вполне удовлетворенного любопытства. Это же, это же был — успех. (Успех наперед и в кредит, ибо не успела произнести еще ни слова, но — разве дело в словах?)

И вот, все еще безмолвное, постепенное, как солнце всходит, освещая гряду за грядой, ознакомление красного берета с амфитеатром. Должно быть, кого-то узнала в первом ряду — кивок первому ряду, и в третьем, должно быть, тоже узнала, потому что и в третий кивок, и в пятый, и в пятнадцатый, и всем разные, всем отдельные, не вообще — кивок, — кивок лукавый, кивок короткий, кивок с внезапным перебросом берета с уха на ухо, кивок поверхностный, кивок памятливый... Как она была прелестна, как проста в своей радости, как скромна в своем триумфе. Рукоплесканья упорствовали, зал, не довольствуясь приветствием рук, уже пустил в ход ноги, — скоро предметы начнут швырять! А улыбка ширилась, уходила в безбрежность, переходила границы возможности и губ, малиновый берет заламывался все глубже и глубже, совсем в поднебесье, в рай, в раёк. И — странно: зал не тяготился ожиданием, зал не торопил событий, зал не торопил, зал не хотел стихов, зал был счастлив — та́к.

— Товарищ Х, начинайте! — Но товарищ — берéт не слышит, у него своя давность с залом. — Да начинайте же, товарищ Х! — В голосе Брюсова почти раздражение. И, естественно, из всей фата-морганы, видеть только спину да макушку заломленного берета!

По соседству возглас «идзе»:

— Вот бы ее — одну выпустить! Такая вечера не провалит!

* * *

Стихи? Да были ли? Не помню ни слов, ни смыслов. И смыслы и слова растворялись, терялись, растекались в улыбке, малиновой и широкой, как заря. Да будь она хоть гением в женском естестве, больше о нем, чем этой улыбкой своей, она бы не сказала. Это не было улыбающееся лицо — их много, они забываются, это не был рот — он в улыбке терялся, ничего не было, кроме улыбки: непрерывной раздвигаемости — губ, уже смытых ею! Улыбка — и ничего кроме, раствор мира в улыбке, сама улыбка: улыбка. И если спросят меня о земле — на другой планете — что́ я там видела, что запомнила там, перебрав и отбросив многое — улыбнусь.

Но, с планеты на эстраду. Это выступление было решительным торжеством красного, не флагового кровавого товарищеского, но с поправкой на женское (цвет лица, масть, туалет), красного не площадного — уличного, боевого — но женски-боевого.

Та́к, если не в творчестве, то хоть в личности поэтессы, Брюсов в своих утверждениях касательно истоков женского творчества утвержден — был.

* * *

Выступление красного берета затягивается. Сидим с неугомонной Адалис в бетонной каморке, ждем судьбы (деньги).

— Заплатят или нет? — Заплатят, но вот — сколько. Обещали по тридцати. — Значит по десяти. — Значит по три.

Новый звуковой обвал Вавилонской башни, — очевидно. Берет покидает пост. Вавилон валится, валится, валится... Крики, проникающие даже и в наш бетонный гроб:

— Красный дьявол! Красный дья-авол! Дья-а-вола!

Я к Адалис, испуганно: «Неужели это ее они так?» Та, смеясь: — «Да нет, это у нее стихи такие, прощание с публикой, коронный номер. Кончит — и конец. Идемте».

* * *

Застаем последний взмах малинового берета. Всé эффекты к концу! И еще один взмах (эффект) непредвиденный —

широкий жест, коим поэтесса, проходя, во мгновение и на мгновение ока — чистосердечно, от избытка чувств — запахивает Брюсова в свою веселую полосатую широкошумную гостеприимную юбку.

Этот предельный жест кладет и предел вечеру. На эстраде, опоясанный девятью Музами — скашиваю для лада и склада одну из нас — «восемь девок, один я». Последние, уже животным воем, вызовы, ответные укороченные предстоящими верстами домой, поклоны, гром виноградной гроздью осыпающегося, расходящегося амфитеатра, барьер снят, зал к барьеру, эстрада в зал.

* * *

Итог дня: не тридцать, не десять, но и не три — девять. И цепкая ручка ивовой ручьёвой Мальвины, въевшаяся в стальную мою. Ножки 30-х годов, ошибившись столетием, не дождавшись кареты, не справляются с советской гололедицей, и приходится мне, за отсутствием более приятной опоры, направлять их по тротуарным глетчерам начала февраля Москвы 1921 года.

* * *

Вот и вся достоверность моих встреч с Брюсовым. — И только-то? — Да, жизнь меня достоверностями вообще не задаривает. Блока — два раза. Кузмина — раз, Сологуба — раз. Пастернака — много — пять, столько же — Маяковского, Ахматову — никогда, Гумилева — *никогда.*

С Вячеславом одна настоящая беседа за жизнь. (Были и везения, но перед горечью всего невзятого...)

Больших я в жизни всегда обходила, *окружала,* как планета планету. Прибавлять к их житейской и душевной обремененности еще гору своей любви? Ибо, если не для любви — для чего же встречаться? На другое есть книги. И если не гора (беру во всех ее измерениях) — то какая же любовь? В этой смеси бережения и гордости, в этом естественнейшем шаге назад при виде величия — разгадка к многим (не

только моим, вообще людским, поэтому упоминаю) разминовениям.

Беречь себя? От того, для чего в мир пришел? Нет, в моем словаре «бережение» всегда — другого.

А, может быть, так и нужно — дальше. Дальше видеть, чтоб больше видеть, чтоб бóльшим видеть. И моя доля — дали между мной и солнцами — благая.

Так, на вопрос: и только-то? мой ответ: «да — но как!»

* * *

И обращаясь к наиполярнейшему из солнц, мне полярному солнцу — Брюсову, вижу. Брюсова я могла бы любить, если не как всякого другого поэта — Брюсов не в поэзии, а в воле к ней был явлен — то как всякую другую *силу.* И, окончательно вслушавшись, доказываю: Брюсова я под искренним видом ненависти просто любила, только в этом виде любви (оттолкновении) сильнее, чем любила бы его в ее простейшем виде — притяжении.

Брюсов же этого, тугой нá сердце, не расслышал и чистосердечно не выносил сначала «девчонки», потом — «женщины», весь смысл и назначение которой — утверждаю — в любви, а не в ненависти, в гимне, а не в эпиграмме.

Если Брюсов это, с высот ли низкого своего римского неба, из глубин ли готической своей высокой преисподни слышит, я с меньшей болью буду слышать звук его имени.

IV
Брюсов и Бальмонт

Но я не размышляю над стихом
И, правда, никогда не сочиняю!

Бальмонт

И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.

Брюсов

Бальмонт и Брюсов. Об этом бы целую книгу, — поэма уже написана: Моцарт, Сальери.

Обращено ли, кстати, внимание хотя бы одним критиком на упорное главенство буквы Б в поколении так называемых символистов? – Бальмонт, Брюсов, Белый, Блок, Балтрушайтис.

Бальмонт, Брюсов. Росшие в те годы никогда не называли одного из них, не назвав (хотя бы мысленно) другого. Были и другие поэты, не меньшие, их называли поодиночке. На этих же двух – как сговорились. Эти имена ходили в паре.

Парные имена не новость: Гёте и Шиллер, Байрон и Шелли, Пушкин и Лермонтов. Братственность двух сил, двух вершин. И в этой парности тайны никакой. Но «Бальмонт и Брюсов» – в чем тайна?

В полярности этих двух имен – дарований – темпераментов, в предельной выявленности, в каждом, одного из двух основных родов творчества, в самой собой встающей сопоставляемости, во *взаимоисключаемости* их.

Всё, что не Бальмонт – Брюсов, и всё, что не Брюсов – Бальмонт.

Не два имени – два лагеря, две особи, две расы.

* * *

Бальмонт[1]. Брюсов. Только прислушаться к звуку имен. Бальмонт: открытость, настежь – распахнутость. Брюсов: сжатость (ю – полугласная, вроде его, мне, тогда закрытки), скупость, самость в себе.

В Брюсове тесно, в Бальмонте – просторно.

Брюсов глухо, Бальмонт: звонко.

Бальмонт: раскрытая ладонь – швыряющая, в Брюсове – скрип ключа.

* * *

Бальмонт. Брюсов. Царствовали, тогда, оба. В мирах иных, как видите, двоевластие, обратно миру нашему, возможно. Больше скажу: единственная примета принадлежности вещи к миру иному ее невозможность – нестерпимость – недопустимость – здесь. Бальмонто-Брюсовское же двоевластие являет нам неслыханный и немыслимый в истории пример благого двоевластия не только не друзей – врагов. Как видите; учиться можно не только на *стихах* поэтов.

1 Прошу читателя, согласно носителю, произносить с ударением на конце.

* * *

Бальмонт. Брюсов. Два полюса творчества. Творец-ребенок (Бальмонт) и творец-рабочий (Брюсов). (Ребенок, как der Spieler, игрун.) Ничего от рабочего – Бальмонт, ничего от ребенка – Брюсов. Творчество игры и творчество жилы. Почти что басня «Стрекоза и муравей», да в 1919 г. она и осуществилась, с той разницей, что стрекоза моей басни и тогда, умирая с голоду, *жалела* муравья.

Сохрани Боже нас, пишущих, от хулы на ремесло. К одной строке словесно-неровного Интернационала да никто не будет глух. Но еще более сохранят нас боги от брюсовских институтов, короче: ремесло да станет вдохновением, а не вдохновение ремеслом.

Плюсы обоих полюсов ясны. Рассмотрим минусы. Творчество ребенка. Его минус – случайность, непроизвольность, «как рука пойдет». Творчество рабочего. Его минус – отсутствие случайности, непроизвольности, «как рука пойдет», то есть: минус второго – отсутствие минуса первого. Бальмонт и Брюсов точно поделили меж собой поговорку: «На Бога надейся» (Бальмонт), «а сам не плошай» (Брюсов). Бальмонт не зря надеялся, а Брюсов в своем «не плошании» – не сплоховал. Оговорюсь: говоря о творческой игре Бальмонта, этим вовсе не говорю, что он над творением своим не работал. Без работы и ребенок не возведет своей песочной крепости. Но тайна работы и ребенка и Бальмонта в ее (работы) скрытости от них, в их и неподозревании о ней. Гора щебня, кирпичей, глины. – Работаешь? – Нет, играю. Процесс работы скрыт в игре. Пот превращен в упоение.

* * *

Труд-благословение (Бальмонт) и труд-проклятие (Брюсов). Труд Бога в раю (Бальмонт, невинность), труд человека на земле (Брюсов, виновность).

Никто не назовет Бальмонта виновным и Брюсова невинным, Бальмонта ведающим и Брюсова неведающим. Бальмонт — ненасытимость всеми яблоками, кроме добра и зла, Брюсов — оскомина от всех, кроме змиева. Для Бальмонта — змея, для Брюсова — змий. Бальмонт змеей любуется, Брюсов у змия учится. И пусть Бальмонт хоть в десяти тысячах строк воспевает змия, в родстве с ним не он, а Брюсов.

* * *

Брюсов греховен насквозь. От этого чувства греховности его никак не отделаться. И поскольку чтение соучастие, чтение Брюсова — сопреступленчество. Грешен, потому что знает, знает, потому что грешен. Необычайно ощутимый в нем грех (прах). И тяжесть стиха его — тяжесть греха (праха).

При отсутствии аскетизма — полное чувство греховности мира и себя. Грех без радости, без гордости, без горечи, без выхода. Грех, как обычное состояние. Грех — пребывание. Грех — тупик. И — может быть, худшее в грехе — *скука* греха. (Таких в ад не берут, не жгут.)

Грех — любовь, грех — радость, грех — красота, грех — материнство. Только припомнить омерзительное стихотворение его «Девушкам», открывающееся:

Я видел женщину. Кривясь от мук,
Она бесстыдно открывала тело,
И каждый стон ее был дикий звук...

и кончающееся:

О девушки! о мотыльки на воле!
Вас на балу звенящий вальс влечет,
Вы в нашей жизни, как цветы магнолий...
Но каждая узнает свой черед
И будет, корчась, припадать на ложе...
Всé станете зверями! тоже! тоже!

Это о материнстве, *смывающем* всё!

К Брюсову, как ни к кому другому, пристало слово «блудник». Унылое и безысходное, как вой волка на большой дороге. И, озарение: ведь блудник-то среди зверей — волк!

* * *

Бальмонт — бражник. Брюсов — блудник.

Веселье бражничества — Бальмонт. Уныние блуда — Брюсов.

И не чаро-дей он, а блудо-дей.

* * *

Но, возвращаясь к работе его, очищению его:

Труд Бога в раю (Бальмонт) и труд человека на земле (Брюсов). Восхищаясь первым, преклонимся перед вторым.

* * *

Да, как дети играют и как соловьи поют — упоенно! Брюсов же — в природе подобия не подберешь, хотя и напрашивался дятел, как каменщик молотит — сведенно. Счастье повиновенья (Бальмонт). Счастье преодоленья (Брюсов). Счастье отдачи (Бальмонт). Счастье захвата (Брюсов). По течению собственного дара — Бальмонт. Против течения собственной неодаренности — Брюсов.

(Ошибочность последнего уподобления. Неодаренность, отсутствие, не может быть течением, наличностью. Кроме того, само понятие неодаренности в явном несоответствии с понятием текучести. Неодаренность: стена, предел, косность. Косное не может течь. Скорей уж — лбом об стену собственной неодаренности: Брюсов. Ошибку оставляю, как полезную для читающих и пишущих.)

И, формулой: Бальмонт, как ребенок, и работая — играет, Брюсов, как гувернёр, и играя — работает. (Тягостность его рондо, ронделей, ритурнелей, — всех поэтических игр пера.)

Брюсов: заведомо-исключенный экспромт.

* * *

Победоносность Бальмонта — победоносность восходящего солнца: «есмь и тем побеждаю», победоносность Брюсова — в природе подобия не подберешь — победоносность воина, в целях своих и волей своей, останавливающего солнце.

Как фигуры (вне поэтической оценки) одна сто́ит другой.

* * *

Бальмонт. Брюсов. Их единственная связь — чужестранность. Поколением правили два чужеземных царя. Не время вдаваться, дам вехи (пусть *пашет* — читатель!). После «наируссейшего» Чехова и наи-русско-интеллигентнейшего Надсона (упаси Боже — приравнивать! в соцарствовании их повинно поколение) — после настроений — нестроений — расслоений — после задушенностей — задушевностей — вдруг — «Будем как солнце!» Бальмонт, «Риму и Миру» — Брюсов.

Нет, не русский Бальмонт, вопреки Владимирской губернии, «есть в русской природе усталая нежность» (определение, именно точностью своей выдающее иностранца), русским заговорам и ворожбам, всей убедительности тем и чувств, — нерусский Бальмонт, заморский Бальмонт. В русской сказке Бальмонт не Иван-Царевич, а заморский гость, рассыпающий перед царской дочерью все дары жары и морей. Не последнее лицо в сказке — заморский гость! Но — спрашиваю, а не утверждаю — не есть ли сама нерусскость Бальмонта — примета именно русскости его? До-российская, сказочная, былинная тоска Руси — по морю, по заморью. Тяга Руси — из Руси вон. И, вслушиваясь, — нет. Тогда его тоска говорила бы по-русски. У меня же всегда чувство, что Бальмонт говорит на каком-то иностранном языке, каком не знаю, — бальмонтовском.

Здесь мы сталкиваемся с тайной. Органическая поэзия на неорганическом языке. Ибо, утверждаю, язык Бальмонта, в смысле народности, неорганичен. Как сильна, должно

быть, органичность внутренняя и личная (единоличная), чтобы вопреки неорганичности словесной — словами же — доходить! О нем бы я сказала как один преподаватель в Парижском Alliance française в ответ на одну мою французскую поэму: «Vous êtes sûrement poète dans Votre langue».

Бальмонт, родившись, открыл четвертое измерение: Бальмонт! пятую стихию: Бальмонт! шестое чувство и шестую часть света: Бальмонт! В них он и жил.

Его любовь к России — влюбленность чужестранца. Национальным поэтом, при всей любви к нему, его никак не назовешь. Беспоследственным (разовым) новатором русской речи — да. Хочется сказать: Бальмонт — явление, но не в России. Поэт в мире поэзии, а не в стране. Воздух — в воздухе.

Нация — в плоти, бесплотным национальный поэт быть не может (просто-поэт — да). А Бальмонт, громозди хоть он Гималаи на Анды и слонов на ихтиозавров — всегда — заведомо — пленительно невесом.

Я вселенной гость,
Мне повсюду пир...

Порок или преимущество? Страна больше, чем дом, земля больше, чем страна, вселенная больше, чем земля. Не-русскость (русскость, как составное) и русскость Бальмонта — вселенскость его. Не в России родился, а в мире. Только в единственном русском поэтическом гении — Пушкине (гений, второй после диапазона, вопрос равновесия и — действия сил. Вне упомянутого Лермонтов не меньше Пушкина) — итак, только в Пушкине мир не пошел в ущерб дому (и обратно). В Бальмонте же одолел — мир. Зачарованный странник никогда не вернулся домой, в дом, из которого ушел — как только в мир вошел! Всé его возвраты домой — налеты. Говоря «Бальмонт», мы говорим: вода, ветер, солнце. (Меньше или больше России?) Говоря «Бальмонт», мы (географически и грубо) говорим: Таити — Цейлон — Сиерра и, может быть, больше всего: Атлантида, и, может быть, меньше всего — Россия. «Москва» его — тоска его. Тоска по тому, чем не быть, где не жить. Недосягаемая мечта чужестранца. И, в конце концов, каждый вправе выбирать себе родину.

* * *

Пушкин — Бальмонт — непосредственной связи нет. Пушкин — Блок — прямая. (Неслучайность последнего стихотворения Блока, посвященного Пушкину.) Не о внутреннем родстве Пушкина и Блока говорю, а о роднящей их одинаковости нашей любви.

Тебя, как первую любовь,
России сердце не забудет...

Это — после Пушкина — вся Россия могла сказать только Блоку. Дело не в даре — и у Бальмонта дар, дело не в смерти — и Гумилев погиб, дело в воплощенной тоске — мечте — беде — не целого поколения (ужасающий пример Надсона), а целой пятой стихии — России. (Меньше или больше, чем мир?)

Линия Пушкин — Блок минует остров Бальмонта. И, соединяющее и заморскость, и океанскость, и райскость, и неприкрепленность Бальмонта: *плавучий остров*! — наконец, слово есть.

* * *

Где же поэтическое родство Бальмонта? В мире. Брат тем, кого переводил и любил.

* * *

Как сам Бальмонт — тоска Руси по заморью, так и наша любовь к нему — тоска той же по тому же.

* * *

Неспособность ни Бальмонта, ни Брюсова на русскую песню. Для того, чтобы поэт сложил народную песню, нужно, чтобы народ вселился в поэта. Народная песня: не отказ, а органическое совпадение, сращение, созвучие данного «я» с народным. (В современности, утверждаю, не Есенин, а Блок.) Для народной песни Бальмонт — слишком Бальмонт, пусть последним слогом последнего слова — он ее обальмонтит!.. Неспособность не по недостатку органичности (сплошь органичен!) — по своеобразию этого организма.

О Брюсове же и русской песне... Если Бальмонт — слишком Бальмонт, то Брюсов — никак не народ[1].

* * *

(Соблазнительное сопоставление Бальмонта и Гумилева. Экзотика одного и экзотика другого. Наличность у Бальмонта и, за редкими исключениями, отсутствие у Гумилева темы «Россия». Нерусскость Бальмонта и целиком русскость Гумилева.)

* * *

Так и останется Бальмонт в русской поэзии — заморским гостем, задарившим, заговорившим, заворожившим ее — с налету — и так же канувшим.

Бальмонт о Брюсове.

12-го русского июня 1920 г. уезжал из Б. Николо-Песковского переулка на грузовике за границу Бальмонт. Есть у меня об этом отъезде — отлете! — отдельная запись, ограничусь двумя возгласами, предпоследним — имажинисту Кусикову: «С Брюсовым не дружите!» — и последним, с уже отъезжающего грузовика — мне:

— А вы, Марина, передайте Валерию Брюсову, что я ему *не* кланяюсь!

* * *

(Не-поклона — Брюсов сильно седел — не передала.)

* * *

Запало еще одно словечко Бальмонта о Брюсове. Мы возвращались домой, уже не помню с чего, советского увеселения ли, мытарства ли. (С Бальмонтом мы, игрой случая, ча-

1 Язык Бальмонта, для русского, слишком личен (единоличен). Язык Брюсова, для русского, слишком общ (национально-безличен).

ще делили тягости, нежели радости жизни, может быть, для того, чтобы превратить их в радость?)

Говорим о Брюсове, о его «летучих альманахах» (иначе: вечерах экспромтов). Об Институте брюсовской поэзии (иначе: закрытом распределителе ее), о всечасных выступлениях (с кем!) и вступлениях (к чему!) — я — да простит мне Бальмонт первое место, но этого требует ход фразы, я — о трагичности таких унижений, Бальмонт — о низости такой трагедии. Предпосылки не помню, но явственно звучит в моих ушах возглас: — Поэтому я ему не прощаю! — Ты потому ему не прощаешь, что принимаешь его за человека, а пойми, что он волк — бедный, лезущий, седеющий волк.

— Волк не только жалок: он гнусен!

Нужно знать золотое сердце Бальмонта, чтобы оценить, в его устах, такой возглас.

* * *

Бальмонт, узнав о выпуске Брюсовым полного собрания сочинений с примечаниями и библиографией:

— Брюсов вообразил, что он классик и что он помер.

* * *

Я — Бальмонту:

— Бальмонт, знаешь слово Койранского о Брюсове? «Брюсов образец преодоленной бездарности».

Бальмонт, молниеносно:

— Непреодоленной!

* * *

Заключение напрашивается.

Если Брюсов образец непреодоленной без-дарности (то есть необретения в себе, никаким трудом, «рожденна, не сотворена» — дара), то Бальмонт — пример непреодоленного дара.

Брюсов демона не вызвал.

Бальмонт с ним не совладал.

V

Последние слова

Как Брюсов сразу умер, и привыкать не пришлось. Я не знаю, отчего умер Брюсов. И не странно, что и не попыталась узнать. В человеческий конец жизни, не в человеческом проведенной, заглядывать — грубость. Посмертное насилие, дозволенное только репортерам.

Хочу думать, что без борения отошел. Завоеватели умирают тихо.

Знаю только, что смерть эта никого не удивила — не огорчила — не смягчила. Пословица «de mortuis aut bene aut nihil» поверхностна, или люди, ее создавшие, не чета нам. Пословица «de mortuis aut bene aut nihil» создана Римом, а не Россией. У нас наоборот, раз умер — прав, раз умер — свят, обратно римскому предостережению — русское утверждение: «лежачего не бьют». (А кто тише и ниже лежит — мертвого?) Бесчеловечность, с которой нами, русскими, там и здесь, встречена эта смерть, только доказательство нечеловечности этого человека.

* * *

Не время и не место о Блоке, но: в лице Блока вся наша человечность оплакивала его, в лице Брюсова — оплакивать — и останавливаюсь, сраженная несоответствием собственного имени и глагола. Брюсова можно жалеть двумя жалостями: 1) как сломанный перворазрядный мозговой механизм (не его, о нем), 2) как волка. Жалостью-досадой и жалостью-растравой, то есть двумя составными чувствами, не дающими простого одного.

Этого простого одного: любви со всеми ее включаемыми, Брюсов не искал и не снискал.

Смерть Блока — громовой удар по сердцу; смерть Брюсова — тишина от внезапно остановившегося станка.

* * *

Часто сталкиваешься с обвинениями Брюсова в продаже пера советской власти. А я скажу, что из всех перешедших

или перешедших-полу, Брюсов, может быть, единственный не предал и не продал. Место Брюсова – именно в С.С.С.Р.

Какой строй и какое миросозерцание могли более соответствовать этому герою труда и воли, нежели миросозерцание, волю краеугольным камнем своим поставившее, и строй, не только бросивший – в гимне – лозунг:

«Владыкой мира станет труд»,

но как Бонапарт – орден героев чести, основавший – орден героев труда.

А вспомнить отвлеченность Брюсова, его страсть к схематизации, к механизации, к систематизации, к стабилизации, вспомнить – так задолго до большевизма – его утопию «Город будущего». Его исконную арелигиозность, наконец. Нет, нет и нет. Служение Брюсова коммунистической идее не подневольное: полюбовное, Брюсову в СССР, как студенту на картине Репина – «какой простор!». (Ширь – его узостям, теснотам его – простор.) Просто: своя своих познаша.

И не Маяковский, с его булыжными, явно-российскими громами, не Есенин, если не «последний певец деревни», то – не последний ее певец, и уж, конечно, не Борис Пастернак, новатор, но в царстве Духа, останутся показательными для новой, насильственной на Руси, бездушной коммунистической души, которой так страшился Блок. Все вышепоименованные выше (а может быть – шире, а может быть – глубже) коммунистической идеи. Брюсов один ей – бровь в бровь, ровь в ровь.

* * *

(Говорю о коммунистической идее, не о большевизме. Большевиков у нас в поэзии достаточно, то же – не знаю их политических убеждений – Маяковский и Есенин. Большевизм и коммунизм. Здесь, более чем где-либо, нужно смотреть в корень (больш – comm –). Смысловая и племенная разность корней, определяющая разницу понятий. Из второго уже вышел III Интернационал, из первого, быть может, еще выйдет национал-Россия.)

И окажись Брюсов, как слух о том прошел, по посмертным бумагам своим не только не-коммунистом, а распромонархистом, монархизм и контрреволюционность его – бумажные. От контр, от революционера в революции – монархиста – в Брюсове не было ничего. Как истый властолюбец, он охотно и сразу подчинился строю, который в той или иной области обещал ему *власть*. (На какой-то точке бонапартизм с идеальным коммунизмом сходятся: «la carrière, ouverte aux talents» – Наполеон.) «Брюсовский Институт» в царстве Смольных и Екатерининских – более чем гадателен. Коммунизм же, царство спецов, с его принципом использования всего и вся, его (Брюсовский Институт) оценил и осуществил.

Коммунистичность Брюсова и анархичность Бальмонта. Плебеистичность Брюсова и аристократичность Бальмонта (Брюсов, как Бонапарт – плебей, а не демократ). Царственность (островитянская) Бальмонта и цезаризм Брюсова.

Бальмонт, как истый революционер, час спустя революции, в первый час stabilité ее, оказался *против*. Брюсов, тот же час спустя и по той же причине оказался – *за*.

Здесь, как во всем, кроме чужестранности, еще раз друг друга исключили.

Бальмонт – если не монархист, то по революционности природы.

Брюсов – если монархист, то по личной обойденности коммунистами.

Монархизм Брюсова – аракчеевские поселения. Монархизм Бальмонта – людвиго-вагнеровский дворец.

Бальмонт – ненависть к коммунизму, затем к коммунистам.

Брюсов – возможность ненависти к коммунистам, никогда – к коммунизму.

Бюрократ-коммунист – Брюсов.

Революционер-монархист – Бальмонт.

* * *

Революции делаются Бальмонтами и держатся Брюсовыми.

* * *

(Первая примета страсти к власти — охотное подчинение ей. Чтение самой идеи власти, ранга. Властолюбцы не бывают революционерами, как революционеры, в большинстве, не бывают властолюбцами. Марат, Сен-Жюст, по горло в крови, от корысти чисты. Пусть личные страсти, дело их — надличное. Только в чистоте мечты та устрашающая сила, обрекающая им сердца толп и ум единиц. «Во имя мое», несмотря на все чудовищное превышение прав, не скажет Марат, как «во имя твое», несмотря на всю жертвенность служения идее власти, не скажет Бонапарт. Сражающая сила «во имя твое».

У молодого Бонапарта отвращение к революции. Глядя с высоты какого-то этажа на казнь Людовика XVI, он не из мягкосердечия восклицает: «Et dire qu'il ne faudrait que deux compagnies pour balayer toute cette canaille-lá»[1].

Орудие властолюбца — правильная война. Революция лишь как крайнее и *не* этически-отвратительное средство. Посему, властолюбцы менее страшны государству, нежели мечтатели. Только суметь использовать. В крайнем же случае — властолюбия нечеловеческого, бонапартовского — новая власть. Идея государственности в руках властолюбца — в хороших руках.

Я бы на месте коммунистов, несмотря ни на какие посмертные бумажные откровения, сопричислила Брюсова к лику уже имеющихся святых.)

* * *

Два слова еще о глубочайшем анационализме (тоже *соответствие* с советской властью) Брюсова. Именно об анационализме, мировоззрении, а не о безродности, русском родинно-чувствии, которого у Брюсова нет и следа[1]. Безроден Блок, Брюсов анационален. Сыновность или сиротство — чувствами Брюсов не жил (в крайнем случае — «эмоциями»). Любовь к своей стране он заменил любопытствованием чужим, не только странам: землям: планетам. И не только планетам: муравейнику — улью — инфузорному кишению в капле воды.

> Люблю свой острый мозг и блеск своих очей,
> Стук сердца своего и кровь своих артерий.
> Люблю себя и мир. Хочу природе всей
> И человечеству отдаться в полной мере[2].

(Какое прохладное люблю и какое прохладное хочу. Хотения и любви ровно на четыре хорошо срифмованные строки. Отдаться — не брюсовский глагол. Если бы вместо отдаться — домочься — о, по-иному бы звучало! Брюсов не так хотел — когда хотел!)

Но микроскоп или телескоп, инфузорное кишение или кипящая мирами вселенная — все тот же бесстрастный, оценивающий, любопытствующий взгляд. Микроскоп или телескоп, — простого человеческого (простым глазом) взгляда у Брюсова не было:

Брюсову не дан был.

* * *

В подтверждение же моих слов об анациональности отношу читателя к раннему его — и тем хуже, что раннему! — стихотворению «Москва», в памяти не уцелевшему. («Москва», сборник, составленный М. Коваленским, издание «Универсальной библиотеки», последняя страница. Может быть, имеется в «Юношеских стихах». Дата написания 1899 г.)

1 NB. Отвращение к революции в нем, в этот миг, равно только отвращению к королю, так потерявшему голову.

1 Безродность, безысходность, безраздельность, безмерность, бескрайность, бессрочность, безвозвратность, безоглядность — вся Россия в *без*.

2 Все цитаты по памяти. Но если и есть обмолвки, словарь их — брюсовский.

* * *

Брюсов в мире останется, но не как поэт, а как герой поэмы. Так же как Сальери остался — творческой волей Пушкина. На Брюсове не будут учиться писать стихи (есть лучшие источники, чем — хотя бы даже Пушкин! Вся мировая, еще не подслушанная, подслушанной быть долженствующая, музыка), на нем будут учиться хотеть — чего? — без определения объекта: всего. И, может быть, меньше всего — писать стихи.

Брюсов в хрестоматии войдет, но не в отдел «Лирика» — в отдел, и такой в советских хрестоматиях будет: «Воля». В этом отделе (пролагателей, преодолевателей, превозмогателей) имя его, среди русских имен, хочу верить, встанет одним из первых.

И не успокоится мое несправедливое, но жаждущее справедливости сердце, пока в Москве, на самой видной ее площади, не встанет — в граните — в нечеловеческий рост — изваяние:

Герою труда
С.С.С.Р.
Прага, август 1925

Поэмы

Поэма конца

1

В небе, ржавее жести,
Перст столба.
Встал на назначенном месте,
Как судьба.

– Бе́з четверти. Исправен?
– Смерть не ждет.
Преувеличенно-плавен
Шляпы взлет.

В каждой реснице – вызов.
Рот сведен.
Преувеличенно низок
Был поклон.

– Бе́з четверти. Точен? –
Голос лгал.
Сердце упало: что с ним?
Мозг: сигнал!

Небо дурных предвестий:
Ржавь и жесть.
Ждал на обычном месте.
Время: шесть.

Сей поцелуй без звука:
Губ столбняк.
Так — государыням руку,
Мертвым — так...

Мчащийся простолюдин
Локтем — в бок.
Преувеличенно нуден
Взвыл гудок.

Взвыл, как собака взвизгнул,
Длился, злясь.
(Преувеличенность жизни
В смертный час.)

То, что вчера — по пояс,
Вдруг — до звезд.
(Преувеличенно, то есть:
Во весь — рост.)

Мысленно: милый, милый.
— Час? Седьмой.
В кинематограф, или? —
Взрыв: Домой!

2

Братство таборное, —
Вот куда вело!
Громом на́ голову,
Саблей наголо́!

Всеми ужасами
Слов, которых ждем,
Домом рушащимся —
Слово: дом.

Заблудшего баловня
Вопль: домой!
Дитя годовалое:
«Дай» и «мой»!

Мой брат по беспутству,
Мой зноб и зной,
Так и́з дому рвутся,
Как ты — домой!

Конем, рванувшим коновязь —
Ввысь — и веревка в прах.
— Но никакого дома ведь!
— Есть, в десяти шагах:

Дом на горе. — Не выше ли?
— Дом на верху горы.
Окно под самой крышею.
— *«Не от одной зари*

Горящее?» — Так сызнова
Жизнь? — Простота поэм!
Дом, это значит: и́з дому
В ночь.
(О, кому повем

Печаль мою, беду мою,
Жуть, зеленее льда?..)
— Вы слишком много думали. —
Задумчивое: — Да.

3

И — набережная. Воды
Держусь, как толщи плотной.
Семирамидины сады
Висячие — так вот вы!

Воды (стальная полоса
Мертвецкого оттенка)

Держусь, как нотного листа
Певица, края стенки –

Слепец... Обратно не отдашь?
Нет? Наклонюсь – услышишь?
Всеутолительницы жажд
Держусь, как края крыши

Лунатик...
Но не от реки
Дрожь – рождена наядой!
Руки держаться, как руки,
Когда любимый рядом –

И верен...
Мертвые верны.
Да, но не всем в каморке...
Смерть с левой, с правой стороны –
Ты. Правый бок, как мертвый.

Разительного света сноп.
Смех, как грошовый бубен.
– Нам с вами нужно бы...
(Озноб.)
– Мы мужественны будем?

4

Тумана белокурого
Волна – воланом газовым.
Надышано, накурено,
А главное – насказано!
Чем пахнет? Спешкой крайнею,
Потачкой и грешком:
Коммерческими тайнами
И бальным порошком.

Холостяки семейные
В перстнях, юнцы маститые...

Нашучено, насмеяно,
А главное – начитано!
И крупными, и мелкими,
И рыльцем, и пушком.
...Коммерческими сделками
И бальным порошком.

(Вполоборота: *это* вот –
Наш дом? – Не я хозяйкою!)
Один – над книжкой чековой,
Другой – над ручкой лайковой,
А тот – над ножкой лаковой
Работает тишком.
...Коммерческими браками
И бальным порошком.

Серебряной зазубриной
В окне – звезда мальтийская!
Наласкано, налюблено,
А главное – натискано!
Нащипано...(Вчерашняя
Снедь – не взыщи: с душком!)
...Коммерческими шашнями
И бальным порошком.

Цепь чересчур короткая?
Зато не сталь, а платина!
Тройными подбородками
Тряся, тельцы – телятину
Жуют. Над шейкой сахарной
Черт – газовым рожком.
...Коммерческими крахами
И неким порошком –
Бертольда Шварца...
Даровит
Был – и заступник людям.
– На с вами нужно говорить.
Мы мужественны будем?

5

Движение губ ловлю.
И знаю – не скажет первым.
– Не любите? – Нет, люблю.
– Не любите? – Но истерзан,

Но выпит, но изведен.
(Орлом озирая местность):
– Помилуйте, *это* – дом?
– Дом в сердце моем. – Словесность!

Любовь, это плоть и кровь.
Цвет, собственной кровью полит.
Вы думаете, любовь –
Беседовать через столик?

Часочек – и по домам?
Как те господа и дамы?
Любовь, это значит...
– Храм?
Дитя, замените шрамом

На шраме! – Под взглядом слуг
И бражников? (Я, без звука:
«Любовь – это значит лук
Натянутый – лук: разлука».)

– Любовь, это значит – связь.
Все врозь у нас: рты и жизни.
(Просила ж тебя: не сглазь!
В тот час, сокровенный, ближний,

Тот час на верху горы
И страсти. Memento[1] – паром:
Любовь – это все дары
В костер – и всегда задаром!)

Рта раковинная щель
Бледна. Не усмешка – опись.

1 Здесь: память (*лат.*).

– И прежде всего одна
Постель.
– Вы хотели пропасть

Сказать? – Барабанный бой
Перстов. – Не горами двигать!
Любовь, это значит...
– Мой.
Я вас понимаю. Вывод?

Перстов барабанный бой
Растет. (Эшафот и площадь.)
– Уедем. – А я: умрем,
Надеялась. Это проще!

Достаточно дешевизн:
Рифм, рельс, номеров, вокзалов...
– Любовь, это значит: жизнь.
– Нет, и́наче называлось
У древних...
– Итак? –
Лоскут
Платка в кулаке, как рыба.
– Так едемте? – Ваш маршрут?
Яд, рельсы, свинец – на выбор!

Смерть – и никаких устройств!
– Жизнь! – Как полководец римский,
Орлом озирая войск
Остаток.
– Тогда простимся.

6

– Я этого не хотел.
Не этого. (Молча: слушай!
Хотеть – это дело тел,
А мы друг для друга – души

Отныне...) – И не сказал.
(Да, в час, когда поезд подан,
Вы женщинам, как бокал,
Печальную честь ухода

Вручаете...) – Может, бред?
Ослышался? (Лжец учтивый,
Любовнице, как букет
Кровавую честь разрыва

Вручающий...) – Внятно: слог
За слогом, итак – простимся,
Сказали вы? (Как платок
В час сладостного бесчинства

Уроненный...) – Битвы сей
Вы – Цезарь. (О, выпад наглый!
Противнику – как трофей,
Им отданную же шпагу

Вручать!) – Продолжает. (Звон
В ушах...) – Преклоняюсь дважды:
Впервые опережен
В разрыве. – Вы это каждой?

Не опровергайте! Месть,
Достойная Ловеласа.
Жест, делающий вам честь,
А мне разводящий мясо

От кости. – Смешок. Сквозь смех –
Смерть. Жест. (Никаких хотений.
Хотеть – это дело *тех*,
А мы друг для друга – тени

Отныне...) Последний гвоздь
Вбит. Винт, ибо гроб свинцовый.
– Последнейшая из просьб.
– Прошу. – Никогда ни слова

О нас...никому из ...ну...
Последующих. (С носилок
Так раненые – в весну!)
– О том же и вас просила б.

Колечко на память дать?
– Нет. – Взгляд, широко́-разверстый
Отсутствует. (Как печать
На сердце твое, как перстень

На руку твою...Без сцен!
Съем.) Вкрадчивее и тише:
– Но книгу тебе? – Как всем?
– Нет, вовсе их не пишите,

Книг...

Значит, не надо.
Значит, не надо.
Плакать не надо.

В наших бродячих
Братствах рыбачьих
Пляшут – не плачут.

Пьют, а не плачут.
Кровью горячей
Платят – не плачут.

Жемчуг в стакане
Плавят – и миром
Правят – не плачут.

– Так я́ ухожу? – Насквозь
Гляжу. Арлекин, за верность,
Пьеретте своей – как кость
Презреннейшее из первенств

Бросающий: честь конца,
Жест занавеса. Реченье
Последнее. Дюйм свинца
В грудь: *лучше бы, горячей бы*

И — чище бы...
Зубы
Втиснула в губы.
Плакать не буду.

Самую крепость —
В самую мякоть.
Только не плакать.

В братствах бродячих
Мрут, а не плачут.
Жгут, а не плачут.

В пепел и в песню
Мертвого прячут
В братствах бродячих.

— Так первая? Первый ход?
Как в шахматы, значит? Впрочем,
Ведь даже на эшафот
Нас первыми просят...
— Срочно

Прошу, не глядите! — Взгляд. —
(Вот-вот уже хлынут градом! —
Ну как их загнать назад
В глаза?!) — Говорю, не надо

Глядеть!!!

Внятно и громко,
Взгляд в вышину:
— Милый, уйдемте,
Плакать начну!

Забыла! Среди копилок
Живых (коммерсантов — тож!)
Белокурый сверкнул затылок:
Маис, кукуруза, рожь!

Все заповеди Синая
Смывая — менады мех! —
Голконда волосяная,
Сокровищница утех —

(Для всех!) Не напрасно копит
Природа, не сплошь скупа!
Из сих белокурых тропик,
Охотники, — где тропа

Назад? Наготою грубой
Дразня и слепя до слез —
Сплошным золотым прелюбом
Смеющимся пролилось.

— Не правда ли? — Льнущий, мнущий
Взгляд. В каждой реснице — зуд.
— И главное — эта гуща!
Жест, скручивающий в жгут.

О, рвущий уже одежды —
Жест! Проще, чем пить и есть —
Усмешка! (Тебе надежда,
Увы, на спасенье есть!)

И — сестрински или братски?
Союзнически: союз!
— Не похоронив — смеяться!
(И похоронив — смеюсь.)

7

И — набережная. Последняя.
Всё. Порознь и без руки,

Чурающимися соседями
Бредем. Со стороны реки –

Плач. Падающую соленую
Ртуть слизываю без забот:
Луны огромной Соломоновой
Слезам не выслал небосвод.

Столб. Отчего бы лбом не стукнуться
В кровь? Вдребезги бы, а не в кровь!
Страшащимися сопреступниками
Бредем. (Убитое – Любовь.)

Брось! Разве это двое любящих?
В ночь? Порознь? С другими спать?
– Вы понимаете, что будущее –
Там? – Запрокидываюсь вспять.

– Спать! – Новобрачными по коврику...
– Спать! – Всё не попадаем в шаг,
В такт. Жалобно: – Возьмите под руку!
Не каторжники, чтоб так!..

Ток. (Точно мне *душою* – на руку
Лег! – На руку рукою.) Ток
Бьет, проводами лихорадочными
Рвет, – на душу рукою лег!

Льнет. Радужное всё! Что радужнее
Слез? Занавесом, чаще бус,
Дождь. – Я таких не знаю набережных
Кончающихся. – Мост, и:
– Ну-с?

Здесь? (Дроги поданы.)
Спо – койных глаз
Взлет. – Можно до дому?
В по – следний раз!

8

По – следний мост.
(Руки не отдам, не выну!)
Последний мост,
Последняя мостовина.

Во – да и твердь.
Выкладываю монеты.
День – га за смерть,
Харонова мзда за Лету.

Мо – неты тень.
В руки теневой. Без звука
Мо – неты те.
Итак, в теневую руку –

Мо – неты тень.
Без отсвета и без звяка.
Мо – неты – тем
С умерших довольно маков.

Мост.

Бла – гая часть
Любовников без надежды:
Мост, ты – как страсть:
Условность: сплошное между.

Гнезжусь: тепло,
Ребро – потому и льну так.
Ни *до*, ни *по*:
Прозрения промежуток!

Ни рук, ни ног.
Всей костью и всем упором:
Жив только бок,
О смежный теснюсь которым.

Вся жизнь – в боку!
Он – ухо и он же – эхо.
Желтком к белку
Леплюсь, самоедом к меху

Теснюсь, леплюсь,
Мощусь. Близнецы Сиама,
Что – ваш союз?
Та женщина – помнишь: мамой

Звал? – всё и вся
Забыв, в торжестве недвижном
Те – бя нося,
Тебя не держала ближе.

Пойми! Сжились!
Сбылись! На груди баюкал!
Не брошусь вниз!
Нырять – отпускать бы руку

При – шлось. И жмусь,
И жмусь...И неотторжима.
Мост, ты не муж:
Любовник – сплошное мимо!

Мост, ты за нас!
Мы реку телами кормим!
Плю – щом впилась,
Клещом: вырывайте с корнем!

Как плющ! как клещ!
Безбожно! Бесчеловечно!
Бро – сать, как вещь,
Меня, *ни единой вещи*

Не чтившей в сём
Вещественном мире дутом!
Скажи, что сон!
Что ночь, а за ночью – утро,

Эк – спресс и Рим!
Гренада? Сама не знаю,
Смахнув перин
Монбланы и Гималаи.

Про – гал глубок:
Последнею кровью грею.
Про – слушай бок!
Ведь это куда вернее

Сти – хов... Прогрет
Ведь? Завтра к кому наймешься?
Ска – жи, что бред!
Что нет, и не будет мосту

Кон – ца...
– Конец

– Здесь? – Детский, божеский
Жест. – Ну-с? – Впилась.
– Е – ще немножечко:
В последний раз!

9

Корпусами фабричными, зычными
И отзывчивыми на зов...
Сокровенную, подъязычную
Тайну жен от мужей и вдов

От друзей – тебе, подноготную
Тайну Евы от древа – вот:
Я не более чем животное,
Кем-то раненное в живот.

Жжет... Как будто бы душу сдернули
С кожей! Паром в дыру ушла
Пресловутая ересь вздорная,
Именуемая душа.

Христианская немочь бледная!
Пар! Припарками обложить!
Да ее никогда и не было!
Было тело, хотело жить,

Жить не хочет.

Прости меня! Не хотела!
Вопль вспоротого нутра!
Так смертники ждут расстрела
В четвертом часу утра

За шахматами... Усмешкой
Дразня коридорный глаз.
Ведь шахматные же пешки!
И кто-то играет в нас.

Кто? Боги благие? Воры?
Во весь окоем глазка —
Глаз. Красного коридора
Лязг. Вскинутая доска.

Махорочная затяжка.
Сплёв, пожили значит, сплёв.
...По сим тротуарам в шашку
Прямая дорога: в ров

И в кровь. Потайное око:
Луны слуховой глазок...
. . . . . .
И покосившись сбоку:
— Как ты уже далек!

10

Совместный и спло́ченный
Вздрог. — Наша молочная!

Наш остров, наш храм,
Где мы по утрам —

Сброд! Пара минутная! —
Справляли заутреню.

Базаром и за́кисью
Сквозь-сном и весной...
Здесь кофе был пакостный, —
Совсем овсяной!

(Овсом своенравие
Гасить в рысаках!)
Отнюдь не Аравией —
Аркадией пах

Тот кофе...

Но как улыбалась нам,
Рядком усадив,
Бывалой и жалостной —
Любовниц седых

Улюбкою бережной:
Увянешь! Живи!
Безумью, безденежью,
Зевку и любви —

А главное — юности!
Смешку — без причин,
Усмешке — без умысла,
Лицу — без морщин, —

О, главное — юности!
Страстям не по климату!
Откуда-то дунувшей,
Откуда-то хлынувшей

В молочную тусклую:
— Бурнус и Тунис! —
Надеждам и мускулам
Под ветхостью риз...

(Дружочек, не жалуюсь:
Рубец на рубце!)
О, как провожала нас
Хозяйка в чепце

Голландского глаженья....

Не довспомнивши, не допонявши,
Точно с праздника уведены...
— Наша улица! — Уже не наша... —
— Сколько раз по ней!.. — Уже не мы... —

— Завтра с западу встанет солнце!
— С Иеговой порвет Давид!
— Что мы делаем? — Расстаемся.
— Ничего мне не говорит

Сверхбессмысленнейшее слово:
Рас — стаемся. — Один из ста?
Просто слово в четыре слога,
За которыми пустота.

Стой! По-сербски и по-кроатски,
Верно, Чехия в нас чудит?
Рас — ставание. Расставаться...
Сверхъестественнейшая дичь!

Звук, от коего уши рвутся,
Тянутся за предел тоски...
Расставание — не по-русски!
Не по-женски! Не по-мужски!

Не по-божески! Что́ мы — овцы,
Раззевавшиеся в обед?
Расставание — по-каковски?
Даже смысла такого нет.

Даже звука! Ну, просто полый
Шум, — пилы, например, сквозь сон.

Расставание — просто школы
Хлебникова соловьиный стон,

Лебединый...
Но как же вышло?
Горячо высохший водоем —
Воздух! Руку о руку слышно.
Расставаться — ведь это гром

На голову... Океан в каюту!
Океании крайний мыс!
Эти улицы — слишком круты:
Расставаться — ведь это вниз,

Под гору... Двух подошв пудовых
Вздох... Ладонь, наконец, и гвоздь!
Опрокидывающий довод:
Расставаться — ведь это врозь,

Мы же — сгрошиеся...

11

Разом проигрывать —
Чище нет!
Загород, пригород:
Дням конец.

Негам (читай — камням),
Дням, и домам, и нам.

Дачи пустующие! Как мать
Старую — так же чту их.
Это ведь действие — пустовать:
Полое не пустует.

(Дачи, пустующие на треть,
Лучше бы вам сгореть!)

Только не вздрагивать,
Рану вскрыв.

За́город, за́город,
Швам разрыв!

Ибо – без лишних слов
Пышных – любовь есть шов.

Шов, а не перевязь, шов – не щит.
– О, не проси защиты! –
Шов, коим мертвый к земле пришит,
Коим к тебе пришита.

(Время покажет еще каким:
Легким или тройным!)

Так или и́наче, друг, – по швам!
Дребезги и осколки!
Только и славы, что треснул сам:
Треснул, а не расползся!

Что под наметкой – живая жиль
Красная, а не гниль!

О, не проигрывает –
Кто рвет!
Загород, пригород:
Лбам развод.

По слободам казнят
Нынче, – мозгам сквозняк!

О, не проигрывает, кто прочь –
В час, как заря займется.
Целую жизнь тебе сшила в ночь
На́бело, без наметки.

Так не кори же меня, что вкривь.
Пригород: швам разрыв.

Души неприбраннные –
В рубцах!..

Загород, пригород...
Яр размах

Пригорода. Сапогом судьбы,
Слышишь – по глине жидкой?
...Скорую руку мою суди,
Друг, да живую нитку

Цепкую, как ее не канай!
Пос – ледний фонарь!

Здесь? Словно заговор –
Взгляд. Низших рас –
Взгляд. – Можно на́ гору?
В по – следний раз!

12

Частою гривою
Дождь в глаза. – Холмы.
Миновали пригород.
За городом мы,

Есть, – да нету нам!
Мачеха – не мать!
Дальше некуда.
Здесь околевать.

Поле. Изгородь.
Брат стоим с сестрой.
Жизнь есть пригород. –
За́ городом строй!

Эх, проигранное
Дело, господа!
Всё-то – пригороды!
Где же города?!

Рвет и бесится
Дождь. Стоит и рвем.

За три месяца
Первое вдвоем!

И у Иова,
Бог, хотел взаймы?
Да не выгорело:
За городом мы!

За городом! Понимаешь? За́!
Вне! Перешед вал!
Жизнь — это место, где жить нельзя:
Ев — рейский квартал...

Так не достойнее ль во́ сто крат
Стать Вечным Жидом?
Ибо для каждого, кто не гад,
Ев — рейский погром —

Жизнь. Только выкрестами жива!
Иудами вер!
На прокаженные острова!
В ад! — всюду! — но не в

Жизнь, — только выкрестов терпит, лишь
Овец — палачу!
Право-на-жительственный свой лист
Но — гами топчу!

Втаптываю! За Давидов щит! —
Месть! — В месиво тел!
Не упоительно ли, что жид
Жить — не захотел?!

Гетто избранничеств! Вал и ров.
По — щады не жди!
В сем христианнейшем из миров
Поэты — жиды!

Так ножи вострят о камень,
Так опилки метлами
Смахивают. Под руками
Меховое, мокрое.

Где ж вы, двойни:
Сушь мужская, мощь?
Под ладонью —
Слезы, а не дождь!

О каких еще соблазнах —
Речь? Водой — имущество!
После глаз твоих алмазных,
Под ладонью льющихся —

Нет пропажи
Мне. Конец концу!
Глажу — глажу —
Глажу по лицу.

Такова у нас, Маринок,
Спесь, у нас, полячек-то.
После глаз твоих орлиных,
Под ладонью плачущих...

Плачешь? Друг мой!
Всё мое! Прости!
О, как крупно,
Солоно в горсти!

Жестока слеза мужская:
Обухо́м по темени!
Плачь, с другими наверстаешь
Стыд, со мной потерянный.

Оди — накового
Моря — рыбы! Взмах:

...Мертвой раковиной
Губы на губах.

В слезах.
Лебеда –
На вкус.
– А завтра
Когда
Проснусь?

14

Тропою овечьей –
Спуск. Города гам.
Три девки навстречу
Смеются. Слезам

Смеются, – всем полднем
Недр, гребнем морским!
Смеются!
– недолжным,
Позорным, мужским.

Слезам твоим, видным
Сквозь дождь – в два рубца!
Как жемчуг – постыдным
На бронзе бойца.

Слезам твоим первым,
Последним, – о, лей! –
Слезам твоим – перлам
В короне моей!

Глаз явно не туплю.
Сквозь ливень – перюсь.
Венерины куклы,
Вперяйтесь! Союз

Сей более тесен,
Чем влечься и лечь.

Самóй Песней Песен
Уступлена речь

Нам, птицам безвестным
Челом Соломон
Бьет, – ибо совместный
Плач – больше, чем сон!

И в полые волны
Мглы – сгорблен и равн –
Бесследно – безмолвно –
Как тонет корабль.

Прага, 1 февраля –
Иловищи, 8 июня 1924 г.

Крысолов

Лирическая сатира

Город Гаммельн

(Глава первая)

Стар и давен город Гаммельн,
Словом скромен, делом строг,
Верен в малом, верен в главном:
Гаммельн — славный городок!

В ночь, как быть должно комете,
Спал без про́сыпу и сплошь.
Прочно строен, чисто ме́тен,
До умильности похож

— Не подойду и на выстрел! —
На своего бургомистра.

В городе Гаммельне *дешево шить:*
Только один покрой в нем.
В городе Гаммельне дешево жить
И помирать спокойно.

Гривенник — туша, пятак — кувшин
Сливок, полушка — тво́рог.
В городе Гаммельне, знай, один
Только товар и дорог:

Грех.
(Спросим дедов:
Дорог: редок.)

Ни распоясавшихся невест,
Ни должников, — и кроме
Пива — ни жажды в сердцах. На вес
Золота или крови —

Грех. Полстолетия (пятьдесят
Лет) на одной постели
Благополучно проспавши, спят
Дальше. «Вдвоем потели,

Вместе истлели». Тюфяк, трава —
Разница какова?

(Бог упаси меня даже пять
Лет на одной перине
Спать! Лучше моську наймусь купать!)
Души Господь их принял.

И озаренье: А вдруг у них
Не было таковых?

Руки — чтоб гривну взымать с гроша,
Ноги — должок не додан.
Но, вразумите, к чему — душа?
Не глубоко ль негодный

— Как жардиньерка — гамак — кларнет —
В нашем быту — предмет?

В городе Гаммельне — отпиши —
Ни одного кларнета.
В городе Гаммельне — *ни души.*
Но уж тела́ за это!

Плотные, прочные. Столб, коль дюж,
Дюжины стоит душ.

А приосанятся – георгин,
Ниц! преклонись, Георгий!
Города Гаммельна гражданин, –
Это выходит гордо.

Не забывай, школяры: «Узреть
Гаммельн – и умереть!»

Juri, и Rührei, и Rühr uns nicht
An[1] (в словаре: не тронь нас!) –
Смесь. А глаза почему у них
В землю? Во-первых – скромность,

И... бережливость: воззрился – ан
Пуговица к штанам!

Здесь остановка, читатель. – Лжешь,
Автор! Очки втираешь!
В сем Эльдорадо когда ж и кто ж
Пуговицы теряет?

– Нищие. Те, что от грязи сгнив,
В спальни заносят тиф, –

Пришлые. Скоропечатня бед,
Счастья бесплатный номер.
В Гаммельне собственных нищих нет.
Был, было, раз – да помер.

Тощее ж тело вдали от тел
Сытых зарыть велел

Пастор, – и правильно: не простак
Пастор, – не всем «осанна!»
Сытые тощему не простят
Ни лоскута, ни штанной

1 Juri – судья, Rührei – яичница-болтунья, национальное блюдо; Rühr uns nicht an – не дотрагивайтесь до нас (*нем.*).

Пуговицы, чтобы знал-де всяк:
Пуговка – не пустяк!

(Маленькая диверсия в сторону пуговицы:)

Пуговицею весь склад и быт
Держатся. Трезв – застегнут.
Пуговица! Праадамов стыд!
Мод и свобод исподних –

Смерть. Обывателю ты – что чуб
Бульбе, и Будде – пуп.

С пуговицею – все право в прах,
В грязь. Не теряй, беспутный,
Пуговицы! Праадамов крах
Только тобой искуплен,

Фиговая! Ибо что же лист
Фиговый («Mensch wo bist?»[1]) –

Как не прообраз ее? («Bin nackt[2],
Наг, – потому робею») –
Как не зачаток, не первый шаг...
Пуговица – в идее!

Пуговицы же (внемли, живот
Голый!) – идея – вот:

Для отличения Шатуна –
Чад – от овец Господних:
Божье застегнуто чадо на́
Всё́, – а козел расстегнут –

Весь! Коли с ангелами в родстве,
Муж, – застегнись на всё́!

1 «Человек, где ты?» (*нем.*)
2 «Я» (*нем.*).

Не привиденьями ли в ночи
– Целый Бедлам вакантный! –
Нищие, гении, рифмачи,
Шуманы, музыканты,

Каторжники...
Коли взять на вес:
Без головы, чем без

Пуговицы! – Санкюлот! Босяк!
От Пугача – к Сэн-Жюсту?!
Если уж пуговица – пустяк,
Что ж, господа, не пусто?

Для государства она – что грунт
Древу и чреву – фунт

Стерлингов. А оборвется – голь!
Бунт! Погреба разносят!
Возвеселися же, матерь, коль
Пуговицею – носик:

Знак добронравия. (Мой же росс
Явственно горбонос –
В нас).

Дальше от пуговичных пустот,
Муза! От истин куцых!
От революции не спасет –
Пуговица. Да рвутся ж –

Всé! Коли с демонами в родстве –
Бард, – расстегнись на всé!

(Здесь кончается ода пуговице и возобновляется повествование.)

Город грядок –
Гаммельн, нравов

добрых, складов
полных, – Рай-

город...

Божья радость –
Гаммельн, здравых –
город, правых –
город...

Рай-город[1], пай-город, всяк-свой-пай-берет, –
Зай-город, зáгодя-закупай-город.

Без загадок –
город, – гладок:
Благость. Навык –
город. – Рай-

город...

Божья заводь –
Гаммельн, гадок –
Бесу, сладок –
Богу...

Рай-город, пай-город, Шмидтов-Майеров
Царь-город, старшему-уступай-город.

Без пожаров –
город, Благость-
город, Авель-
город. – Рай-

город...

Кто не хладен
и не жарок,

1 Ударение, как: Миргород, Белгород и пр. (*Прим. М. Цветаевой*).

прямо в Гаммельн
поез-

жа́й-город, рай-город, горностай-город.
Бай-город, во́время-засыпай-город.

Первый обход!
Первый обход!
С миром сношенья прерваны!
Спущен ли пес? Впущен ли кот?
Предупрежденье первое.

Су-дари, выпрягайте слуг!
Тру-бочку вытрясай, досуг!
Труд, покидай верстак:
«Morgen ist auch ein Tag»[1].

Без десяти!
Без десяти!
Уши законопатить
Ватой! Учебники отнести
В парту! Будильник – на́ пять.

Ла – вочник, оставляй мело́к,
Бюр – герша, оставляй чулок
И оправляй тюфяк:
«Morgen ist auch ein Tag».

Десять часов!
Десять часов!
Больше ни междометья!
Вложен ли ключ? Вде́т ли засов?
Предупрежденье третье.

Би – блию закрывай, отец!
Бюр – герша, надевай чепец,
Муж, надевай колпак, –
«Morgen ist auch ein...»

1 «Завтра – тоже день» (*нем.*).

– Спят
Гаммельнцы...

Сны

(Глава вторая)

В других городах,
В моих (через – кра́й-город)
Мужья видят дев
Морских, жены – Байронов,

Младенцы – чертей,
Служанки – наездников...
А ну-ка, Морфей,
Что́ – гаммельнцам грезится

Безгрешным, – а ну́?
– Востры – да не дюже!
Муж видит жену,
Жена видит мужа,

Младенец – сосок,
Краса толстощекая –
Отцовский носок,
Который заштопала.

Повар – пробует,
Обер – требует.
Всё как следует,
Всё как следует.

Вдоль спицы петля́ –
Та́к всё у них плавно!
Павл видит Петра,
А Петр видит Павла,

Конечно – внучат
Дед (точку – прозаик),

Служанка – очаг
И добрых хозяев.

Каспар – заповедь,
Пастор – проповедь.
Не без проку ведь
Спать, – не плохо ведь?

Пуды колбасы
Колбасник (со шпэком),
Суд видит весы,
Весы же – аптекарь,

Наставнику – трость,
Плод дел его швейных –
Швецу. Псу же – кость?
Ошиблись: *ошейник*!

Стряпка – щипаное,
Прачка – плисовое.
Как по-писаному!
Как по-писаному!

– А сам бургомистр?
– Что́ въяве – то в дрёме.
Раз он бургомистр,
Так что ж ему кроме

Как бюргеров зреть,
Вассалов своих?
А сам бургомистр –
Своих крепостных[1].

Дело слаженное,
Платье сложенное, –
По-положенному!
По-положенному!

1 Burg – по-немецки крепость. *М. Ц.*

(Лишь тон мой игрив:
Есть доброе – в старом!)
А впрочем, чтоб рифм
Не стаптывать даром –

Пройдем, пока спит,
В чертог его (строек
Царь!) прочно стои́т
И нашего сто́ит

Внимания...

Замка не взломав,
Ковра не закапав –
В богатых домах,
Что́ первое? запах.

Предельный, как вкус,
Нещадный, как тора,
Бесстыдный, как флюс
На роже актера.

Вся плоть вещества, –
(Счета́ в переплете
Шагреневом!) вся
Вещественность плоти

В нем: гниль до хрящей.
С проказой не шутят!
Не сущность вещей, –
Вещественность сути:

Букет ее – всей!
Есть запахи – хлещут!
Не сущность вещей:
Существенность вещи.

Не сущность вещей,
– О! и́ не дневала! –

Гнилых овощей
– Так пахнут подвалы –

Ему предпочту.

Дух сытости дивный!
Есть смрад чистоты.
Весь смрад чистоты в нем!

Не запах, а звук:
Мошны громогласной
Звук. Замшею рук
По бархату красных

Перил – а по мне
Смердит изобилье! –
Довольством – вполне.
А если и пылью –

Не нашей – с весной
Свезут, так уж што ж нам?
Не нищей: сквозной,
А бархатной – штофной –

Портьерной. Красот
Собранием, скопом
Красот и чистот,
А если и по́том –

Добротным, с клеймом
Палаты пробирной,
Не нашим (козлом),
А банковским, жирным

Жилетным: не дам.

По самое небо
– О Ненависть! – храм
Стоглавый тебе бы –

За всех и за вся.

Засова не сняв,
Замка не затронув,
(Заметил? что в снах
Засовы не стонут,

Замки не гремят.
Врата без затвора –
Сон. До́мы – без врат.
Все́ – тени, все́ – воры

В снах).

Сто́ – невест тебе.
Все́ – с запястьями!
Без – ответственно.
Без – препятственно.

Се́ – час жениха!
За кражи! за взломы!
Пустить петуха
В семейные домы!

В двуспальных толстух,
В мужей без измены.
Тот красен петух –
Как стяги – как стены

В *иных* городах...

Замка не затронув,
Посмотрим, как здрав
В добротных хоромах
Своих – бургомистр.

Домовит, румяни́ст –
Баю-бай, бургомистр.

Завершенная седьмица –
Бургомистрово чело.

Что же мнится? что же снится
Бургомистру? Ни – че – го.

Ничего (как с жи́р-горы
Пот-то!), то есть: бюргеры.

Спи, жирна, спи, верна,
Бургомистрша, жена

Бургомистрова: синица,
Переполнившая зоб.
Что же мнится? что же снится
Бургомистрше? (Хорошо б,

Из перин-то вырвавши...)
...Бюргеры, ей – бюргерши.

Той – пропавшей без вести,
Этой – Цезарь рядышком...
Женщине ж порядочной
Ничего не грезится.

Спи-усни, им не верь,
Бургомистрова дщерь.

Соломонова пшеница –
Косы, реки быстрые.
Что же мнится? что же снится
Дочке бургомистровой?

Запахи, шепоты...
Всё – и еще что-то!

Напасть

(Глава третья)

Тетки-трещотки,
Кухарки-тараторки,

– Чепцы, кошёлки –
Бабки-балаболки.

– Сала для лекаря!
– Трав для аптекаря!
– Свежего, красного
Легкого для пастора!

– По – следней дойки!
Девки-маслобойки.
– Ядрёной крупки!
Стряпки-мясорубки.

– Счастья, здоровья,
Сил на три месяца!
– Свежих воловьих
Жил для ремесленников!

Тетки-трещотки,
Торговки-горлодёрки
– Кофты на байке –
Хозяйки-всезнайки.

– Све – жая требуха!
– Жи – во́го петуха!
– Масляна, не суха!
– Се́рд – ца для жениха!

– Сливки-последки!
Соседки-добросердки.
– Свежего! с ледничку!
Советницы-сплетницы.

– Взвесь, коль не веришь!
– Жарь – не ужарится!
– Гу – синих перьев
Для нотариуса!

– О́ – вощи да с гряды!
– Со́ – вести для судьи!

Кур – ки-цесарки,
Невесты-перестарки,
Свежи́, с постельки
Вдовицы-коротельки.

– Мни, да не тискай!
– Рдянь – не редиска!
– По – лушка с миской!
– Мозгов для бургомистра!

– Что́ хотите, то берите!
Подолы́, капора́.
Поварихи-разберихи,
Румяные повара.

Но – сы приплюснутые:
– Чего бы вкусненького?
Ла – дошки – ширмочками:
– Чего бы жирненького?

Выловить.
Выудить.
Выведать.
Выгадать.

– Все́ чехлы посняли с кресел!
– А гостей! А гостей!
– Нынче пекарева крестят!
– Новостей! Новостей!

Язвы-тихони.
Один в трахоме
Глаз, другой – пенится.
Сидни-кофейницы.

– Женишка-то, чай, постарше!
– А наряд! А наряд!
– Говорят, что у почтарши...
– Говорят... Говорят...

Язвы-шныряльщы,
Кляузы-обмиралы,
– На́ площадь сор неси! –
Козни-цикорницы.

– Нацепил зеленый галстук!
– Ловелас! Ловелас!
– Мясник с тещей поругался!
– А у нас! А у нас!

– Ред – ко – сти...
– Хит – ро – сти...
– Кхе-кхе-кхе...
– Кхи-кхи-кхи...

– Бургомистрова-то Грета!
– Не того! Не того!
– Третью ночь сидит до свету!
– Каково? Каково?

– Свечку жжет...
– Век свой жжет...
– Счастья ждет...
– В гроб пойдет...

– Скатертей однех – с три пуда!
– Чай, одна! Чай, одна!
– Ни за кем, отцу, не буду.
– Не жена! Не жена!

– Грех-таки...
– Стыд-таки...
– Кхе-кхе-кхе...
– Кхи-кхи-кхи...

– Поглядеть – одне костяшки...
– Не в соку! Не в соку!
– К нам на кашку! К нам на чашку
Кофейку! Кофейку!

Клуб
Женский – закрыт:
Суп
Перекипит.

Город грядок
Гаммельн, нравов
Добрых, складов
Полных...

Мера! Священный клич!
Пересмеялся – хнычь!
Перегордился – в грязь!
Да соразмерит князь

Милость свою и гнев.
Переовечил – хлев,
Перемонаршил – бунт:
Zuviel ist ungesund[1].

В меру! Сочти и взвесь!
Переобедал – резь,
(Лысина – перескреб),
Перепостился – гроб,

Перелечил – чума!
Даже сходи с ума
В меру: щелчок на фунт:
Zuviel ist ungesund.

В меру и мочь и сметь:
Перезлословил – плеть,
Но и не перегладь!
– Только не передать! –

Не пере-через-край!
Даже и в мере знай –

1 Излишество вредно (*нем.*).

Меру: вопрос секунд.
Zuviel ist ungesund.

В меру! Im rechten Mass[1]
Верный обманет глаз.
В царстве – давно – химер –
Вера и глазомер.

Мера и сантиметр!
Вот он, разумных лет
Лозунг, наш тугендбунд.
Zuviel ist un –

Не красоты одной – сало, слышишь? –
Вреден излишек.

Переполнения ж складов – рисом –
Следствием – крысы.

Саго, и сала, и мыла – в меру,
Господи, даруй!

Так и гремит по всему базару:
«Склады-амбары».

Так, чтобы в меру щедрот: не много
Чтоб, и не мало.
Так и гудит по живому салу:
«Склады-завалы»[2].

К вам, сытым и злым,
К вам, жир и нажим:

Злость сытости! Сплёв
С на – крытых столов!
Но – в том-то и гвоздь! –
Есть – голода злость.

1 В меру! (*нем.*)
2 В последующих строках ударяются слоги: первый, второй и последний. (*Прим. М. Цветаевой.*)

Злость тех, кто не ест:
Не есть – надоест!
Без – сильных не злобь!
(Кры – синая дробь).

Злость тех, кто не сыт:
Се – годня рысит,
А завтра – повис.
(Кры – синая рысь).

(Скороговорка)

Не сыт и не спит,
(Крысиная сыпь),
По сытеньким – прыг,
(Крысиная прыть).

Дом. Склад.
Съе – дят
До – крох.
(Крысиный горох).

Зря – крал,
Зря – клал,
Зря – греб
(Крысиный галоп).
. . . . . .
– Сказок довольно!
Слушать герольда!

Всех, кто отчизне – сын,
Оповещаю сим...

Не углубляясь в частности:
Гаммельн в опасности!

Горний и дольний!
Слушать герольда!

Всé и семижды всé,
Знайте: на волоске

– Вот уже рвущемся –
Наше имущество,

Слава и класс,
– Граждане, глас

Девы, словес не тратящей:
Постановление ратуши:

«Будь то хоть бес, хоть жид,
Тот, кто освободит

Город от тьмы крысиной,
В дом бургомистра – сыном

Вступит – прошу понять:
Сын означает: зять.

(Треск барабанный.)
В Гаммельне... anno
Domini...»[1].

В тот же час – вините будочника:
Что ж он не усторожил?! –
В город медленно входил
Человек в зеленом – с дудочкой.

Увод

(Глава четвертая)

Ти-ри-ли,
По рассадам германской земли,
Ти-ри-рам,

1 В лето Господне (*лат.*).

По ее городам
– Красотой ни один не оставлен –

Прохожу,
Госпожу свою – Музыку – славлю.

Нынче – здесь,
Да и то половинку, не весь!
Ти-ри-рам,
Завтра – там,
И хотя повсеместно оболган –

Стар и мал,
Равнодушно никто не внимал
И никто не отказывал в долгом
Взгляде – вслед.

Только там хорошо, где нас нет!
– Сердцелов! –
Только там хорошо, где ты нов:
Не заведом, не дознан, не вызван.

«Прижились», –
Эта слизь называется – жизнью!

Переезд!
Не жалейте насиженных мест!
Через мост!
Не жалейте насиженных гнезд!
Так флейтист, – провались, бережливость!
–
– Перемен! –
Так павлин
Не считает своих переливов.

Ти-ри-ли!
Провалитесь, мешки и кули!
Ти-ри-ли!
Проломитесь, мучные лари!
Вместо гаммельнских – флейта не ферма! –

– Переступ –
Лип и круп –
Есть индийские пальмы и перлы.

Перелив.
Человек не ключарь кладовых!
Половик,
Червь, а не человек – тыловик!
Это – Гаммельн, а есть Гималаи:
Райский сад.

Так да сяк –
Этот шлак называется – Раем!

Оторвись!
По дорогам цветет остролист!
Отвались!
По оврагам цветет барбарис –
Кисловатый.

Лишь бы сыт!
Этот стыд называется: свято.

Крысы, с мест!
Не водитеся с сытостью: съест!
Крысы, с глаз!
Осаждаемый сытостью – сдаст
Шпагу...
О крысоловах злословят!
Дело слов:
Крысо-лов?
Крысо-люб: значит любит, коль ловит!

Крысы, в...

– Што ж мы?
– В чем дело ж?
– Тошно!
– Приелось!

– Вкусно ж, –
– В чем тайна?
– Скушно:
Крайне.

Без борьбы человек не живет.
– У меня отрастает живот:
До колен, как у царских крыс.
– У меня – так совсем отвис.

– Без борьбы человек не жилец!
– У меня разминулся жилет
С животом: не разлад, а брешь.
– У меня объявилась плешь.

– Житие – не жысть!
– Разучился грызть!
– Не поход, а сласть!
– Разучился красть!

– Утром – булки, не меньше двух.
– У меня пропадает слух.
– У меня пошатнулся зуб.
– У меня остывает зуд
В зубах...

– Без слуги не влезаю в башмак...
– Есть такая дорога – большак...
– Без борьбы и овраг – острог...
– Хорошо без сапог!

– Не поход – погост.
– У меня отсыхает хвост.
– В полдень – клёцки, не меньше трех.
– У меня – так совсем отсох.

– Без обид, без злоб...
– Назревает зоб...

– Чуть обут-одет –
Уж опять обед
Из трех блюд...

– Знали б – за́ версту обошли б!
– Помнишь странную вещь: башлык?

Сшиб да стык,
Штык да шлык...

– Без слуги не влезаю в обшлаг...
– Есть такая дорога – большак...
. . . . . .

– Больше сил моих нету: пасс!
– У меня заплывает глаз.
– У меня опадает слог.
– У меня – так совсем затек

Мозг.

– В Москву! – В Карлсбад!
– У меня оседает зад.
– У меня, по утрам, прострел.
– У меня – так совсем осе́л

До земли...

– Лыжи – и к Богу!
– Грыжа!
– Изжога!

Свыкнись –
И крышка!
Сытно –
Слишком.

– Три денька таких – и готов!
– Начинаю любить котов

И купцов...
– Заушат – прощу.
– Завтра дочку свою крещу:
Мне-то – всё одно, ну, а ей –
Ей – целей.

– Не бивак – насест!
– У меня пропадает жест.

Флейта

Где-то Инд...

– Начинаю вдаваться в винт.
– Различать *твое.*
– Запирать белье.
– Без штанов махал! –
Начинаю вводить крахмал
В туалет.
– Самолично вощить паркет.
– Господа, секрет:
Отвратителен красный цвет
Мне.
– Нам всем!
– От стыда засыпаю в семь.
– Недурен наезд!
– Начинаю бояться мест

Под мостами.
– Масс.
– Материнских глаз.
– Ну а я – стрельбы!
– Отчего у дворян гербы, –

А у нас...

Гладко, –
Как шваброй!
– Взятки!
– Подагра!

– В трюм бы!
– В гром бы!
...Тумбы.
...Пломбы.

В самый гром бы да в самый шторм!

Флейта

Пе – ре – корм.

– Всё назад, чуть съем.
– И естественно: после схем,
Диаграмм – да в склад!

– Обращение камерад
Устарело. Ввиду седин
Предлагаю вам господин...

Господин гражданин...
Для ... форм.

Флейта
(настойчиво)

Перекорм.

Пересып.
Ели б досыта – не пошли б,
Спали б домертва – не прошли б
Ни кило́метра, ни шестой:

Перестой.

Чудо ж делают, не присев:
Перепев.

Пересест!
Не жалейте насиженных мест!

Перемен!
Не жалейте надышанных стен!
Звёзд упавших – и тех не жалейте!

Мертвым – мир.
Выход в ми́р
Вот по этой по самой аллейке, –

Чуть левей.
– У меня пятьдесят сыновей!
Как один.
– У меня проржавел карабин.
. . . . . .

– К черту всю
Быль с ее трехсотлетними Lind'ами![1]
– Идем завоевывать Индию!

Напролом!
– У меня недостроенный дом!
– Строим – мир!
– У меня недоеденный сыр!

– Выше носу же не переплюнешь!

Флейта

Переплюнь!
В синь! в июнь!
В новизну! и к тому – новолунье ж!

Чтоб шагать молодцом –
Выступать нагишом!

Чтоб сошелся кушак –
Выступать натощак!

– Да здравствует полк!
Клыков перещелк.

1 Липами (*нем.*).

Довольно с нас круп!
Курков перещуп.
. . . . . .

– Крысы, марш!

Нам опостылел домашний фарш!
Свежесть, которой триста
Лет – не свежа уже! Шагом, марш!
Кто не прокис – окрысься!

Нам опостылел молочный рис!
Погорячее в ранцах!
Три миллиарда индийских крыс
Велико – оке – анских

Ждут, лихорадочные рои
Крысьего штурм унд дранг'а:
С кошками мускусными бои
На побережьях Ганга

Ждут. Не до слоек, не до колбас
Гаммельнских, венских, пражских!
Мы – на вселенную! Мир – на нас!
Кто не пропах – отважься!

Вот они, слойки!
Сдвинься, стройся!

Вот они, смальцы!
Щерься, скалься!

Ни крупинки не припрятавши –
Шагом, шагом мимо ратуши!

Чванься! пыжься! высься! ширься!
Мимо рынка, мимо кирки.

Мыслью – вестью – страстью – выстрелом –
Мимо дома бургомистрова.

А на балконе...
Ах! а с балкона...
Вроде ожога...
Вроде поклона...

Вроде Ширáза
Щёчного — тссс...
Кажется — розу
Поднял флейтист?

(Дело вежливости!)
Не задерживаться!
Вышел радоваться, —
Не оглядываться!

Вот он, в просторы — лбом,
Гóрода крайний дом.

— Око — ём!
Грань из граней, кайма из каём!
«Отстаем», —
Вот и рифма к тебе, окоём!

Скороход
В семитысячемилевых, флот,
Обогнавший нас раз
Навсегда — дальше глаз, дальше лба:

Бредовар!
Растопляющий всякую явь —
Аки воск, —
Дальше всех наших воплей и тоск!

Тоскомер!
Синим пó синю (восемь в уме),
Как по аспиду школьной доски,
Давшей меру и скорость тоски:

Окохват!
Ведь не зря ж у сибирских княжат
Ходит сказ
О высасывателе глаз.

Ведь не зря ж
Эта жгучая женская блажь
Орд и стай —
По заглатывателю тайн.

Окоим!
Окодер, окорыв, околом!
Ох, синúм —
синё око твое, окоём!

Вышед в вей,
Допроси строевых журавлей,
В гаолян —
Допроси столбовых каторжан!

— Он! — За ним?
— Он же! — Нý á зá? — Он же... — Джаным!

Здесь — нельзя.
Увези меня зá

Гóризонт!..

— Шел или спал?
— Штиль или шквал?
— Рус или сед?
— Наш ли уж свет?

— Дали не те!
— Ели не те!
— Горы не те!
— Гýлы не те!

– Наш или тот?
– Час или год?
– Год или три, –
Сколько же шли?

– Даль не та!
– Пыль не та!
– Синь не та!
Тень не та!

– Плыл или мчал?
– Гаммельн? Квартал.
– Гаммельн? Проспал.
– Гаммельн? Читал

В сказке.
– Весьма не новая
Сказка: левей Ганновера.

– Лес не тот!
– Куст не тот!
– Дрозд не тот!
– Свист не тот!

– Юн как Ахилл!
– Гаммельн? Гостил!
– Гаммельн? Простыл!
– Гаммельн? Учил

В книжке, покамест та́мбуром
Тетки...
– С меня, так Гамбурга

Хватит!

– Вздох не тот!
– Ход не тот!
– Смех не тот!
– Свет не тот!

Синь, а не бел!
– Гаммельн? Пробел.
– Гаммельн? Прозрел:
Блюдо, и ел

С пивом, в одном приятном
Обществе: Hammelbraten[1].

Славный кусок!
– Гаммельн? Дай срок!
– Гаммельн? Заскок!
– Гаммельн? Отек

Мозга.
– Вниманья требую:
Гаммельна просто – не было:

Пыль.
Мель.
Моль.
Нуль.

. . . . . .

– Говорю вам: не те холмы!

– Не Германия!
– Много далее!
– Не Германия!
– И не Галлия!

– Одурманены!
– Знай да взмахивай!
– Не Германия!
– И не Влахия!

– Тише тихого!
– Дольше длинного!
Коль не Скифия,

1 Жареная баранина (*нем.*).

Значит...
— Индия!

Флейта

Индостан!
Грань из граней, страна из стран.
Синий чан —
Это ночь твоя, Индостан.

Здесь на там
Променявший, и дай на дам,
Гамма гамм,
Восходящая прямо в храм.

Рис, маис,
Промываемый девой из
Кув — шина́:
Тишина твоя, Индостан.

Как стрелок
После зарослей и тревог
В пушину́ —
В тишину твою, Индостан —

Человек...

— Па́годы купола́!
— Что-то сини́м-синё!
— Рисовые поля!
— Пальмовое вино!

С первоначальных бед,
С первоначальных дрём
Детский и крысий бред
Сахарным тростником.

Миру который год?
Миру который миг?

Перец, в ветрах, цветет!
Сахар, в ветрах, шумит!

Не целина — шагрень!
У синевы налет
Сливы. — Четвертый день
И никоторый год.

Смол
Гул.
Вол.
Мул.

Не полотно — резня
Красок. Дотварный ил.
Творческая мазня
Гения. Проба сил

Демона. В первый раз
Молотом о кремень.
Миру четвертый час
И никоторый день.

Де — вы
Ган — га!
Древо
Манго!

Индиго! Первый цвет!
Индия! Первый крик
Твари. Вперись, поэт:
Миру четвертый миг!

Час предвкушаю: смяв
Время, как черновик...
Ока последний взмах —
И никоторый миг

Миру...

Старая крыса

— Так-таки и зудит!
Что-то — будто бы — точно — вид
Этой местности мне знаком.
Чем-то пагода на закром

Смахивает...
— Тюрбан! Брамин!

Старая крыса

Что́ за Индия, где овин
На овине...
— Бомбей! Базар!
Дервиш с коброю!

Старая крыса

— И амбар
На амбаре...
— Дворец раджи!

Старая крыса

Вот так тропики в поле ржи!

Черным по́ белу, по складам:
Пальма? Мельня. Бамбук? Шлагбаум.
Кондор? Коршун. Маис? Горох.
Мы от Гаммельна в четырех

Милях, — горсточка, а не полк!

Флейта

Кривотолк!
Рвите шкурника, чтобы смолк!
Крив и кос

Тот, кто в хоботе видит нос
Собственный и в слоне — закром.
Крив и хром.

(Хлеще! хлеще! рассыпай! нижи
Хроматические гаммы лжи!)

Лжец и трус
Тот, кто в будущем видит — гуз,
Мертв и сгнил
Тот, кто, идучи, видит тыл
Собственный, и в просторах — порт.
Перевёрт!

Передёрг!
Верьте Музыке: проведет
Сквозь гранит.
Ибо Музыки — динамит —
Младше...
— Всé на единый фронт:
Горизонт!

— Озеро!
— Яхонт!
— Розовым
Взмахом

— Видишь? —
Самим бы!
Ибис!
Фламинго!

Старая крыса

Синее — топит!

— Зеркало тропик!
Кротость —

В сапфирах!
Лотос!
Папирус!

В воду –
Как в спальню.
Озеру –
Пальмы

Низкопоклонство.
– Смоем!
– Напьемся

Соком лотосовым: покой.

Флейта

– Водопой!
Дальним – варево и постой.
Спят и пьют.

Старая крыса

Говорю вам, что это – пруд
Гаммельнский: триста лет, как сгнил!

Флейта

– Кро – ко – дил!

– Сбудется!
– Близится!

Старая крыса

– Лужица!
Жижица!

– Шелком ла́стится!

Старая крыса

Головастики!
Безголовым и главарю:
Головастики, говорю!

Флейта

Словарю –
Смыслов нищему корчмарю,
Делу рук –
Кто поверит, когда есть звук:
Царь и жрец.

Старая крыса

Говорю вам, что это *лжец*,
Лжец, агент!

Флейта

Лжет не Музыка – инструмент!

Старая крыса

Trug und Schand![1]

Флейта

Лжет не Музыка – музыкант!
Обосо́бь!

Старая крыса

Говорю вам, что это топь,
Гать!

1 Обман и стыд! (*нем.*)

Флейта

Пусть так!
Лучше Музыка, чем мышьяк.

Старая крыса

Смерть!

Флейта

Что в том?
Лучше озеро, чем закром,
Сплыл, чем *сгнил!*
Тина? Полно! Коралл! Берилл!
Изумруд...

Ведь не в луже, а в звуке – мрут!

Что́ тело? Тени тень!
Век тела – пены трель!
Нир – вана, вот он, сок!
Ствол пальмы? Флага шток.

В мир арок, радуг, дуг
Флагштоком будет – звук.
Что́ – руки! Мало двух.
Звук – штоком, флагом – дух.

Есмь: слышу! («вижу» – сон!)
Смысл выше – ниже тон,
Ни – жайший. Тела взмёт,
И – тихо: нота нот.

Воздух душен, вода свежа.
Где-то каждый из нас раджа.
(В смерти...)
С миром глаза смежи...

– Этой Индии *мы* – раджи!

Раджа па радже!
Но крыс тех уже –
Никто и нигде:
Круги на воде.

В ратуше

(Глава пятая)

Тайные, статские –
Здравствуйте, ратсгерры!
Старого Гаммельна
Стены избавлены
От даровых жильцов.

Праздник котлов,
Шествие про́твеней, –
Крысы утоплены!

Не был Цезарем бы –
Стал бы поваром бы...
Бейте в сковороды!
Бейте в сковороды!

Дням беспрепятственно
Радуйтесь, ратсгерры!
Ибо очищены
Склады – от хищников,
Головы – от идей.

В ско́вороду – бей!

Иллюминацией
Празднуйте, ратсгерры,
– Цукром с цикорием –
Чудо-викторию
Без кулаков, без пуль.

Праздник кастрюль.
Ратсгерры, дожили:
Крысы уложены.

Сладко ль, солоно ли –
Делать нечего
Вам – исполненное,
Мне – обещанное.

Трепеток.
Шепоток.
Раты – вкось,
Герры – в бок.

Щеки – мак,
Брови – еж:
– То есть – как?
– То есть – что ж?

(Полка с мопсами
В лавке глиняной!)
– Что же – собственно?
Что же – именно?

– Ясно и точно, без «некто» и «где-то»:
В собственность деву, по имени Грета.

– Грету? Не Греты у нас и нет:
В землях живем германских.
В городе Гаммельне столько ж Грет,
Сколько, к примеру, Гансов.

Ганс или Грета. Не Грета – Ганс.
За валунами в реку –
В Гаммельн за Гретами. Контраданс:
Коли не Ганс – так Грета.

Выйдет тебе
Суженая!

Выводками!
Дюжинами!

Не косорукий, да не слепой –
Уж себе Грету сыщешь!
Яминка – всé на один покрой! –
В ямку и прыщик в прыщик.

Оспа в оспину,
Чутка в чуточку.
Чью же собственно
Грету?
– Шутите!

Чью же, думали, высвистывал
Грету – как не бургомистрову?

Кипяток.
Топотёж.
Раты в скок,
Герры – в лёжь,

Раты – в ик,
Герры – в чих.
– И шутник!
– И жених!

Сто кабанов захрюкало:
Заколыхали брюхами.

– Ой насмешил! Утешил же!
Заполыхали плешами.

– В эдаком фартучке
Девоньку?
– Так-таки.

– С ко́робом почестей
Девоньку?
– В точности.

Раты – в фырк,
Герры – в верт.
– Ну и франт!
– Ну и ферт!

Очи – в узь,
Щеки – в глянц.
– Ну и гусь!
– Ну и Ганс!

С кузовом се́ребра –
Девоньку?
– Сеяли!
– Полную житницу
Девоньку?
– Жните же!

– Нотный тюк!
Штанный клок!
Ну – супруг!
Ну – зятек!

Уж и шустр!
Уж и быстр!
Ржет без чувств
Бургомистр.

– Наспех, да наскоро
Свадебку?
– Ратсгерры!

– Первую в городе
Девушку?
– Боровы!

«Будь то хоть бес, хоть жид,
Тот, кто освободит
Город – хоть слеп, хоть спятил! –

В дом бургомистра зятем
Вступит, в графу особ
В городе – первых»...
– Стоп!

Не в хороводе, небось, дуда, –
В думе! Шажком! Анданте!
Только про беса и про жида,
Где же про музыканта

Сказано?
Как завершен обряд –
Милости просим, брате!
Всяк музыканту на свадьбе рад, –
Только не в роли зятя.

За музыканта! за нотный крюк!
Звук! – флейтяную дырку!
Где ж это видано, чтобы вдруг
Да с музыкантом – в кирку?

За музыканта! За нервный ком –
Дочку! милей ковач мне!
Что же и делать-то ей с тюком
Нотным – на ложе брачном!

За музыканта! за голый боб!
Может – в краях незнамых –
Только не слыхивал Гаммельн, чтоб
За музыкантов – замуж!

– Что́ есть музыка? Щебет птах!
Шутка! Ребенок сладит!
– Что́ есть музыка? – Шум в ушах.
– Увеселенье свадеб.

– Беспоследственный дребезг струн.
– Скука и крики браво.

– Что есть музыка? Не каплун,
А к каплуну – приправа.

– За – бывается: молод был –
Сам загибал преловко!
– Мешанина из бычьих жил,
Дерева и сноровки.

– Околпачивающий пар.
– Нет! Музыкантов кормим
Для того, чтобы пищи вар
В нас протекал проворней.

– Полегонечку – за пивцом –
Да чтобы женский пол был...
Две-три а́рийки перед сном...
Только не очень долго.

– Что есть музыка? с первых нот:
«Что бы вам, братцы, кончить?»
– Ну а я так – наоборот:
Только бы что погромче,
Побасистее!

– Рано встав,
Да коли восемь ртишек...
– Превышение всяких прав.
Гетто: себя не слышишь!

– Музыка? Гриф
С лентами.
– Шлиф.
– К зёву позыв,
– Так... перелив...

– После сольцы́ – пирожное...
– Из пустоты – в порожнее...

– Не осведомлены, префект:
Музыка есть аффект.

Аффектация неких чувств,
Коих и нету. Хам, мол, –
Кто не чувствует.
– Как ни тщусь
Что-либо, кроме гаммы –

Беспоследственно.
– Факт есть факт:
Музыка есть антракт.

– Рукоделие праздных дур.
Что́ до меня – так стойко:
Пуще всяческих увертюр
Мне по нутру – настройка

Перед оными.
– Фонд есть фонд.
Музыка есть афронт –

Смыслу здравому. Вящий вздор,
Нежель чулок с ажуром.

Бургомистр

Выше-высказанное – вздор.
Истина есть. Скажу вам.

Думали – гриф
С лентами? Шлиф?
К зёву позыв?
Так... перелив –

Музыка? Тиф –
Музыка! Взрыв!
По́ степи – скиф!
Жил перерыв!

За головню – да голыми –
Хвать! Из огня да в полымя!

Пострашнее, чем шум в ушах,
Грезы, глаза зажмуря.
Музыка – это банков крах,
Раскрепощенье фурий.

Приглашается папа Пий
На Рождество предместий.
Quatuor[1] четырех стихий,
Раскрепощенье бестий.

Рабской сущности унтергрунд –
Музыка – есть – бунт.

Бунт архангела. Бунт скота.
Бунт галуна в передней.
Не невеста: – клоком – фата! –
За фортепьяно – ведьма!

Лучше шулера пощади,
– Чем музыканта! Дрёма –
В креслах? Бесы на площади́
Думской – и бесы в доме!

Женской сущности септ-аккорд –
Музыка – есть – черт.

Лупоглазого школяра
В пасмах – кулак Потсдаму.
Что есть музыка? Ça ira![2]
Ратсгерры, вот вам гамма!

В оперении райских птах
Демоны: stirb und tödte![3]
Что есть музыка? Тайный страх
Тайного рата Гёте –

Пред Бетховеном.

1 Квартет (*лат.*).
2 Будет дело! (*фр.*).
3 Умри и убей! (*нем.*).

Брови – вверх,
Краска – в нос.
Раты – в перх,
Герры – в чёс.

Раты – в крёхт,
Герры – в чох.
– С нами фохт!
– С нами Бог.

Только, талант непризнан,
Ратсгерр от Романтизма,

Новорожденски-розов
И Филомелой прозван:
«Музыка в малых дозах –
Это не так серьезно».

Бурго-же-мистр, величав и льдист:
– В вас говорит артист.

Ратсгерр от Романтизма

Tempi passati![1]

Бургомистр

Ратсгерры, сядьте!

Шутки – за рюмкой.
Думсгерры, думьте!

Можно ли – непостижим Господь –
За музыканта – плоть

Нашу?

1 В прошлом! (*ит.*)

В городе – впрочем, одна семья
Гаммельн! Итак, в семействе
Гаммельнском – местоименья «я»
Нет: не один: всé вместе.

За исключением веских благ
«Я» означает – всяк.

Славное слово, и есть в нем прок:
Всяк! Так и льнет шубейкой!
Автору же этих скромных строк
– Озолоти! убей хоть! –

Только одна в нем – зато моя! –
Буква понятна: я.

Необоримая! Так алмаз
Жив в черноте пожара.
Неповторимая! Что есть аз?
Чтó не бывает парой.

На языке невозвратных рас
Аз означает: раз.

(Азры...)

В городе Гаммельне лишь азы...
Впрочем, язык прикусим.
Страшное слово! Страшней грозы
В полночь, гостей за гусем:

Я! (В пожирающем большинстве
«Я» означает – «всé»).

Как у соседей! как у людей!
Не мое дело – всé так!
Автору же, ясновидцу лжей,
Оку – из самых светлых,

Только одна в нем – прошу понять –
Буква доступна: ять.

Я: нагруженная по края
Яблонь: снимай не снимешь!

В Гаммельне ж – вместо *именья*: я –
Мы – лишь тогда не мнимость,

Не глухонемость, не пень, не тын –
С буквы когда – в аршин!

(Право гигантов!)
– За музыканта?
Это пикантно!
Это пикантно!

Время – пропало!
Место – пространство!
– За зубоскала!
– За голодранца!

– Без будущего!
– За дудочника!

В доме – гнусь.
В лавке – долг.
Черный гусь!
Белый волк!

С крыши – душ,
В спальне – штранд.
– Кто ваш муж?
– Му – зы – кант.

Рук – вместо платы,
Плеск – вместо мяса.
– За звездохвата!
– За лоботряса!

В грезы да в планы
Первенца кутай.
– За великана!
– За лилипута!

– За о́пусника!
– За фокусника!

Вечный иск!
Всё в ломбард!
Крысий писк
Квинт да кварт.

Деток – кладь.
Geld ist Sand[1].
– Кто ваш зять?
– Му – зы – кант.

Дудка! для этого нужен дых
Дюжий, – весь день дудишь-то!
Не затруднительно в молодых
Ле́тах, а что с одышкой?

Не пригодишься и нужники
Чистить. В слепцы, с жестянкой?
А неоплатные должники –
Всé они музыканты!

Ратсгерры белым
Полнятся гневом:
– Первую в целом
Городе – деву?

Первому? – браво!
Встречному? – ново!
– За крысодава?
– За крысолова?

1 Деньги – песок (*нем.*).

Бессахарника?
За каторжника!

Общий ров.
Гроб в обрез.
Ни венков.
Ни словес.

Помер – прей.
Unbekannt[1].
– Кто был сей?
– Му – зы – кант.

Сомущены – в сумятице –
Глазки, обычно в маслице,
Губки, обычно бантиком,
Ратсгерра от Романтики:

– «В городе Гаммельне вечных благ
Нет, хоть земных и густо.
Гения с Гаммельном – тот же брак,
Что соловья с капустой.

К Розе приписана соловью
Страсть. Изменив пенатам,
Над соловьем моим слезы лью,
А соловей – женатый!

Гения с Гаммельном – где же такт?
Вкус? – не в родстве! не в тоне!
Невразумительней есть ли факт,
Чем соловей – в законе?

Брак – это за́ – борт: засесть, залечь,
Закись – тюфяк – свинина...
Не небожителя слышу речь,
Други, а мещанина!

1 Неизвестен (*нем.*).

Сам в бургомистровы рад бы влезть
Туфли – так я́ – предместье!
Но небожителю – что́ за честь
Звать бургомистра – тестем?

Многозначителен – так красив,
Высокосерд – так знатен.
Миродержателя сыном быв,
Стать бургомистра зятем?

Кухонку?
Куколку?
Кольчико?
Только-то?

Что не для лириков – Гименей,
Вам и ребенок скажет.
Остепенившийся соловей –
Недопустимый казус!

Коль небожители в царстве тел –
Ни лоскутка на дыры
Вам, ибо правильный был раздел
Благ при начале мира:

Нам – только видимый, вам же весь
Прочий (где несть болезни!).
Коль божество, в мясники не лезь,
Как в божества не лезем.

Вам – миродержствовать, нам – родить:
Здесь близнецы, там тройня.
Но музыканту счастливым быть –
По́просту непристойно!

Так предоставьте же сладкий кус
Обыкновенным смертным!
Ваша амброзия слаще уст
Женских, и чище – не́ктар.

Иерофанты в грязи колес,
Боги в чаду блудилищ –
Плачьте и бдите, чтоб нам спалось,
Мрите – чтоб мы плодились!

А бургомистрову дочку – план
Дольний – другим заменим.
Впрочем, в подобных делах профан
И ожидаю мненья

Следующих...»

Поразрумянился весь совет,
Лбищи понапружили.
В Гаммельне собственных мыслей нет,
Только одне чужие.

Не мудрено: на земле живут,
Не в облаках витают.
Да и чужих не сказать, чтоб пуд, –
Только одна, и та ведь

Авторская... Шепоток вдоль стен:
«Что́ бы ему взамен?»

– Что-нибудь нужное!
Удочку! Дюжину

Недорогих носков!
– Туфельку для часов!

– Что-нибудь на́ стену!
Краскою масляной
Кайзера на коне!
– Дело ведь не в цене!

– Нотную папочку!
– Тросточку! На́ плечи
Что-нибудь из тряпья!
– Кисточку для бритья!

– Так себе – чуточку!
– Штучно! – Посуточно!
Не при дворе ж! в глуши!
– Главное – от души!

– Самую капельку!
– Крохотку! – Крапинку!
– Каб налицо – сюртук,
Я б предложил – утюг:

Прочно и дешево!
– Главное – пошибом
Взять: для подобных бар
Жест – наилучший дар.

Прочее – дорого.
– Дешево – здорово!
Без роковых затрат,
В дельности – аттестат.

Деньги – безвкусица!
Каперцы, устрицы, –
Не диабет – нефрит.
– Гений мечтами сыт.

Доброе мнение –
Вот она, гению,
Плата: кошель похвал.
– Смертный дороже б взял.

Стало быть – аттестационный лист.

Ратсгерр от Романтизма

– Эврика! В руки бейте!
Коль по призванию он – флейтист,
Значит – футляр на флейту!

Раты – в плёск,
Герры – в хлоп.

– Ну и мозг!
– Ну и лоб!

Geben – frisst,
Leb'heisst: spar...[1]
Раз флейтист –
Так футляр.

– Слажено! – Сложено!
– Замшевый! – Кожаный!
– Для музыкальных душ
Так же приятен плюш.

– Стало быть – плюшевый!
– Ратсгерры, кушанье
Стынет. – Коль нежность – цель,
Так же нежна фланель.

– Главное – умысел!
– В траты не сунувшись,
Чтоб от души – к душе –
Так из папье-маше!

Кабы малейший какой в душе
Прок был – у всех была бы.
А в переводе папье-маше –
Жеваная бумага.

Хоть не корова, а нажую!
Боги – а рты замажем!
Так же как критика – соловью:
Жвачкой, притом – бумажной.

– Чистой! без примеси!
– Принято! Принято!

– Хлопковой! Рисовой!
– Браво! Подписано!

1 Дадим – слопает (здесь: дают – бери), жить – значит экономить (*нем.*).

Не проскочил – в зятья!
Но, человека чтя
И в музыканте –
Ратсгерры, встаньте!
Девы, монет не тратящей,
Постановленье ратуши:

Гаммельн – не в царстве душ.
Раз музыкант – не муж,
Раз музыкант – не зять.
В названной отказать
Девушке. (В царстве *цен!*)
И предложить взамен
Нечто из царства чар:
На инструмент – футляр.

Жвачно-бумажный.
Ибо́ не важно –
Что́ – («Вещество – лишь знак».
Гёте) – а важно – ка́к.

Тих как мех.
Тих как лев.
Губы в смех.
Брови в гнев.

Выше звезд,
Выше слов,
Во весь рост –
Крысолов.

«Раз музыкант – так мот.
Дудки не бережет
Дудочник. Треснет – свистнет.

Чехолоненавистник
Он – и футлярокол.
Раз музыкант – так гол,

Чист. Для чего красе –
Щит? Гнойники скрывают!
Кто со всего и всé
В мире – чехлы срывает!

Нехороша – так пнуть!
Чтоб просияла суть.

Не в ушеса, а в слух
Вам протрубят к обедне
В день, когда сбросит дух
Тело: чехол последний.

В день, когда станут – льды.
В душу – и *без* трубы.

Не в инструменте – в нас
Звук. Разбивайте дудки!
Зорче всего – без глаз
Видящий. Самый гудкий

И благодарный зал –
Грудь. Никогда не мал.

Не соловью беречь
Горло. (Три капли на́ ночь!)
Что до футляра – в печь!
Или наденьте на́ нос...

Ратсгерры! Долг и мзду –
Дочь бургомистра. Жду».

Зашушукали: шу-шу-шук...
«За каких-нибудь десять штук
Жалких – благо бы крыс! – мышей!
Не видать как своих ушей».

Грета, Грета, попалась в сеть!
Легче уши свои узреть,

Нежель душу.
— Камыш, шурши!
Не видать как своей души.

Детский рай
(Глава шестая и последняя)

Розан ал, студень гол,
А будильник — зол.

В школу! В школу! В школу! В школу!
Норд-ост — в спину! Норд-вест — в полы!

Не продравши глаз —
В класс! в класс! в класс!

Жарче шуб, слаще дынь —
А будильник: дзинь!

Разрывай-рывай глаза!
Спать нельзя! нельзя! нельзя!

Собирай-бирай мозги!
Тьма — ни зги! ни зги! ни зги!

Но — гами в чан!
Под кран! Под кран!

Не роман и не драма, — скушна весьма!
Из-под крана смывайте румяна сна!

Готы идут и гунны.
Но, говоря разумно,

Так от готов и гуннов — а мир был мал! —
Что осталось? Хороший балл.

Гул да балл.
Гунн да галл.

(Спутал — влёт).
Галл да гот.

Гот да галл.
— Слишком мал —
Гунн да гот,
— Бутерброд.

Гунны — конные, ножки гнуты.
В фунте двадцать четыре фута.
Плюс на минус выходит — плюс.
Цезарь — немец.
Сейчас проснусь.

Спит сурок, спит медведь.
— Спать не сметь! не сметь! не сметь!

Спит мертвец, спит индус.
— Отосплюсь — просплюсь — просплюсь..

Буки — Аз —
В щелки глаз.

Сотней ос —
В ноздри, в нос.

На́ сто лет, на́ сто мод —
Мой завод — завод — завод.

— Рухнет дуб, рухнет трон —
Заведён — ведён — ведён.

Сотни лет, сотни мод —
А что дальше будет —
Скажет тот, скажет тот,
Кто будильник — будит.

Что́ есть час? Что́ есть год?
Ведь и кратер глохнет!

Скажет тот, скажет тот,
Кто будильник грохнет.

Час пропал, день сгорел,
А будильник – цел.

Были долы –
Выросли горы.
Нынче – в школу,
Завтра – в контору.

Где вы, пчелы?
Где вы, зубрилы?
Нынче в школу,
Завтра в могилу...

Утомительней мошкары...
– Шко – ля – ры!

Что́ это? Новый звук!
Книги летят из рук
– Мимо – и прямо в печь.
Руки хотят от плеч,

Слезы хотят из глаз,
Сало упало в таз,
Мыло упало в суп –
В школьную Morgensupp![1]

Звуки! Звуки! Как из лейки!
Как из тучи! Как из глаз!
Это флейта, это флейта
Это флейта залилась!

Скоки! Скоки! Как из стойла!
Топот-при́топ, топот-пряд
– Флейта, лей нам! Флейта, пой нам! –
Жеребят, козлят, телят.

1 Утреннюю похлебку! (*нем.*)

Вольница.
Конница.
Школьники.
Школьницы.

Что ливень с суков,
Что щебень с горы –
Со всех чердаков
Горох детворы.

Школьник? Вздор. Бальник? Сдан.
Ливня, ливня барабан!

Глобус? Сбит. Ранец? Снят.
Щебня, щебня водопад!

Всплески! Всплески! Как из шайки!
Атлас, старься! Грифель, жди!
В роще – сойки, в роще – зайки,
В роще – белые дрозды!

Крики! Крики! Так, примером,
Рты и глотки растворя,
Дикари миссионером
Заедают жития.

– Дет – во – ра!
Золотых вечеров мошкара...
Ди – ка – ри!
Голосистых прудов пискари...

Прочь из нор!
Мотылек – не сурок, не бобер.
Прочь из школ!
Ведь еще первоцвет не отцвел.

Есть у меня – не в службу, а в дружбу! –
Для девочек куклы, для мальчиков ружья,
– Глубокая ловля и быстрая гребля, –
Для девочек – иглы, для мальчиков – кегли,

На – ряд и доспех,
И – вафли – для всех.

Птичкам – рощица, рыбкам – озерце,
На всё особи, на всё возрасты!

Младшим – сладости, старшим – пряности,
На всё тайности, на всё странности.

Блеск – больно глазам:
Э – дем и Сезам.

Под родительскою крышею
Вы «там-там» бессонный слышали?

Под родительскою кровлею
Кто шербет блаженный пробовал?

Дом – тесный загон
Для львов и для жен.

Есть у меня – сказал, так в ладони! –
Для девочек лани, для мальчиков кони,

Плоды Соломона и розы Саади,
Для мальчиков – войны, для девочек – свадьбы,

Весь мир – нараспев
И ласка для всех.

Рыбки в лужице! Птички в клетке!
Уничтожимте всё отметки!

Рыбкам – озерце, птичкам – лето, –
Уничтожены всё предметы!

Рож – дественский стол
В древнейшей из школ.

– Говорят, что он в зеленом!
– Где ж он? – Я иду за звоном.

– Он в жару меня баюкал.
– Где ж он? – Я иду за звуком.

– Я за красною фатой.
– Я за старшею сестрой.

– Говорят, что рай – далёко.
– Я не выучил урока.

– Что-то боязно мне втайне.
– Я – за дальним. Я – за крайним.

– Я – чтоб детство наверстать.
– Не остаться. – Не отстать.

– За отчаявшимся кладом.
– Я – за славой. Я – за стадом.

– Всё равно – домой нельзя уж!
Я – так за́ море! Я – замуж.

– Потому что в школе бьют.
– Потому что всё́ идут.

– Ночевать хотел бы в сене.
– Я – за Францем. Я – за всеми.

– Воевать хотел бы с львами.
– Я? не знаю. Ноги сами.

Потому что фатер – бьет.
Потому что – *всё* идет!

...Колотушки – и те в миндалинках!
Погремушки для самых маленьких!

Сказки — пастора рассмешишь!
И романтики для больших.

На всякие нужды! на всякие вкусы!
Для мальчиков — пули, для девочек — бусы.
На всякие жажды! на всякие масти!
Для мальчиков — игры, для девочек — страсти.

Без свах, без помех.
И — письма — для всех.

— Говорят, что он заводит,
Топит. (Ворочай, народец!)

— Заведет, потом загубит!
— Раз не *может*, так не будет

Хуже! — В лад — так не злодей!
— В ад — так без проповедей!

— Хорошо еще, что вместе,
Кучей. — А сказать по чести...

(То с воды идет, то свыше, —
Где ж он?) — Ничего не слышу:

Ни гопп-гопп и ни ду-ду, —
Всé идут, и я иду.

— Есть у меня — всё, всё, кроме ренты!
Для мальчиков флинты, для девочек ленты,
Дозорные знаки и тайные числа,
Для девочек — звуки, для мальчиков — смыслы,

Сих — с теми — родство.
И — рифма — на всё.

Ветер в полы!
Мимо школы!

Целым цирком —
мимо кирки.

Кем ни разу не ласкан
Да без просыпу таскан —
До свидания, классный!
До свидания, пастор!

Не напишем и не пиши!
— Малыши!

Есть у меня — не всё перескажешь! —
Для мальчиков — радость, для девочек — тяжесть,
Нежна — перелюбишь, умна — переборешь.
Для мальчиков — *сладость*, для девочек — горечь.

Дно — страсти земной...
И — рай — для одной.

Здесь — *путы*,
Здесь — числа...
Разруха...
Разлука...

Рай — *сути*,
Рай — смысла,
Рай — слуха,
Рай — звука.

Точно облачко перистое,
Шепот: Грета бургомистрова!

Стройтесь, резвые невестины
Сёстры в свадебное шествие.

Позабыв о сальных бальниках —
За́ руку берите маленьких.

Школьный дом уже с горошину!
На́ руки берите крошечных

Братцев аистовых...
– Не раскаиваться!

Вроде благовеста...
– Не оглядываться!

Вот он, в просторы стай,
Города самый край.

– Зарастай,
След от ног наших. Спросят – в Китай.
Враний грай,
Голоса и шаги заглушай.

Вы, кусты,
Не храните одежд лоскуты.
Ветер, ты
Голоса и шаги относи.

Без следа!
Говорят, что сегодня среда:
День труда.
В том краю воскресенье всегда.

Жить – стареть,
Неуклонно стареть и сереть.
Жить – врагу!
Всё, что вечно – на том берегу!

В царстве моем – ни тюрем, ни боен, –
Одно ледяное! одно голубое!
Под зыбкою рябью, под зыбкою кровлей
Для девочек – перлы, для мальчиков – ловля

Их. – С грецкий орех!
И – ванна – для всех.

Спи-усни, спи-исчезнь,
Жемчуг – чу́дная болезнь.

Хворост – сер. Хочешь – ал?
Вместо хворосту – коралл.

В царстве моем – ни свинки, ни кори,
Ни высших материй, ни средних историй,

Ни расовой розни, ни Гусовой казни,
Ни детских болезней, ни детских боязней:

Синь. Лето красно́.
И – время – на всё.

Тише, тише, дети! Отданы
В школу тихую, подводную.

Лейтесь, лейтесь, розы щёчные,
В воду вечную, проточную.

Кто-то: мел! кто-то: ил!
Кто-то: ноги промочил!

Кто-то: вал! кто-то: гул!
Кто-то: озера хлебнул!

А вода уже по пальчики
Водолазам и купальщицам...

Жемчуга навстречу сыплются.
А вода уже по щиколку...

Под коленочки норовит.
– Хри – зо – лит!

Красные мхи, лазурные ниши...
(А ноги всё ниже, а небо всё выше...)

Зеркальные ложи, хрустальные зальца...
А что-то всё ближе, а что-то всё дальше...

– Берегись! По колено ввяз!
– Хри – зо – праз!

А вода уже по плечико
Мышкам в будничном и в клетчатом.

Выше, выше, носик вздернутый!
А вода уже по горлышко, –

Усладительней простыни...
– Хру – ста – ли...

В царстве моем (нежнейшее dolce[1])...
А веку всё меньше, а око всё больше...
Болотная чайка? Младенческий чепчик?
А ноги всё тяжче, а сердце всё легче...

Поминай, друзья и родичи!
Подступает к подбородочку,

Хороши чертоги выстроил
Нищий – дочке бургомистровой?

– Вечные сны, бесследные чащи...
А сердце всё тише, а флейта всё слаще...
– Не думай, а следуй, не думай, а слушай.
А флейта всё слаще, а сердце всё глуше...

– Муттер, ужинать не зови!

Пу – зы – ри.

Париж, ноябрь 1925

1 Нежнейший тон (*ит.*).

Из дневниковых записей

О любви

(Из дневника)

1917 г.

Для полной согласованности душ нужна согласованность дыхания, ибо, что – дыхание, как не ритм души?

Итак, чтобы люди друг друга понимали, надо, чтобы они шли или лежали рядом.

Благородство сердца – орга́на. Неослабная настороженность. Всегда первое бьет тревогу. Я могла бы сказать: не любовь вызывает во мне сердцебиение, а сердцебиение – любовь.

Сердце: скорее орга́н, чем о́рган.

Сердце: лот, лаг, отвес, силомер, реомюр – всё, только не хронометр любви.

«Вы любите двоих, значит, Вы никого не любите!» – Простите, но если я, кроме Н., люблю еще Генриха Гейне, Вы же не скажете, что я того, первого, не люблю. Значит, любить одновременно живого и мертвого – можно. Но представьте себе, что Генрих Гейне ожил и в любую минуту мо-

жет войти в комнату. Я та же, Генрих Гейне – тот же, вся разница в том, что он *может войти в комнату.*

Итак: любовь к двум лицам, из которых каждое в любую минуту может войти в комнату, – не любовь. Для того, чтобы одновременная моя любовь к двум лицам была любовью, необходимо, чтобы одно из этих лиц родилось на сто лет раньше меня, или вовсе не рождалось (портрет, поэма). – Не всегда выполнимое условие!

И все-таки Изольда, любящая еще кого-нибудь, кроме Тристана, немыслима, и крик Сары (Маргариты Готье) – «О, л'Амур! л'Амур!», относящийся еще к кому-нибудь, кроме ее молодого супруга, – смешон.

Я бы предложила другую формулу: женщина, не забывающая о Генрихе Гейне в ту минуту, когда входит ее возлюбленный, любит только Генриха Гейне.

«Возлюбленный» – театрально, «любовник» – откровенно, «Друг» – неопределенно. Нелюбовная страна!

Каждый раз, когда узнаю, что человек меня любит – удивляюсь, не любит – удивляюсь, но больше всего удивляюсь, когда человек ко мне равнодушен.

Старики и старухи.

Бритый стройный старик всегда немножко старинен, всегда немножко маркиз. И его внимание мне более лестно, больше меня волнует, чем любовь любого двадцатилетнего. Выражаясь преувеличенно: здесь чувство, что меня любит целое столетие. Тут и тоска по его двадцати годам, и радость за свои, и возможность быть щедрой – и вся невозможность. Есть такая песенка Беранже:

...Взгляд твой зорок...
Но тебе двенадцать лет,
Мне уж сорок.

Шестнадцать лет и шестьдесят лет совсем не чудовищно, а главное – совсем не смешно. Во всяком случае, менее смешно, чем большинство так называемых «равных» браков. Возможность настоящего пафоса.

А старуха, влюбленная в юношу, в лучшем случае – трогательна. Исключение: актрисы. Старая актриса – мумия розы.

– ...И была промеж них такая игра. Он ей поет – ее аккурат Марусей звали – «Маруся ты, Маруся, закрой свои глаза», а она на постелю ляжет, простынею себя накроет – как есть покойница. Он к ней: «Маруся! Ты не умри совсем! Маруся! Ты взаправду не умри!» – Кажный раз до слез доходил. – На одной фабрике работали, ей пятнадцать годочков было, ему шешнадцать...

(Рассказ няньки.)

– А у меня муж, милые: бы–ыл!!! Только и человецкого, что обличие. Ничего не ел, всё пил. Подушку мою пропил, одеяло с девками прогулял. Всё ему, милые, скушно: и работать скушно, и со мной чай пить скушно. А собой хорош, как демон: волоса кучерявые, брови ровные, глаза синие... – Пятый год пропадает!

(Нянька – подругам.)

Первый любовный взгляд – то кратчайшее расстояние между двумя точками, та божественная прямая, которой нет второй.

Из письма:

«Если бы Вы сейчас вошли и сказали: «Я уезжаю надолго, навсегда», – или: «Мне кажется, я Вас больше не люблю», – я бы, кажется, не почувствовала ничего нового: каждый раз, когда Вы уезжаете, каждый час, когда Вас нет – Вас нет навсегда и Вы меня не любите».

В моих чувствах, как в детских, нет степеней.

Первая победа женщины над мужчиной — рассказ мужчины о его любви к другой. А окончательная ее победа — рассказ этой другой о своей любви к нему, о его любви к ней. Тайное стало явным, ваша любовь — моя. И пока этого нет, нельзя спать спокойно.

Все нерассказанное — непрерывно. Так, непокаянное убийство, например, — *длится*. То же о любви.

Вы не хотите, чтобы знали, что вы такого-то любите? Тогда говорите о нем: «я его обожаю!» Впрочем, некоторые знают, что это значит.

Рассказ.

— Когда мне было восемнадцать лет, в меня был безумно, влюблен один банкир, еврей. Я была замужем, он женат. Толстый такой, но удивительно трогательный. Мы почти никогда не оставались одни, но когда это случалось, он мне говорил только одно слово: «Живите! Живите!» — И никогда не целовал руки. Однажды он устроил вечер, нарочно для меня, назвал прекрасных танцоров — я тогда страшно любила танцевать! Сам он не мог танцевать, потому что был слишком толст. Обыкновенно он на таких вечерах играл в карты. В этот вечер он не играл.

(Рассказчице тридцать шесть лет, пленительна.)

— «Только живите!» Я уронила руки,
Я уронила на́ руки жаркий лоб...
Так молодая Буря слушает Бога
Где-нибудь в поле, в какой-нибудь темный час.
И на высокий вал моего дыханья

Властная вдруг — словно с неба ложится длань.
И на уста мои чьи-то уста ложатся.
Так молодую Бурю слушает — Бог.

(Nachhall, отзвук.)

Гостиная — поле, вчерашняя смолянка — Буря, толстый банкир — Бог. Что уцелело? Да вот то одно слово, которое банкир говорил институтке и Бог в первый день — всему: «Живите!»

«Будь» единственное слово любви, человеческой и божеской. Остальное: гостиная, поле, банкир, институтка — частности.

Что же уцелело? — Всё.

Лучше потерять человека всем собой, чем удержать его какой-то своей сотой.

Полководец после победы, поэт после поэмы — куда? — к женщине. Страсть — последняя возможность человеку высказаться, как небо — единственная возможность быть — буре.

Человек — буря, страсть — небо, ее растворяющее.

О, поэты, поэты! Единственные настоящие любовники женщин!

Желание вглубь: вглубь ночи, вглубь любви. Любовь: провал во времени.

«Во имя свое» любовь через жизнь, «во имя твое» — через смерть.

«Старуха... Что я буду делать со старухой??!» — Восхитительная — в своей откровенности — формула мужского.

«Зачем старухи одеваются? Это бессмысленно! Я бы заказал им всем одинаковый... «юниформ», а так как они все богаты, я бы создал кассу, из которой бы одевал – и очень хорошо одевал бы! – всех молодых и красивых».

– Не мешай мне писать о тебе стихи!

– Помешай мне писать стихи о себе!

В промежутке – вся любовная гамма поэта.

Третье лицо – всегда отвод. В начале любви – от богатства, в конце любви – от нищеты.

История некоторых встреч. Эквилибристика чувств.

Рассказ юнкера: ...«объясняюсь ей в любви, конечно, напеваю...»

Любовность и материнство почти исключают друг друга. Настоящее материнство – мужественно.

Сколько материнских поцелуев падает на недетские головы – и сколько нематеринских – на детские!

Страстная материнская любовь – не по адресу.

Там, где я должна *думать* (из-за других) о поступке, сочинять его, он всегда нецелен – начат и не кончен – не объяснит – не мой. Я точно запомнила А и не помню Б – и сразу, вместо Б – мои блаженные иероглифы!

Разговор:

Я, о романе, который хотела бы написать: «Понимаете, в сыне я люблю отца, в отце – сына... Если Бог пошлет мне веку, я непременно это напишу!»

Он, спокойно: «Если Бог пошлет вам веку, вы непременно это сделаете».

О Песни Песней:

Песнь Песней действует, на меня, как слон: и страшно и смешно.

Песнь Песней написана в стране, где виноград – с булыжник.

Песнь Песней: флора и фауна всех пяти частей света в одной-единственной женщине. (Неоткрытую Америку – включая.)

Лучшее в Песни Песней, это стих Ахматовой:

А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песни Песней.

«Я бы никогда не мог любить танцовщицы, мне бы всегда казалось, что у меня в руках барахтается птица».

Вдова, выходящая замуж. Долго искала формулу для этой отвращающей меня узаконенности. И вдруг – в одной французской книге, очевидно, женской (автора «Amitié amourese»[1]) – *моя* формула:

«Le remariage est un adultère posthume»[2].

– Вздохнула!

Раньше все, что я любила, называлось – я, теперь – вы. Но оно всё то же.

1 «Любовная дружба» (*фр.*).
2 Второй брак – это посмертный адюльтер (*фр.*).

Жен много, любовниц мало. Настоящая жена от недостатка (любовного), настоящая любовница — от избытка. Люблю не жен и не любовниц — «amoureuses».

Как музыкант — меньше музыки! И как любовник — меньше любви!

(NB! «Любовник» и здесь и впредь как средневековое обширное «amant». Минуя просторечие, возвращаю ему первичный смысл. Любовник: тот, кто любит, тот, через кого явлена любовь, провод стихии Любви. Может быть, в одной постели, а может быть — за тысячу верст. — Любовь не как «связь», а как стихия.)

«Есть две ревности. Одна (наступательный жест) — от себя, другая (удар в грудь) — в себя. Чем это низко — вонзить в себя нож?»

(Бальмонт.)

Я должна была бы пить Вас из четвертной, а пью по каплям, от которых кашляю.

Как медленно сходятся с Вами такие-то! Они делают миллиметры там, где я делала — мили!

Зачем змей, когда Ева?

Любовь: зимой от холода, летом от жары, весной от первых листьев, осенью от последних: всегда — от всего.

Ночной разговор.

Павел Антокольский[1]: — У Господа был Иуда. А кто же у Дьявола — Иуда?

Я: — Это, конечно, будет женщина. Дьявол ее полюбит, и она захочет вернуть его к Богу, — и вернет.

1 Поэт, ученик Студии Вахтангова. *(Прим. М. Цветаевой.)*

Антокольский: — А она застрелится. Но я утверждаю, что это будет мужчина.

Я: — Мужчина? Как может мужчина предать Дьявола? У него же нет никакого доступа к Дьяволу, он Дьяволу не нужен, какое дело Дьяволу до мужчины? Дьявол сам мужчина. Дьявол — это вся мужественность. Дьявола можно соблазнить только любовью, то есть женщиной.

Антокольский: — И найдется мужчина, который припишет себе честь этого завоевания.

Я: — И знаете, как это будет? Женщина полюбит Дьявола, а ее полюбит мужчина. Он придет к ней и скажет: — «Ты его любишь, неужели тебе его не жаль? Ведь ему плохо, верни его к Богу». — И она вернет...

Антокольский: — И разлюбит.

Я: — Нет, она не разлюбит. Он ее разлюбит, потому что теперь у него Бог, она ему больше не нужна. Не разлюбит, но бросится к тому.

Антокольский: — И, смотря в его глаза, увидит, что все те же глаза, и что она сама побеждена — Дьяволом.

Я: — Но был же час, когда Дьявол был побежден, — час, когда он вернулся к Богу.

Антокольский: — И предал его — мужчина.

Я: — Ах, я говорю о любовной драме!

Антокольский: — А я говорю об имени, которое останется на скрижалях.

Я: — Женщина — одержимая. Женщина идет по пути вздоха (глубоко дышу). Вот так. И промахнулся Гейне с его «horizontales Handwerk»[1]! Как раз по вертикали!

Антокольский: — А мужчина хочет — так: (Выброшенная рука. Прыжок.)

Я: — Это не мужчина так, это тигр так. Кстати, если бы вместо «мужчины» было «тигр», я бы, может быть, и любила мужчин. Какое безобразное слово — мужчина! Насколько по-немецки лучше: «Mann», и по-французски: «Homme». Man, homo... Нет, у всех лучше...

Но дальше. Итак, женщина идет по пути вздоха... Женщина, это вздох. Мужчина, это жест. (Вздох всегда раньше,

1 Горизонтальным ремеслом (*нем.*).

во время прыжка не дышат.) Мужчина никогда не хочет первый. Если мужчина захотел, женщина уже хочет.

Антокольский: — А что же мы сделаем с трагической любовью? Когда женщина — действительно — не хочет?

Я: — Значит, не она хотела, а какая-нибудь рядом. Ошибся дверью.

Я, робко: — Антокольский, можно ли назвать то, что мы сейчас делаем — мыслью?

Антокольский, еще более робко: — Это — вселенское дело: то же самое, что сидеть на облаках и править миром.

Я: — Два отношения к миру: любовное, материнское.

Антокольский: — И у нас два: любовное, сыновнее. А отцовского — нет. Что такое отцовство?

Я: — Отцовства, вообще, нет. Есть материнство: — Мария — Мать — большое М.

Антокольский: — А отцовство — большое О, то есть нуль, зеро.

Я, примиряюще: — А зато у нас нет дочернего.

Говорим о любви.

Антокольский: — Любить Мадонну — все равно что застраховаться от кредиторов. (Кредитора — женщины.)

Говорим о Иоанне д'Арк, и Антокольский, внезапным взрывом:

— А королю совсем не нужно царства, он хочет то, что больше царства — Иоанну. А Вам... А ей до него нет никакого дела: — «Нет» ты должен быть королем! Иди на царство!» — как говорят: «Иди в гимназию!»

Насыщенный раствор. Вода не может растворить больше. Таков закон. Вы — насыщенный мною раствор.

Я — не бездонный чан.

Нужно научиться (мне) подходить к любовному настоящему человека, как к его любовному прошлому, то есть — со всей отрешенностью и страстностью творчества.

Соперник всегда — или Бог (молишься!) — или дурак (даже не презираешь).

Предательство уже указывает на любовь. Нельзя предать знакомого.

1918 г.

Суд над адмиралом Щастным. Приговор произнесен. Подсудимого уводят. И, уходя, вполоборота, в толпу: «Вы придете?»

Женское: — Да!

Я не любовная героиня, я никогда не уйду в любовника, всегда — в любовь.

«Вся жизнь делится на три периода: предчувствие любви, действие любви и воспоминание о любви».

Я: — Причем середина длится от 5-ти лет до 75-ти, — да?

Письмо:

«Милый друг! Когда я, в отчаянии от нищенства дней, задушенная бытом и чужой глупостью, вхожу, наконец, к Вам в дом, я всем существом в праве на Вас. Можно оспаривать право человека на хлеб (дед не работал, значит — внук не ешь!) — нельзя оспаривать право человека на воздух. Мой воздух с людьми — восторг. Отсюда мое оскорбление.

Вам жарко, Вы раздражены. Вы «измучены», кто-то звонит, Вы лениво подходите: «Ах, это Вы?» И жалобы на жару, на усталость, любование собственной ленью, — да восхищайтесь же мной, я так хорош!

Вам нет дела до меня, до моей души, три дня — бездна (не для меня — без Вас, для меня — с собой), одних снов за три ночи — тысяча и один, а я их и днем вижу!

Вы говорите: «Как я могу любить Вас? Я и себя не люблю». Любовь ко мне входит в Вашу любовь к себе. То, что Вы называете любовью, я называю хорошим расположением духа (тела). Чуть Вам плохо (нелады дома, жара, большевики) — я уже не существую.

Дом — сплошной «нелад», жара — каждое лето, а большевики только начинаются!

Милый друг, я не хочу так, я не дышу так. Я хочу такой скромной, убийственно-простой вещи: чтобы, когда я вхожу, человек радовался».

Тут, дружочек, я заснула с карандашом в руке. Видела страшные сны, — летела с нью-йоркских этажей. Просыпаюсь: свет горит. Кошка на моей груди делает верблюда. (Аля, двух лет, говорила: горблюд!)

Любить — видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители.

Не любить — видеть человека таким, каким его осуществили родители.

Разлюбить — видеть вместо него: стол, стул.

Семья... Да, скучно, да, скудно, да, сердце не бьется... Не лучше ли: друг, любовник? Но, поссорившись с братом, я все-таки вправе сказать: «Ты должен мне помочь, потому что ты мой брат... (сын, отец...)» А любовнику этого не скажешь — ни за что — язык отрежешь.

В крови гнездящееся *право интонации.*

Родство по крови грубо и прочно, родство по избранию — тонко. Где тонко, там и рвется.

Моя душа чудовищно-ревнива: она бы не вынесла меня красавицей.

Говорить о внешности в *моих* случаях — неразумно: дело так явно, и настолько — не в ней!

— «Как она Вам нравится внешне?» — А хочет ли она внешне нравиться? Да я просто права на это не даю, — на такую оценку!

Я — я: и волосы — я, и мужская рука моя с квадратными пальцами — я, и горбатый нос мой — я. И, точнее: ни волосы не я, ни рука, ни нос: я — я: незримое.

Чтите оболочку, осчастливленную дыханием Бога. И идите: любить — другие тела!

(Если бы я эти записи напечатала, непременно сказали бы: par dépit[1]).

Письмо о Лозэне[2]:

«Вы хотите, чтобы я дала Вам краткий отчет о своей последней любви. Говорю «любви», потому что не знаю, не даю себе труда знать... (Может быть: все, что угодно, — только нелюбовь! Но — все, что угодно!)

Итак: во-первых — божественно-хорош, во-вторых — божественный голос. Обе сии божественности — на любителя. Но таких любителей много: все мужчины, не любящие женщин, и все женщины, не любящие мужчин.

Он восприимчив, как душевно, так и накожно, это его главная и несомненная сущность. От озноба до восторга — один шаг. Его легко бросает в озноб. Другого такого собеседника и партнера на свете нет. Он знает то, чего Вы не сказали и может быть и не сказали бы... если бы он уже не знал! Чтущий только собственную лень, он не желая заставляет Вас быть таким, каким ему удобно. («Угодно» здесь неуместною — ему ничего не угодно.)

Добр? Нет. Ласков? Да.

Ибо доброта — чувство первичное, а он живет исключительно вторичным, отраженным. Так, вместо доброты —

1 с досады (*фр.*).
2 Герое моей пьесы «Фортуна» *(Прим. М. Цветаевой.)*

ласковость, любви — расположение, ненависти — уклонение, восторга — любование, участия — сочувствие. Взамен *присутствия* страсти — *отсутствие* бесстрастия (пристрастности присутствия — бесстрастие отсутствия).

Но во всем вторичном он очень силен: перл, первый смычок.

— А в любви?

Здесь я ничего не знаю. Мой острый слух подсказывает мне, что само слово «любовь» его — как-то — режет. Он вообще боится слов, как вообще — всего явного. Призраки не любят, чтобы их воплощали. Они оставляют эту роскошь за собой».

«Люби меня, как тебе угодно, но проявляй это так, как удобно мне. А мне удобно, чтобы я ничего не знал».

Воля в зле? Никакой. Вся прелесть и вся опасность его в глубочайшей невинности. Вы можете умереть, он не справится о вас в течение месяцев. И потом, растерянно: «Ах, как жаль! Если бы я знал, но я был так занят... Я не знал, что так сразу умирают...»

Зная мировое, он, конечно, не знает бытового, а смерть такого-то числа, в таком-то часу — конечно, быт. И чума — быт.

Но есть, у него, взамен всего, чего нет, одно: воображение. Это его сердце, и душа, и ум, и дарование. Корень ясен: восприимчивость. Чуя то, что в нем видите вы, он становится таким.

Так: денди, демон, баловень, архангел с трубой — он все, что вам угодно, только в тысячу раз пуще, чем хотели вы. Игрушка, которая мстит за себя. Objet de luxe et d'art[1] — и горе вам, если это objet de luxe et d'art станет вашим хлебом насущным!

— Невинность, невинность, невинность! —

Невинность в тщеславии, невинность в себялюбии, невинность в беспамятности, невинность в беспомощности...

Есть, однако, у этого невиннейшего и неуязвимейшего из преступников одно уязвимое место: безумная — только никогда не сойдет с ума! — любовь к няне. На этот раз навсегда исчерпалась вся его человечность.

Итог — ничтожество, как человек, и совершенство, как существо.

Из всех соблазнов его для меня я бы выделила три главных: соблазн слабости, соблазн бесстрастия — и соблазн Чужого.

Москва, 1918–19 г.

1 Предмет роскоши и искусства (*фр.*).

Из дневника

Смерть Стаховича
(27 февраля 1919 г.)

Мы с Алей у Антокольского. Воскресенье. Тает. Мы только что от Храма Спасителя, где слушали контрреволюционный шепот странников и — в маленьких шапочках — в шубах с «буфами» — худых и добрых — женщин — не женщин — дам — не дам, с которыми так хорошо на кладбище.

— «Погубили Россию»... «В Писании все сказано»... «Антихрист»...

Храм большой и темный. Наверху — головокружительный Бог. Островки свеч.

Антокольский читает мне стихи — «Пролог к моей жизни», которые бы я назвала «Оправданием всего». Но так как мне этого нельзя, так как я в данный час — русская, молчу молчанием резче и весче слов. Прощаемся. Аля надевает капор. В дверях студиец В. с каменным лицом.

— Я принес ужасную весть: Алексей Александрович Стахович вчера повесился.

В церкви (у Страстного, названия не помню) стоял двойной пар от ладана и от дыхания. Каждый раз, чтобы креститься, я снимала варежку. Воск капал, слез у меня нет.

Вижу руки — из чего-то другого: не плоть — сохранившие от живого только форму — восхитительную! Те самые,

которыми прививал, в Крыму, розы, и — розы кончились — закладывал, из гардинного шнура, петлю. Голова в тяжелом великолепии смерти. Веки — как занавесы: кончено, спущено. Если и есть страдание — то в висках. Остальное покоится.

Стою над гробом, близким ли, дальним ли, у меня непреложно — вопрос: «Кто следующий?» Ведь буду же я так стоять над другим лицом? — Чьим? — Эта мысль во мне, как соблазн. Я знаю, что мертвый знает. Не вопрос, а допрос. И нескончаемость этого ответа...

Еще одно: кем бы ни был мне мертвый, верней: как мало бы я ему, живому, ни была, я знаю, что в данный час (с часа, кончающегося с часами) я ему ближе всех. Может быть — потому что я больше всех *на краю*, легче всех пойду (пошла бы) вслед. Нет этой стены: живой — мертвый, был — есть. Есть обоюдное доверие: он знает, что я вопреки телу — есть, я знаю, что он — вопреки гробу! Дружеский уговор, договор, заговор. Он только немножко старше. И с каждым уходящим уходит *в туда! в там!* — частица меня, тоски, души. Опережая меня — домой. Почти как: «кланяйтесь тем-то»...

Но, воскресая с ним, я и умираю с ним. Я не могу плакать над гробом, потому что и меня закапывают! Некоей утерей своей земной достоверности плачусь за утверждение свое в мирах тех. (Плата за перевоз? Ведь платили же тени Харону? Я свою тень посылаю вперед — и *здесь* плачу!)

Еще об одном: как это близкие так мало ревнивы к гробу? Так легко уступают — хотя бы пядь. Секунды на земле сочтены, и именно пядь дорога! Никогда не превышаю прав, оставляю пустоту вокруг гроба незаполненной — не семья — так никто! — но с такой горечью, с такой обидой за лежащего. (Гроб: точка стечения всех человеческих одиночеств, одиночество последнее и крайнее. Из всех часов — час, когда надо любить вблизи. Именно *над душой* стоять.)

Господи, будь он мой (то есть: имей я право!), как бы я стояла, и глядела, и целовала, как — когда все уйдут — говорила бы с ним — ему! — совсем простые вещи — может быть, о погоде — ведь он так недавно был! он еще не успел *не быть!* как бы я ему в последний раз рассказала *землю*.

Я знаю, что его душа возле! Ушами же никто никогда ничего не слышал.

В церкви людно, никого не знаю. Помню седую голову Станиславского и свою мысль: «Ему, должно быть, холодно без шапки» — и умиление над этой седой головой.

Из церкви его понесли в Камергерский. Толпа была огромная. Все чужие. Я шла, чувствуя себя наполовину мертвой, умирая с каждым шагом — от всех чужих вокруг, от него — одного — впереди. Толпа была огромная. Автомобили сворачивали с дороги. Я этим немножечко (за него) гордилась.

От Зубовской площади толпа начала редеть. В постепенности этого редения выяснилось, что за ним идет одна молодежь — студийцы II Студии — его «Зеленое кольцо». Они трогательно пели.

Когда улицы стали совсем чужими, а я уже не только тела не чувствовала, но — души, ко мне подошел В.Л. Мчеделов[1]. Я ему безумно обрадовалась и сразу перенесла на него частичку своей нежности к Стаховичу. Я чувствовала — приказала себе почувствовать, — что он чувствует совсем как я, внушала ему это, всем своим самовнушением внушала — и если я когда-нибудь в жизни испытала чувство содружества, то именно в этот час, в снегах Девичьего Поля, за гробом Стаховича.

— Я тогда не сказал Вам этого. Помните? Вы в прошлом году написали мне письмо, где было несколько строк о нем: что-то о белой кости, о белой муке. Я ему прочел. Это произвело на него потрясающее впечатление. Он три дня ходил за мной следом, чтобы я ему их переписал...

Слушаю молча.

— Его очень любили, все к нему приходили во время болезни. За день до его смерти кто-то из студийцев принес ему котлету из конины. Воткнул вилку и с усмешкой: «Может, свою же лошадку и ем»... У него ведь конские заводы были. Страстно любил лошадей.

— А как же все эти студийцы, все эти юноши, все эти молодые женщины? Как же они все-таки не...

— Не догадались?

1 Режиссер II Студии, ныне тоже умерший. *(Прим. М. Цветаевой.)*

— Не отстояли его у смерти?! Ведь в их руках: молодость, любовь, — власть!

— Ах, Марина Ивановна! Жалость — не любовь. Особенно к старику. Стахович ненавидел жалость. «Я никому не нужный старик...»

Переходим на тротуар — курить. Пальцы еле держат папиросу. Была оттепель, стал буран.

— Он никакой записки не оставил?

— Нет, но в день своей смерти он еще был в театре, подошел ко мне, спросил: «Ну как, Вы еще не устроились?» — «Нет». — «Как жаль, как жаль», и сжал мои обе руки.

— А что это за маленький человек, который так плакал в церкви?

— Его камердинер, он раньше был буфетным мальчиком. За день до смерти он выдал ему жалованье за месяц вперед и награду. Перед смертью он заплатил все долги.

Доходим до кладбища. Божественная белизна Девичьего монастыря, успокоительный свод арки. (Об этом кладбище, в 1921 г., один мой спутник-еврей: «Стоит умереть, чтобы лежать здесь», и после паузы: «Может быть, и креститься».) Идем к могиле. Студийцы сами хотят опустить гроб, но гроб, сделанный в Художественном театре, слишком широк (я мысленно, с усмешкой: барский!) — не проходит. Могильщики расширяют. К священнику, торопясь и заплетаясь, подходит монашка: «Батюшка, нельзя ли поскорей? Второй покойник у ворот».

Сугробы не расчищены, стою на могиле Сапунова, немного мучась тем, что это — ну — не по Стаховичу. Помню какую-то даму в трауре. Большие, стеклянные от слез, голубые глаза. Когда гроб опускают, крестит его вслед мелкими частыми крестиками.

Потом узнаю — актриса, у которой недавно в Киеве убили мать и сестру.

Гражданская панихида по Стаховичу
(Художественный театр)

Сначала траурный марш Бетховена.

Стахович и Бетховен. Надо понять.

Первое, что чувствую — несоответствие, второе — неловкость, как от нескромности. — В чем дело? — Слишком пышно... Слишком явно. — Ну?

Стахович — XVIII век, Бетховен — вне (всякого). Что соединило эти два имени? — Смерть. — Случайность смерти. Ибо для того, Стаховича, смерть всегда случайность. Даже вольная. Не завершение, а разрыв. Не авторское тире, а цензорские ножницы в поэму. Смерть Стаховича, вызванная 19-м годом и старостью, не соответствует сущности Стаховича — XVIII веку и молодости. Уметь умирать еще не значит любить бессмертье. Уметь умирать — суметь превозмочь умирание — то есть *еще раз уметь жить*. Больше — и уже на французском (языке формул) скажу:

Pas de savoir-vivre sans savoir-mourir[1].

Savoir-mourir, обратно savoir-vivre[2] — какое русское существительное! Счастлива, что следующей формулой ввожу его впервые:

Il n'y a pas que le savoir-vivre, il y a le savoir-mourir[3].

Но что же с Бетховеном и Стаховичем?

А! кажется, поняла. Стахович — более XVIII века, чем Бетховен, рожденный в нем, равно как траурный марш Бетховена больше смерть, чем лежащий в гробу Стахович. Смысл Стаховича (XVIII века!) — Жизнь. И в смертном дне, как в любовном: «Point de lendemain!»[4] Стахович уходит весь. Бетховен — тот рай, в который дано войти Стаховичу. В траурном марше Бетховена, по отношению к Стаховичу, *некая двойная грубость: acte de décès*[5] (*живому не играют!*) и acte d'abdication[6] (доиграл!).

Ясно ли то, что я хочу сказать?

— Ах, лучше всего бы меня понял сам Стахович!

Речь Станиславского:

«У друга было в жизни три любви: семья, театр, лошади. Семейная жизнь — тайна, в лошадях я не знаток... Я буду говорить о театре».

1 Нет умения жить без умения умирать *(фр.)*.
2 Умение умирать обратно умению жить *(фр.)*.
3 Есть не только умение жить, есть еще умение умирать *(фр.)*.
4 Завтра не будет! *(фр.)*.
5 констатация смерти *(фр.)*.
6 констатация отречения, отказа *(фр.)*.

Рассказ о том, как впервые появился за кулисами Охотничьего клуба[1], в великокняжеской свите, красавец адъютант Стахович. «Великие князья, как им и подобает, оставались недолго. Адъютант остался». И постепенное — негласное — участие блестящего гвардейца в постановках — в роли arbiter elegantiarum. («Нужно будет спросить у Стаховича», «это не по Стаховичу», «как бы это сделал Стахович?») Поездка для изучения дворянского и крестьянского быта в подмосковное имение Стаховича. — «Мы были приняты по-царски». — Нежность Стаховича. — «Заболевал ли кто-нибудь из группы, кто оставался при больном в московской жаре и духоте? Блестящий великосветский гвардеец превращался тогда в самую заботливую няньку...» Рассказ о том, как Стахович, вырвавшись с придворного бала, прилетел на пять минут в Художественный театр, чтобы полаять по-собачьи в граммофонную трубу для постановки «Вишневого сада».

Говорят не так и не те. Станиславский — слишком просто (я бы даже сказала — простецки), сводя всего Стаховича к быту: сначала придворно-военному, потом театральному и, что хуже всего — к Художественному театру: олицетворению его! — упуская элемент мятежа, толкнувшего придворного — в актерство, наивно смешивая обаяние над Стаховичем дерзкого слова «художественники» с влечением к Художественному театру, как к таковому, забывая и фон и тон той удушающей эпохи, забывая *откуда* и только помня — *куда*.

Росси (в статье, которую читает другой) упрощает сложную лирико-цинико-стоико-эпикурсйскую сущность Стаховича до русских дворянских гнезд и дает фельетон вместо поэмы. Южин — как общественное лицо и привыкшее хоронить таковых — неведомо зачем и почему припоминает грехи дворянства и ставит на вид «общественную пользу Стаховичей» (ложь! совершенно бесполезны, как скаковая лошадь. Разве для тех, кто как я, на них *ставит*).

Все — применительно: к театру ли, к общественности ли, к дворянству ли... Никто — вне: Стахович как явление.

1 Первое помещение Художественного театра. *(Прим. М. Цветаевой.)*

Лучше всех – с волнением, смело, ни слова лишнего – говорит студиец Судаков. Одна фраза – совсем моя:

«И лучший урок bon ton, maintien tenue[1] нам дал Стахович 11-го марта 1919 г.».

(27-го февраля – 11-го марта, день смерти.)

Слушаю, слушаю, слушаю. Все ниже и ниже опускаю голову, понимаю роковую ошибку этой зимы, каждое слово, как нож, нож все глубже и глубже, не даю себе дочувствовать. – ах, все равно – ведь я тоже умру!

И скажу еще одно, чего не говорит никто, что знают (?) все: Стахович и Любовь, о любовности этого causeur'a[2], о бессмысленности его вне любви.

И скажу еще одно, чего не знает никто: – если бы на Рождестве 1918 г. я, как хотела, зашла к Стаховичу, он бы не умер.

А я бы ожила.

Стихов к нему мне на панихиде прочесть не дали. Были Каменева и еще кто-то. Немирович-Данченко кипятился и колебался: с одной стороны – «номер», с другой – камера.

...Вы не вышли к черни с хлебом-солью,
И скрестились – от дворянской скуки! –
В черном царстве «трудовых мозолей» –
Ваши восхитительные руки...

– Вот, если бы это пропустить...

– Нельзя, это главное. – Но я не настаивала: Стаховича в зале не было.

Переписала эти стихи его милой сестре, – единственной, кому они были нужны. Выступать для меня всегда превозможение, при моей брезгливости к зрелищам и общественности это законно! Не робость: некая недоуменная отчужденность: stranger hear[3].

1 хороших манер, выправки, осанки *(фр.)*.
2 Собеседники *(фр.)*.
3 Здесь в значении: инородное звучание *(англ.)*.

...В черном царстве «трудовых мозолей...»

Не о мозолях труда, о навязанных, глаза намозоливших и в ушах навязших, мозолях равенства – говорю. Потому и взяла в кавычки.

Моя встреча с Стаховичем

– Единственная. – Год назад. – Познакомил нас В. Л. Мчеделов, с которым знакома давно, но подружились только прошлой зимой. Мне всегда нравилась в нем, человеке театра, эта падкость на иные миры: в человеке зрелища – страсть к незримому. Я прощала ему театр[1]. На его постановке «Дневник Студии» (отрывок из Лескова, «История лейтенанта Ергунова» и «Белые ночи») я была три-четыре раза, – так нравилось! Помню в «Лейтенанте Ергунове» у него, у спящего лейтенанта, слезу. Большую, сонную. Текла и застыла. Жгла и остыла. Он походил на раненного в бою. На всю Белую Армию. Потому, может быть, и ходила смотреть.

А комната – трущоба! – берлога! – где обольщает лейтенанта персияночка! Эта драпь, рвань, стклянь. Глаза по углам, узлы по углам. Эти ошметки, оплевки, обглодки. Эта комната, центр которой – туфля. Эта туфля посреди пола, царственным, по бесстрастию, жестом ноги отлетающая в потолок! Это отсутствие здравого смысла в комнате! Отсутствие комнаты в комнате! Мой Борисоглебский живьем! Мое убранство. Моя уборка. Все мои семь комнат в одной. Скелет моего быта. Мой дом.

Помню персияночку (чертовку): шепота. Шепота – лепета – бормота. *Возле* слов. Наговаривает, насказывает, названивает. Амулеты – браслеты. Под браслетами – лейтенантовы эполеты. Лепета – и бусы, соловьиные рокота – и руки. Руки, ручьи.

---

1 Последующее о театре, как уже появившееся в печати, опускаю. *(Прим. М. Цветаевой.)*

Потом он повел меня на Стаховича — «Зеленое кольцо». О пьесе не сужу. Голос — большой обаятель. Единственный случай, когда я не верю ушам своим. (Театр.) Перевести фразу с голоса на мысль — осмыслить, осознать произносимое — не всегда успеваешь: плывешь по голосу. Голос — и чувство в ответ, вне промежутка слов. В театре слова не нужны, не важны — актер скользит по словам. (Лишнее доказательство правоты Гейне.) Бессмысленное а-а-а-а, о-о-о-о может целую толпу повергнуть в прах, повести на приступ. Равно как — при голосовой несостоятельности — ни Шекспиру, ни Расину не помочь. (Голос здесь не только как горло, но и как разум.) Откуда сей голосовой разум у сего всяческого кретинизма, коим зачастую является певец — другой вопрос, и заводящий далеко. Может быть — хороший маэстро, может быть — просто вмешательство богов. (Не меньше поэтов и женщин льстятся на недостойные сосуды!) Словом, чтобы закончить о голосе:

Я — чудо: ни добро, ни худо.

А чтобы закончить о пьесе — не знаю, я слушала Стаховича.

Стахович: бархат и барственность. Без углов. Голосовая и пластическая линия непрерывны. Это я о пятью чувствами воспринимаемом. Духовно же — некое свысока. Совсем не важно, что это по пьесе. Ясно, как зеркало, что играет себя. — «Милые мои дети» — это он не своим партнерам говорит, — нам всем, всему залу, всему поколению. «Милые мои дети» — это читайте так: «Я устал, я все знаю, что вы скажете, все сны, которые вам еще будут сниться, я уже видел тысячелетия назад. И тем не менее, несмотря на усталость, выслушиваю: и исповеди, и отповеди. Снисходительность — не наименьшая ли из добродетелей Петрония? Кроме того, я, как все стареющие, бессонен. Ваши лепеты — не послужат ли они мне тем лепестковым потоком, в котором сомкнул, наконец, вежды мой более счастливый собрат?»

Этого ли хотел автор? Навряд ли. Так, чарами сущности и голоса, образ очень местный (русского барина), очень сословный (барина — очень) и очень временный (fun du siècle[1] прошлого века) превратился во вневременный и всеместный — вечный.

Образ прошлого, глядящегося в будущее.

После пьесы В.Л. Мчеделов повел меня знакомиться, — куда-то вниз. Помню зелень и пар: мебель и чай. Стахович встает навстречу. Очень высокий рост (я из тех народов, что богов своих воспринимают великанами!) — гибкая прямизна, цвет костюма, глаз, волос — среднее между сталью и пеплом. Помню веки, из породы тяжелых, редко дораскрывающихся. Веки природно-высокомерные. Горбатый нос. Безупречный овал.

Сопровождающие лестные слова Мчеделова, и я, заставляя себя взглянуть прямо:

— Я очарована, но это Вы заранее знаете. Для этого Вам достаточно слышать себя. Ненавижу театр, но обожаю чары. Я сегодня очень счастлива. Всё.

Оба смеются. Смеюсь и я. И — рассеять, нет — затуманить определенность сказанного и слышанного — вроде как бы хвостом замести! — закуриваю. И — да простит мне Стахович это упоминание об одной из пленительнейших мною за жизнь слышанных обмолвок! — его испуганный возглас:

— Но зачем же волосы жечь?! Их у Вас и без того мало!

Я, праведно-возмущенная:

— Мало? Волос?

— Я хотел сказать — короткие.

Смеемся опять. Смех, в первые секунды, лучшая связь. Смех и легкая (чужая) погрешность. Присаживаюсь к столику. Пока наливает чай, любуюсь рукой.

— Я очень люблю Ваши стихи. Когда мы были в Кисловодске, Качалов получил от вас стихотворение, без подписи...

Я, вскипая: — О!!

Стахович, чуть гася рукой, с улыбкой:

1 последних лет (букв. конца века. — *фр.*).

– Тщетная предосторожность, ибо Вас тотчас же узнали все. Купола, колокола... Прекрасные стихи. И архитектурно, и музыкально, и филологически – замечательно. Я тотчас же выучил их наизусть и на многих вечерах читал. – Всегда с успехом... (полупоклон), который всецело приписываю Вам...

Слушаю ошеломленно. Я – Качалову?! Забалованному купчихами? Я – Качалову – без подписи?! Без подписи?! – Я?!!!

– Я очень люблю чтение поэтов. Вы бы мне их не прочли?

– Но...

И вдруг – безнадежность: Стахович эти стихи любит. Стаховичу 60 лет, и он превозмог отвращение к «современности». Стахович мне эти стихи – в упор – хвалит. И эти стихи – вдруг не мои! Все здание рушится. И под обломками – Стахович!

И, ничего не разоблачая, проглотив и аноним, и чужие стихи, и Качалова, – героически:

– Но я так плохо читаю... Как все поэты... Я никогда не решусь...

(Хорошо читаю – как все поэты – и всегда решаюсь.)

– Такая Шарлотта Корде? Я никогда бы не заподозрил Вас в робости!

И я, облегченно (словесная игра! То, в чем не собьют!):

– Благодарю за честь, но разве я перед Маратом?

Смеется. Смеемся. Упрашивает. Отклоняю. Отвожу. Что я ему скажу? Я тех стихов не знаю. Трагическая нелепость: здесь, где всё «да» – начинать с отказа! И, внезапно осеняясь:

– А может быть, Вы сами мне их скажете?

Он смущенно:

– Я... я их сейчас немножечко забыл.

(Я не писала, а он не помнит! «Направо поедешь – коня потеряешь, налево поедешь...»)

И – поворотом стремительным и бесповоротным:

– Будь я на месте Веры Редлих[1], я бы всю пьесу опрокинула!

1 Актрисы, по пьесе влюбленной в гимназиста. *(Прим. М. Цветаевой.)*

– То есть?

– Вы на сцену – текст забыт, жених забыт...

– Вы так беспамятны?

– Нет, это Вы – незабвенны!

Стахович Мчеделову:

– О-о-о! Я и не знал, что это такое льстивое племя – поэты! Это обычно падало на бедные головы придворных!

– Каждый поэт – придворный: своего короля. Поэты всегда падки на величие.

– Как короли – на лесть.

– Которую я обожаю, ибо веду ее не от лицемерия, а от прелести – того, кому льстишь. Льстить – прельщаться. Льстить – льнуть. Иной лести не знаю. А Вы?

Потом расстались, – кажется обольщенные. (О себе – достоверно.) Потом написала письмо В.Л. Мчеделову, не имеющее никакого отношения к адресату, кроме адреса. (С даты до подписи – о Стаховиче и для Стаховича.) Потом забылось.

Два месяца назад от Володи Алексеева[1] узнала о его болезни. Болен, скучает. Но мы виделись только раз, только час! Но – раз болен – семья, друзья... Близко не подойдешь, а проталкиваться не умею. (Не расступятся же!) Видение чужого дома, чужого быта. Родные, которые, никогда не видев меня раньше, будут разглядывать... Нарядные студийки – а я в таких башмаках...

Потом: для меня прийти (всегда, и особенно сейчас, в Революцию), для меня прийти – принести. Что я ему принесу? Свои пустые руки (никогда не аристократические, а сейчас – даже не человеческие!), пустые руки и переполненное сердце? Но последнего он – из-за первых (смущения моего!) не увидит. Даром измучаюсь и время отниму.

Но с каждым приходом Володи, жалобно: «Возьмите меня к Стаховичу!» Для меня достижимость желаемого

1 Актера III Студии, потом добровольца, в 1920 г. пропавшего без вести. *(Прим. М. Цветаевой.)*

(вещи ли, души ли) в обратном соотношении с желанностью его: чем желанней – тем недостижимей. Заранее. Заведомо. И не пытаюсь хотеть. Стахович у Страстного, стало быть – и Страстной – не Страстной и... даже Стахович – не Стахович. («Удивится... Рассердится...» Он, Петроний!)

Словом, – не пошла.

Еще одна фраза, на похоронах, Мчеделова: «Почему вы его никогда не навестили? Он был бы так рад. Он любил стихи, беседу, сам любил рассказывать, только его никто не хотел слушать... А было – что! У него ведь была необычайная жизнь. Столько встреч, путешествий... В молодости – война... И такие разные круги: придворные, военные, театр... И Вы ему тогда так понравились...»

16-го марта 1919 г.

Иду сейчас по улице. Немножко тает. Вдруг мысль: «В первый раз Москва весной без Стаховича...» (Не: «Стахович весной без Москвы», – мне подумалось именно так.)

19-го марта.

Каждый раз, когда я вижу на улице седой затылок, у меня сжимается сердце.

Еще я забыла сказать: у Стаховича когда-то был чудесный голос. Он пел с каким-то знаменитым итальянцем.

– Голос! Жесточайшее надо мной обаяние!

«Да, то был вальс прелестный, томный,
Да, то был ди-ивный вальс».
Он это часто пел, чудесно пел. Кончит – и неизменно:
«Когда б я молод был,
Как бы я Вас любил!»

– Алексей Александрович! Алексей Александрович! Да ведь этого в романсе нет! Это Вы свое поете!

– Есть, есть! А если и нет – se non e vero e ben trovato![1]

И никто не понимал!

(Рассказ студийки.)

Москва, февраль – март 1919 г.

1 если и неверно, то хорошо придумано! *(ит.)*

Отрывки из книги «Земные приметы»

Таинственная скука великих произведений искусства, — одних уже наименований их: Венера Милосская, Сикстинская Мадонна, Колизей, Божественная Комедия (исключение Музыка. «Девятая симфониям» — это всегда вздымает!).

Точно на них пудами навязла скука всех их читателей, чтителей, попечителей, толкователей...

И таинственное притяжение мировых имен: Елена, Роланд, Цезарь (включая сюда и творцов вышеназванных творений, если имена их пребыли).

Сказанное относится к звуку имен их, к моему слуховому восприятию. Касательно же сущности — следующее:

Творению я несомненно предпочитаю Творца. Возьмем Джоконду и Леонардо. Джоконда — абсолют, Леонардо, нам Джоконду давший — великий вопросительный знак. Но может быть, Джоконда и есть ответ Леонардо? Да, но не исчерпывающий. За пределами творения (явленного!) еще целая бездна — Творец: весь творческий Хаос, все небо, все недра, все завтра, все звезды, — все, обрываемое здесь земною смертью.

Так абсолют (творение) превращается для меня в относительность: вехи к Творцу.

— «Но это уничтожение искусства!» — Да. Искусство не самоцель: мост, а не цель.

Произведение искусства отвечает, живая судьба спрашивает (тоска рожденного по воплощению в искусстве!). Произведение искусства, как совершенное, приказует, живая судьба, как несовершенное, просит. Если ты хочешь абсолюта, иди к Венере — Милосской, Мадонне — Сикстинской, Улыбке — Леонардовской, если ты хочешь дать абсолют (ответить!), иди к Афродите — просто, Марии — просто, Улыбке — просто: минуя толкование — к первоисточнику, т. е. делай то же, что делали творцы этих творений, безымянных или именных.

Этим ты не умаляешь ни Гёте, ни Леонардо, ни Данте. Твоя немота перед ними — твоя дань им. Что можно ответить на исчерпывающий ответ? Молчишь.

Но если ты рожден в мир — давать ответы, не застывай в блаженном небытии, не так творили и не этого, творя, хотели Гёте, Леонардо, Данте. Быть опрокинутым — да, но уметь и встать: припав — оторваться, пропав — воскреснуть.

Коленопреклонись — и иди мимо: в мир нерожденный, несотворенный и жаждущий.

В этой *отбрасывающей* силе и есть главная сила великих произведений искусства. Абсолют отбрасывает — к созданию абсолютов же! В этом и заключается их действенность и вечная жизнь.

Но между Джокондой (абсолютным толкованием Улыбки) и мною (сознанием этой абсолютности) не только моя немота, — еще миллиарды толкователей этого толкования, все книги о Джоконде написанные, весь пятивековой опыт глаз и голов, над ней тщившихся.

Мне здесь нечего делать.

Абсолютна, свершена, совершенна, истолкована, залюблена.

Единственное, что можно перед Джокондой — *не быть*.

«Но Джоконда улыбкой – спрашивает!» На это отвечу: «Вопрос ее улыбки – и есть ответ ее». Неизбежность вопроса и есть абсолют ответа. Сущность улыбки – вопрос. Вопрос дан в непрерывности, следовательно дана сущность улыбки, ответ ее, абсолют ее.

Толковать Улыбку (Джоконду) ученым, художникам, поэтам и царям – бессмысленно. Дана Тайна, тайна как сущность и сущность как тайна. Дана Тайна в себе.

Любить – видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители.

Не любить – видеть вместо него: стол, стул.

Дочь, у которой убили отца – сирота. Жена, у которой убили мужа – вдова. А мать, у которой убили сына?

Всегда крещусь, переезжая через реку. Подумать не успев. Любопытно, есть ли в народе такая примета? Если нет, значит – была.

Родство по крови грубо и прочно, родство по избранию – тонко. Где тонко, там и рвется.

«Я вас не оставлю!» Так может сказать только Бог – или мужик с молоком в Москве, зимой 1918 г.

Я и Театр:

Я принадлежу к тем зрителям, которые, по окончании мистерии, разрывают на части Иуду.

Вся тайна в том, чтобы сто лет назад видеть, как сегодня, и сегодня – как сто лет назад.

(Уничтожение... я хотела написать: пространства. Нет,

времени. Но «время» не мыслишь иначе как: расстояние. А «расстояние» – сразу версты, столбы. Стало быть: версты, это пространственные годы, равно как год – это во времени – верста.

Так или иначе, но перемещать годы и версты – нужно.)

Верста: уводящая! Насколько это лучше «исходящей» (о «входящей» уже не говорю: вошла – так осталась!).

Любовь – как заговор:

Zur rechten Zeit,
Am rechten Ort,
Der rechte Mann –
Das rechte Wort[1].

И главное – Wort! Zeit, Ort, Mann – уступаю.

Когда я уезжаю из города, мне кажется, что он кончается, перестает быть. Так о Фрейбурге, например, где я была девочкой. Кто-то рассказывает: «В 1912 г., когда я, проездом через Фрейбург...» Первая мысль: «Неужели?» (То есть неужели он, Фрейбург, есть, продолжает быть?) Это не самомнение, я знаю, что я в жизни городов – ничто. Это не: *без меня?!*, а: *сам по себе?!* (То есть: он действительно есть, вне моих глаз есть, не я его выдумала?)

Когда я ухожу из человека, мне кажется, что он кончается, перестает быть. Так и о Z, например. Кто-то рассказывает: «В 1917 г., когда я встретился с Z»... Первая мысль: «Неужели?» (То есть: неужели он, Z, есть, продолжает быть?) Это не самомнение, я знаю, что я в жизни людей – ничто...

«Кончается, перестает быть». Здесь нужно различать два случая.

1 В то самое время,
В том самом месте.
Тот самый человек –
То самое слово (*нем.*).

Первый:

Сильно ожитые (оживленные? выжатые?) мною люди и города пропадают безвозвратно: как проваливаются. Не гулкие Китежи, — глухие Геркуланумы.

Города и люди же, лишь беглым игралищем мне служившие — застывают: на том самом месте, на том самом жесте. Стереоскоп.

Когда я слышу о первых, я удивляюсь: неужели *стоит?* Когда я слышу о вторых, я удивляюсь: неужели *растет?*

Повторяю, это не самомнение, это глубокое, невинное, подчас радостное изумление. Слушаю, расспрашиваю, участвую, сочувствую... и, втайне: «Не Фрейбург. Не тот Фрейбург. Личина Фрейбурга. Обман. Подмена».

Надо, в Революции, многое запереть на ключ: все, кроме сундуков! И, заперев, закинуть этот ключ... но и моря такого нет!

Нет, заперев, молча и мужественно вручить этот ключ — Богу.

Бог я произношу, как утопающий: вздохом. Смутное чувство: не надо Бога тревожить (знать), когда сам можешь. А «можешь» с каждым днем растет...

Есть у Мандельштама об этом изумительный (отрочески) стих:

...Господи! — сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать...

и — дальше:

Имя Божье, как большая птица,
Вылетело из моей груди...

Нечаянно. — Но я никогда не дерзну назвать себя верующей, и это — молитвой.

Что я в ущерб чему в жизни не провозглашала!

Фотографию в ущерб портрету, крепостное право в ущерб вообще праву, капусту в ущерб розе, Марфу в ущерб

Марии, староверов в ущерб Петру... Самое обратное себе — в ущерб самой себе!

И не из спорта (отсутствует!), не для спора (страдаю!) — из чистой справедливости: прав, раз обижен.

И еще: из полной невозможности со-чувствия (-мыслия, -любия) с лицемерами, втайне бесспорно предпочитающими: фотографию — портрету, крепостное право — простоправу, капусту — розе, Марфу — Марии, длиннобородых — Петру!

Но есть еще тайна: вещь, обиженная, начинает быть правой. Собирает все свои силы — и выпрямляется, все свои права на существование — и стоит.

(NB! Действенность гонимых идей и людей!)

Нет ведь окончательной лжи, у каждой лжи ведь хотя бы *один луч — в правду. И вот она вся идет по этому лучу.* Обнаруженная и покаранная вина уже становится бедою, ответственность спадает на головы судей. Преступник, осужденный здесь, перед Богом чист. Но есть еще тайна, и страшнейшая, быть может: заразность караемых нами недугов, наследственность вины. Преступник, насильственно избавляемый нами от болезни, передает нам болезнь. Каждый судья и палач — наследник.

Есть еще в этом какая-то воля крови. Кровь земная проливаться должна. Преступника нет, ближайший родственник палач (или судья, равно!). Недопролитая преступником кровь вопиет к палачу: пролей! Секунда казни — секунда союза. Первая капля брызнувшей преступниковой крови — уже вступление во владение... и обязанности.

Есть браки таинственнее мужа и жены.

(Таинственное соответствие: алтарь, плаха; топор, крест; народ, хор; судья, священник; палач и жертва — брачующиеся; вместо невидимого Бога — невидимый Черт. Чертова свадьба наоборот, с той же непреложностью безмолвного обета.)

Ни одна правда (из царства Там) не может не сделаться ложью в царстве Здесь. Ни одна ложь (из царства Здесь) не может не сделаться правдой в царстве Там.

Правда — перебежчица.

В комиссариате:

Я, невинно: «А трудно это — быть инструктором?»

Моя товарка по комиссариату, эстонка, коммунистка: «Совсем не трудно! Встанешь на мусорный ящик — и кричишь, кричишь, кричишь...»

Буржуазии для очистки снега запретили пользоваться лошадиными силами. Тогда буржуазия, недолго думая, наняла себе верблюда. И верблюд возил. И солдаты сочувственно смеялись: — «Молодцы! Ловко обошли декрет!»

(Собственными глазами видела на Арбате.)

О ты, единственное блюдо
Коммунистической страны!

(Стих о вобле в газете «Всегда вперед!».)

Люди театра не переносят моего чтения стихов: «Вы их губите!» Не понимают они, коробейники строк и чувств, что дело актера и поэта — разное. Дело поэта: вскрыв — скрыть. Голос для него броня, личина. Вне покрова голоса — он гол. Поэт всегда заметает следы. Голос поэта — водой — тушит пожар (строк). Поэт *не может* декламировать: стыдно и оскорбительно. Поэт — уединённый, подмостки для него — позорный столб. Преподносить свои стихи голосом (наисовершеннейшим из проводов!), использовать *Психею для успеха?!* Достаточно с меня великой сделки записывания и печатания!

— Я не импресарио собственного позора! —

Актер — другое. Актер — вторичное. Насколько поэт — être[1], настолько актер — paraître[2]. Актер — упырь, актер — плющ, актер — полип. Говорите, что хотите: никогда не поверю, что Иван Иванович (а все они — Иваны Ивановичи!) каждый вечер волен чувствовать себя Гамлетом, Поэт в плену у Психеи, актер Психею хочет взять в плен. Наконец, поэт — самоцель, покоится в себе (в Психее). Посадите его на остров — перестанет ли он быть? А какое жалкое зрелище: остров — и актер!

Актер — для других, вне других он немыслим, актер — из-за других. Последнее рукоплескание — последнее биение его сердца.

Дело актера — час. Ему нужно торопиться. А главное — пользоваться: своим, чужим, — равно! Шекспировский стих, собственная тугая ляжка — все в котел! И этим сомнительным пойлом вы предлагаете опиваться мне, поэту? (Не о себе говорю и не за себя: Психею!)

Нет, господа актеры, наши царства — иные. Нам — остров без зверей, вам — звери без острова. И недаром вас в прежние времена хоронили за церковной оградой!

(Исключение для: певцов, порабощенных стихией голоса, растворяющихся в ней, — для актрис, то есть: женщин: то есть: природно себя играющих, и для всех тех, кто, прочтя меня, *понял* — и *пребыл.*)

Все это, и несомненно это, а не иное, уже было высказано тем евреем, за которого всех русских отдам, предам, а именно: Генрихом Гейне — в следующей сдержанной заметке:

«Театр не благоприятен для Поэта, и Поэт не благоприятен для Театра».

Мастерство беседы в том, чтобы скрыть от собеседника его нищенство. Гениальность — заставить его, *в данный* час, *быть* Крезом.

1 быть (*фр.*).
2 казаться (*фр.*).

Москва сейчас смотрит на трамваи с недоверием, как на воскресшего Лазаря. (И, мгновенно забывая и Москву и трамваи: а ведь недоверие Лазаря к миру – страшнее!)

Лазарь: застекленевшие навек глаза. Лазарь – глаза – Glas... И еще glas des morts[1]... (Неужели от этого?)

«Воскреси его, потому что нам без него скучно!» – то же самое, что: «Разбуди его, потому что мы без него не спим»... Разве это довод? – О, какое мертвое, плотское, чудовищное чудо! Какое насилие над Лазарем и какое – страшнейшее – над собой!

Лазарь, возвращающийся *оттуда:* мертвый к живым, и Орфей, спускающийся *туда:* живой – к мертвым... Разверстая яма и Елисейские поля. – Ах, ясно! – Лазарь *оттуда* мог принести только тлен: дух, в Жизнь воскресший, в жизнь не «воскресает». Орфей же из жизни ушел – в Жизнь. Без чужого веления: жаждой своей.

(А может быть, просто обряд погребения? Там – урна, здесь – склеп. Орфею навстречу в Аиде двинулся призрак, из пепла восставший. А Марии и Марфе – труп.)

Как мне жаль Христа! Как мне жаль Христа за его насильственные чудеса! Христос, пришедший горы двигать – словом! «Докажи, тогда поверим!» – «Верим, но подтверди!» Между чудом в Кане (по просьбе Марии) и испытующим перстом Фомы – странная перекличка. Если бы Мария была зорче, она бы, вслед за превращением воды в вино, увидела другое превращение: вина – в кровь...

Убеждена, что Иоанн у Христа не просил чудес.

1 Похоронный звон (*фр.*).

В Комиссариате: (З М).

– Ну, как довезли картошку?

– Да ничего, муж встретил.

– Вы знаете, надо в муку прибавлять картошку, $^{2}/_{3}$ картошки, $^{1}/_{3}$ муки.

– Правда? Нужно будет сказать матери.

У меня: ни матери, ни мужа, ни муки.

«Пражская столовая» на углу Николо-Песковского и Арбата. Помню, в военные времена, бюст Бонапарта. Февральская Революция сменила его на Керенского. Ах, о Керенском! Есть у меня такой сувенир: бирюзовая картонная книжечка с золотым ободком, распахнешь: слева разбитое зеркальце, справа – Керенский. Керенский, денно и нощно глядящийся в дребезг своих надежд. Эту реликвию я получила от няньки Нади, в обмен на настоящее зеркало, цельное, без Диктатора.

Возвращаясь к столовой: Керенского Октябрь заменил Троцким. Устрашающая харя Троцкого, взирающая на пожирающих детей. И еще Марксом, который, занятый Троцким, на детей не глядит. Пресловутый и спорный суп, кстати, дети выплескивают в миску сенбернара *Марса*, с 12 ч. до 2 ч. дежурящего у дверей. Иногда перепадает и в миски нищенок: Марс не ревнив.

Неприлично быть голодным, когда другой сыт. Корректность во мне сильнее голода, – даже голода моих детей.

– Ну как у Вас, все есть?

– Да, пока слава Богу.

Кем нужно быть, чтобы так разочаровать, так смутить, так уничтожить человека отрицательным ответом?

– Просто матерью.

(Сейчас, в 1923 г., ставлю вопрос иначе:

Кем нужно было быть, чтобы тогда, в 1919 г., в Москве, зная меня, видя моих детей – так спрашивать?!

– Просто «знакомым».)

(Вторая пометка:

Не корректность, – чуткость на интонацию! Вопрос диктует ответ. На «ничего нет» в лучшем смысле последовало бы: «Как жаль!»

Дающий не спрашивает.)

Жестокосердые мои друзья! Если бы вы, вместо того, чтобы угощать меня за чайным столом печеньем, просто дали мне на завтра утром кусочек хлеба...

Но я сама виновата, я слишком смеюсь с людьми.

Кроме того, когда вы выходите, я у вас этот хлеб – краду.

Мои покражи в Комиссариате: два великолепных клетчатых блок-нота (желтых, лакированных), целая коробка перьев, пузырек английских красных чернил. Ими и пишу.

Кривая вывозит, прямая топит.

Вместо «Монпленбеж», задумавшись, пишу: «Монплэзир» (Monplaisir – нечто вроде маленького Версаля в XVIII в.).

Мое «не хочу» всегда: «не могу». Во мне нет произвола. «Не могу» – и кроткие глаза.

Мое «не могу» – некий природный предел, не только мое, – всякое. В «хочу» нет предела, поэтому нет и в «не хочу».

Не хочу – произвол, не могу – необходимость. «Чего моя правая нога захочет...», «Что моя левая нога сможет», – этого нет.

Не могу священнее не хочу. Не могу, это все переборотые не

хочу, все исправленные попытки хотеть, – это последний итог.

Мое «не могу» – это меньше всего немощь. Больше того: это моя главная мощь. Значит, есть что-то во мне, что вопреки всем моим хотениям (над собой насилиям!) все-таки не хочет, вопреки моей хотящей воле, направленной против меня, не хочет за всю меня, значит, есть (помимо моей воли!) – «во мне», «мое», «меня», – есть я.

Не хочу служить в Красной Армии. Не могу служить в Красной Армии. Первое предпосылает: «Мог бы, да не хочу!» Второе: «Хотел бы, да не могу». Что важнее: не мочь совершать убийства, или не хотеть совершать убийства? В *не мочь – вся наша природа*, в *не хотеть – наша сознательная* воля. Если ценить из всей сущности волю – сильнее, конечно: не хочу. Если ценить всю сущность – конечно: не могу.

Корни не могу глубже, чем можно учесть. Не могу растет оттуда, откуда и наши могу: все дарования, все откровения, все наши Leistungen: руки, двигающие горы; глаза, зажигающие звезды. Из глубин крови или из глубин духа.

Я говорю об исконном не могу, о смертном не могу, о том не могу, ради которого даешь себя на части рвать, о *кротком* не могу.

Утверждаю: не могу, а не не хочу создает героев!

Да будет мое не хочу – не могу: великим и последним не хочу всего существа. Будем *хотеть* самых чудовищных вещей.

1 Деяния (*нем.*).

Ноги, ступайте! Руки, хватайте! – чтобы в последнюю минуту: ноги вкопанные, топор – из рук: не могу!

Будем начинать с хотения! Перехотим все! «Не могу» без всех испробованных «хочу» – жалкая немощь и, конечно, кончится: могу.

– Но если я не только не могу (предать, скажем), если я еще и не хочу *мочь*? (предать).

Но в настоящих устах не хочу и есть не могу (не воля моя одна, а вся сущность моя не хочет!), но в настоящих устах не могу и есть не хочу (не бессознательная сущность моя одна, но и воля моя не хочет!).

Не могу этого хотеть и не хочу этого мочь.

– Формула. –

Не могу: 1) взять в руки червя, 2) не встать на защиту (прав, виноват, здесь, за сто верст, днесь, за сто лет – равно́), 3) встать на защиту – свою, 4) любить совместно.

Стоит мне только начать рассказывать человеку то, что я чувствую, как – мгновенно – реплика: «Но ведь это же рассуждение!»

Чувства, для людей, это какие-то простоволосые фурии, нечто не в них происходящее: на них обрушивающееся. Вроде каменного обвала, под которым они сразу – в кашу!

– иначе:

Четкость моих чувств заставляет людей принимать их за рассуждения.

Я не влюблена в себя, я влюблена в эту работу: слушание. Если бы другой так же дал мне слушать себя, как я сама даю (так же дался мне, как я сама даюсь), я бы так же слушала другого.

О других мне остается только одно: гадать.

– Познай самого себя!

Познала. – И это нисколько не облегчает мне познания другого. Наоборот, как только я начинаю судить человека по себе, получается недоразумение за недоразумением.

Я не думаю, я слушаю. Потом ищу точного воплощения в слове. Получается ледяная броня формулы, под которой – только сердце.

Я не подслушиваю, я выслушиваю. Так же, как врач: грудь.

И как часто: стучишь, – глухо!

Есть люди определенной эпохи и есть эпохи, воплощающиеся в людях. (Не Бонапарт – XIX век: XIX век – Бонапарт!)

О бытии и небытии в любимом:

Я никогда не хочу на грудь, всегда в грудь! Никогда – припасть! Всегда пропа́сть! (В про́пасть.)

«Живой» никогда не даст себя так любить, как «мертвый». Живой сам хочет быть (жить, любить). Это мне напоминает вечный вопль детства: «Я сам! Я сам!» И непременно – ногой в рукав, рукой в сапог.

Так и с *любовью.*

Я хочу в тебе уничтожиться, то есть я хочу быть тобой. Но тебя уже в тебе нет, ты уже целиком во мне. Пропадаю в собственной груди (тебе). Я не могу пропасть в твоей груди, потому что там тебя нет. Но может быть я там есть? (Взаимная любовь. Души поменялись домами.) Нет, и меня там нет.

Там ничего нет. Меня же нигде нет. Есть моя грудь — и ты. Я тебя люблю тобой.

Захват? Да. Но лучше, чем товарообмен.

Ну, а взаимная любовь? (Товарообмен.) Единовременный и перекрестный захват (отдача). Два пропада: душа X в собственной груди, где Z, и душа Z — в собственной груди, где X.

Но раз я в тебе живу, я не пропала! Но раз ты во мне живешь, ты не пропал! Это бытие в любимом, это «я в тебе и ты во мне», это все-таки я и ты, это не двое стали одним. Двое стали одним — небытие. Я говорила о небытии в любимом.

Двое — одно, то есть: небытие в любимом возможно только для одного. Для того, чтобы не-быть в другом, нужно, чтобы другой *был*.

Оговорка: Все сказанное относится, конечно, к нашему восприятию души другого, к нашей тайной жизни с душой другого.

При условии, что каждый из двух не знает, что другого нет, верит, что другой есть, не знает, что другой в нем уничтожен, — при условии незнания взаимное небытие друг в друге, конечно, возможно.

Наш захват другого — только в нас.

«Для меня тебя в тебе нет, ты вся во мне». Так думает поэт о своей Психее, это не мешает ей выходить замуж и любить другого, но ее замужество, в свою очередь, не мешает и не может помешать поэту.

Больше скажу: сила захвата в прямом соотношении с тайной, глубина его — с внешней опровержимостью его. Когда уже ничто не мое — все мое! Это прямой дорогой подводит нас к смерти: физической смерти любимого. Только

не смешивайте с ревностью! «Не будь» ревности — от нищеты и страха. («Раз в гробу, то уже нет соперников!») Для захвата ни соперников, ни гроба: «не будь» захвата — это последний отказ, дающий последнюю власть.

Выдавайте ваших красавиц подальше замуж, поэты! Чтобы ни один ваш вздох (стих) не дошел, не вернулся — вздохом! Откажитесь даже от снов о них.

День их бракосочетания — ваш первый шаг к победе, день их погребения — ваш апофеоз.

(Беатриче. Данте.)

Любовь для меня — любящий. И еще: ответно любящего я всегда чувствую третьим. Есть моя грудь — и ты. Что здесь делать другому? (действенности его?)

Ответ в любви — для меня тупик. Я ищу не вздохов, а выходов.

У нас на кухне ночует мальчик, сын бабы, которая возит нам молоко.

— «Не думалось мне, что придется мне на пружине ночевать!» От этого «на пружине» у меня сжимается сердце.

— Вот тебе и ненависть к простонародью!

Вчера, в Охотном, один мужик другому:

— «Ты не охай! Нынче год-то такой — девятнадцатый!»

— Ну что, — Москву навещаешь?

(Как больного.)

Смерть страшна только телу. Душа ее не мыслит. Поэтому, в самоубийстве, тело — единственный герой.

Самоубийство: lâcheté[1] души, превращающаяся в героизм тела. То же самое, как если бы Дон Кихот, струсив, послал в сражение Санчо Пансо — и тот повиновался.

Героизм души — жить, героизм тела — умереть.

В православной церкви (храме) я чувствую тело, идущее в землю, в католической — душу, летящую в небо.

Стихи и проза:

В прозе мне слишком многое кажется лишним, в стихе (настоящем) все необходимо. При моем тяготении к аскетизму прозаического слова, у меня, в конце концов, может оказаться остов.

В стихе — некая природная мера плоти: меньше нельзя.

Две любимые вещи в мире: песня — и формула.

(То есть, пометка в 1921 г., стихия — и победа над ней!)

Я не стою ни за одну свою земную примету, то есть: в слове «земные приметы» я «земные» (вещественность) уступаю, примету (смысл) — нет.

Я не стою ни за одну свою земную примету в отдельности, как ни за один свой отдельный стих и час, — важна совокупность.

Я не стою даже за совокупность своих земных примет, я стою только за право их на существование и за правду — своего.

1 Предыдущий отрывок о несуществующих на русском языке словах — пропущен. «Lâcheté», напр., смесь трусости и низости, не одна трусость. (*Прим. М. Цветаевой.*)

Гениальный совет С. (сына художника). Как-то зимой я жаловалась (смеясь, конечно!), что у меня совсем нет времени писать. — «До пяти служба, потом топка, потом стирка, потом купанье, потом укладыванье...»

— Пишите ночью!

В этом было: презренье к моему телу, доверие к моему духу, высокая беспощадность, делавшая честь и С. и мне.

Высокая дань художника — художнику.

Влияние коненковского Стеньки Разина на умы. Солдат, проходя мимо Храма Спасителя, другому солдату:

— Его бы раскрасить!

На унылом заборе где-то вкривь от храма Христа Спасителя робкая надпись: «Исправляю почерк».

Это почему-то — безнадежностью своей! — напоминает мне мою распродажу (чтобы уехать на юг).

Эпиграф к моей распродаже:

У Катеньки резвушки
Все сломаны игрушки:
Собачки без носов,
Барашки без рогов.
От чайного прибора
Наверно, очень скоро
Не будет ничего...

Да ничего и нету!

Поломаны, для примера: швейная машина, качалка, диван, два кресла, Алины два детских стульчика, туалет... У мраморного умывальника не хватает бока, примус не горит, термос не хранит, от лампы-молнии — одни молнии, граммофон без винта, этажерки не стоят, чайные сервизы без чашек, чашки без ручек, ручки без ножек...

А рояль глухой на обе педали! А шарманка красного дерева – впрочем, никогда не игравшая! (В первую секунду обмолвилась было двумя тактами «Schlittschuhläufer»[1] – и замолчала, то есть зарычала так, что мы замолчали!) А три беличьих клетки – без белок и без дверок! (Запах остался.) А детская ванна с свороченным краном и продавленным боком! А большая цинковая, зазеленевшая как затон, безнадежная как гроб! А Наполеоновские гравюры: граненые стекла на честном слове бумажных окантовок, ежесекундно грозящие смертью! А мясорубка, а ролики, а коньки!

Ломали, главным образом, Алины няньки и Сережины юнкера. И те и другие по молодости, горячности: жару сердца и рук.

Нянькам надоело сидеть с ребенком, и они крутили граммофон, юнкерам надоело твердить устав – и они крутили машинку.

Но не юнкера и не няньки, как сейчас – не большевики и не «жильцы». Говорю: судьба. Вещь, оскорбленная легкомысленным отношением, мстит: разлагается.

Вот история моего «быта».

Плотогоны! – Слово из моего детства! Ока, поздняя осень, стриженые луга, в колеях последние цветочки – розовые, мама и папа на Урале (за мрамором для музея) – сушеные яблоки – гувернантка говорит, что ей ночью крысы отъели ноги – плотогоны придут и убьют...

По 30-му купону карточки широкого потребления выдаются гробы, и Марьюшка, старая прислуга Сонечки Голлидэй, недавно испрашивала у своей хозяйки разрешение водрузить таковой на антресоли: «а то – неровен час...»

Но бедную старуху ждало жестокое испытание: розовых (девичьих!) не было, и придется ей, восемьдесят лет подряд безупречно девствовавшей, упокоиться в мужеском голубом.

1 «Конькобежцев» (*нем.*).

Карусель:

В первый раз в жизни я каталась на карусели одиннадцати лет, в Лозанне, – второй третьего дня, на Воробьевых горах, в Духов день, с шестилетней Алей. Между этими двумя каруселями – жизнь.

Карусель! – Волшебство! Карусель! – Блаженство! Первое небо из тех семи! Перегруженное звездами, заряженное звонами, первое бедное простонародное детское небо земли!

Семь вершков от земли только – но уж нога не стоит! Уж *возврата нет!* Вот это чувство безвозвратности, обреченности на полет, вступления в круг –

Планетарность Карусели! Сферическая музыка ее гудящего столба! Не земля вокруг своей оси, а небо – вокруг своей! Источник звука скрыт. Сев – ничего не видишь. В карусель попадаешь как в смерч.

Геральдические львы и апокалипсические кони, не призраки ли вы зверей, коими Вакх наводнил свой корабль?

Хлыстовское радение – круговая порука планет – Мемнонова колонна на беззакатном восходе... Карусель!

Обожаю простонародье: в полях, на ярмарках, под хоругвями, везде на просторе и в веселье, – и не зрительно: за красные юбки баб! – нет, любовно люблю, всей великой верой в человеческое добро. Здесь у меня, поистине, чувство содружества.

Вместе идем, в лад.

Обожаю богатых. Богатство – нимб. Кроме того, от них никогда ничего не ждешь хорошего, как от царей, поэтому просто-разумное слово на их устах – откровение, просто-человеческое чувство – героизм. Богатство всё утысячеряет (*резонанс нуля!*). Думал, мешок с деньгами, нет – человек.

Кроме того, богатство дает самосознание и спокойствие («все, что я сделаю – хорошо!») – как дарование, по-

этому с богатыми я на своем уровне. С другими мне слишком «униженно».

Кроме того, клянусь и утверждаю, богатые добры (так как им это ничего не стоит) и красивы (так как хорошо одеваются).

Если нельзя быть ни человеком, ни красавцем, ни знатным, надо быть богатым.

Таинственное исчезновение фотографа на Тверской, долго и упорно снимавшего (бесплатно) всех ответственных советских работников.

Недавно, в Кунцеве, неожиданно крещусь на дуб. Очевидно, источник молитвы не страх, а восторг.

На Смоленском хлеб сейчас 60 р. фунт, и дают только по 2 ф. Того, кто хитростью покупает больше — бьют.

Я неистощимый источник ересей. Не зная ни одной, исповедую их все. Может быть и творю.

Нужно писать только те книги, от отсутствия которых страдаешь. Короче: свои настольные.

Самое ценное в стихах и в жизни — то, что сорвалось.

Простонародье никогда не заблудится в городе. Звериное и дикарское чувство места.

Сейчас все кончается, потому что ничто не чинится: вещи, как люди, и люди, как любовь.

(Чинятся: вещи — ремесленниками, люди — врачами, ну а любовь чем? Рублями, пожалуй: подарками, поездками, премьерами. Вместе слушать Скрябина. Вместе всходить на Везувий.

Мало ведь Тристанов и Изольд!)

Тристан и Изольда: любовь в себе. Вне горячителя зависти, ревности: глаз. Вне резонатора порицаний, одобрений: толков. Вне глаз и молвы. Их никто не видел и о них никто не слышал. Они жили в лесу. Волк и волчица. Тристан и Изольда. У них ничего не было. На них ничего не было. Под ними ничего не было. Над ними ничего не было. За ними — ничего, перед ними — Ничто. Ни завтра, ни вчера, ни года, ни часа. Время стояло. Мир назывался лес. Лес назывался куст, куст назывался лист, лист назывался ты. Ты называлось я. Небытие в пустоте. Фон — как отсутствие, и отсутствие — как фон.

И — любили.

Все мои жалобы на девятнадцатый год (нет сахара, нет хлеба, нет дров, нет денег) — исключительно из вежливости: чтобы мне, у которой ничего нет, не обидеть тех, у кого все есть.

И все жалобы, в моем присутствии, на девятнадцатый год — других («Россия погибла», «Что сделали с русским языком» и пр.) — исключительно из вежливости: чтобы им, у которых ничего не отнято, не обидеть меня, у которой отнято — всё.

Боязнь пространства и боязнь толпы. В основании обеих страх потери. Потери себя через отсутствие людей (пространство) и наличность их (толпа). Можно ли страдать обеими одновременно?

Думаю, что боязнь толпы можно победить исключительно самоутверждением, в девятнадцатом году, напр., выкриком: «Долой большевиков!»

Чтоб тебя отметили — и разорвали.

(NB! Боязнь толпы – боязнь смерти через удушение. Когда рвут – не душат.)

Высокая мера. Мерить высокой мерой. Так и Бог делает. Свысока мерить и высокий мерой. Нечто вроде очень редкого решета: маленькие мерзости, как и маленькие добродетели – проскакивают. Куда? – Dans le néant[1]. Высокомерие, это полное отсутствие мелочности. Посему – очень выгодное свойство... для других.

О коммунисте:

Вчера, у моей приятельницы:

– «Ведь Вы не бреетесь, – сказал коммунист, – зачем Вам пудра?»

Коммунист из старых, помирает с голоду. Такой чудесный певучий голос.

Кто-то в комнате: «В Эрмитаже – невероятная программа!»

Коммунист, певуче: «А что такое Эрмита-аж?»

Ах, сила крови! Вспоминаю, что моя мать до конца жизни *писала*: Thor, Rath[2], Theodor, – *из немецкого патриотизма* старины, хотя была русская, и совсем не от старости, потому что умерла 36-ти лет.

– Я с моимъ!

Вчера в гостях (именинный пирог, пенье, огарок свечи, рассказ о том, как воюют красные) – вдруг, разглядывая ноты:

Beethoven – Busslied,

Puccini – то-то

1 В небытие (*фр.*).
2 Thor – ворота, Rath – совет (*нем.*).

Marie-Antoinette – «Si tu connais dans ton village...»[1]

Marie-Antoinette! Вы написали музыку к стихам Флориана, а Вас посадили в крепость и отрубили Вам голову. И Вашу музыку будут петь другие – счастливые – вечно!

Никогда, никогда, – ни в лукавой полумаске, в боскетах Версаля, об руку с очаровательным mauvais sujet d'Artois[2], ни Королевой Франции, ни Королевой бала, ни молочницей в Трианоне, ни мученицей в Тампле – ни на тачке, наконец, – Вы так не пронзали мне сердца, как:

Marie-Antoinette: «Si tu connais dans ton village...»

(Paroles de Florian)

Людовик XVI должен был бы жениться на Марии-Луизе («Fraîche comme une rose»[3] и дуре); Наполеон – на Марии-Антуанэтте (просто Розе!).

Авантюрист, выигравший Авантюру, – и последний кристалл Рода и Крови.

И Мария-Антуанэтта, как аристократка, следовательно: безукоризненная в каждом *помысле*, не бросила бы его, как собаку, там, на скале.

Москва, 1919

1 Мария Антуанетта – «знаешь ли ты, в твоей деревне...» (*фр.*).
2 шалопаем д'Артуа (*фр.*).
3 «Свежей, как роза» (*фр.*).

О благодарности

(Из дневника 1919 г.)

Когда пятилетний Моцарт, только что отбежав от клавесина, растянулся на скользком дворцовом паркете, и семилетняя Мария-Антуанэтта, единственная из всех, бросилась к нему и подняла его, – он сказал: «Celle-je l'épouserai», и, когда Мария-Тереза спросила его, почему, – «Par reconnaissance»[1].

Скольких она и потом, Королевой Франции, поднимала с паркета – всегда скользкого для игроков – честолюбцев – кутил, – крикнул ли ей кто-нибудь – par reconnaissance – «Vive la Reine!»[2], когда она в своей тележке проезжала на эшафот.

Reconnaissance – узнавание. Узнавать – вопреки всем личинам и морщинам – раз, в какой-то час узренный, настоящий лик.

(Благодарность.)

Я никогда не бываю благодарной людям за поступки – *только* за сущности! Хлеб, данный мне, может оказаться случайностью, сон, виденный обо мне, всегда сущность.

1 Я на ней женюсь... Из благодарности *(фр.)*.
2 Из благодарности – «Да здравствует королева!» *(фр.)*

Я беру, как я даю: слепо, так же равнодушная к руке дающего, как к своей, получающей.

Человек дает мне хлеб. Что первое? Отдарить. Отдарить, чтобы не благодарить. Благодарность: дар себя за благо, то есть: платная любовь.

Я слишком чту людей, чтобы оскорблять их платной любовью.

Оскорбительно для меня, следовательно и для другого.

Добрая воля, направленная на меня, никогда ничего не предрешала. Личность (направленность на меня) дара, в моем восприятии дара, отсутствует. Я благодарна не за себя и не за соседа, я благодарна.

Меня не купишь. В этом вся суть. Меня можно купить только сущностью. (То есть – сущность мою!) Хлебом вы купите: лицемерие, лжеусердие, любезность, – всю мою пену... если не накипь.

Купить – откупиться. От меня не откупишься.

Купить меня можно – только всем небом в себе! Небом, в котором мне может быть даже не будет места.

Благодарна я вне-лично, то есть лишь там, где я, помимо доброй воли человека и без его ведома, могу взять сама.

Отношение не есть оценка. Это я устала повторять. Оттого, что ты мне дал хлеба, я может быть стала добрее, но ты от этого не стал прекрасней.

Поступок не есть отношение, отношение не есть оценка, оценка (критиком, например, Блока) не есть сущность (Блок).

Сущность – умысел, слышна только слухом.

Кусок хлеба от противного человека. Удачный случай. Не больше.

Ем ваш хлеб и поношу. – Да. –

Только корысть – благодарна. Только корысть мерит целое (сущность) по куску, данному ей. Только детская слепость, *глядящая* в руку, утверждает: «Он дал мне сахару, он хороший». Сахар хороший, да. Но оценивать сущность человека по сахарам и «чаям», от него полученным, простительно только детям и прислугам: инстинкту.

Да и то нет: мы часто наблюдаем собак, предпочитающих господина своего, ничего не дающего, – кухарке, кормящей.

Отождествлять источник благ с благами (кухарку – с мясом, дядю с сахаром, гостя – с чаевыми) признак полной неразвитости души и мысли. Существо, не пошедшее дальше пяти чувств.

Собака, любящая за то, что гладят, выше кошки, любящей за то, что гладят, и кошка, любящая за то, что гладят, выше ребенка, любящего за то, что кормят. Все дело в степенях.

Так, от простейшей любви за сахар – к любви за ласку – к любви при виде – к любви не видя (на расстоянии)[1], – к любви, невзирая (на нелюбовь), от маленькой любви *за* – к

1 Отсюда – вся я. *(Прим. М. Цветаевой.)*

великой любви *вне* (меня) – от любви получающей (волей другого!) к любви берущей (даже помимо воли его, без ведома его, против воли его!) – к *любви в себе.*

Чем старше мы, тем большего мы хотим: в младенчестве – только сахара, в юности – только любви, в старости – только (!) сущности (тебя вне меня).

Чем меньше мы внешние блага ценим, тем легче мы их даем и берем, тем меньше мы за них благодарны.

(Практически: благодарность за хлеб (даяние) я допускаю только молчаливую. В явной – нечто устыжающее дающего, какой-то укор.)

Радость хлебу – вот лучшая благодарность! Благодарность, кончающаяся с последним глотком в пищевод.

Неужели эта частность, малость, подразумеваемость (для меня) – *дать* – неминуемо должна вырасти в какую-то гору, из-за приставки: *мне.*

Я-то ведь знаю, как дают: слепо! И я разве сама стерплю, чтобы меня благодарили за хлеб? (За стихи не стерплю, – вот что!)

Хлеб – разве это я?! Стихи (случайность песенного дара) – разве это я?!

Я, это под небом, одна. Отойдите и благодарите.

Я не хочу низко думать о людях. Когда я даю человеку хлеб, я даю голодному, то есть пищеводу, то есть *не ему.* Его душа здесь ни при чем. Я могу дать любому – и не я даю: любой. Хлеб сам себя дает. И я не хочу верить, чтобы любой, давая моему пищеводу, требовал за это с *моей* (или моей) души.

Но не пищевод дает: душа! Нет, рука. Эти дары не личны. Странно предпочитать один желудок другому, а если и предпочитать – то более голодный. Более голодный, на сегодня, мой (твой). Я за это не ответственна.

Так, установив дающего (руку) и получающего (пищевод) – странно требовать одному куску мяса от другого куска мяса... благодарности.

Души благодарны, но души благодарны исключительно за души. Спасибо за то, что ты есть.

Все остальное – от меня к человеку и от человека ко мне – оскорбление.

Дать, это не действенность наша! Не личность наша! Не страсть! Не выбор! Нечто, принадлежащее всем (хлеб), *следовательно* (у меня его нет) у меня отобранное, возвращается (через тебя) ко мне (через меня – к тебе).

Хлеб нищему – восстановление прав.

Если бы мы давали кому мы хотим, мы были бы последние негодяи. Мы даем тому, кто хочет. Его голод (воля!) вызывает наш жест (хлеб). Дано и забыто. Взято и забыто. Никакой связи, никакого родства. Дав, отмежевываюсь. Взяв, отмежевываюсь. Взяв, отмежевываюсь.

Без последствий.

– «Так зачем же мне тебе давать?»

– Чтобы не быть подлецом.

Помню гимназисткой – в проходном церковном дворе – нищий. – «Подайте, Христа ради!» – Миную. – «Подайте, Христа ради!» – Продолжаю идти. Он, забегая: – «Не ради Бога – так хошь ради черта!»

Почему дала? Вознегодовал.

Хлеб. Жест. Дать. Взять. Этого не будет там. Поэтому все, возникающее из дать и взять – ложь. Сам хлеб – ложь. Ничто, построенное на хлебе, не уцелеет (замешенное на дрожжах – не взойдет). Опара наших хлебных чувств при хладной температуре Бессмертия неминуемо опадет.

Не стоит и замешивать.

Брать – стыд, нет, давать – стыд. У берущего, раз берет, явно нет; у дающего, раз дает, явно есть. И вот эта очная ставка есть с нет...

Давать нужно было бы на коленях, как нищие просят.

К счастью, этим стыдом даяния награждены только нищие. (Деликатность их дара!) Богатые ограничиваются минутной заминкой докторского гонорара.

Благодарность: от любования до опрокинутости.

Я могу любоваться только рукой, отдающей последнее, следовательно: я никогда не могу быть благодарной богатым.

...Разве что за робость их, виноватость их, сразу делающую их невинными.

Бедный, когда дает, говорит: «Прости за малость». Смущение бедного от «больше не могу». Богатый, когда дает, ничего не говорит. Смущение богатого от «больше не хочу».

Дать, это настолько легче, чем брать – и настолько легче, чем быть. Богатые откупаются. О, богатые безумно боятся – не Революции, так Страшного Суда. Я знаю мать, покупающую молоко чужому (больному!) ребенку только для того, чтобы не погиб ее собственный (здоровый). Богатая мать, спасая чужого ребенка от смерти (достоверной),

только выкупает своего у смерти возможной. («Умолить судьбу!»)

Я смотрю в исток поступка, в умысел его. Это молоко ей, богатой матери, на Страшном Суде потечет смолой.

Благотворительность. Поликратов перстень.

Дар нищего (кровный, последний?) безличен. «Бог даст». Дар богатого (излишек, почти отброс) имеет имя, отчество, фамилию, чин, звание, род, день, час, число. И — память. Дала правая, а помнят обе.

Нищий, подав из руки в руку, забыл. Богатый, выславший через прислугу, помнит. И, если вдуматься, понятно: некий оправдательный материал для Страшного Суда.

— Гадательный материал.

Москва, июль 1919 г.

Автобиографическая проза

Лавровый венок

(Памяти проф. И.В. Цветаева)

Года за два до открытия музея отцу предложили переехать на казенную директорскую квартиру, только что отстроенную. «Подумайте, Иван Владимирович, – соблазняла наша старая экономка Олимпиевна, – просторная, покойная, все комнаты в ряд, кухня тут же – и через двор носить не нужно, электричество – и ламп наливать не нужно, и ванна – и в баню ходить не нужно – всё под рукой... А этот – сдать...» – «Сдать, сдать! – с неожиданным раздражением отозвался отец. – Я всю жизнь провел на высокой ноте! – И, уже самому себе, отъединенно: – В этом доме родились все мои дети... Сам тополя сажал... – И совсем уже тихо, почти неслышно, а для экономки и вовсе непонятно: – Я на это дело положил четырнадцать лет жизни... Зачем мне электричество?! А квартиру отдать семейным служащим, как раз четыре квартирки выйдут, отличные... Две комнаты и по кухонке...» – Так и было сделано.

В эту же весну отец из Германии привез от себя музею – очередной подарок: машинку для стрижки газона. – «А таможне не платил, ни-ни. Упаковал ее в ящичек, сверху заложил книжками и поставил в ноги. – А это что у вас здесь? – Это? – Греческие книжки. – Ну, видят – профессор, человек пожилой, одет скромно, врать не будет. Что такому и возить, как не греческие книжки! Не парфюмерию же. Так и провез без пошлины. Помилуйте! Да на пошлину вторую такую стрижку купить можно». (Никогда не забуду, как он на самосеяном газоне перед музеем – первый – ревниво,

почтительно, старательно и неумело, ее пробовал.) Думаю, что это был единственный за жизнь противозаконный поступок моего отца. Впрочем, он для музея был готов на несравненно — большее, во всяком случае — дольшее. Сидит он у какой-нибудь москворецкой купчихи, потягивает чаек и улещает: — «Таким-то образом, матушка, всем и радость, и польза будет. А что племянник? Племянник все равно промотает». Старушка: — «Неужели?» — «Как бог свят — промотает. Пропьет или в карты пропустит». Старушка, упавшим голосом: — «Пропустит». Отец: — «А покойник их, небось, по полтиннику собирал. Племянник пусть сам наработает. Я ведь тоже в детстве босиком бегал...» Помню, что таким способом, только на этот раз у старушки высокопоставленной, отец, в конце очень долгих концов, отстоял для музея прекрасный подлинник: мраморную голову императора Тита, которая и поныне украшает музей.

Отношение к строящемуся музею было разное. Помню известного московского педагога Вахтерова, в 1909 году говорившего мне, тогда — гимназистке: — «Зачем музей? Сейчас нужны лаборатории, а не музеи, родильные дома, а не музеи, городские школы, а не музеи. Ничего! Пусть строят! Придет революция, и мы, вместо всех этих статуй, поставим койки. И парты. А что строят — ничего. Стены нам пригодятся». В общем, интеллигенция и молодежь относились равнодушно, и отец в своем деле (как каждый любящий — в своем!) был одинок. Но он этого не замечал — или миновал. Зато, как же он радовался малейшему сочувствию, малейшему «музейному» вопросу, как охотно сам путеводил — шестидесятипятилетний старик и безумно занятый человек — наших сверстников, мальчишек и девчонок, сам показывая и рассказывая, обстоятельно отвечая на самые наивные вопросы. Убеждена, что не более ревностно — раз от всей души, значит, больше нельзя! — он потом показывал музей верхам России. Разница между путеводимыми тонула, и даже сгорала, в неизменности вдохновения. Усилить это вдохновение могло только чужое вдохновение. Оно редко — везде.

Не могу не рассказать об одном его путевождении. Поступил к нам дворник, прямо из деревни, — семнадцати лет,

круглолицый, кареглазый, с щеками пышущими, как те печи, которые он так жарко и с таким жаром топил, — по имени Алексей, и, действительно, Божий человек, даже Божие дитя: *не пил, не курил, только спал. Зато — спал непробудно.*

И вот, это самое «Божие дитя», однажды, мне: — «Барышня, как бы мне посмотреть нашего барина заведение? Говорят, сам государь на освящение пожалует, так как бы мне уж заодно...» За утренним чаем я, отцу: — «Папа, ты не можешь показать Алексею музей?» — «С удовольствием. Кто такой Алексей?» — «А это наш дворник. Он очень интересуется...» — «Гмм... навряд ли он... А впрочем, пусть посмотрит...» — За вечерним чаем того же дня: — «Водил, папа, Алексея?» — «А как же!» — «Ну, как?» — «Да видишь ли, как человек непросвещенный и даже придурковатый, он, завидев всех моих Гераклов и Венер, так застыдился — и даже испугался, что, представь себе, всю дорогу шел слепой. Да, да, да. Закрылся локтем и таким манером прошел по всему музею. — Да ты, Алексей, гляди! Сейчас ничего такого нет! — Куда там! Красный, как рак, взглянет на секунду из-под локтя и, как ошпаренный, опять зажмурится. Тут я его и отпустил». Утром Алексей приходит топить печку. — «Ну, что, Алексей, поправился тебе музей?» — «Здание хорошее». — «Почему же ты все время шел слепой?» — Алексей, шепотом: — «Женщины голые...» — На кухне же объяснялся вольнее: — «Конечно, барину видней, и медали у них все, а я человек деревенский, а всё — чудно! На старости лет, а чем занялись! Баб голых понаставили да мужиков! Да еще освящать задумали... Да поп — увидит — как плюнет! Му-зей!»

За какой-то срок до открытия музея в доме прошел слух, что отцу «за музей» дают «почетного опекуна». Слух подтвердился, и начались разговоры о мундире. — «Шить настоящим золотом, — говорил отец сокрушенно, — и подумать страшно, во что это золото обойдется...» — «Ничего, папа, не поделаешь! Дали опекуна — давай мундир!» — «Я не против мундира, но есть мундир и мундир... Зачем мне, старому человеку, золото?» — «Папа, но это форма!» — «Знаю, знаю, но когда подумаешь, что на этот мундир такого же, как я когда-то, босоногого, — в Рим отправить можно... Семьсот целковых! (И, уже с улыбкой:) — Да весь опекун то-

го не стоит!» — Мундир, конечно, был сшит. Был в нашем зале впервые надет и обозрен. Чудесный, древесный, весь в каких-то цветочках. — «Папа, не огорчайся! Ведь это же для музея!» (С доброй улыбкой, но все же со вздохом:) — «Вот, разве уж, для музея!» — Сшили отцу мундир, стали шить дочерям платья («дамы в белых городских, закрытых»). Нечего говорить, что отец за материей отправился сам, — в какой-то свой магазин, «к одному моему знакомцу, с которым я уже тридцать лет торгуюсь...» — «Материю нужно, прежде всего, прочную, — музей открывается раз, а белое платье всегда пригодится, а фасоном советую шить самым простым, две прямые полы, например, и схватить лентой, а сзади пустим клин». (В спасительность клина во всех дамских туалетах отец верил свято.) Шила нам наша вечная Олимпиевна, по призванию домашняя портниха. Нечего говорить, что отец на всех примерках присутствовал. — «Только не обтягивайте, Александра Олимпиевна, не обтягивайте! Материи за глаза, а Марина и так худая, — уж не знаю, с чего, — чтоб не вышло, как кость. Припустите, припустите!» — Олимпиевна же, во всем с отцом соглашаясь, под машинный шумок, шила по-своему, то есть по-нашему. Самое трогательное, что, когда отец увидел нас в готовом, то есть, по существу, для него неузнаваемом, он, гордясь и восхищаясь, свои покрой и клин узнал!

Поверят мне или нет, если скажу, что отец несколько вечеров до открытия музея, в нашей бывшей детской, сам, самолично, учил нас с Асей делать придворный реверанс?! — «Я сколько раз видал на приемах и отлично знаю. (Приподымая полы пиджака и приседая:) — Ногу за ногу, колено согнуть, в талии согнуться, застыть, — и... нет, уж, пожалуйста, без козьих скачков! — *вот так.* Конечно, ваша мама вам бы лучше показала...»

— «Говорила я вам, не спешите замуж, — нашептывала Олимпиевна, выдергивая последнюю наметку, — пригодится вам ваше девичество... Вот и вышло по-моему. Были бы барышнями — были бы сейчас фрейлинами, каждый день бы видели государя с государыней. А то, — вышли замуж за мальчишек!» — «Александра Олимпиевна!» — «А я бы на вас шила — всё такое тонкое, воздушное, девическое, придворное... А вот теперь, за гимназистами-то замужем, всю жизнь и будете ходить в простом суконном... Эх!»

За день до открытия музея, рано утром, за отцом из музея спешно приехал курьер. — «Что такое?» — «Не могу знать, только просили поскорее и во всем обычном...» — Отец сразу отправился. Вернулся довольно скоро. — «Зачем вызывали?» — «А показать молодой государыне музей». — «Одной?» — «Да. Она, бедняжка, страдает нервами, не выносит скопления людей, вот и решила посмотреть заранее». — «Как же это было?» — «Слуга вез кресло на колесах, я шел рядом». — «Она что-нибудь спрашивала?» — «Нет, ничего. Так и проехались молча по всем залам». — «И даже не сказала, что понравилось?» — «Нет. Она, должно быть, бедняжка, совсем больная: лихорадочные щеки, взгляд отсутствующий... Я сначала, было, называл залы, а потом и перестал: вижу — не до меня. Ни разу не взглянула ни направо, ни налево, так и проглядела в одну точку. Но под конец все-таки сказала: — «Благодарю вас, профессор»... Бедная женщина! Бедная женщина!»

Так это у меня и осталось, невиданным мною видением: в ранний час утра, в катящемся кресле, по пустым залам, между белых статуй...

В день открытия музея — майский, синий и жаркий — рано утром — звонок. Звонок — и венок — лавровый! Это наша старая семейная приятельница, обрусевшая неаполитанка, приехала поздравить отца с великим днем. Никогда не забуду. Отец в старом халате, перед ним седая огнеокая красавица, между ними венок, который та упорно старается, а тот никак не дает надеть. Мягко и твердо отбиваясь: — «Помилуйте, голубушка! Старый профессор в халате — и вдруг венок! Это вам нужно надеть, увенчать красоту! Нет уж, голубушка, увольте! Сердечно вам благодарен, только разрешите мне этот венок... Экая вы, однако, прыткая!» Итальянка, сверкая глазами и слезами, а венок для верности над головой отца придерживая: — «От лица моей родины... Здесь не умеют чтить великих людей... Иван Владимирович, вы сделали великое дело!» — «Полноте, полноте, голубка, что вы меня конфузите! Просто осуществил свою давнишнюю мечту. Бог дал — и люди помогли».

Вторым подарком был наш, детский, на него и был положен венок, ибо это был — поднос. Подарок не такой бездарный, как может показаться сразу. Во-первых, папа постоянно пьет чай у себя в кабинете. Во-вторых, пока что, на подносе будут лежать визитные карточки всех предстоящих посетителей. (Усердная Олимпиевна: — «Письма буду носить Ивану Владимировичу на серебряном подносе, как графу или князю! Чем он хуже! (и, уже начало легенды): Сам царицу в кресле катал!») В-третьих, и, в-главных: есть место для даты, а дата — всё. Поднос поднесен, и опять извечный припев: — «Зачем мне, старому человеку, серебряный поднос? Это вам с Асей нужно, вы теперь замужем, гостей принимать будете... Спасибо, спасибо. Прекрасный поднос, массивный, хлебниковский... Только жаль, что так на меня потратились...»

Никогда не забуду: под первым лучом того майского солнца, в белом зале, на ломберном столике, на серебряном подносе — лавровый венок.

Сентябрь 1933 г.

Жених

Не мой и не Асин: общий. А в общем — ничей, потому что ни одна не захотела. Была еще старшая, но она уже была замужем. Но если бы и не была — тоже бы не захотела. Кто захотел бы? Впрочем, всякая, без чутья. Молодой, если не красивый, то благообразный, именно благообразный (вообще все, что угодно от блага: благоприличный, благоразумный, благонамеренный, все, все, кроме — *родный*, этого не было, и из-за этого-то...), как говорится, «умный», «образованный», «культурный», из приличной семьи, с хорошим будущим... В этом будущем-то все дело и было, ибо осуществить его должны были мы, одна из двух незамужних дочерей нашего отца. Из-за него и сватался, нет, не сватался, даже не ухаживал: охаживал. И как! — кругами, как кот — мясника. Кот, впрочем, был сытый, немножко даже слишком. Рослый и плотный, и, увы, весь какой-то потный, неуловимо, точно каким-то подкожным потом, как бывает подпочвенная вода. Вообще, с водой он был связан целиком. Во-первых, глаза: совершенная вода без ничего, кроме первого впечатления честности. Честная голубая вода. Нестерпимо-честная. На вас глядели два честных пустых места. В детстве такие глаза именуются небесными, позже — честными. Почему у женщин такие глаза именуются русалочьими, а у мужчин — честными? Приводятся как гарантия честности, а принадлежат они, обыкновенно, самым пройдохам. Этими глазами-то они и проходят — в первые ученики, и в зятья, и в директора. «Человек с такими глазами не

может...» Нет, человек с такими глазами именно *может*, и может — все. Свойство этих глаз глядеть прямо в ваши, не мигая и не мигая, сбивать ваш взгляд, как кеглю, вас непременно *пересмотреть*. Второе ощущение: губы говорят одно, а глаза другое: свое и непременно нехорошее. — «А я знаю!» — что? — да какую-то про тебя гадость, такую гадость, которую ты и сам про себя не знаешь. И вот, в смятении, начинаешь искать. Если человек слаб, он непременно найдет. Так или иначе, вы этими глазами побиты заранее. Ибо свойство этих глаз — власть. Глаза судьи. Точные глаза допроса. Допроса, значит — внушения. Заставлю признаться! — В чем?! — Да в том, что ты такой же, как я. (Как если бы вчерашний каторжанин допрашивал бывшего товарища.) Глаза сообщничества, от которого вы тщетно отбиваетесь. Если вы их прочли, вы еще более пропали, чем если вы им поверили. И, странная вещь, именно их, у интеллигенции слывущих «честными», простолюдин неизменно назовет бесстыжими. Слово, которого, кстати, вы никогда не услышите о черных, нет, только о светлых, и из светлых — только о голубых. И о голубых с непременно черными ресницами, которыми правда точно черным по-белому написана, и гласит она: — Берегись! И, чтобы все сказать: *честные, как речная вода.*

С водой жених еще был связан местом нашей встречи: Окой. Там у жениховых родителей в городке Тарусе была дачка. Как только мы с Асей впервые в нее вошли, мы сразу почувствовали подозрительность: слишком уж... — что? Да благостно! Женихов отец с толстым темно-синим сатиновым животом, еле удерживаемым крученым, с кистями, поясом, медовым голосом приглашающий нас «испить чайку с медком», и даже, кажется, «почтить»; женихова мать — с теми же глазами, только разбавленными и расслабленными «бабьей долей», с теми же, но разведенными: все, что было голубого, слила сыну, себе же ополоснула — с каким-то зазыванием страшных снов влекшая нас к столу и варенье есть убеждавшая так, точно в вазочке не крыжовник, а живой жемчуг; сама обстановка, — именно обстановка: то, как

вещи человека *обставали:* стулья — прислоняли, диванчики — засасывали, столы (засада) засаживали, все же вместе ввергало в глубочайший столбняк непротивления, не говоря уже о явном, столь чуждом нашему простому, как трава растет, дому, «русском стиле» солонок ковшами, рамок теремками, пепельниц лаптями, — и самой речи: какой-то ямщицки-елейной, сплошь из возгласов «эхма» да «ух», разделяемых «сподобил господь» и «все под богом ходим», и, теперь я назову главное — почет. Почет, сразу наведший нас с Асей на верный след — Толиных честных глаз.

— И с чего это, — говорили мы, спускаясь и подымаясь, как по волнам, по холмам, ведшим из Тарусы в наше Песочное, — добро бы мы были княгини, или старухи, или какие-нибудь знаменитые актрисы... Ведь не можем же мы им, с нашими вихрами и локтями, нравиться... Ведь, по существу, они должны нас ненавидеть.

— Просто выгнать — за один вид.

— А заметила, как одобряли, как на каждое слово хихикали?..

— Особенно отец.

— Особенно мать.

— А Толя сидел и обливался маслом. Ася, клянусь, что он облизывался. Да: на тебя!

— Гадости говоришь. Если облизывался, так уж конечно на тебя, потому что меня ему по крайней мере, по самой крайней мере еще три года ждать. А тебя только год.

Третья его связь с водою была баня. В Тарусе ли, в Москве ли, придешь в званые гости, его сестра Нина, еще с порога:

— А Толи еще нет. (Шепотом на ушко.) Он в бане. Просил вам не говорить, но я уж по дружбе скажу.

И когда после бани, явно-распаренный и недаром распаренным голосом: — «У вас голова Антиноя...» — самое мягкое, что можно было отрезать: — «Не говорите глупости!»

— Настоящий банный мужик, — говорила Ася с негодованием, — хотя я банных мужиков никогда не видела. Ему бы мочалкой купцов скрести, а не писать стихи про нереид. Недаром его отец всегда хвастается, что из простых мещан, а вот стал классным надзирателем. Я, конечно, за ра-

венство, – продолжала третьеклассница, горячась, – но только не в замужестве. Лучше за нелюбимого царя, чем за любимого пономаря. А этот еще и *не*любимый.

Эти завтраки дней рождений! В нашей большой белой зале, через раздвинутый парадный стол, оглавляемый седовласой немкой, среди других лиц, милых, молодых, румяных – бледное русо-бородое и -усое лицо Анатолия с неустанно-вперенным в одну из нас взглядом.

– Марина! За вашу тайную мечту! Ася, – за нашу!

– Что-о-о?!

– Um Gottes Willen, Kind, schrei doch nicht so furchtbar![1]

– Хороший молодой человек, – резюмировала немка после каждого его посещения. – Тихий, почтительный, с хороший манер. Только, schade[2], что у него такое Käsegesicht[3]. Ему бы надо делать гимнастик и кушать побольше компот с чернослив.

Прислуга же, всем животным чутьем простолюдина, Анатолия не выносила.

– Ни за что, Асенька, не идите за них замуж! Они хотя и полные и белые и как будто даже голубоглазые, а какие-то (шепотом)... поганые. Очень уж тихие. Беспременно бить будут. Или щипать с вывертом. Или даже булавки вкалывать. Потому что душа у них самая змеиная.

Точным разлетом маятника от младшей к старшей жених проколебался ровно год. Именно, от младшей к старшей, ибо с первой минуты было ясно, что предпочитает он из двух зол меньшее, то есть Асю, меньшую ростом и с большими волосами и надеждами, и отделяемую от него только живой и постоянно сменяющейся стеной, летом – крестьянских мальчишек и девчонок, зимой – мальчишек и девчонок городских. Между ним же и мной стоял непреложный утес Св. Елены. Ибо только он: – «Марина, у вас глаза совсем как у дриады...» – я, по совершенно чистосердечной ассоциации: – «А какой ужас, что на Св. Елене не было ни одного дерева, то есть были, но как раз не там, где был Наполеон. Вы бы, если бы жили тогда, убили бы Hudson Low'a?» Как же тут было продолжать о дриадах? Дриаду я

1 Ради бога, дитя мое, не кричи так ужасно! (*нем.*)
2 Жаль (*нем.*).
3 Здесь: «непропеченное» лицо (*нем.*).

назвала не случайно, ибо жених был ими – дриадами, наядами, русалками и весталками – начинен. Перепробовав на мне всех героинь древности и Мережковского и отчаявшись когда-либо что-либо в ответ услышать, кроме проклятий Марии-Луизе и восхвалении гр. Валевской, приехавшей *к нему* на Эльбу, жених, наконец, отстал: отвалился. Шли еще четырехстраничные стихотворные посвящения, шли еще честные, в упор, взгляды, заставлявшие меня (ибо для того и шли!) опускать глаза, но все это было уже на авось, про запас, «впрок» – на случай, если Ася, действительно, *не*... А Ася – люблю девическое тринадцатилетие! – действительно *не* – и ни за что.

– Когда же вы, Ася, оставите все эти сеновалы и костры в унижающем вас обществе всяких Мишек и Гришек? Когда же вы, Ася, наконец, вырастете?

– Для вас – никогда.

– Наконец, прозреете?

– На вас – никогда.

– Как вы еще молоды! Слишком молоды!

– Для вас – навсегда.

В Москве же Толины дела еще ухудшились, ибо в Тарусе земля слухом полнилась: слухи доходили водою, сама Ока рассказывала жениху, с кем вчера на дырявой лодке каталась его тринадцатилетняя невеста, с кем на песках до трех часов утра и полной хрипоты орала: «Трансваль, Трансваль, страна моя»... В Москве же все следы заливали ливни и заметала метель. Впрочем, первая обо всем извещала сама Ася.

– А я с одним реалистом познакомилась, Толя, у него вот такие глаза! Черные, как у Пушкина.

– У Пушкина глаза были голубые. (Цитата.)

– Врете, Толя, это у вас голубые. Зовут его Паша, а я зову пашá. – И т. д., и т. д. Нужно сказать, что Ася была очень хорошенькая – милой, особой, своеобразной грации, и если не крушила сердец, то по своей, безмерной уже тогда, человеческой и женской доброте, прекращавшейся только на Анатолии.

– Если бы вы еще походили на Анатоля из «Войны и мира», – задумчиво говорила она, глядя на него то с право-

го бока, то с левого, – но так как вы похожи на Левина, и даже не на Левина, а...

– Вам слишком рано дают читать серьезные книги... – перебивал жених, чтобы не услышать, на кого похож.

– А такая книга, как вы, – не рано? Такие книги лучше не читать никогда.

– Папа, как тебе нравится Анатолий?

– Наш новый дворник?

– Нет, папа! Наш дворник – Антон, а это – студент, Тихонравов.

– А-а-а... Он, как будто, не особенно далекий? – (И, когда мы уже думали, что вопрос исчерпан.) И от него какой-то странный запах...

И эта аттестация – в ответ на «petits soins»[1], которыми он окружил отца, на постоянные, в беседе, латинские и греческие цитаты, на весь труд по будущему состоянию зятя, состояние, которое отцу, по его простодушию и нашим с Асей годам и главное – складу, и в голову не могло прийти.

Годы шли, не много, но полные. Подымались на столько-то наши именные орешники, поднимались на двери наши прошлолетние зарубки роста. Мы перешли в последние сужденные нам классы. И вдруг из Тарусы к нам в Песочное, с посыльным, письмо. Асе. Рука Толина. Открываем: посреди мелкого бисера почерка – жирная раздавленная гусеница.

– Дурак, – сказала Ася холодно.

– Автопортрет, – уточнила я.

Под гусеницей фраза: «Берегите себя для себя и для меня».

– Наглец. Он пишет, точно я *уже* в таком положении!

И тут же, одним махом, на обороте: «Возвращаю вам ваше имущество и извещаю, что у меня ничего вашего, ни от вас не осталось».

– Берегись, Ася! Он тебе эту гусеницу попомнит!

Гусеница (случайная, конечно) оказалась роковой, ибо она как бы жирным шрифтом подчеркнула Анатолию всю

1 Здесь: подобострастие (*фр.*).

невозможность этого союза. Это был последний штрих и последняя черта. В ту же зиму Ася познакомилась на катке с Борисом Т., за которого вскоре вышла замуж.

Большое тире. 1921 год, весна. Ася только что вернулась из Феодосии, где застряла с 1917 года. Последний год варили мох. Худая, оборванная, но неизменно-живая и живучая.

– Марина, пойду служить в Музей.

– С ума сошла! Там теперь Анатолий – директором.

– Анатолий – директором?! И даже не женясь на нас? Ну и счастливец!

– Не только не женясь на нас, но женясь на самой обыкновенной, как надо, барышне.

– Как надо – барышне? Нынче же иду в Музей!

Возврат и рассказ:

– Прихожу. Сидит за папиным столом, не встает. – «Вы давно приехали?» – «Вчера». – «Что вам угодно?» – «Место в Музее». – «Свободных мест нет». Тогда я ему, очень кротко, но четко: «Может быть, для меня найдется? Вы все-таки, Толя, подумайте». – «Подумаю, *но* – если что-нибудь и найдется, то *не...*» – «Я и не претендую». И тут, Марина, входит жена, без стука, как к себе в комнату. Молоденькая, хорошенькая – куда нам даже тогда! – по-настоящему хорошенькая: куколка, с ноготками, с локотками, и в белом платье с воланами. Впорхнула, что-то щебетнула и выпорхнула. Он нас даже не познакомил. Не говоря уже о том, что он мне не предложил сесть, и я все время, в каком-то упоении происходящим, простояла.

Через неделю на машинке за директорской подписью извещение, что Ася принята сверхштатным помощником библиотекаря на жалование... но боюсь ошибиться, знаю только, что жалование было жалобное. Так, сверхштатным служащим в учрежденном отцом музее Ася прослужила десять лет, на девять с половиной пересидев директора Анатолия, которого неизвестно почему, но в спешном порядке попросили освободить директорское кресло. Но он в нем все-таки посидел.

Ныне Анатолий стал писателем. Книги его выходят на прекрасной бумаге, с красным обрезом, в полотняных переплетах. Темы его книг – заграничные, метод писания – собирательный. Так он, даже не женясь на мне, стал писателем. Только вот – каким?

Сентябрь 1933 г.

Очерки

Наталья Гончарова

(Жизнь и творчество)

О ты, чего и святотатство
Коснуться в храме не могло,
Моя напасть, мое богатство –
Мое святое ремесло!

Каролина Павлова

Уличка

Не уличка, а ущелье. На отстояние руки от тела стена: бок горы. Не дома́, а горы, старые, старые горы. (Молодых гор нет, пока молода – не гора, гора – так стара.) Горы и норы. В горе и норе живет.

Не уличка, а ущелье, а еще лучше – теснина. Настолько не улица, что каждый раз, забыв и ожидая улицы – ведь и имя есть, и номер есть! – проскакиваю и спохватываюсь уже у самой Сены. И – назад – искать. Но уличка уклоняется – уклончивость ущелий! спросите горцев – мечусь, тычусь – она? нет, дом, внезапно раздавшийся двором – с целую площадь, нет, подворотня, из которой дует веками, нет, просто – улица, с витринами, с моторами. Ее нет. Сгинула. Гора сомкнулась, поглощая Гончарову и ее сокровища. Не попасть мне нынче к Гончаровой, а самой пропасть. Правая, левая? С.-Жерменская площадь, Сена? Где – что? И относительно какого *что* это *где*?

И вдруг – чудо! – быть не может! может, раз есть! неужели – она? как же не она – оно – теснина – ущелье! Тут же,

между двумя домами, как ни в чем не бывало, будто — всегда была.

Вхожу. Вся уличка взята в железо. Справа решетка, слева решетка. Если бы пальцем или палкой — звук не прекращался бы. Клавиатура охраны, ска́ла страха. Что так хранили, от чего так таились те, за? Есть, очевидно, вещи важнее, чем жизнь, и страшнее, чем смерть. (Чужая тайна и честь любимой.)

Уже не ущелье, а тюремный коридор или же зимнее помещение зоологического сада, — только без глаз, тех и тех. Никого за решетками, ничего за решетками, *то* за решетками. Но — в зверинце и тюрьме исключенное, зверинец и тюрьму исключающее — воздух! Из ущелья дует. Кажется, что на конце его живет ветер, бог с надутыми щеками. Ветер — живет, может ли ветер жить, жить — это где-нибудь, а ветер везде, а везде — это *быть*. Но есть места с вечным ветром, с каким-то водоворотом воздуха, один дом в Москве, например, где бывал Блок и где я бывала по его следам — уже остывшим. Следы остыли, ветер остался. Этот ветер, может быть, в один из своих приходов — одним из своих прохождений — поднял он и навеки приковал к месту. Место, где вещь — всегда, и есть местопребывание — какое чудесное, кстати, слово, сразу дающее и бытность и длительность, положение в пространстве и протяжение во времени, какое пространное, какое протяжное слово. Так Россия, например, местопребывание тоски, о которой так же дико, как о ветре, сказать: живет. А — живет! И ветер живет. На конце той улички, чтобы лучше дуть в лицо — тем, у ее начала.

Всякий ветер морской, и всякий город, хотя бы самый континентальный, в часы ветра — приморский. «Пахнет морем», нет, но: дует морем, запах мы прикладываем. И пустынный — морской, и степной — морской. Ибо за каждой степью и за каждой пустыней — море, за-пустыня, за-степь. — Ибо море здесь как единица меры (безмерности).

Каждая уличка, где дует, портовая. Ветер море носит с собой, превносит. Ветер без моря больше море, чем море без ветра. Ветер в моей уличке особый, в две струи. (Зрительно: из арапских губ толстощекого бога расходится в два жгута.) Морской, как всякий, и старый, как только он. Есть

молодые ветра, есть — молодеющие с каждым мигом — всего, что по пути! (Младенческие ветра, московские!) Ветер не только вносит, он и вбирает, то есть теряет — изначальную пустоту. С ветром ведь так: вею первым, но пахну последним. Ветер — символ бесформенности — на мой взгляд сама форма движения. Содержание — путь. Этот стар, — летел ко мне четыреста лет, поднятый плащом того из итальянцев засилья, в честь которого уличка, а может быть только его слуги. (На расстоянии — скрадывается.) Стар, а по выходе из моего ущелья будет еще старее, очень уже стары дома.

Перед одним из таких — стою. Я его тоже никогда не узнаю, хотя незабвенен. А незабвенны на этой уличке — все. Если современные неотличимы из-за общности, старые — из-за особости. Какая примета моего? Особый. Все — особые. Общность особости, *особь* особости. Так, просмотрев подряд сто диковинных растений, так же не отличишь, соединишь их в памяти в одно, как сто растений однородных, наделяя это одно особенностями всех. Так и с домом. И даже номер не помогает — даже 13! — ибо на всю уличку один фонарь, не против моего. Дом не-против фонаря, единственная примета.

В первый мой приход перед одним из домов стоял мотор, и я с самовнушением безысходности поверила, что раз стоит, то именно перед моим, приказала дому быть моим. (Так и оказалось.) Но сегодня мотора нет. Что сегодня — есть?

Близорукость? Беспамятность? Пусть, но главное: представление об уличке, как об ущелье, то есть чем-то сплошном, цельном. Раз не улица, а ущелье, то не дома, а гора, гора справа, гора слева, поди-ка найди *дом*. Недробимость.

Но — найти нужно. Проще бы: «Сезам, раскройся!» Чтобы вся гора — сразу, а во всей горе — вся сплошь — Гончарова. Но этого, твердо знаю, на сегодня не будет. С такими чудес не бывает, бывает с теми, кому не нужно, именно нужно, одним только и нужно. Раз я верю, что гора может раздаться, зачем же ей мне раздаваться? Со всяким, как я, гора «свои люди», для которых — неблагодарность любимых: — стараться не стоит. Одним дана вера, другим — чудеса.

И — чудо! Тот самый. Настолько тот самый, как если бы сам сказал: вот я. Особый среди особых, несравненный

среди несравненных, все превосходные степени исключительности.

Вхожу. Справа светлое окно привратницы — именно привратницы: при вратах, да еще каких! — которой я никогда не видела и которую увидеть боюсь: в таком доме привратнице должно быть, по крайней мере, двести лет, и ей моего приветствия, как мне ее напутствия, не понять. Спешно минуя, и в полном разгоне... Куда? Все нежилое. Что самое жилое из нежилого? Есть дома, где живут. Есть дома, которые живут. Сами. Вне людей. Стенами, ступенями, тупиками, выступами, закоулками, стуками, шагами, тенями, — всем, кроме человека. Дома, где «водится» (все, кроме человека). Дома «обитаемые» и, тем, необитаемые. Дома, столь жившие, или — так сильно жившие, что просто живут дальше. Как книга, уже не нуждающаяся ни в авторе, ни в читателях. Источник жизни, хранилище жизни, но уже не игралище ее. Дом, вышедший из игры.

Своды. Норы. Либо упрешься в стену, либо уйдешь навек. Дом не выстроенный, а прорытый. Не руки рыли. Стою, как на перекрестке. Вправо пойдешь — коня потеряешь. Влево пойдешь... Влево.

Дворы старых домов. Не люди мостили, великаны играли. Я камень, ты камень, я больше, ты еще больше, я глыбу, ты — гору. Нога ничего не узнает, непрестанно обманывается. Я глыбу, ты — гору. Я — утес, ты — ничего. Ничего называется яма. Яма то место, с которого, не доиграв, ушли. А мне по нему идти. Много таких мест. Так, с горы да в яму, из ямы да на гору... — проход! Световая щель. Увы, до последней секунды скрывавший свой свет. Вся дикость газа в ущелье. Сверху течет — вечно. Вверяюсь стенам, знающим, куда идут и ведут. Я — не знаю. Знаю только: под рукой — бока, а под ногой — река. Бывшая. Поворотами реки, как поворотами плеча...

Лестница. Ступени — ибо надо же как-нибудь назвать! — деревянные. При первом заносе ноги, нога же, она же, узнает никогда не испытанные ступени пирамид. Если двор — великаны мостили, то лестницу они уже громоздили. Игра в кубики, здесь — кубы. Я выше, ты еще выше, я утес, ты — ничего. Следы той же игры, веселой для них, страшной для

нас. (Так и большевики веселились, а мы боялись, так и большие веселятся, а дети...) Дерево ступеней оковано — окантовано железом. Если вглядеться — а чего не увидишь, ибо чего нет в старом дереве — ряд картин, взятых в железо. Гончарова к себе идет по старым мастерам, старейшему из них — времени.

Площадка за площадкой, на каждой провал — окно. Стекол нет и не было. Для выскока. Памятуя слова: «выше нельзя, потому что выше нет», этажей не считаю. Этажи? Эпохи. По такой лестнице самый быстроногий идет сто лет.

Картина, на которую много глядено, лестница, по которой много хожено, — глядение и хождение по следам всех тех до меня, мой след (взгляд) — последний, я крайняя точка этой поверхности, ее последний слой. Ступени от ходьбы явно протираются, неявно утолщаются. Что нога взяла, то след дал, нога унесла — след превнес. Наслоение шагов, как на стене — теней. Оттого так долго живут старые дома, питаемые всей жизнью, превносимой. Такой дом может простоять вечно, не живым укором, а живой угрозой подрастающим, перерастающим, *не* перестаивающим. За бывшим не угнаться. Снеси сегодня, я тебя уже не перестоял, всем уже стоянным, выстоянным.

Оттого так долго идут по такой лестнице гости, а хозяева — так долго ждут.

Верх. Тот самый, дальше которого нельзя, ибо дальше нет. Переводя на время — конец четырехсот лет, которые стоит этот дом, то есть нынешнее число — 9-ое ноября 1928 г. — крайний час и миг этого дня. На данную секунду — конец истории.

В этом доме несколько сот лет тому назад жил величайший поэт Франции.

Мастерская

Первое: свет. Второе: пространство. После всего мрака — весь свет, всей стиснутости — весь простор. Не было бы кры-

ши — пустыня. Так — пещера. Световая пещера, цель всех подземных рек. На взгляд — верста, на стих — конца нет... Конец всех Аидов и адов: свет, простор, покой. После этого света — тот.

Рабочий рай, *мой* рай и, как рай, естественно здесь не данный. В пустоте — в тишине — с утра. Рай прежде всего место пусто. Пусто — просторно, просторно — покойно. Покойно — светло. Только пустота ничего не навязывает, не вытесняет, не исключает. Чтобы всё могло быть, нужно, чтобы ничего не было. Всё не терпит *чего* (как «могло бы» — есть). — А вот у Маяковского рай — со стульями. Даже с «мебелями». Пролетарская жажда вещественности. У всякого свой.

Пустыня. Пещера. Что еще? Да палуба! Первой стены нет, есть — справа — стекло, а за стеклом ветер: море. Вечером, в нерабочее время, когда отдыхает кисть и *доходит* гость, стеклянная стена, морская, исчезает за другой, льющейся. Шелк или нет — желт. По вечерам в мастерской Гончаровой встает другое солнце.

Кроме стеклянной, правой, другая левая. Деревянная или каменная? (Что-то слышала о пристройке.) В старом доме и дерево — камень. (Преосуществление исконного материала: старая кожа, делающаяся бронзой, старое дерево — костью, глина — медью, лица старух и мертвых — всем, чем угодно, кроме плоти.) Не деревянная и не каменная, равно как третья, с которой сходится стена холстов (холсты лицом *от*) — стена крестов. Деревянных крестов подрамников. То же, что булыжники двора, что кубы лестницы, есть до неба, есть по пояс (только пробелов нет, ни одного ничего!) — тоже, может быть, те же великаны играли и, *доиграв,* составили к стенке, лицом от глаз: сглазу. Не верю в разные силы, сила одна, игра — одна. Все дело в мере. Стихия, играя, не доигрывает и переигрывает:

Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей...

Ряд оконченных холстов — творчеством доделанная стихия творчества, день седьмой. Много дней седьмых в жизни Натальи Гончаровой, здесь, перед глазами, лицом к

стене — от глаз. Дней седьмых — в прошлом, никогда в настоящем. Творящее творение тем отличается от Творца, что у него после шестого сразу первый, опять первый. Седьмой нам здесь, на земле, не дан, дан может быть нашим вещам, не нам.

Пол. Если от простора и света впечатление пустыни, то пол — совсем пустыня, сама пустыня. Не говоря уже о беспредметности его (ничего, кроме насущного ничего) — физическое ощущение песка, от стружек под ногами. А стружки от досок, строгаемых. Не стружки даже, — деревянная пыль, пыльца, как песок осуществляющая тишину. Что тише земли? Песок. (Знаю и песок поющий, свистящий под ногой, как разрываемый шелк, песок иных прибрежий океана, но — тишина не отсутствие звуков, а отсутствие лишних звуков, присутствие насущных шумов — шум крови в ушах (комариное з-з-з), ветра в листве, в данную минуту, когда стою на пороге мастерской, шум переворачивающейся воды в паровом отоплении — огромной печке, тепловом солнце этой пустыни.) Пустыня и — оазис! Справа, вдоль стеклянной стены, вся песчаная полоса — в цветном! Вглядываюсь ниже — глиняные миски с краской: из той же коричневой чашечки — каждый раз другой цветок! Цветы, как на детских картинках или виденные сверху, на лужайках: все круглые, плоские, одни по краям, другие на самом донышке — не один оазис, а ряд оазисов, маленьких цветных островков, морец, озерец. Моря для маленьких, моря с блюдце. Из таких донышек — такие громады (холсты). Все в этом деле нечеловеческое: божеское!

Пещера, пустыня и — не сон же все эти глиняные горшки и миски — гончарня. Как хорошо, когда *так* спевается!

В первый раз я мастерскую увидела днем. Тогда ущелье было коридором, одним из бесчисленных коридоров старого дома — Парижа. А мастерская — по жаре — плавильней. Терпение стекла под нестерпимостью солнца. Стекло под непрерывным солнечным ударом. Стекло, каждая точка которого зажигательное стекло. Солнце палило, стекло калилось, солнце палило и плавило. Помню льющийся пот

и рубашечные рукава друзей, строгавших какую-то доску. Моя первая мастерская Гончаровой — совершенное видение труда, в поте лица, под первым солнцем. В такую жару есть нельзя (пить — зря), спать нельзя, говорить нельзя, дышать нельзя, можно только — единственное, что всегда можно, раз навсегда нужно — работать. И плавить не стекло, а лбы.

Помню, в этот первый раз — где-то сбоку — площадку, которая затем пропала. Под ней косяки крыш — один из Парижей Гончаровой, а над ней, на ней — одно из гончаровских солнц, отвесных — и я под ним. Жарче — лучше — мне в жизни не было.

Площадка пропала с солнцем, и выйти на нее из мастерской сейчас, в январе, так же невозможно, как вызвать то солнце. Вернемся с ним.

Пещера — пустыня — гончарня — плавильня.

Почему из всего Парижа Гончарова выбрала именно этот дом? Самый богатый красками художник — дом в одну краску: времени, зачинатель новой эпохи в живописи — дом, где этажи считают эпохами, едва ли не современнейший из художников — дом, современники которого спят вот уже четыреста лет. Гончарова — развалины. Гончарова — дом на снос. «Льготный контракт»?.. Необычайные даже для мастерской размеры помещения?.. Латинский квартал?.. Да, да, да. Так скажут знакомые. Так скажет — кто знает — может быть, сама Гончарова. А вот что скажет дом.

Чтобы преодолеть страх перед моей тишиной, нужно быть самым громким, страх перед моим сном — самым бодрствующим, страх перед моими века́ми — самым молодым, страх перед моим бывшим — самым будущим! «Темен — освещу, сер — расцвечу, тих — оглашу, ветх — укреплю...»

Или же: «Темен — подгляжу, тих — подслушаю, стар — поучусь».

Или же: тишину — тишиной, сон — сном, века — веками веков. Преодолеть меня мною же, то есть вовсе не преодолевать.

Первое — ребенок, второе — ученик, третье — мудрец. Все трое вместе — творец.

Сила на силу — вот ответ старого дома.

Еще один ответ: самосохранение Гончаровой-художника. Пресловутая «Tour d'ivoire»[1] на гончаровский лад. Дом — оплот (недаром в один цвет: защитный — времени). Сюда не доходят шумы, и сюда не очень-то заходят люди. «В гости» — это такой улицей, таким двором, такой лестницей-то — в гости? Переборет этот страх и мрак только необходимость. (В гости ходят не так к знакомым, как к их коврам, полам...)

Остальные не дойдут или не найдут. Остальные отстанут. Останутся.

И еще: игра. Такая сила творческой игры в булыжниках двора, расселинах стены, провалах лестницы, такая сила здесь играла, что Гончаровой, с ее великанскостью творчества, — упрек одного критика: «Да это же не картины, это — соборы!» — этот дом просто сродни. Таким его сделало время, то есть естественный ход вещей. К этому дому, такому, как он сейчас есть, будто бы и рука не прикасалась. Не прикасалась она и к самой Гончаровой, — никакая, кроме руки природы. Гончарова себя не строила, и Гончарову никто не строил. Гончарова жила и росла. Труд такой жизни не в кисти, а в росте. Или же: кисть: рост.

У Гончаровой есть сосед: маленький французский мальчик, обожающий рисовать. «Сколько бы раз я ни вышла на лестницу: «Bonjour, Madame!» — и сейчас показывать. — Стережет. — Пока какие-то каракульки, но любит страстно. Может быть, что-нибудь и выйдет...»

Случайность? Такая же, как Гончарова и дом. Как Трехпрудный пер., д. 8, и Трехпрудный пер., д. 7, к которым сейчас вернусь. О мальчике же: если бы мальчик знал, — кто эта «Madame», и если бы Наталья Гончарова через двадцать лет могла сказать: «Если бы я тогда знала, кто этот мальчик...»

Трехпрудный

Трехпрудный. Это слово я прочла на упаковочном ящике черными буквами по, видавшему виды, дереву.

1 Башня из слоновой кости (*фр.*).

— Трех... то есть как Трехпрудный? — Переулочек такой в Москве, там у нас дом был. — Номер? — Седьмой. — А мой — восьмой. — С тополем? — С тополем. Наш дом, цветаевский. — А наш — гончаровский. — Бок о бок? — Бок о бок. А вы знаете, что ваш дом прежде был наш, давно, когда-то, все владение. Ваш двор я отлично знаю по рассказам бабушки. Женихи приезжали, а она не хотела, качалась на качелях... — На нашем дворе? — На вашем дворе. — В этом доме я росла. — В доме рядом я — росла.

Бабушка, качающаяся на качелях! Бабушка, качающаяся на качелях, потому что не хочет женихов! Бабушка, не хотящая женихов, потому что качается на качелях! Бабушка, от венца спасающаяся в воздух! Не чепец кидающая в воздух, а самое себя! Бабушкины женихи... Гончаровой-бабушки женихи!

Недаром у меня, тринадцатилетней девочки, было чувство, что живу десятую жизнь, не считая знаемых мною — отца, матери, другой жены отца, ее отца и матери, — а главное, какой-то прабабки: румынки, «Мамаки», умершей в «моей» комнате и перед смертью вылезшей на крышу — кроме всех знаемых — все незнаемые. Сила тоски в тех стенах! И когда я, пятнадцати лет, от жизни: дружб, знакомств, любовей спасалась в стихи!..

Мои пятнадцатилетние стихи — не гончаровской ли бабушки качели?

Знала, знала, знала, что до отца с одной женой, потом с другой, до чужого деда с чужой бабушкой, до моих собственных до-до-до — здесь было, было, было!

И, шестнадцати лет, стих:

Будет скоро тот мир погублен!
Посмотри на него тайком,
Пока тополь еще не срублен
И не продан еще наш дом.

Этот тополь! Под ним ютятся
Наши детские вечера.
Этот тополь среди акаций,
Цвета пепла и серебра.

И еще тогда же:

Высыхали в небе изумрудном
Капли звезд, и пели петухи...
Это было в доме старом, доме чудном...
Чудный дом, наш дивный дом в Трехпрудном,
Превратившийся теперь в стихи.

Этих стихов нигде нет — что знала, то сказала, — и дома нигде нет. В первый раз, в Революцию, я, держа на вытянутых руках свою, четырехлетнюю тогда, Алю, увидела в окна залы рабочих, хлебавших деревянными ложками воблиный суп, в последний раз — с той же Алей за руку — да где же дом?

Закрываю глаза — стоит. Открываю — нет.

Тополя не снесли. Потом, может быть. Больше я в Трехпрудном не была. Больше не буду, даже если типография Левенсон — наперекосок от бывших нас, — где я печатала свою первую книгу, когда-нибудь будет печатать мою последнюю[1].

В первый раз я о Наталье Гончаровой — живой — услышала от Тихона Чурилина, поэта. Гениального поэта. Им и ему даны были лучшие стихи о войне, тогда мало распространенные и не оцененные. Не знают и сейчас. Колыбельная, Бульвары, Вокзал и, особенно мною любимое — не все помню, но что помню — свято:

Как в одной из стычек под Нешавой
Был убит германский офицер,
Неприятельской державы
Славный офицер.
Где уж было, где уж было
Хоронить врага со славой!
Лег он — под канавой.
А потом — топ-топ-топ —
Прискакали скакуны,
Встали, вьются вкруг канавы,
Как вьюны.

1 Еще совпадение. Книга Вересаева «Пушкин в жизни», которою я с восхищением и благодарностью пользовалась для главы «Наталья Гончарова — та», оказалась отпечатанной в 16-й типографии «Мосполиграф», Трехпрудный пер., д. 9, т. е. в той же моей первой типографии Левенсон, где, кстати, и Гончарова печатала свою первую книгу. (*Прим. М. Цветаевой.*)

Взяли тело гера,
Гера офицера
Наперед.
Гей, наро-ды!
Становитесь на колени пред канавой,
Пал здесь прынц со славой.
...Так в одной из стычек под Нешавой
Был убит немецкий, ихний, младший прынц.
Неприятельской державы
Славный прынц.

— Был Чурилин родом из Лебедяни, и помещала я его, в своем восприятии, между лебедой и лебедями, в полной степи.

Гончарова иллюстрировала его книгу «Весна после смерти», в два цвета, в два не-цвета, черный и белый. Кстати, непреодолимое отвращение к слову «иллюстрация». Почти не произношу. Отвращение двойное: звуковое соседство перлюстрации и смысловое: illustrer: ознаменичивать, прославливать, странным образом вызывающее в нас обратное, а именно: несущественность рисунка самого по себе, применительность, относительность его. Возьмем буквальный смысл (ознаменичивать) — оскорбителен для автора, возьмем ходовое понятие — для художника[1].

Чем бы заменить? Украшать? Нет. Ибо слово в украшении не нуждается. Вид книги? Недостаточно серьезная задача. Попытаемся понять, что сделала Гончарова по отношению книги Чурилина. Явила ее вторично, но на своем языке, стало быть — первично. Wie ich es sehe[2]. Словом — никогда без Германии не обойдусь — немецкое nachdichten[3], которым у немцев заменен *перевод* (сводной картинки на бумагу, иного не знаю).

Стихи Чурилина — очами Гончаровой.

1 Есть еще одно значение, мною упущенное: lustre — блеск и lustre месячный срок («douze lustres»), т.е. тот же блеск; месяц. Откуда и люстра. Откуда и illustre (славный), так же, как наша церковная «слава», идущая от светила. Illustrer — придавать вещи блеск, сияние: осиявать. Перлюстрировать — просвечивать (как рентгеном). (*Прим. М. Цветаевой.*)

2 Как я это вижу (*нем.*).

3 Переводить вольно (*нем.*).

Вижу эту книгу, огромную, изданную, кажется, в количестве всего двухсот экз. Книгу, писанную непосредственно после выхода из сумасшедшего дома, где Чурилин был два года. Весна после смерти. Был там стих, больше говорящий о бессмертии, чем тома и тома.

Быть может — умру,
Наверно воскресну!

Под знаком воскресения и недавней смерти шла вся книга. Из всех картинок помню только одну, ту самую одну, которую из всей книги помнит и Гончарова. Монастырь на горе. Черные стволы. По снегу — человек. Не бессознательный ли отзвук — мой стих 1916 г.:

...На пригорке монастырь — светел
И от снега — свят.

— Книга светлая и мрачная, как лицо воскресшего. Что побудило Гончарову, такую молодую тогда, наклониться над этой бездной? Имени у Чурилина не было, как и сейчас, да она бы на него и не польстилась.

Гончарова, это слово тогда звучало победой. В этом имени мне всегда слышалась — и виделась — закинутая голова.

(Голова с заносом,
Волоса с забросом!)

Это имя — оглавляло. Та же революция до революции, как «Война и мир» Маяковского, как никем не замеченная тогда книга Пастернака «Поверх барьеров».

И когда я — в прошлом уже! — 1928 году летом — впервые увидела Гончарову с вовсе не закинутой головой, я поняла, насколько она выросла. Все закинутые головы — для начала. Закидывает сила молодости (задор!), вызревшая сила скорее голову — клонит.

Но одно осталось — с забросом.

Внешнее явление Гончаровой. Первое: мужественность. — Настоятельницы монастыря. — Молодой настоятельницы. Прямота черт и взгляда, серьезность — о, не суровость! — всего облика. Человек, которому все всерьез. Почти без улыбки, но когда улыбка — прелестная.

Платье, глаза, волосы — в цвет. «Самый покойный из всех...» Не серый.

Легкость походки, неслышность ее. При этой весомости головы — почти скольжение. То же с голосом. Тишина не монашенки, всегда отдающая громами. Тишина над громами. За-громная.

Жест короткий, насущный, человека, который занят *делом*.

— Моя первая встреча с Вами через Чурилина, «Весна после смерти».

— Нет, была и раньше. Вы не помните?

Гляжу назад, в собственный затылок, в поднебесье.

— Вы ведь в IV гимназии учились?

— И в четвертой.

— Ну, вот, Вы, очевидно, были в приготовительном, а я кончала. И вот как-то после уроков наша классная дама, Вера Петровна такая, с попугаячьим носом, — «За Цветаевой нынче не пришли. Проводите ее домой. Вы ведь соседки?» Я взяла Вас за руку, и мы пошли.

— И мы пошли.

Дорого бы я дала теперь, чтобы сейчас идти за теми двумя следом.

Четвертая гимназия. Красные иксы балюстрады вокруг пруда — «прудов» — Патриарших. Первый гимназический год, как всё последующее, меняла школы, как классы и города, как школы — без друзей, с любовью к какой-нибудь одной, недосягаемой, ибо старшей, — с неизменным сочувствием все тех же трех учителей — русского, немецкого, французского, — с неизменным презрением прочих. Патриаршие пруды, красные фланелевые штаны, восемь лет, иду за руку с Натальей Гончаровой.

(Может, и не было. Кажется, не могло быть. И не меня вели, а другую, Цветкову, напр. Или мою старшую сестру — тоже Цветаева и тоже Трехпрудный. Но *та* не помнит, а я помню. Но ту не помнит, *меня* помнит.

Значит — я. Значит — мое.)

Наталья Гончарова родилась в Средней России, в самом сердце ее, в Тульской губ., деревне Лодыжино. Места толстовско-тургеневские. Невдалеке Ясная Поляна, еще ближе Бежин Луг. А в трактире уездного городка Чермь — беседа Ивана с Алешей. Растет с братом-погодком в имении бабушки. Бабушка безвыездная: ни к кому никуда, зато к ней все, вся деревня. По вечерам беседы на крыльце. Что у кого отелилось — ожеребилось — родилось, что у кого болит — чем это что лечить. Бабушка живет в недостроенном доме, родители Гончаровой с детьми напротив, в недоснесенном. Почему недоснесли? Почему недостроили? Так, между начатком и пережитком, протекает ее младенчество. Два дома и ни одного цельного, а зато два. Дом в ущелье — прямой вывод тех двух. Прямым выводом была бы и палатка, всякое жилье, кроме комфортабельной казармы современности. Это — отзвук в быту. И — обратный урок колыбели: недостроенное — достраивай! Законченные «соборы» Гончаровой — *нет* всем недостроенным домам.

— У вас есть любимые вещи? — Нелюбимые — есть. Недоделанные. Я просто оборачиваю их лицом к стене, чтобы никто не видел и самой не видеть. А потом, какой-то нужный час — лицом от стены и — все заново.

На вопрос, на который никто не отвечает сразу, а иные не отвечают вовсе, не потому, что не было, а потому, что не думали («да у меня и не было первого!» ушами слышала) — Гончарова ответила точно и сразу:

— Первое воспоминание? В той комнате, знаете, о которой я Вам говорила, — белянке, мы с братом за круглым столом смотрим картинки. Книга толстая, картинок много. Го́да? Два.

— А это должно быть второе, если не первое. Я все детство прожила в деревне и совсем не помню зимы. Была же, и гулять должно быть водили, — ничего. А *это* помню. Весна на гумне. Меня за руку ведут через лужи. А из лужи (голос тишает, глаза загораются, меня, на которую глядят, не видят, видят): — из-под льда и снега — ростки. Острые зеленые ростки. На гумне всегда много зерен рассыпано. Первые проросшие.

Ну, есть и лучшие, ну, может ли быть лучше, чем: два первых сразу, *вся* Гончарова в колыбели: сила природы в ней и тяга ремесла. Книга то-олстая! Картинок мно-ого! И не эти ли острые ростки — потом — через всю книгу ее творчества: бытия.

— Кукол не любила, нет. Кошек любила. А что любила — садики делать. (Вообще любила делать.) Вырезались из бумаги кусты, деревца и расставлялись в коробке. Четыре стенки — ограда. Законченный сад.

— Вам бы не хотелось сейчас — такое деревцо, тогдашнее?

(*Голубово, имение барона Б.А. Вревского.* «В устройстве сада и постройках принимал Пушкин, по фамильному преданию, самое горячее участие: сам копал грядки, рассадил множество деревьев, что, как известно, было его страстью».)

— Вы говорите, первое воспоминание. А вот — самое сильное, без всяких событий, песня. Нянька пела. Припев, собственно:

А молодость не вернется,
Не вернется опять.

— А знаете, в чем дело? В противузаконном «опять». Если бы во-век — не то было бы, не все было бы. Какое нам дело, что во-век? Во-век, это так далеко, во-век, это вперед, в будущее, то во-век, в которое мы не верим, до которого нам дела нет, во-век, это ведь и после нас, а не с нами, после всех. Ведь во-век — это не только в *наш* век (жизнь), в наш *век* (столетие), а вообще — и во веки веков. Поэтому безразлично.

А вот *опять*, то есть сюда же, на эту точку, на которой мы сейчас стоим. Ведь *мы* стоим, *вещь* уходит! Не вернется опять — вспять. В опять ее невозвратный шаг от нас, просто — ушагивает.

А во-век — никогда — никакого зрительного впечатления, отвлеченность, в которую мы не верим. Кто же когда-либо верил в *ничто* и *никогда*.

Усиленное не вернется, не только не вернется, но сугубо не вернется. Вот — опять!

— Я ведь маленькая была и слов не понимала. Понимала только, что ужасно грустно.

— Вы понимали — смысл.

— А еще у нас была молельня. Но до молельни были молитвы, то есть нянька. Красивая, молодая, черноглазая. И вот, не знаю уж для чего, может быть, чтобы сидели смирно, а может быть, чтобы просто сидели, а она бы уходила, — молитвы. Сидим и молимся. Да как! Часами! (Может быть, ее же, нянькины, грехи и замаливали...) Вы только представьте себе: дети, резвые, драчуны — я до пятнадцати лет дралась с братом, мы запирали дверь на задвижку и дрались, дрались ожесточенно! — только тогда перестали, когда он явно стал одолевать, знаете — одним махом — и тогда я поняла, что бесполезно, — дети, резвые, драчуны, — а ведь как ждали этого часа! — «Вот когда папа с мамой уйдут».

— А что это были за молитвы?

— Не знаю. Простые, должно быть.

— Хлыстовские, может быть?

— А молельня: там у нас фильтр был — знаете, такая громада? Тяжелый, глиняный, нелепый какой-то. И никто, конечно, не цедил. А фильтр стоял. А стоял он на ящике, особом таком, в боку отверстие, вроде окна. Знаете такие ящики? И вот однажды мы, поглядев, поняли, что это, собственно, храм. Огромный храм, только маленький. И устроили молельню. Пол выстлали золотой бумагой, даже алтарь был. И — молились.

— Но как же, — раз ящик был маленький?

— Не в нем молились, *в него* молились, через то окошко, боковое...

(Перекличка. Недавно я, во вступлении к письмам Рильке, обмолвилась: «Еще мне хочется говорить — ему, точней — *в него*». То, что Гончарова говорит о храме, относится также к божеству храма: в него молиться, не ему молиться.)

...«Нянька знала. А мать, кажется, нет. Просто топчемся около фильтра. Мало ли...»

Гончаровские соборы из глубока росли!

«В гимназию поступила прямо из деревни. От всех доставалось, за все доставалось. Особенно от словесника за орфографию». – Плохую? – «Тульскую. Говорила по-тульски – х вместо ф и все такое – а писала как говорила. Написанным это, должно быть, выглядеть ужасно». – Ужасно. – «А еще от классной дамы – за кудри. Вились только две передние пряди, это-то и сбивало: вся гладкая, а по бокам вьюсь. И глажу, и мажу... Сколько – раз: «Гончарова, к начальнице в кабинет!» – «Опять завилась?» – И мокрой щеткой, до боли в висках. Выхожу, гладкая, как мышь, а сама смеюсь, – от воды ведь, знаете, что с кудрявыми волосами? И на следующей перемене...»

– «А кудри завьются, завьются опять!» Только погрустить об этих педагогах, могущих заподозрить в щипцах – этот дичок, за давностью преподавания природоведение забывших, очевидно, что есть волосы, действительно вьющиеся, как хмель вьется, и что с такими волосами – как с хмелем – как с самой Гончаровой – ничего не поделаешь. Разве что вырвать с корнем.

Все это мелочи – и драки, и молельня, и кудри. Останется не это, а «соборы». Хочу, чтобы и это осталось.

Есть ли у художника личная биография, кроме той, в ремесле? И, если есть, важна ли она? Важно ли то, из чего? И – из того ли – то?

Есть ли Гончарова вне холстов? Нет, но была до холстов, Гончарова до Гончаровой, все то время, когда Гончарова звучало не иначе, как Петрова, Кузнецова, а если звучало – то отзвуком Натальи Гончаровой – той (печальной памяти прабабушки). Гончаровой до «соборов» нет – все они внутри с самого рождения и до рождения (о, вместимость материнского чрева, носящего в себе *всего* Наполеона, от Аяччио до св. Елены!) – но есть Гончарова до холстов,

Гончарова немая, с рукой, но без кисти, стало быть – без руки. Есть препоны к соборам, это и есть личная биография. – Как жизнь не давала Гончаровой стать Гончаровой.

Благоприятные условия? Их для художника нет. Жизнь сама неблагоприятное условие. Всякое творчество (художник здесь за неимением немецкого слова Künstler) – перебарыванье, перемалыванье, переламыванье жизни – самой счастливой. Не сверстников, так предков, не вражды, ожесточающей, так благожелательства, размягчающего. Жизнь – сырьем – на потребу творчества не идет. И как ни жестоко сказать, самые неблагоприятные условия – быть может – самые благоприятные. (Так, молитва мореплавателя: «Пошли мне бог берег, чтобы оттолкнуться, мель, чтобы сняться, шквал, чтобы устоять!»)

Первый холст – конец этой Гончаровой и конец личной биографии художника. Обретший глас (здесь хочется сказать – глаз) – и за него ли говорить фактам? Их роль, в безглагольную пору, первоисточника, отныне не более как подстрочник, часто только путающий, как примечания Державина к собственным стихам. Любопытно, но не насущно. Обойдусь и без. И – *стихи лучше знают!*

И если ценно, то в порядке каждой человеческой жизни, может быть и менее, потому что менее показательно. Не-художник в жизни живет весь, на жизнь – ставка, на жизнь как она есть, здесь – на жизнь как быть должна.

Холст: есмь. Предыдущее – ход к холсту.

Есть факты – наши современники. Есть – наши предшественники, факты до нас. «Когда я не была Гончаровой» (не для других, а для самой себя, не Гончаровой – именем, а Гончаровой – силой). Таково все детство и юность. Предки, предшественники, предтечи. Их и нужно слушать. Дедов – о будущих внуках. Гончарова – маленькая, себе нынешней бабушка, слепая и вещая. Рука Гончаровой, насаживающая садик, знает, что делает, пятилетняя Гончарова – нет. Встреча знания с сознанием, рукú Гончаровой с головой Гончаровой – первый холст. Рука Гончаровой, насаживающая садик, – рука из будущего. Здесь пращур вещ! Ее рука умнее ее.

В последующем – юношестве – рука (инстинкт) сдает. Лучший пример – та же Гончарова, кончающая школу живописи и ваяния – скульптором. Боковое ответвление принявшая за ствол. Рука, смело раскрашивающая деревья в семью-семь цветов радуги, здесь ослепла и наткнулась на форму. (Бабушка заснула, и внучка играет сама.)

Детство – пора слепой правды, юношество – зрячей ошибки, иллюзии. По юношеству никого не суди. (Казалось бы – исключение Пушкин, до семи лет толстевший и копавшийся в пыли. Но почем мы знаем, что он думал, верней, что в нем думало, когда он копался в пыли. Свидетелей этому не было. Последующее же – о несуждении по юношеству – к Пушкину относится более, чем к кому-либо. Пушкин, беру это на себя, за редкими исключениями в юношестве – отталкивает.)

О, это потом опять споется – как спелось с Гончаровой. Сознание доросло до инстинкта, не спелось, а спаялось с ним. С первым холстом (с *фактом* – актом – первого холста, каков бы ни был) Гончарова – зрячая сила, вещь почти божественная.

История моих правд – вот детство. История моих ошибок – вот юношество. *Обе* ценны, первая как бог и я, вторая как я и мир. Но, ища нынешней Гончаровой, идите в ее детство, если можете – в младенчество. Там – корни. И – как ни странно – у художника ведь так: сначала корни, потом ветви, потом ствол.

История и до-история. Моя тяга, поэта, естественно, к последней. Как ни мало свидетельств – одно доисторическое – почти догадка – больше дает о народе, чем все последующие достоверности. «Чудится мне»... так говорит народ. Так говорит поэт.

Если есть еще божественное, кроме завершения, мира явленного, то – он же в замысле.

Еще божественнее!

Но есть и еще одно – уже не божественное, а человеческое – в личной биографии большого человека: то сжатие сердца, с которым встречаем гончаровское деревцо. То соучастие сочувствия, вызываемое в нас, всех так игравших, ею, доигравшей и выигравшей.

У подножия тех соборов – та картонка.

Простое умиление сердца.

Две Гончаровы

– Что Вы сейчас пишете?

– Наталью Гончарову.

– Ту или эту?

Значит, две. Две и есть. Чем руководствовались родители нашей, назвав ее тем именем, еще раз возобновив в наших ушах злосчастное созвучие, почти что заклеймив. В честь? Мысленно оставляю пустое место. В память? Помним и так. Может быть – и скорее всего – попросту: у нас-де в роду имя Наталья. Но именно таким попросту орудует судьба. К этому еще вернусь, говоря о Наталье Гончаровой – той.

Наталья Гончарова – та – вкратце.

Молодая девушка, красавица, та непременная красавица многодочерних русских семейств, совсем бы из сказки, если из трех сестер – младшая, но старшая или младшая, красавица – сказочная, из разорившейся и бестолковой семьи выходит замуж за – остановка – за кого в 1831 г. выходила Наталья Гончарова?

Есть три Пушкина: Пушкин – очами любящих (друзей, женщин, стихолюбов, студенчества), Пушкин – очами любопытствующих (всех тех, последнюю сплетню о нем ловивших едва ли не жаднее, чем его последний стих), Пушкин – очами судящих (государь, полиция, Булгарин, иксы, игреки – посмертные отзывы) и, наконец, Пушкин – очами будущего – *нас*.

За кого же из них выходила Гончарова? Во всяком случае, не за первого и тем самым уже не за последнего, ибо любящие и будущие – одно. Может быть, за второго – Пушкина сплетен – и – как ни жестоко сказать – вернее всего,

за Пушкина очами суда, Двора: за Пушкина – пусть со стихами, но без чинов, – за Пушкина – пуще, чем без чинов – вчерашнего друга декабристов, за Пушкина поднадзорного.

Что бы ни говорилось о любви Николая I к Пушкину, этого слова государя о поэте достаточно: «Здесь все тихо, и одна трагическая смерть Пушкина занимает публику и служит пищей разным глупым толкам. Он умер от раны за дерзкую и глупую картель, им же посланную, но слава богу, умер христианином». И еще, в ответ на нижеследующие слова Паскевича: «Жаль Пушкина, как литератора, в то время, когда его талант созревал, но человек он был дурной». – «Мнение твое о Пушкине я совершенно разделяю, и про него можно справедливо сказать, что в нем оплакивается *будущее, а не прошедшее*». (Будущее – что? «Хороший» человек, в противовес «дурному», бывшему? Или будущий большой писатель. Если первые – откуда он взял, вернее, как он, хоть на ноготь зная Пушкина, мог допустить, что Пушкин будет – «хорошим» в его толковании!). Да даже если бы на смертном одре самоустно ему, государю, поклялся – клянется *умирающий*, держит (не держит) живущий. Если же второе, неужели государю всего данного Пушкиным было – мало? Где он видал больше? Да было ли больше в тридцать шесть лет? Но бог иногда речет устами (даже цензоров!) – *бывшее бы* (поведение, дарование) вот что хотел сказать, а сказал *будущее*, то есть назвал нас, безутешных в *таком* пушкинском окружении.

Николай I Пушкина ласкал, как опасного зверя, который вот-вот разорвет. Пушкина – приручал. Беседа с «умнейшим человеком России»? Ум – тоже хищный зверь, для государей – самый хищный зверь. Особенно – вольный. Николай I Пушкина засадил в клетку, а клетку позолотил (мундир камер-юнкера и – о, ирония! – вместо заграничной подорожной – открытый доступ в архив, которым, кстати, Пушкина при себе и держал. – «Ты в отставку, а я тебе архивную дверь перед носом». И Пушкин – остался. Вместо деревни – Двор, вместо жизни – смерть).

Николай I Пушкина видел под страхом, под страхом видела его и Гончарова. Их отношение – тождественно. Если Николай I, как мужчина и умный человек, боялся в нем ума,

Наталья Гончарова, как женщина, существо инстинкта, боялась в нем – его всего. Николай I видел, Наталья Гончарова чуяла, и еще вопрос – какой страх страшней. Ума ли, сущности ли, оба, и государь, и красавица, боялись, и боялись *силы*.

Почему Гончарова все-таки вышла замуж за Пушкина, и некрасивого, и небогатого, и незнатного, и неблагонадежного? *Нелюбимого*. Разорение семьи? Вздор! Такие красавицы разорять созданы. Захоти Гончарова, она в любую минуту могла бы выйти замуж за самого блистательного, самого богатого, самого благонадежного, – самое обратное Пушкину. Его слава? Но Гончарова, как красавица – просто красавица – только, не была честолюбивой, а слава Пушкина в ее кругах – ее мы знаем. Его стихи? Вот лучшее свидетельство, из ее же уст:

«Читайте, читайте, я не слушаю».

А вот наилучшее, из уст – его:

«...Я иногда вижу во сне дивные стихи, во сне они прекрасны, но как уловить, что пишешь во время сна. Раз я разбудил бедную Наташу и продекламировал ей стихи, которые только что видел во сне, потом я испытал истинные угрызения совести: ей так хотелось спать!»

– Почему вы тотчас же не записали этих стихов?

Он посмотрел на меня насмешливо и грустно ответил:

– Жена моя сказала, что ночь создана на то, чтобы спать, она была раздражена, и я упрекнул себя за свой эгоизм. Тут стихи и улетучились».

(А.О. Смирнова, Записки, т. 1.)

Почему же? За что же?

Страх перед страстью. Гончарова за Пушкина вышла из страху, так же, как Николай I из страху взял его под свое цензорское крыло.

Не выйду, так... придется выйти. Лучше выйду. Проще выйти. «Один конец», так звучит согласие Натальи Гончаровой. Гончарова за Пушкина вышла без любви, по равнодушию красавицы, инертности неодухотворенной плоти – шаг куклы! – а может быть и с тайным содроганием. Пушкин знал, и знал в этот час больше, чем сама Гончарова. Не

говоря о предвидении – судьбе – всем над и под событиями, – Пушкин, как мужчина, знавший много женщин, не мог не знать о Гончаровой больше, чем Гончарова, никогда еще не любившая.

Вот его письмо:

«...Только привычка и продолжительная близость могут мне доставить привязанность Вашей дочери; я могу надеяться со временем привязать ее к себе, но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться; если она согласится отдать мне свою руку, то я буду видеть в этом только свидетельство спокойного равнодушия ее сердца.

...Не явится ли у нее сожаление? не будет ли она смотреть на меня, как на препятствие, как на человека, обманом ее захватившего? не почувствует ли она отвращение ко мне? Бог свидетель – я готов умереть ради нее, но умереть ради того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, свободной хоть завтра же выбрать себе нового мужа, – эта мысль – адское мучение!»

(Пушкин – Н.И. Гончаровой (матери),
в перв. половине апреля 1830 г.)

Пушкин в этот брак вступил зрячим, не с раскрытыми, а с раздернутыми глазами, без век. Гончарова – вслепую или вполуслепую, с веками-завесами, как и подобает девушке и красавице.

С Натальи Гончаровой с самого начала снята вина.

(«Молодость, неопытность, соображения семьи». Не доводы. Княгиня Волконская тоже была молода и неопытна, а семья – вспомним ее сборы в Сибирь! – тоже соображала – и как! «Молодость, неопытность, семья» – принадлежность всех невест того времени и ничего не объясняют. Не говоря уже о том, что девушки того круга почти исключительно жили чувствами и искусствами и тем самым больше понимали в делах сердца, чем наши самые бойкие, самые трезвые, самые просвещенные современницы.)

– Эту жизнь мы знаем. Выезжала, блистала, повергала к ногам всех, от тринадцатилетнего лицеиста до Всероссийского Самодержца – нехотя, но не противясь – как подобает Елене, рождала детей, называла их, по желанию мужа, простыми именами. (Мария, Александр – третьего: «Он дал мне на выбор Гаврилу и Григория (в память Пушкиных, погибших в Смутное время). Я выбрала Григория». Хорош выбор – между удавкой и веревкой! (В данную минуту с ней все мое сочувствие, право матери, явившей в мир, являть и в имени. Не то плохо, что Григорий плох, а что ей *пришлось* выбрать Григория.)

Безучастность в рождении, безучастность в наименовании, нужно думать – безучастность в зачатии их. Как – если не безучастность к собственному успеху – то неучастие в нем, ибо преуспевали глаза, плечи, руки, а не сущность, не воля к успеху: «вошел – победил». *Входить* – любила, а входить – побеждать. Безучастность к работе мужа, безучастность к его славе. Предельное состояние претерпевания.

Кокетство? Не больше, чем у современниц, менее прекрасных. Не она более кокетлива – те менее прекрасны. *Отсюда* успех. Две страсти, если можно применить к ней это слово: свет и обратная страсть: отвращение к деревне. Так, Пушкину на мечту о Болдине: «С волками? Бой часов? Да вы с ума сошли!» И залилась слезами.

Дурная жена? Не хуже других, таких же. Дурная мать? Не хуже других, от нелюбимого мужа. Когда Пушкина убили, она плакала.

Нет в Наталье Гончаровой ничего дурного, ничего порочного, ничего, чего бы не было в тысячах таких, как она, – которые не насчитываются тысячами. Было в ней одно: красавица. Только – красавица, просто – красавица, без корректива ума, души, сердца, дара. Голая красота, разящая, как меч. И – сразила.

Просто – красавица. Просто – гений.

Ибо все: и предательство в любви, и верность в дружбе, и сыновность своим дурным и бездарным родителям (прямо исключающим возможность Пушкина), и неверность – идеям или лицам? (нынче ода декабристам, завтра послание их убийце), и страстная сыновность России – не матери, а мачехе! – и ревность в браке, и неверность в браке, – Пушкин дружбы, Пушкин брака, Пушкин бунта, Пушкин трона,

Пушкин света, Пушкин няни, Пушкин «Гавриилиады», Пушкин церкви, Пушкин – бесчисленности своих ликов и обличий – все это спаяно и держится в нем одним: поэтом.

Все на потребу! Керн так Керн, Пугачев так Пугачев, дворцовые ламповщики так дворцовые ламповщики (с которыми ушел и пропал на три дня, слушая и записывая. Пушкина – все уводило).

В *своем* (гении) то же, что Гончарова в *своем* (красоте). В своем *гении* то же, что Гончарова в своем. Не пара? Нет, пара. Та рифма через строку со всей возможностью смысловой бездны в промежутке. Разверзлась.

Пара по силе, идущей в разные стороны, хотелось бы сказать: пара друг от друга. Пара – врозь. Это, а не другое, в поверхностном замечании Вяземского: «Первый романтический поэт нашего времени на первой романтической красавице».

Неправы другие с их «не-парностью». Первый на первой. А не первый по уму на последней (дуре), а не первая по красоте на последнем (заморыше). Чистое явление гения, как чистое явление красоты. Красоты, то есть пустоты. (Первая примета рокового человека: не хотеть быть роковым и зачастую даже этого не знать. Как новатор никогда не хочет быть новатором и искренне убежден, что просто делает по-своему, пока ему ушей не прожужжат о его новизне, левизне! – роковое: эманация.)

Наталья Гончарова *просто* роковая женщина, то пустое место, к которому стягиваются, вокруг которого сталкиваются все силы и страсти. Смертоносное место. (Пушкинский гроб под розами!) Как Елена Троянская *повод*, а не причина Троянской войны (которая сама не что иное, как повод к смерти Ахиллеса), так и Гончарова не причина, а повод смерти Пушкина, с колыбели предначертанной. Судьба выбрала самое простое, самое пустое, самое невинное орудие: красавицу.

Тяга Пушкина к Гончаровой, которую он сам, может быть, почел бы за навязчивое сладострастие и достоверно («огончарован») считал за чары, – тяга гения – переполненности – к пустому месту. Чтобы было куда. Были же рядом с Пушкиным другие, недаром же взял эту! (Знал, что

брал.) Он хотел нуль, ибо сам был – все. И еще он хотел того *всего*, в котором он сам был нуль. Не пара – Россет, не пара Раевская, не пара Керн, только Гончарова пара. Пушкину ум Россет и любовь к нему Керн не нужны были, он хотел первого и недостижимого. Женитьба его так же гениальна, как его жизнь и смерть.

«Она ему не пара» – точно только то пара, что спевается! Есть пары по примете взаимного тяготения счастливые по замыслу своему, по движению к – через обеденный ли стол (Филемон и Бавкида), через смертное ли ложе (Ромео и Джульетта), через монастырскую решетку (Элоиза и Абеляр), через все моря (Тристан и Изольда) – через все вопреки – вопреки всем через – счастливые: любящие.

Есть пары – тоже, но разрозненные, почти разорванные. Зигфрид, не узнавший Брунгильды, Пенфезилея, не узнавшая Ахилла, где рок в недоразумении, хотя бы роковом. Пары – всё же.

А есть роковые – пары, с осужденностью изнутри, без надежды ни на сем свете, ни на том.

Пушкин – Гончарова.

Что такое Гончарова по свидетельствам современников? Красавица. «Nathalie est un ange»[1] (Смирнова). «Печать меланхолии, отречения от себя...» (NB! От очередного бала или платья?) Молчаливая. Если приводятся слова, то пустые. До удивительности бессловесная. Все об улыбке, походке, очах, плечах, даже ушах – никто о речах. Ибо вся в улыбках, очах, плечах, ушах. Так и останется: невинная, бессловесная – Елена – кукла, орудие судьбы.

Страсть к балам – то же, что пушкинская страсть к стихам: единственная полная возможность выявления. (Явиться – выявиться!) Входя в зал – рекла. Всем, от мочки ушка до носка башмачка. Всем сразу. Всем, кроме слов. Все être[2] красавицы в paraître[3]. Зал и бал – естественная родина Гончаро-

1 Наташа – ангел (*фр.*).
2 Быть (*фр.*).
3 Казаться (*фр.*).

вой. Гончарова только в эти часы *была*. Гончарова не кокетничать хотела, а быть. Вот и разгадка Двора и деревни.

А дома зевала, изнывала, даже плакала. Дома — умирала. Богиня, превращающаяся в куклу, возвращающаяся в небытие.

Если друг другу не пара, то только в христианском смысле брака, зиждущегося на совместном устремлении к добру. Ни совместности, ни устремления, ни добра. Впрочем, устремление было: брачная парная карета, с заездом на Арбат, дом Хитровой (туда молодые поехали после венца), гнала прямо на Черную речку. Отсюда пути расходятся: Гончарова — к Ланскому, Пушкин — в Святогорский монастырь.

Языческая пара, без бога, с только судьбой.

Жуткая подробность. Карета, увозившая Пушкина на Черную речку, на дворцовой набережной поравнялась с каретой Гончаровой. Увидь они друг друга... «Но жена Пушкина была близорука, а Пушкин смотрел в другую сторону».

Фактическое. Пушкин должен был быть убит белым человеком на белой лошади, в которого так свято верил, что даже ошибочно счел его Вейскопфом (он точно свою смерть примерял), — одним из генералов польской войны, на которую стремился — навстречу смерти. Судьба посредством Гончаровой выбирает Дантеса, пустое место, равное Гончаровой. Пушкин убит не белой головой, а каким-то — пробелом.

Кто бы — кроме?

«Делать было нечего, я стал готовиться к поединку, купил пистолеты, выбрал секунданта, привел бумаги в порядок и начал дожидаться и прождал напрасно три месяца. Я твердо, впрочем, решил не стрелять в Пушкина, но выдерживать его огонь, сколько ему будет угодно».

(Гр. В.А. Соллогуб — *о б и ж е н н ы й* им!)

Не такой же, а именно Дантес, красавец, кавалергард, смогший на прощальные прощающие слова Пушкина со смехом ответить: «Передайте ему, что я его тоже прощаю!» Не Дантес смеялся, пушкинская смерть смеялась, — той белой лошади раскат (оскал).

Чтобы не любить Пушкина (Гончарова) и убить Пушкина (Дантес), нужно было ничего в нем не понять. Гончарову, не любившую, он взял уже с Дантесом in dem Kauf[1], то есть с собственной смертью. Посему, изменила Гончарова Пушкину или нет, только кокетничала или целовалась, только целовалась или другое все, ничего или все, — не важно, ибо Пушкин Дантеса вызвал за его любовь, не за ее любовь. Ибо Пушкин Дантеса вызвал бы в конце концов и за взгляд. Дабы сбылись писания.

И еще, изменила ли Гончарова Пушкину или нет, целовалась или нет, все равно — невинна. Невинна потому, что кукла невинна, потому что судьба, невинна потому, что Пушкина не любила.

А Ланского любила и, кажется, была ему верной женой.

«Первая романтическая красавица наших дней» не боялась призраков. Призрак Пушкина (живого из живых, страстного из страстных — *призрак арапа!*) страшен. Но она его не увидела, а не увидела его, потому что Пушкин знал, что не увидит. На призрак нужны — не те очи. Мало на него самых огромных, самых наталье-гончаровских глаз. Последний приход Пушкина был бы его последним поражением: она бы не оторвалась от Ланского, до которого наконец дорвалась.

Наталья Гончарова и Пушкин, Мария-Луиза и Наполеон. Тот же страшный сон, так скоро и так жадно забытый, Гончаровой на груди Ланского, Марией-Луизой на груди Нейперга.

Тяжело с нелюбимым. Хорошо с любимым. Так и в песнях поется. Нужно пожалеть и их.

Что же дальше с Гончаровой?

Раздарив все смертные реликвии Пушкина — «я думаю, вам приятно будет иметь архалук, который был на нем в

1 В придачу (*нем.*).

день его несчастной дуэли», Нащокину – архалук (красный, с зелеными клеточками), серебряные часы и бумажник с ассигнацией в 25 р. и локоном белокурых волос, Далю – талисманный перстень с изумрудом и «черный сюртук с небольшой, в ноготок, дырочкой против правого паха» – на вынос тела из дому в церковь «от истомления и от того, что не хотела показываться жандармам» не явившись (первое *неявление* за сто явлений!).

– А вот еще свидетельство, девять недель спустя:

«То, что вы мне говорите о Наталье Николаевне, меня опечалило. Странно, я ей от всего сердца желал утешения, но не думал, что желания мои исполнятся так скоро».

(А.Н. Карамзин – Е.А. Карамзиной,
8 апреля 1837 года из Рима.)

А вот другое, немного спустя:

«Ты спрашиваешь меня, как поживают и что делают Натали и Александрина: живут очень неподвижно, проводя время как могут; понятно, что после жизни в Петербурге, где Натали носили на руках, она не может находить особой прелести в однообразной жизни завода, и она чаще грустна, чем весела».

(Д.Н. Гончаров – Екатерине Николаевне Дантес-Геккерн,
из Полотняного Завода,
4 сентября 1837 года.)

А вот и эпилог:

Наталья Николаевна Пушкина 18 июля 1844 года вышла замуж за генерала Петра Петровича Ланского.

1837–1844. Что же между? Два года добровольного изгнания на Полотняном Заводе – «Носи по мне траур два года. Постарайся, чтобы забыли про тебя. Потом выходи опять замуж, но не за пустозвона», – потом все то же, под верховным покровительством государя Николая I, не раз выражавшего желание, «чтобы Наталья Николаевна по-прежнему служила одним из лучших украшений его царских приемов. Одно из ее появлений превратилось в настоящий триумф».

Наталья Николаевна и Николай I – еще раз сошлись.

«Спящий в гробе мирно спи,
Жизни радуйся живущий».

Так бы и «радовалась» – до старости, если бы, семь лет спустя после смерти Пушкина, не вышла замуж за Ланского, давшего ей – неисповедимы пути господни! – то, чего не мог дать – раз не дал! – Пушкин: человеческую душу.

Здесь кончается Гончарова – Елена, Гончарова – пустое место, Гончарова – богиня, и начинается другая Гончарова: Гончарова – жена, Гончарова – мать, Гончарова – любящая, новая Гончарова, которая, может быть, и полюбила бы Пушкина.

Ну, а вне Пушкина, Дантеса, Ланского? Сама по себе? Не было. Наталья Гончарова вся в житейской биографии, фактах (другой вопрос – каких), как Елена Троянская вся в борьбе ахейцев и данайцев. Елены Троянской – вне невольно вызванных и – тем – претерпенных ею событий просто нету. Пустое место между сцепившихся ладоней действия. Разведите – воздух.

Вот Наталья Гончарова – та.

Наша:

Молодая девушка, чудом труда и дара, внезапно оказывается во главе российской живописи. Затем... Затем все то же. Никаких фактов, кроме актов. Чисто мужская биография, творца через творение, вся в действии, вне претерпевания. Что обратное Наталье Гончаровой – той? Наталья Гончарова – эта. Ибо обратное красавице не чудовище («la belle et la bête»[1]), как в первую секунду может показаться, а – сущность, личность, печать. Ведь если *и* красавица – *не* красавица, красавица – только красавица.

«J'aurais dû devenir très belle, mais les longues veilles et le peu de soins que je donnais à ma beauté...» (George Sand, «Histoire de ma vie...»)[2]

1 Красавица и чудовище (*фр.*).

2 «Я должна была бы стать весьма красивой, но продолжительные бдения и недостаточный уход за собой...» (Жорж Санд, «История моей жизни») (*фр.*).

И еще – беру наугад: «Она происходила из московского купеческого рода Колобовых и была взята в замужество в дворянский род не за богатство, а за красоту. Но лучшие ее свойства были – душевная красота и светлый разум, в котором...» и т. д., и от красоты уже откатились, чтобы больше к ней не возвращаться. (Лесков о своей бабушке.) И – тысяча таких свидетельств. Так, многие красавицы рожденные красавицами не были – «Ne daigne»[1] красоте, как Наташа Ростова – уму, как многие – славе, как столькие – счастью! Чтобы быть красавицей – счастливицей – нужно, если не: этого хотеть, то во всяком случае этому не противиться. Всякое отклонение – сопротивление.

Так по какой же примете сравниваю двух Гончаровых? Неужели только из-за одинаковости имен и родства – даже не прямого? С моей стороны – не легкомыслие ли, а для Гончаровой – нашей – не оскорбление ли? Эту весомость – с тем ничтожеством? Это всё – с тем ничто? Словом, родись Наталья Гончарова, – наша – в другой семье и зовись она не Наталья и не Гончарова, – сравнивала бы я ее с Натальей Гончаровой – той? Нет, конечно. Стало быть, все дело в именах?

Дело в роде Гончаровых, давшем России одну Гончарову, *взявшую*, другую – *давшую*. Одну – Россию омрачившую, другую – возвеселившую. Ибо творчество Натальи Гончаровой – чистое веселье, *слава* в самом чистом смысле слова, как солнце – слава. Красавица Россию, в лице Пушкина, каждым острием своих длинных ресниц, проглядела, труженица Россию, каждым своим мазком и штрихом, – явила. Ибо гончаровские «Испанки» такая же Россия, как пушкинский «Скупой рыцарь», полное явление русского гения, все присваивающего. (К этой перекличке Гончаровой с Пушкиным я еще вернусь.) Не прямая правнучка (брата Н.Н. Гончаровой). Так и возмещение ее – боковое ответвление. Поэт. Художник. Но корень один: русский гений.

Через голову красавицы, между Пушкиным и художником – прямая связь. Полотняный Завод, где пушкинскими стихами исписаны стены беседки. И не думающая об этом в данную минуту – Гончарова. «Там я много работала... Если бы Вы знали, что такое Полотняный Завод – та жизнь! Ни-

1 Не снисхожу (*фр.*).

где, нигде на свете, ни до, ни после, я не чувствовала – такого счастья, не о себе говорю, в воздухе – счастья, счастливости самого воздуха! Вечный праздник и вечная праздность, – все располагало: лестницы, аллеи, пруды... С утра пенье, а я с утра – дверь на крюк. Чтобы там ни пелось – дверь на крюк. Потому что иначе нельзя: не сейчас – так никогда. Ну, успею переодеться к обеду – переодеваюсь, а то так, в рабочем балахоне...»

«Что бы там ни пелось...» Как Одиссей, связавший себя от сирен – дверь на крюк. Крюк! Гарантия не только от входов, но и от выходов, – *самозапрет*.

А вот пушкинское свидетельство, которого, знаю, не знает Гончарова:

«...Одним могли рассердить его не на шутку. Он требовал, чтобы никто не входил в его кабинет от часа до трех; это время он проводил за письменным столом или ходил по комнате, обдумывая свои творения, и встречал далеко не гостеприимно того, кто стучался в его дверь».

(С.Н. Гончаров, брат Н.Н. Гончаровой.)[1]

И еще одно:

«Однажды Пушкин работал в кабинете; по-видимому, он всецело был поглощен своей работой, как вдруг резкий стук в соседней столовой заставил его вскочить. Насильственно отторгнутый от интересной работы, он выбежал в столовую сильно рассерженный. Тут он увидел виновника шума, маленького казачка, который рассыпал ножи, накрывая на стол. Вероятно, вид взбешенного Пушкина испугал мальчика, и он, спасаясь от него, юркнул под стол. Это так рассмешило Пушкина, что он громко расхохотался и тотчас покойно вернулся к своей работе».

(А.В. Середин. «Пушкин и Полотняный Завод».
По записи Д.Д. Гончарова.)

В промежутке – вышивающая, зевающая, изнывающая Наталья Гончарова – та.

1 Прадед Н.С. Гончаровой. (*Прим. М. Цветаевой.*)

Пушкин «Царя Салтана» слышит (начало стиха – звук), Гончарова «Царя Салтана» видит (начало штриха – взгляд). Оба являют. В промежутке гончаровское «Читайте, читайте, я не слушаю». Промежуток зевка. (Что зевок, как не признание в отсутствии – меня нет.)

– «А вот Игорь для немецкого издания». Смотрю (речь впереди) и первая мысль: Пушкин против Каченовского утверждающий подлинность Игоря.

– А вот иллюстрации к царю Салтану...

Смотрю (речь впереди), и не мысль уже, а молния:

– Если бы Пушкин...

«Моя родословная»

Обман зрения всей России, видевшей – от арапской крови, «Арапа Петра Великого» и «Цыган» – Пушкина черным. (*Правильный* обман.) Был рус. Но что руководило стариком, никогда не читавшим Пушкина? А вот: «В те дни сложилось предание, что Пушкин ведается с нечистою силою, оттого и писал он так хорошо, а писал он когтем». (Воспоминания одного из современников.) Старик Пушкина черным и страшным видел *от страха.*

И – живой голос Пушкина с Полотняного Завода: «Жена моя прелесть, и чем доле я с ней живу, тем более люблю это милое, чистое и доброе создание, которого я ничем не заслужил перед богом».

Конец августа 1834 года, а в феврале 1837 года «милое, чистое и доброе создание, ничем не заслуженное перед богом» приезжает на тот же Полотняный Завод – вдовой. Здесь протекают первые два года ее вдовства, сначала в отчаянии (может быть – раскаянии?) – потом в грусти, – потом в скуке.

Смерть Пушкина, *которую я, в иные часы, особенно* любя его, охотно ее вижу в прелестном обличии Гончаровой, – Гончаровой прощания, например, поящей с ложечки, – чем в хохочущей образине Дантеса, смерть Пушкина вернулась к месту своего исхождения: на первом ткацком станке Абрама Гончара ткалась смерть Пушкина.

Еще одно, чтобы больше к этому не возвращаться – к тому, от чего оторваться нельзя! – какое счастье для России, что Пушкин убит рукой иностранца. – Своей не нашлось!

В лице Дантеса – пусть, шуана (потом – бонапартиста), Пушкин убит сыном страны Вольтера, тем смешком, так омрачившим его чудесный дар. Ведь два подстрочника вдохновения Пушкина: няня Арина Родионовна и Вольтер. Няня Арина Родионовна (Россия) на своего выкормыша руки не подняла.

Больше скажу: Вольтер жил в нем, и в каком-то смысле (не женитьба на Гончаровой, – а... «Гавриилиады» хотя бы) в переводе на французский вернувшийся в свою колыбель; смерть Пушкина – рукой Дантеса – самоубийство. Дантес – ancien régime?[1] Да, Дантес, смеющийся в лицо умирающему, пуще, чем вольтерьянец, смеющийся в лицо только своей. («Dieu me pardonnera, c'est son metier!»[2]) (Гейне). Оскал Дантеса – вот расплата за собственный смешок.

«Est-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire?..»[3]

И еще одно: все безвозвратно, и едва ли когда-нибудь мне придется еще – устно – вернуться к смерти Пушкина – какая страшная посмертная месть Дантесу! Дантес жил – Пушкин рос. Тот поднадзорный и дерзкий литератор, запоздалый камер-юнкер, низкорослый муж первой красавицы, им убитый, – превращался на его глазах в первого человека России, не «шел в гору», а в гору – вырастал. «Дело прошлое», – так начал Соболевский свой вопрос – в упор – Дантесу (на который солгал или нет – Дантес?). В том-то и дело, что делу этому никогда не суждено было стать прошлым. Дантесу «освежала в памяти» Пушкина – вся Россия.

«Он уверял, что и не подозревал даже, на кого он подымает руку» (А. Ф. Онегин).

Тогда не подозревал, потом – прозрел.

Убийца в нем рос по мере того, как вырастал – вовне – убитый. Дорос ли Дантес до простого признания факта? Кто скажет? Во всяком случае, далеко от кавалергардского смеха до – последнего, что мы знаем о нем, – стариковского:

1 Здесь: представитель «прежнего времени» (*фр.*).
2 «Бог меня простит, это его ремесло» (*фр.*).
3 «Доволен ли ты, Вольтер, и твоя отвратительная улыбка?» (*фр.*)

«Le diable s'en est mêlé!»[1]

Первый, о ком слышно, – Абрам Гончар. Абрам Гончар первый пускает в ход широкий станок для парусов. А России нужны паруса, ибо правит Петр. Сотрудник Петра. Петр бывает в доме. Несколько красоток дочерей. Говорят, что в одну, с одной... Упоминаю, но не настаиваю. Но также не могу не упомянуть, что в одном позднем женском – (гончаровской бабушки) – лице лицо Петра отразилось, как в зеркале. Первый, о ком слышно, изобретатель, умница, человек, шагавший с временем, которое тогда шагало шагом Петра. Современник будущего – вот Абрам Гончар. Первый русский парус – его парус.

Абрамом Гончаром основан в 1712 г. первый полотняный завод, ставший впоследствии селом, потом и городком того же имени.

«Полотняный Завод» имение Гончаровых в Медынском уезде, Калужской губ., где живал Пушкин после своей женитьбы. Тут когда-то был полотняный завод, которого ныне нет и следа. Обширное торговое и промышленное село, торговое, своею деятельностью и базаром, оно издавна служило значительным торговым центром на довольно большом расстоянии. Здесь писчебумажная фабрика Гончаровых. Местоположение Полотняного Завода прелестно. Помещичья усадьба, с великолепным старинным господским домом, на самом берегу реки. Не так далеко от него стоял на берегу реки деревянный флигель, слывущий до сих пор в народе под названием дома Пушкина. В нем поэт постоянно живал после своего брака, приезжая гостить к Гончаровым. Внутренние стены этого строения, имеющие вид маленького помещичьего дома, были исписаны Пушкиным; теперь от этого не осталось и следа».

(В.П. Безобразов – Я.К. Гроту,
17 мая 1880 г.)

Запись, отстоящая от смерти Пушкина на те же пятьдесят лет, что и от нас. (Кстати, я, пишущая эти строки и рожденная в 1892-м году, еще застала сына Пушкина, почетного опекуна, бывавшего в доме у моего отца – Трехпрудный переулок, д. № 8, соседнем дому Гончаровых. Сын Пушкина, несомненно, встречал в переулке свою двоюродную внучку.)

1 «Нечистый попутал!» (*фр.*)

Та же я, в 1911 году, в Гурзуфе, знала столетнюю татарку, помнившую Пушкина. «Я тогда молодая была, двенадцать лет было. Веселый был, хороший был, на лодке кататься любил, девушек любил, орехи, конфеты дарил. А волосы»... и трель столетних пальцев в воздухе.

На Полотняном Заводе, проездом в Крым, останавливалась Екатерина. Там же стоял и Кутузов.

Полотняный Завод. Громадный красивый сад, ныне торг и пустырь. Пруды уцелели. Красный дом – пушкинский, собственно, – исчез почти совершенно. Большой дом, «дворец Гончаровых», цел до наших, 1929 года, дней. Девяносто комнат. Башни, вроде генуэзских.

Красный сад, красный дом. В русском слове красный – мне всегда слышится страшный, и первая ассоциация – пожар! (Читаю, уже по написании, сыну сказку. Солдат мужику: «Что такое красота?» – «Хлеб – красота». Тот бац его по щеке: «Огонь – красота!» – Перекличка.)

Пушкин на Полотняном Заводе был дважды: в первый раз еще женихом, и жил тогда в красном доме. Во второй раз – поздней осенью 1834 года. «Еще недавно один из оставшихся стариков, бывший крепостной художник, говаривал так: «еще бы не знать Пушкина; бывало, сидят они на балконе в красном доме, а мы детьми около бегаем. Черный такой был, конопатый, страшный из себя».

Дворянство Гончаровы получают при Екатерине, в 1780 году, точно нарочно, чтобы дать Пушкину «жениться на благородной». Кстати, вся mentalité[1] семьи Гончаровых, особенно матери (исключение Сергей Николаевич Гончаров, прадед нашей) – определенно купеческая. В лице Натальи Ивановны Гончаровой Пушкину дана была самая настоящая теща. – В их герб вошли все элементы масонских знаков: серебряный, с золотой рукоятью, меч, пятиугольная звезда, а сверху, вместо щита, полукруглый фартучек – принадлежность посвящения в вольные каменщики.

1 Строй мыслей (*фр.*).

Среди предков Натальи Сергеевны есть и музыканты (любители) и художники (любители). Не забыть мужененавистницы на качелях, впоследствии вольнодумки и одиночки. В ней-то и отразился лик Петра. Кровь русская, с примесью татарской (Чебышевы). Мать из духовного звания (Беляева), отец – архитектор, выдающийся математик.

Так, от Абрама Гончарова с *его* станком, до Гончаровой нашей с *ее* станком[1] – труд, труд и труд. В этом роду бездельников не было.

Гончарова – наша – потомок по мужской линии.

Первая Гончарова

– «Я одно любила – делать». Вот во всей скромности и непосредственности предельное признание – в призвании.

Есть дети с даром занятости, есть – с жаждой ее. «Дай мне чем-нибудь заняться, мне скучно», из такого ребенка – ясно, что выйдет, ибо собственной занятости ищет извне. Пустая рука, пустое нутро будущего прожигателя и пожирателя, для которого та же Гончарова – только поставщик. Рука – спрут, нутро – прорва. Жест – грабель и спрута. Движение Гончаровой – девочки *от* дела: даяние, творение, явление. Жест дела. Жест дара. (И удара!)

Посмотрим по этой линии деланья ее дальнейшую жизнь. В гимназическом классе рисования ничем не выделяется – разве непосильностью задач, недоступностью выбираемых образцов. (В те времена рисовать – срисовывать.) Гимназию, на самом краю золотой медали (не честолюбие, не любовь к наукам, не способности, – трудоспособность, нет: трудострасть!) кончает семнадцати лет. После гимназии – в Школу Живописи и Ваяния? Нет, сначала медицинские курсы. Три дня, положим, но шаг – был. В чем дело? В непосредственном деле рук: руками делать. Есть у немцев такое определение юности: «Irrjahre»[2] (irren – и заблуждаться, и блуждать). Только у Гончаровой они не го-

1 Мольберт, по-русски, станок. Станковая живопись в противовес декоративной. (*Прим. М. Цветаевой.*)

2 «Годы исканий» (*нем.*).

ды – год – даже меньше. Три дня медицинских курсов (не анатомический театр, а мужеподобность медичек, не обоняние, душа не вынесла) – и полугодие Высших женских курсов (Историко-филологический факультет). Если медицина еще объясняется понятием рукомесла, то Историко-филологическому факультету, и дальшему ей по сущности и дольше затянувшемуся, объяснение стороннее: подруга, с которой не хотелось расставаться. Нужно ведь очень вырасти, чтобы не идти за любимым вслед. Но экзамены подходят, и Гончарова сбегает. На этот раз почти домой: на скульптурное отделение Школы живописи и ваяния. Почему же все-таки не на живописное? Да потому, что – вспомним возраст и склад героини! – скульптура больше дело, физически больше – дело. Больше тело дела, чем живопись – только касание. Там касание, здесь проникновение руки в материал, в плоть вещества. (Не знала тогда Гончарова, что когда-то будет возглавлять плоскостную живопись, в противовес – глубинной.) – Боковое ответвление дарования в данную минуту более соответствует всей сути, чем ствол.

«Я думаю, в этом была просто безграничная потребность в деятельности. Была минута, когда я могла стать архитектором». Этого критик, коривший ее за «не-картины, а соборы», не знал. Очевидно, в каком-то смысле зодчим – стала.

Чем же знаменуется пребывание Гончаровой в скульптурном классе? Устроением ею, будущей Гончаровой, красок, чисто скульптурной выставки, первой в стенах школы. Все это пока еще – дар труда, ибо сам дар, следовательно, и труд дара, еще не открыт. Дальше – золотая медаль и встреча с Ларионовым.

Говорить о Гончаровой, не говоря о Ларионове, невозможно. Во-первых и в-главных: Ларионов был первый, кто сказал Гончаровой, что она живописец, первый раскрывший ей глаза – не на природу, которую она видела, а на эти же ее собственные глаза. «У вас глаза на цвет, а вы заняты формой. Раскройте глаза на собственные глаза!»

Поздняя осень, ранние заморозки. Петровский парк, красные листья, седая земля. Дома – неудачная схватка с

красками. «Целый мир, с которым не знаю, как схватиться (сочтя за обмолвку) — как охватить»... Нет, поправлять не надо, никакого охвата, а именно схватка, не на жизнь, а на смерть, кто кого. «Я вдруг поняла, что то, чего мне не хватает в скульптуре, есть в живописи... есть — живопись». Дни идут, может быть, недели (не месяцы). Ничего не выходит. «Какие-то ужасные вещи, о которых я только потом понял, как они прекрасны» (Ларионов). (Показательно: первые вещи Гончаровой гораздо ближе к нынешним, чем непосредственно следовавшие. Ребенок и мастер сошлись.) И вот — разминка, размолвка двух художников, три дня не видящихся, — не забудем, как это много в начале дружбы и жизни. — «Прихожу — вся стена в чудесах. Кто это делал?» — «Я...» С тех пор — пошло. Магических три дня, когда, никого не ожидая, ни на что не рассчитывая, от огорчения, от злобы — сердце сорвать! — Гончарова, сразу, как по заказу, поняв в чем дело, сразу, как по заказу, заполняет целую стену первой собой. (Другая бы сидела и плакала.) Дружбе обязана осознанием себя живописцем, ссоре — первым живописным делом.

Говорить о Гончаровой, не говоря о Ларионове, невозможно еще и потому, что они с восемнадцати лет ее и с восемнадцати лет его, с тридцати шести своих совместных лет, вот уже двадцать пять лет как работают бок о́ бок, и еще двадцать пять проработают.

Чтобы покончить со скульптурой — Гончарова еще раз с ней встретилась. В — каком? — году (несущественность для Гончаровой хронологии, почти нет дат), совсем молодая еще Гончарова едет на Юг, в Тирасполь, на сельскохозяйственную выставку, расписывать плакаты. (Здание выставки строил отец.) «Нужны были какие-то породистые скоты. Скоты, по мнению заказчика, не сходились с пейзажем. А главное, не сошлись в оценке породистости. Я хотела выразительных и тощих, заказчик требовал упитанных. Вместо коров капители» (ионические, к колоннам здания).

Первая поездка Гончаровой на Юг. Первый Юг первой Гончаровой. Сухой юг, не приморский, предморский. Степь. Днестр. Бахчи. Душистые травы. Шалфей, полынь, чабрец. «Типы евреев, таких непохожих на наших, таких испанских. Глядя на своих испанок, я их потом узнала».

Непосредственным отзвуком этой первой поездки — акации, заборы с большими птицами, — не Москва. О, как навострилось мое ухо от акаций и птиц! И непередаваема интонация, с которой она, москвичка, подмосковка, тульчанка, это выводила — не Москва. Какая утоленная жажда северянина! Гончарова — как ни странно — зимы никогда не любила и, проживя до двенадцати лет в деревне, ни одной зимы не помнит. «Была же, и гулять, нужно думать, водили, — ничего». Зиму она претерпевала, как Прозерпина — Аид.

О роли лета и зимы в творчестве Гончаровой. Лето для нее накопление не материала, а навыка, опыта. Лето — приход, зима — расход. Летом ее живопись живет, ест и пьет, зимой работает. Зима — Москва. Московские работы все большие, по замыслу, лето — зарисовки. Природа и жизнь на лету. Еще одно о гончаровском лете — в такой жизни частностей нет. «Мы с Ларионовым как встретились, так и не расставались. Много — месяц, два... По летам разъезжались, он к себе, в деревню, я по России».

Бытовые причины? Да, все они, как льготные условия гончаровской мастерской, — лишь прикрытие иных. Рогожка: все тело сквозит! Гончарова и Ларионов, никогда не расстающиеся, по летам разъезжаются потому, что лето — добыча, а на добычу — врозь. Чтобы было потом чем делиться. «Никогда в жизни», и в голосовую строчку: «по летам расставались». Да, ибо лето не жизнь, вне жизни, не в счет, только и в счет. Так, как ни странно: отшельничают вместе, кочевничают врозь.

А вот второй Юг Гончаровой — морской. Первое ее мне слово о море было: «очарование»... «Да, именно очарование». И в ответ мое узнавание: где? когда? у кого? Вот так, вместе: море и очарование. Ведь ушами слышала! И в ответ, именно ушами слышанное, — ведь с семи лет говорила наизусть:

Ты ждал, ты звал, я был окован,
Вотще рвалась душа моя!
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.

Странность детского восприятия. Семи лет я, конечно, не знала, кому и о чем, только знала: Хрестоматия Покров-

ского – Пушкин – К морю. Следовательно, все написанное относится к морю и от него исходит. Ты ждал, ты звал, я был окован (морем, конечно), вотще (которое я, не понимая, произносила как *туда*, то есть к тебе (к морю) рвалась душа моя, могучей страстью (то есть, опять-таки, морем) очарован, у берегов остался я. Остался потому, что ты слишком звал, а я слишком ждал. Зачарованность до столбняка. Столбняк любви.

И вдруг Гончарова со своим очарованием. Еще одно соответствие. В чем гениальность пушкинского четверостишия? В непредвиденности словоряда третьей строки. *Могучей страстью*, да еще очарован. Зачарованность мощью. Непредвиденность эпитета могучей и страсти и непредвиденность понятия очарованности мощью. (Непредвиден не только словоряд, но и смыслоряд.) Страсть: жаркая, неистовая, роковая и пр., и пр., ни у кого: могучая. Очарованность – красотой, грацией, слабостью, никогда: мощью. (Показательная обмолвка: Пушкин очарован не данной женщиной, а «могучей страстью» – безымянным. Усложненный и тем – нередкий случай – уточненный образ. Усложненный тем, что первичное, женщину, он заменил вторичным: своим чувством к ней (переведя на слова: «Деву», конкретность, «страстью», отвлеченностью; очарованность страстью – отвлеченность на отвлеченность); уточненный тем, что ни один поэт ни ради ни одной женщины не оставался на берегу, и *каждый* (если у поэта есть множественное) – из-за собственного чувства – хотя бы к ней. Морю он противуставляет страсть, по тогдашним (и всегдашним!) понятиям – морей морейшее. Противупоставь он морю – «деву», мы бы Пушкина жалели – или презирали.)

И то же, точь-в-точь то же, Гончарова со своей настойчивой очарованностью морем (громадой). Поражена, потрясена, – нет, именно очарована.

Пушкинское море: Черное, Одесса, Ялта, Севастополь. – «Когда? Не помню. Поездки не включаются ни в какой год». (Так я, в конце концов, и отказалась от дат.) – «Графская пристань. Вы, может быть, помните? Мальчики ныряли за гривенниками»... Вода, серебряная от мальчиков,

мальчики, серебряные от воды, серебряные мальчики за серебряными гривенниками. Море и тело. Море, тело и серебро. – «У меня уже в Москве было море, хотя я его еще никогда не видела. Много писала. А когда увидела: так же дома, как в Тульской губернии, те же волны – ветер – и шум тот же. Та же степь. Там волны – и здесь волны. Там – конца нет, здесь – краю нет»...

Мужайся, корабельщик юный,
Вперед, в лазоревую рожь.

Вот Гончарова, никогда стихов не писавшая, в стихах не жившая, поймет, потому что глядела и видела, а глядевшие и не видевшие, а главное, не любившие (любить – видеть): «современные стихи... уж и рожь пошла лазоревая. Завтра лазурь пойдет ржаная»...

Давно – пойдет.

– Пушкин бы понял. –

«Из орнаментов особенно любила виноград, я его тоже тогда еще никогда не видела». Кто это говорит – одна Гончарова или весь русский народ с его сказками и хороводами:

«Розан мой алый, виноград зеленый!»

И Гончарова, точно угадав мою мысль: «Странно. Из всего стапятидесятимиллионного народа навряд ли десять тысяч видели виноград, а все о нем поют». К слову. Есть у Гончаровой картина – сбор винограда, где каждая виноградина с доброе колесо. Знает ли Гончарова русскую сказку, где каждая виноградина с доброе колесо? Сомневаюсь, ей сказок знать не надо, они все в ней. Когда-то кто-то что-то слухом слышавший, от жажды, от тоски стал врать друзьям и родным, что есть, де, такая земля, сам там был (был в соседнем селе), где каждая виноградина с доброе колесо. («Сам там был, мед-вино пил, по усам текло, а в рот не попало», – *оттуда* присказка!) Та же Гончарова, от жажды, от тоски усаживающая своего сборщика на трехпудовую виноградину. «Я тогда еще никогда не видала растущего винограда. Ела – да, но разве одно: из фунтика или живой?»

...Впрочем, у меня и в Москве был виноград — не о вещах говорю, живой. Ели виноград, уронили зернышко, два зернышка. Зернышки проросли, завили все окно. Усики, побеги. Виноград на нем, конечно, не рос, но уж очень хорош сам лист! Зимой сох, весной завивал всю стену. Рос он в маминой комнате...

Когда я это слушала, я сказала себе: притча. И сейчас настаиваю, хотя в точности не знаю, почему. Притча. Подобие, иносказание. Через что-нибудь очень простое дать очень большое; очень бытовое — вечное. *Иными* словами: ели и выбросили, упало и проросло. Упавшее проросло, выброшенное — украсило, возвеселило. А может быть, еще и звук слова виноград, ягода виноград — евангельская.

Мне очень жаль расставаться с этим воспоминанием, особенно с «рос он в маминой комнате» — для печати, но Гончарова сама этого никогда не запишет, *только* напишет, — и никто не будет знать, что это *тот* виноград. Моя запись — подстрочник к тому винограду.

Есть вещи, которые люди должны делать за нас, те самые, которые нам дано делать только за других. Любить нас.

Странное у меня чувство к первой Гончаровой, точно она ничего не познает, все узнает. Вот пример. Рассказывает она мне об одной своей вещи, корабле с красным парусом. «А ведь красные бывают, — сказала я, — я видела с красными. В Вандее, в рыбацком поселке, по утрам все море горит». — А я не видала, только рыжие видела. Вот черные — видела. — «Черные? Да этого быть не может, этого просто нет. Кто же выедет — с черным парусом?» — Значит, я их выдумала. — «Не совсем. (Черный парус Тезея, черный парус Тристана, знаю: не знает обоих.) — Вы их *издалека* увидели».

Этого уже не объяснишь Гончаровой — Русью. Или же: у Руси глаза велики.

«Внешняя жизнь Гончаровой так бедна, так бедна событиями, что даже и не знаешь, какие назвать, кроме дня рождения выставок».

Кажется — самое простое, общее место. И, кажется, сердиться бы не на что. Но — таинственность общих мест. И — есть на что.

Во-первых, неверность фактическая. Что такое жизнь, богатая событиями? Путешествия? Они были. Если не за границу (за одну границу), то по всему за край свету — России. Встречи с людьми? С лучшими своего времени, с верховодами его. Американского наследства — не было. Выигрыша в 200 тысяч — тоже не было. Остальное было — всё. Как у каждого, следовательно — помножив на творческий множитель — неизмеримо больше, чем у каждого.

Второе — что такое внешнее событие? Либо оно до меня доходит, тогда оно внутреннее. Либо оно до меня не доходит (как шум, которого не слышу), тогда его просто нет, точнее, меня в нем нет, как я вне его, так оно извне меня. Чисто-внешнее событие — мое отсутствие. Все, что мое присутствие, — событие внутреннее. Событие, которое меня касается, просто не успевает быть внешним, уже становится внутренним, мною. О каких же тогда внешних событиях говорит биограф? Если о внешних событиях — поводах, о внешних — внутренних, куда же он девал все 800 холстов Гончаровой, являющихся — тем или иным, но — ответом на внешнюю жизнь. Если же о внешних — внешних, недошедших (как шум, которого не слышу), оставшихся извне меня, несбывшихся, то не прозвучит ли его фраза так: «Жизнь Гончаровой удивительно бедна отсутствиями»... С чем и соглашусь.

«Жизнь Гончаровой так бедна, так бедна». Это ему со стороны бедна, потому что смотрит со стороны, извне себя, а не изнутри Гончаровой. Для него бы и та степь была бедна, у нее с той степи — Апостолы. Жизнь Гончаровой была бы бедна, если бы Гончарова была паралитиком или всю жизнь просидела в тюрьме (задумчивое замечание Гончаровой, которой я это говорю: «Да и то...»). Пока Гончаро-

ва с глазами и с рукой — видит и водит, — Гончарова *богата*, как и где бы ни жила.

«Внешняя жизнь Гончаровой так бедна, так бедна...» А всего только одно слово изъять, и было бы правдой. Третье. Имя. Не гончаровская внешняя жизнь бедна, ибо у нее, для нее нет такой, а сама внешняя жизнь — без Гончаровой: души, ума, глаза. Присутствие Гончаровой (собирательное) во внешней жизни и фразе — гарантия богатства жизни и бессмысленности фразы.

Внешняя жизнь — есть. Только не у Гончаровой. Внешняя жизнь у всех пожирателей, прожигателей, — жрущих, жгущих и ждущих. Чего? Да наполнения собственной прорвы, тех самых «внешних событий», тогда как Гончарова, не ждущая, спокойно превращает их в повод к собственному содержанию.

Повод к самой себе — вот внешние события для Н. Гончаровой. *Содержание* самого себя — вот внешние события — хотя бы для ее биографа. Банкроты отродясь. Примета пустоты — за событиями гнаться, примета *Гончаровых* - внешние события гнать. Да, ибо, неизбежно становясь внутренними, отвлекают, мешают в работе. И — кажется, главное найдено: внешнее событие — лишнее событие. Говорят об охране труда. Я скажу о самоохране труда. Об отборе внутренних событий, работе, если не впрок, то во вред. Рабочая единица не день, не час, а миг. Равно, как живописная единица не *пласт*, а мазок. Взмах данного мазка. Миг данного взмаха. *Данного* и мною данным быть имеющего. *Ответственность* - вот «бедность» «внешней жизни» Гончаровой, радость, называемая аскетизмом, мертвая хватка в вещь, называемая отказом.

И еще одно, о чем не подумал биограф.

Есть люди — сами события. Дробление события самой Натальи Гончаровой на события. Единственное событие Натальи Гончаровой — ее становление. Событие нескончаемое. Не сбывшееся и сбыться не имеющее — никогда. (Так же верно будет: родилась: сбылась.) Скандал «Ослиного хвоста» или виноградное зернышко, завившее всю стену, — через все Гончарова растет.

Биограф, не сомневаюсь, Гончаровой хотел польстить. Из ничего, мол, делает все. Да для Гончаровой ведь нет «ничего», пустой звук, даже и звук не пустой, раз — звук. Не понял биограф, что, допустив хоть на секунду возможность для Гончаровой «ничего», — ничего от нее не оставил, уничтожил ее всю. Возможность увидеть жизнь внешней — вот единственная возможность жизни грешной[1]. Возможность не ощутить ничего — вот единственная возможность ничего, ибо ощутить *ничего* (небытие) — это опять-таки ощутить: быть.

(Все из себя дающий есть все в себя берущий: *отдающий*. Все — только из всего.)

Возможность *не* — то, чего заведомо лишена Гончарова.

Русские работы

Жизнь Гончаровой естественно распадается на две части: Россия и После-России. Не Россия и эмиграция. Как любимое дитя природы и своего народа, этой трагической противуестественности (живьем изъятости из живых) избежала. Первая Европа Гончаровой, с возвратом, в 1914 г. Вторая, затяжная, в 1915 г. Выехала в июне 1915 г., в войну, по вольной воле. Второе счастье Гончаровой — как в этой жизни виден перст! — счастье, которого лишены почти мы все: жадное ознакомление с Россией в свое время, пока еще можно было, и явное предпочтение ее, тогда, Западу (большой деревни России — большому городу Западу). «Перед смертью не надышишься». Точно знала. «Жаль, конечно, что не была на самом севере, но просто не успела, я ведь тогда ездила только по необходимостям работы». Какое отсутствие произвола, каприза, туризма. Какой покой. Какая насущность жеста в кассу, шага в вагон. *Работа* - вот судьба Натальи Гончаровой, судьба, которую Пушкин — кому? чему? — но дозволил же заменить — подменить — Гончаровой — той.

Гончарова России и Гончарова После-России. Мне такое деление кажется самым простым, самым естественным — сама жизнь. Ибо как делить — если делить? Недаром Гончаро-

1 Сознание греха создает факт греха, не обратно. В стране бессовестных грешников нет. (*Прим. М. Цветаевой.*)

рова свою жизнь считает по поездкам. Там, где нет катастрофы, — а ее в творчестве Гончаровой нет, — есть рост во всей его постепенности, как дерево, как счастливое дитя растет, — нужно брать пограничным столбом — просто пограничный столб. Пограничный столб — не малость.

Жизнь первой Гончаровой протекает в трех местах: Москва, Средняя Россия, Юг России. Как и чем откликнулась? Проследим по вещам. Москва есть, но Москва деревенская: московский дворик, переулочек, светелка в мезонине, московский загород. Не видав других, Москву считала городом; город же возненавидела, как увидела, а увидела Москву. Вспомним завитки и тульскую орфографию. «Где между камнями травка — там хорошо, а еще лучше совсем без камней». Кроме того, Москва для нее зима, а зиму она ненавидит, как тот же камень, не дающий расти траве. Таково сочувствие Гончаровой-подростка траве, что она, видя ее под камнем, сама задыхается.

О *деревенскости* Гончаровой. Когда я говорю деревенская, я, естественно, включаю сюда и помещичья, беру весь тот вольный разлив: весны, тоски, пашен, рек, работ, — все то разливанное море песни. Деревенское не как класс, а как склад, меньше идущее от избы, чем от степи, идущей в избу, заливающей, смывающей ее. Любопытное совпадение. Русские крестьяне и поныне номады. — Сна. Нынче в сенях, завтра в клети, послезавтра на сеновале. Жарко — на двор, холодно — на печь. — Кочуют. — Гончарова со своей складной (последнее слово техники!) кроватью, внезапно выкатывающейся из-под стола, — сегодня из-под стола, а завтра из-за станка, со своей легкостью перемещения — со своей неоседлостью сна, явный номад, явный крестьянин. А по первичному — привычному — жесту, которым она быстро составляет мешающий предмет, будь то книга, тарелка, шляпа, — на пол, без всякого презрения к вещи или к полу, как на самое естественное ее место (первый пол — земля) — по ненасущности для нее стола (кроме рабочего: козел) и стула (перед столом стоит) — по страсти к огню, к очагу — живому огню! красному очагу! — по ненужности ей слуг, по

достаточности рук (мастер, подмастерье, уборщик — у Гончаровой две руки: свои), по всему этому и по всему другому многому Гончарова — явная деревня и явный Восток, от которого у нее, кстати, и скулы.

...И вне всяких формул, задумчиво: «Всю жизнь любила деревню, а живу в городе...» и: «Хотела на Восток, попала на Запад...» Гончарова для меня сокровище, потому что ни в жизни, ни в живописи себе цены не знает. Посему для меня — *живая натура,* и живописец — я.

Чего больше всего в русских работах Гончаровой? Весны — той, весны всей. Проследим перечень вещей с 1903 г. по 1911 г. Весна... через четыре вещи — опять весна, еще через три еще весна. И так без конца. И даже слова другого не хочет знать. — Видели гончаровскую весну? — Которую? — Единственный ответ, и по отношению к Гончаровой, и по отношению к самой весне — вечную.

Гончарова растет в Тульской губернии, в Средней России, где, нужно думать, весна родилась. Ибо не весна — весна северная — *северная* весна, не весна — крымская — *крымская* весна, а тульская весна — просто весна. Ее неустанно и пишет Гончарова.

Что, вообще, пишет Гончарова в России? Весну, весну, весну, весну, весну. Осень, осень, осень, осень, лето, лето, зиму. Почему Гончарова не любит зимы, то есть, все любя, любит ее меньше всего? Да потому, что зима не цветет и (крестьянская) не работает.

Времена года в труде, времена года в радости.

Жатва. Пахота. Посев. Сбор яблок. Дровокол. Косари. Бабы с граблями. Посадка картофеля. Коробейники. Огородник — *крестьянские.* И переплетенные с ними (где Бог, где дед? где пахарь, где пророк?) *иконные:* Георгий, Варвара Великомученица, Иоанн Креститель (огненный, крылатый, в звериной шкуре), Алексей человек божий, в белой рубахе, толстогубый, очень добрый, с длинной бородой, — кругом цветущая пустыня, его жизнь. Из крестьянских «Сбор винограда» и «Жатва» идут от Апокалипсиса. Маслом, величиной в стену мастерской.

К слову. Створчатость большинства гончаровских вещей, роднящая Гончарову с иконой и ею в личную живопись введенная первой, идет у нее не от иконы, а от малости храмины. Комната была мала, картина не умещалась, пришлось разбить на створки. Напрашивающийся вывод о благе «стесненных обстоятельств». Впрочем, «стесненность» — прелестная, отнюдь не курсисткина, а невестина, бело-зеленая, с зеленью моего тополя в окне. По зимам же белым-белая, от того же тополя в снегу. «В чужой двор окна прорубать воспрещалось. Прорубили и ждем: как — вы? Вы — ничего. В том окне была моя мастерская».

Начаты Евангелие и Библия, и мечта о них по сей день не брошена, но... «чтобы осуществить, нужно по крайней мере год ничего другого не делать, отказаться от всех заказов...» Если бы я была меценатом или страной, я бы непременно заказала Гончаровой *Библию.*

Кроме крестьянских и иконных — натюрморты. (К слову: в каталоге так и значится «мертвая натура», которую немцы гениально заменили «Stilleben» — жизнь про себя.) Писала — все. Старую шляпу, метлу, кочан капусты, когда *были* - цветы, когда были — плоды. В цикле «Подсолнухи» выжала из них все то масло, которое они могли дать. Кстати, и писаны маслом! (их собственным, золотым, лечебным, целебным — от печенки и трясовицы). Много писала книг. Много писала бумагу — свертки.

Историйка.

Стояло у стены двенадцать больших холстов, совсем законченных, обернутых в бумагу. В тот день Ларионов принес домой иконочку — висела у кого-то в беседке, понравилась, подарили — Ильи Молниегромного. Вечером Гончарова, всегда осторожная, а нынче особенно, со свечой — московские особняки тех годов — что-то ищет у себя в мезонине. (Вижу руку, ограждающую не свечу, а все от свечи.) Сошла вниз. Прошел срок. Вдруг: дым, гарь. Взбегает: двенадцать горящих свитков! — Сгорели все. — «Ни одного из них не помню. Только помню: солдат чистит лошадь». Так и пропали холсты. Так к Гончаровой в гости приходил Илья.

(Так одно в моем восприятии Гончарова с народом, что, случайно набредя глазами на не просохшую еще строчку: «пропали холсты» — видение холстов на зеленой лужайке, расстелили белить, солдат прошел и украл.)

Полотняный Завод — гончаровские полотна. Холсты для парусов — гончаровские холсты. Станок, наконец, и станок, наконец. Игра слов? Смыслов.

— Расскажите мне еще что-нибудь из первой себя, какое-нибудь свое событие, вроде Ильи, например, или тех серебряных мальчиков.

— Был один случай в Тульской губернии, но очень печальный, лучше не надо. Смерть одна...

— Да я не про личную жизнь — или что так принято называть, — не с людьми.

— Да это и не с людьми (интонация: «С людьми — что!»). С совенком случай. Ну вот, подстрелили совенка... Нет, лучше не надо.

— Вы его очень любили?

— Полюбила его, когда мне его принесли, раненого уже. Нет, не стану.

Весь - случай с совенком.

Защита твари

— Почему в Евангелии совсем не говорится о животных?

— «Птицы небесные»...

— Да ведь *«как* птицы небесные», опять о человеке...

— А волы, которые дыханием согревали младенца?

— Этого в Евангелии не сказано, это уж мы...

— Ну, осел, наконец, на котором...

— И осел только как способ передвижения. Нет, нет, в Евангелии звери явно обойдены, несправедливо обойдены, Чем человек выше, лучше, чище?

Думаю, что никто из читающих эти строки такого упрека Евангелию еще не слыхал. Разве что — от ребенка.

Неутешна и непереубедима.

...Двенадцать холстов сгорели, а один канул. Уже за границей Гончарова пишет для своей приятельницы икону Спасителя, большую, створчатую, вокруг евангелисты в виде зверей. Работает много месяцев. Дарит. Приятельница умирает. Икона остается мужу. Муж разоряется и продает. «Потом встретились, неловко спросить: кому? Может быть — скорее всего, в Америку. Где-нибудь да есть». — И Вы ничего не сделали, чтобы... — «Нет. Когда вещь пропадает, я никогда не ищу. Как-нибудь, да объявится. Да не все ли равно — если в Америку. Я в Америке никогда не буду». — Боитесь воды? — «И Америки. Вещей я много своих провожала. Заколачиваю ящик и знаю: навек». — Как в гроб на тот свет? — «Да и есть — тот свет. Ну, еще одного проводила».

Страх воды. Страсть к морю. Но в Америку не через море, а через океан, всю воду, всю бездну, все *понятие воды*. И, мнится мне, не только воды, а символа Америки — парохода боится, Титаника, с его коварством комфорта и устойчивости в устроенности. Водного Вавилона, Левиафана боится, который и есть пароход[1]. Старый страх, апокалипсический страх, крестьянский страх. — «Чтоб я — да на эдакой махине...» Лучше — доска, проще — две руки. Скромнее — вернее.

Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей,
Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей!

Океана в России не было, было море, мечта о нем. Любовь к морю, живому, земному, среди-земному, и любовь к океану — разное. Любовь к морю Гончаровой и русского народа есть продолженная любовь к земле — к землям за, к морю — заморью. Любовь к морю у русского народа есть любовь к новым *землям*. А здесь и этого утешения нет. Нью-Йорк (куда зовет ее слава) еще меньше земля, чем океан.

Ненависть крестьянского континента России к «месту пусту» — океану, ненависть крестьянина к безделью. Океан

1 Уже по написании узнаю, что пароход Левиафан — есть. (Имел честь отвозить Линдберга.) Остается поздравить крестного. (*Прим. М. Цветаевой.*)

не цветет и не работает. А если и цветет (коралл, например), то мертвое цветение, вроде инея.

«Ей бы в Америку...» Как другие всегда лучше знают! Здесь уместно сказать о Гончаровой и ее имени. Гончарова со своим именем почти что незнакома. Живут врозь. Вернее, Гончарова работает, имя гуляет. Имя в заколоченных ящиках ездит за море (за то, за которым никогда не будет), имя гремит на выставках и красуется на столбцах газет, Гончарова сидит (вернее, стоит) дома и работает. Мне до тебя дела нет, ты само по себе, и я сама по себе. Как иные за именем гонятся, подгоняют его и, в конце концов, загоняют его, вернее, себя, насмерть, так Гончарова от себя имя — гонит. Не стой рядом, не толкай под локоть, не мешай. Есть холст. Тебя нету.

Если Гончарова когда-нибудь в Америку поедет, то не за именем вслед, а собственным вещам навстречу, и через — и не воду даже, а собственный страх. Перешагнет через собственный страх. И, не сомневаюсь, даст нам новую Америку. (Через Нью-Йорк, как через океан, нужно *перескочить.*)

Как же отразилось живое земное море с серебряными мальчиками в вещах Гончаровой? Как и следовало ожидать — косвенно. То, что я как-то сказала о поэте, можно сказать о каждом творчестве: угол падения не равен углу отражения. Так устроены творческий глаз и слух. Отразилось, но не прямо, не темой, не тем же. Не отразилось, а преобразилось. Морем не стало и не осталось, превратилось в собственное качество: морской (воздух, цвет, свет, чистота).

Море в взволнованной им Гончаровой отразилось как Гончарова в взволнованном нам — извилиной.

Что такое человеческое творчество? Ответный удар, больше ничего. Вещь в меня ударяет, а я отвечаю, *отдаряю*. Либо вещь меня спрашивает, я отвечаю. Либо перед ответом вещи, ставлю вопрос. Всегда диалог, поединок, схватка, борьба, взаимодействие. Вещь задает загадку. Ну — синее, ну — чистое, ну — соленое, — в чем тайна? Под кистью — ответ. Ответ или поиски ответа, третье, новое, возникшее из море и я. *Отраженный удар, а не вещь.*

Отражать — повторять. Мы можем только отобразить. Думающие же, что отражают, повторяют, пишут с («ты шу-

ми смирно, а я попишу»), только искажают до жуткой и мертвой неузнаваемости. Ибо, если ты хочешь дать это море, настоящее, синее, соленое, точь-в-точь, как есть, — предположим, удалась синева — где же соль? Удалась соль (!), где же шум? Тогда я уже буду требовать с тебя, как с бога. Море — и все качества! Никакого моря не хочу дать, не могу дать. Не дать, а отгадать, что за солью, синью, шумом. Беззащитность перед ударом (дара). Единственное, что хочу дать, — вещи ударить в себя и, устояв, отдать. Воздать.

Дар отдачи. Благодарность.

«Темы моря — нет, ни одного моря, кажется... Но — свет, но — цвет, но та — чистота...»

Морское, вот что взяла Гончарова от моря.

Что такое морское по отношению к морю? То, без чего вещь не была бы собой, обусловливающее ее, существенное — *роковое* – качество. Соль на соленость, море на морскость обречены, иначе их нет. Море по отношению к соли понятие усложненное, но безотносительно соли такое же единство, как соль. Ибо «морское» не сумма соли, синевы, чистоты, запаха и прочих свойств, а особое новое свойство, недробимое — хотелось бы сказать: сплошное «и прочее» все возможности моря (ограниченного) — безграничные.

И еще: обусловливающее вещь свойство больше самой вещи, шире ее, вечнее ее, единственная ее надежда на вечность. Морское больше, чем море, ибо морским может быть все и морское может быть всем. «Морское» — та дорога, по которой вещь выходит из себя, неустанно оставляя себя позади, неминуемо отражая. — Перерастая. Морю никогда не угнаться за морским, если оно, отказавшись от только-моря, не перейдет в собственное роковое свойство. Тогда оно само у себя позади и само впереди. Выход, исход, уход, увод. По дороге собственного рокового свойства вещь уходит в мир, размыкается. Разомкнутый тупик самости. Это ведь разное — обреченность на себя, как таковое, и обреченность на свое, не имеющее пределов, знакомо-незнакомое, как поэтический дар для поэта. Не будь море морским и Бог божественным, море давно бы высохло, а Бог давно бы исчах. И еще: божественное может без Бога, а Бог без божественного нет, Бога без божественного — нет. Божественное

Бога включает, не называя, нужды не имея в имени, ибо не только его обусловливающее роковое свойство, но и его же выдыхание. Бог раз вздохнул свободно, и получилось божественное, которое он прекратить не волен. (Свет с тех солнц идет не *х* лет, а вечно заставляя солнца гореть.)

Обусловливающее вещь роковое свойство есть только следствие первого единственного вольного вздоха вещи, ее согласие на самое себя. Бог, раз быв божественным, обречен быть им всегда, то есть — впредь, то есть на старом месте его нет, то есть на конце собственного дыхания, которому нет конца. Раз, по вольной воле, всем собой — обречен быть всем собой — век.

Полная, цельная, вольная, добрая моя воля *раз* — вот мой рок.

...Цветущая пустыня Алексея человека Божия веет морем. У весенней Великомученицы пена каймой одежд. По утрам на грядках Огородника не снежок, а сольца. Насыщенный морем раствор — вот Гончарова первого моря. Моги море не быть морским, оно бы от того первого взгляда Гончаровой стало пресным. Ребенок бы сказал: лизнуть картину — картина будет соленая.

Тема. Та ложная примета, по которой море уходит из рук. За ивовым плетением весны — всем голубым, зеленым, розовым, радужным, яблонным —

Ходит и дышит и блещет оно.

Сухой Юг отразился Еврейками (позже Испанками) и Апостолами.

Исконно-крестьянско-морское, таков состав первой Гончаровой. Тот же складень в три створки.

Икона, крестьянство, Заморье — Русь, Русь и Русь.

Первая заграница и последняя Россия

В 1914 году (первая дата в моем живописании, единственная названная Гончаровой, явный рубеж) Гончарова впервые едет за границу. Везут с Ларионовым и Дягилевым пуш-

кинско-гончаровско-римско-корсаковско-дягилевского «Золотого Петушка». Париж, помнишь? Но послушаем забывчивейшего из зрителей: победителя — саму Гончарову. «Декорации, танец, музыка, режиссура — *все сошлось*. Говорили, что — событие»... Если уж Гончарова, при ее небывалой беспамятности и скромности... Послушаем и одного из ее современников.

«Самый знаменитый из этих передовых художников — женщина: имя ее Наталья Гончарова. Она недавно выставила семьсот холстов, изображающих «свет», и несколько панно в сорок метров поверхности. Так как у нее очень маленькая мастерская, она пишет кусками, по памяти, и всю вещь целиком видит впервые только на выставке. Гончаровой нынче кланяется вся московская и петербургская молодежь. Но самое любопытное — ей подражают не только как художнику, но и ей внешне. Это она ввела в моду рубашку-платье, черную с белым, синюю с рыжим. Но это еще ничто. Она нарисовала себе цветы *на лице*. И вскоре знать и богема выехали на санях — с лошадьми, домами, слонами — на щеках, на шее, на лбу. Когда я спросил у этой художницы, почему она предварительно покрыла себе лицо слоем ультрамарина, —

— Смягчить черты, — был ответ.

— Дягилев, Вы первый шутник на свете! — сказал С.

— Но я говорю простую правду. Каждый день можно встретить в Москве, на снегу, дам, у которых на лице вместо вуалеток скрещенные клинки или россыпь жемчугов. Что не мешает этой Гончаровой быть большим художником.

Метрдотель вносил крем из дичи с замороженным гарниром.

— Это ей я заказал декорации к «Золотому Петушку» Римского-Корсакова, *которого даю этой весной в Опере*, — прибавил Сергей Дягилев, отводя со лба завиток волос».

Сделка с совестью.

— Как, Гончарова, сама природа, — и...

— А дикари, только и делающие, не природа?

— Но Гончарова — не дикарь!

— И дикарь, и дичок. От дикаря в ней радость, от дичка робость. Радость, победившая робость, — вот личные цветы Гончаровой. Ведь можно и так сказать: Гончарова настолько любит цветы, что собственное лицо обратила в грунт. Грунт, грунтовка и, кажется, найдено: Гончарова сама себе холст!

Если бы Гончарова просто красила себе щеки, мне стало бы скучно. Так — мне весело, как ей и всем тогда. — Пересол молодости! — Гончарова не морщины закрашивала, а... розы! Не красила, а изукрашала. Двадцать лет.

— Как вы себя чувствовали с изукрашенным лицом?

— По улицам слона водили... Сомнамбулой. Десять кинематографов трещат, толпа глядит, а я — сплю. Ведь это Ларионова идея была и, кажется, его же исполнение...

Не обманул меня — мой первый отскок!

После Парижа едет на остров Олерон, где пишет морские Евангелия. Островок Олерон. Сосны, пески, снасти, коричневые паруса, крылатые головные уборы рыбачек. Морские Евангелия Гончаровой, без ведома и воли ее, явно католические, с русскими почти что незнакомые. А всего месяц как из России. *Ответ на воздух*. Так, само католичество должно было стать природой, чтобы дойти и войти. С Олерона домой, в Москву, и вскоре вторая поездка, уже в год войны. Последний в России — заказ декораций к «Граду Китежу» и заказ росписи домовой церкви на Юге, — обе невыполненные. Так была уверена, что вернется, что...

«Ангелы были вырезаны, оставалось только их наклеить. Но я не успела, уехала за границу, а они так и остались в папке. Может быть, кто-нибудь другой наклеил. Но — как? Нужно бы уж очень хорошо знать меня, чтобы догадаться: какого — куда».

(В голосе — озабоченность. Речь об ангельском окружении Алексея человека Божьего.)

Выставки 1903 г. — 1906 г.

Скульптурная выставка внеклассных работ в Московском Училище Живописи и Ваяния (до 1903 г.).

Выставка Московского Товарищества Художников.

Акварельная выставка в здании Московского Литературно-Художественного Кружка.

Русская выставка в Париже – 1906 г. (Устроитель – Дягилев.)

Русская выставка в Берлине у Кассирера.

1906 г. – 1911 г.

Мир Искусства (Москва и Петербург).

Золотое Руно (состоит в организации).

Stephanos (Венок) – Москва (состоит в организации).

Венок в Петербурге.

Салон Издебского.

Бубновый валет (1910 г. – 11 г.).

Ослиный Хвост (1912 г.).

Союз Молодых в Петербурге.

Der Sturm (буря) – Берлин.

Выставка после-импрессионистов в Лондоне (объединение с западными силами).

Herbstsalon (Осенний салон) – Берлин.

Der blaue Reiter (Голубой всадник) – Мюнхен.

Отдельная выставка на один вечер в Литературно-Художественном Кружке (Москва).

После-России

Мы оставили Гончарову в вагонном окне, с путевым альбомом в руках. Фиорды, яркие лужайки, цветущая рябина – в Норвегии весна запаздывает, – благословляющие – за быстротой всегда вслед! – лапы елок, курчавые речки, стремящиеся молодые тела бревен. Глаза глядят, рука заносит. Глядят на то, что видят, не на то, что делают. Станция: встреча глаза с вещью. Весна запаздывает, поезд опережает. Из опережающего поезда – запаздывающую весну. Вещь из поезда всегда запаздывает. Все, что стоит, – запаздывает. (Деревья и столпники не стоят: идут вверх.) Тем, что стоит, – запаздывает. А из вагонного окна вдвойне запаздывает – на все

наше продвижение. Но в Норвегии – сама весна запаздывает! То, что Гончарова видит в окне, – запаздывает втройне. Как же ей не торопиться?

В итоге целый альбом норвежских зарисовок. Норвегия на лету.

Первая стоянка – Швейцария. С Швейцарией у Гончаровой не ладится. Навязчивая идея ненастоящести всего: гор и озер, козы на бугре, крыла на воде. Лебеди на Лемане явно-вырезные, куда менее живые, чем когда-то ее деревца. Не домик, где можно жить и умереть, а фанерный «chalet suisse» (сувенир для туристов), которому место на письменном столе... знакомых. Над картонажем коров – картонаж Альп. Гончарова Швейцарию – мое глубокое убеждение – увидела в неподходящий час. Оттого, что Гончарова увидела ее ненастоящей, она не становится поддельной, но и Гончарова, увидев ее поддельной, от этого не перестает быть настоящей. – Разминовение. – Но – показательное: стоит только Гончаровой увидеть вещь ненастоящей, как она уже не может, суть отказывается, значит – кисть. Не натюрморт для Гончаровой шляпа или метла, а живое, только потому их писать *смогла*. Для Гончаровой *пишущей* натюрмортов нет. Как только она ощутила вещь натюрмортом, писать перестала. На смерть Гончарова отвечает смертью, отказом. (Вспомним городской камень и зиму, – для нее – давящих жизнь: траву.) Смерть (труп) не ее тема. Ее тема всегда, во всем воскресение, жизнь: тот острый зеленый росток ее первого воспоминания. (Писала ли хоть раз Гончарова – смерть? Если да, то либо покой спящего, либо радость воскрешающего. Труп как таковой – никогда.) Гончарова вся есть живое утверждение жизни, не только здесь, а жизни навек. Живое опровержение смерти.

«Быть может – умру, *наверно* воскресну!»

Идея воскресения, не идея, а живое ощущение его, не когда-то, а вот-вот, сейчас, уже! – об этом все ее зеленые ростки, листки, – *мазки*.

Растение, вот к чему неизбежно возвращаюсь, думая о Гончаровой. Какое чудесное, кстати, слово, насущное состояние предмета сделавшее им самим. Нет предмета вне

данного его состояния. Цветение (чего-то, и собирательное), плетение (чего-то, из чего-то, собирательное), растение – без ничего, единоличное, сам рост. Глагольное существительное, сделавшееся существительным отдельным, олицетворившее собой глагол. *Живой глагол.* Существительное отделившееся, но не утратившее глагольной длительности. Состояние роста в его разовом акте ростка, но не даром глагольное звучание – акте непрерывном, акте-состоянии, – вот растение.

Не об одном растительном орнаменте речь, меньше всего, хотя и говорю о живописце. Всю Гончарову веду от растения, растительного, растущего. Орнамент – только частность. Волнение, с которым Гончарова произносит «куст», «рост», куда больше, чем то, с которым произносит «кисть», и – естественно, – ибо кисть у нее в руке, а куст? рост? Доводов, кроме растительных, от Гончаровой не слыхала. – «Чем такое большое и круглое дерево, например, хуже, чем...» Это – на словах «не хуже, чем», в голосе же явно «лучше» – что – лучше! – несравненно.

Куст, ветвь, стебель, побег, лист – вот доводы Гончаровой в политике, в этике, в эстетике. Сама растение, она не любит их отдельно, любит в них себя, нет, лучше, чем себя: свое. Пишучи ивовые веточки и тополиные сережки – *родню* пишет тульскую. А то подсолнухи, родню тираспольскую. Родню кровную, древнюю, породне́е, чем Гончарова – та. Глядя на Гончарову, глядящую на грядку с капустой – вниз – или на ветку в сережках – вверх, хочется вложить ей в уста последнюю строчку есенинского Пугачева:

«– Дар-рагие мои... ха-ар-рошие...»

Мнится мне, Гончарова больше любит росток, чем цвет, стебель, чем цвет, лист, чем цвет, виноградный ус, чем плод. Здесь рост голее, зеленее, новее. (Много цветов писала, там – подсолнухи, здесь магнолии (родню дальнюю), всюду розы – родню вечную, не в этом суть.) Недаром любимое время года весна, в цвет – как в путь – пускающаяся. И еще – одно: цвет сам по себе красив, любовь к нему как-то – корыстна, а – росток? побег? Ведь только чистый жест роста, побег от ствола, на свой страх и риск.

Первое сильное впечатление Европы – Испания. Первое сильное впечатление Испании – развалина. Никто не работает, и ничто не держится. Даже дома не держатся, держаться ведь тоже работа – вот и разваливается. Разваливается, как лень в креслах: нога здесь, нога там. Естественное состояние – праздность. Не ровно столько, сколько нужно, чтобы прожить, а немножко меньше, чем нужно, чтобы не умереть. Прожиточный минимум здесь диктуется не расценкой товаров, а расценкой собственных движений, от предпринимательской независимой. Но – лень исключительно на труд. (Есть страны, ленивые только на удовольствия.) Даже так: азарт ко всему, что не труд. Либо отдыхают, либо празднуют. Страна веселого голода, страна презрения к еде (пресловутая испанская луковица). «Если есть – работать, я не ем». (Детское негодующее: «Я больше не играю».) Гончаровой чужая праздность и чужой праздник не мешают. Полотняный Завод на саламанкский лад. Здесь Гончарова пишет костюмы к Садку, рядит Садка в красную поддевку, царевну в зелено-желто-серебряную не то чешуйку, не то шкурку, наряжает морских чудищ. «Садко», потом, идет в Испании два раза, привезенный Дягилевым «домой».

Историйка.

В пустой старой университетской церкви Саламанки монах рассказывает и показывает группе посетителей давнюю древнюю университетскую славу:

– «Этот университет окончило трое святых. Взгляните на стену: вот их изображения. С этой кафедры, на которую еще не вступала нога ни одной женщины, Игнатий Лойола защищал свою...»

Почтительный подъем посетительских голов и – с *кафедры* слушающая Гончарова.

В Испании Гончарова открывает черный цвет, черный не как отсутствие, а как наличность. Черный как цвет и как свет. Здесь же впервые находит свою пресловутую *гончаровскую* гамму: черный, белый, коричневый, рыжий. Цвета сами по себе не яркие, яркими не считающиеся, приобретают от чистоты и соседства исключительную яркость. Картина кажется написанной красным, скажем, и синим, хотя явно

коричневым и белым. Яркость изнутри. (В красках, как в слове, яркость, очевидно, вопрос соседства, у нас – контекста.)

На родине Сервантеса, в Саламанке, Гончарова проводит больше полугода и здесь же начинает Литургию – громадную мистерию по замыслу Ларионова и Дягилева, по бытовым соображениям не осуществленную.

Гончарова и театр

Основная база Гончаровой – Париж. Здесь она живет и работает вот уже пятнадцать лет.

Начнем с самой громкой ее работы – театральной. Театром Гончарова занималась уже в России: «Золотой Петушок», «Свадьба Зобеиды», «Веер» (Гольдони).

«Золотой Петушок». Народное, восточное, крестьянское. Восточно-крестьянский царь, окруженный мужиками и бабами. Не кафтаны, а поддевки. Не кокошники, а повязки. Сарафаны, поневы. Бабы и как тогда и как всегда. Яркость – не условная лжерусского стиля «клюква», безусловная яркость вечно-крестьянского и восточного. Не восстановка историка и археолога, архаическое чувство далей. Иным языком: *традиция*, а не реставрация, и *революция*, а не реставрация. Точь-в-точь то же, что с народной сказкой «Золотой петушок» сделал Пушкин. И хочется сказать: Гончарова не в двоюродную бабку пошла, а в сводного деда. Гончарова вместе с Пушкиным смело может сказать: «я сама народ».

«Золотой Петушок» поворотный пункт во всем декоративном искусстве. Неминуемость пути гончаровского балета. Гончаровский путь не потому неминуем, что он «гончаровский», а потому, что он единственный правильный. (Потому и «гончаровский», что правильный.) .

Здесь время и место сказать о Гончаровой – проводнике Востока на Запад – живописи не столько старорусской: китайской, монгольской, тибетской, индусской. И не только живописи. Из рук современника современность охотно берет – хотя бы самое древнее и давнее, рукой дающего обновленное и приближенное. Вещи, связанные для европейского художника с музеями, под рукой и в руках Гончаровой для них оживают. Силой, новизной и левизной – дающей, подающей, передающей – дарящей их руки.

«Свадьба Зобеиды». Здесь Гончарова впервые опрокидывает перспективу, и, с ней, нашу точку зрения. Передние вещи меньше задних, дальние больше ближних. Цветочные цвета, мелкопись, Персия.

«Веер» я видела глазами, и, глаза закрыв: яблонное райское цветущее дерево, затмившее мне тогда всех: и актеров, и героев, и автора. Перешумевшее – суфлера! Веера не помню. Яблоню.

Заграничные работы. «Свадебка» Стравинского (Париж). В противовес сложному плетению музыки и текста – прямая насущная линия, чтобы было на чем, вокруг чего – виться причуде. Два цвета: коричневый и белый. Белые рубахи, коричневые штаны. Все гости в одинаковом. Стенная скамья, стол, в глубине дверь то закрывающаяся, то открывающаяся на тяжелую кровать. Но – глубокий такт художника! – для того, чтобы последнее слово осталось за Стравинским, занавес, падающий на молодых, гостей, сватов – свадебку, – сплошное плетение, вязь. Люди, звери, цветы, сплошное перехождение одного в другое, из одного в другое. Век раскручивай – не раскрутишь. Музыка Стравинского, уносимая не в ушах, а в очах.

«Свадебка» и «Золотой Петушок» (в котором все на *союзе* с музыкой) – любимые театральные работы Гончаровой.

«Покрывало Пьеретты» (Берлин) – светлое, бальное, с лестницами, с кринолинами. Перенаряженные, в газовом, в розовом, перезрелые чудовища-красавицы, на отбрасывающем фоне которых невесты и красавицы настоящие. Настоящая свеча и продолженное на стене, нарисованное, сияние. Окно и все звезды в окне. В «Жар-Птице» яблонный сад, на который падает Млечный Путь. (Продолженное сияние, полное окно звезд. Млечный Путь, падающий в сад, – все это Гончарова дает впервые. Потом берут все.)

...«Спящая Царевна», неосуществленная Литургия, «Праздник в деревне» (музыка Черепнина), «Rhapsodie Espagnole» (Равель), «Triana». Кукольный театр, «Карагез»

(Черный Глаз, — декорации к турецкому теневому театру превращений).

— «Театр? Да вроде как с Парижем: хотела на Восток, попала на Запад. С театром мне *пришлось* встретиться. Представьте себе, что вам заказывают театральную вещь, вещь удается, — не только вам, но и на сцене, — успех — очередной заказ... Отказываться не приходится, да и *каждый заказ*, в конце концов, приказ: смоги и это! Но любимой моей работой театр никогда не был и не стал».

Приведенное отнюдь не снижает ценности Гончаровой-декоратора и всячески подымает ценность Гончаровой — Гончаровой.

— «Печальная работа — декорации. Ведь хороши только в первый раз, в пятый раз... А потом начнут возить, таскать, — к двадцатому разу неузнаваемы... И ведь ничего не остается — тряпки, лохмотья... А бывает — сгорают. Вот у нас целый вагон сгорел по дороге...» (говорит Ларионов).

Я, испуганно: — Целый вагон?

Он, еще более испуганный: — Да нет, да нет, не гончаровских, моих... Это мои сгорели, к...

И еще историйка. Приходит с вернисажа, веселый, сияющий. — «Гончарову повесили замечательно. Целая отдельная стена, освещение — лучше нельзя. Если бы сам выбирал, лучше бы не выбрал. Лучшее место на выставке... Меня? (скороговоркой) меня не особенно, устроитель даже извинялся, говорит, очень трудно, так ни на кого не похоже... В общем — угол какой-то и света нет... даже извинялся... Но вот — Гончарову!»

Имя Ларионова несколько раз встречается в моем живописании. Хотела было, сначала, отдельную главу «Гончарова и Ларионов», но отказалась, поняв, что отделить — умалить. Как выделить в книге о Гончаровой Ларионова — в главу, когда в *книге Гончаровой*, ее бытия, творчества, Ларионов с первой строки в каждой строке. Лучше всех моих слов о Гончаровой и Ларионове — них — собственные слова Гончаровой о нем: «Ларионов — это моя рабочая совесть, мой камертон. Есть такие дети, отродясь все знающие. Пробный камень на фальшь. Мы очень разные, и он меня видит из меня, не из себя. Как я — его».

Живое подтверждение разности. Приношу Гончаровой напоказ детские рисунки: ярмарку, — несколько очень ярких, цветных, резких, и других два, карандашом: ковбои и танцовщица. Гончарова сразу и спокойно накладывает руку на ярмарочные. Немного спустя явление Ларионова. — «Это что такое?» И жест нападчика, хищника — рукой, как ястреб клювом — выклевывает, выхватывает — ковбоев, конечно, — «Вот здорово! Может, подарите совсем? И это еще». — Второй, оставленный Гончаровой.

Много в просторечии говорится о том, кто больше, Гончарова или Ларионов. — «Она всем обязана ему». — «Он всем обязан ей». — «Это он ее так, без него бы...» — «Без нее бы он...» и т. д., пока живы будут. Из приведенного явствует, что — равны. Это о парности имен в творчестве. О парности же их в жизни. Почему расстаются лучшие из друзей, поглубокому? Один растет — другой перерастает; растет — отстает; растет — устает. Не перестали, не отстали, не устали.

Не принято так говорить о живых. Но Гончарова и Ларионов не только живые, а надолго живые. Не только среди нас, но и немножко дальше нас. Дальше и дольше нас.

Из бесед

— «Декоративная живопись? Поэтическая поэзия. Музыкальная музыка. Бессмыслица. Всякая живопись декоративна, раз она украшает, *красит*. Это входит в понятие самого существа живописи и отнюдь не определяет отдельного ее свойства. Декоративность в живопись включена. А только декоративных вещей я просто не знаю. Декоративное кресло? Очевидно, все-таки для того, чтобы в нем сидеть, иначе: зачем оно — кресло? Есть бутафорские кресла, чтобы *не* садиться, люди, очевидно, просто ошибаются в словах.

Декоративным у нас, в ремесле, называют несколько пересеченных ярких плоскостей. Вот что я знаю о декоративности...»

— «Эклектизм? Я этого не понимаю. Эклектизм — одеяло из лоскутов, сплошные швы. Раз шва нет — мое. Влияние иконы? Персидской миниатюры? Ассирии? Я не слепая. Не

для того я смотрела, чтобы забыть. Если Вы читаете Шекспира и Шекспира любите, неужели Вы его забудете, садясь за своего Гамлета, например? Вы этого сделать не сможете, он в вас, он стал частью Вас, как вид, на который Вы смотрели, дорога, по которой Вы шли, как случай собственной жизни».

(Я, мысленно: — претворенный, *неузнаваемый!*)

— «Я человека вольна помнить, а икону — нет? Забыть — не то слово, нельзя забыть вещи, которая уже не вне Вас, а в Вас, которая уже не в прошлом, а в настоящем. Разве что — «забыть себя».

— Как тот солдат.

— «Этот страх влияния — болезнь. Погляжу на чужое, и свое потеряю. Да как же я свое потеряю, когда оно каждый день другое, когда я сама его еще не знаю».

— То же самое, что: «я потерял завтрашний день».

— «И какое же это свое, которое потерянным быть может? Значит, не твое, а чужое, теряй на здоровье! Мое это то, чего я потерять не могу, никакими силами, неотъемлемое, на что я обречена».

И я, мысленно: влияние, влияние *на*. Вздор. Это давление на, влияние — *в*, как река в реку, поди-ка разбери, чья вода — Роны или Лемана. Новая вода, небывшая. Слияние. И еще, слово Гете — странно, по поводу того же Шекспира, которого только что приводила Гончарова: «Все, что до меня, — мое».

О Гамлете же: Гамлета не забуду и не повторю. Ибо незабвенен и неповторим.

Повторность тем

... — «Не потому, что мне хочется их еще раз сделать, а потому, что мне хочется их окончательно сделать, — в самом чистом смысле слова — отделаться». (Чистота, вот одно из самых излюбленных Гончаровой слов и возлюбивших ее понятий.)

Гончарова свои вещи не «отделывает», она от них отделывается, отмахивается кистью. Услышим слова. Отделывать как будто предполагать тщательность, отделываться — небрежность. «Только бы отделаться». Теперь вникнем в суть. От чего мы отделываемся? От вещей навязчивых, надоевших, не дающихся, от *вещей – навязчивых идей*. Если эта вещь еще и твоя собственная, единственная возможность от нее отделаться — ее кончить. Что и делает Гончарова.

«Пока не отделаюсь» — сильнее, чем «доделаю», а с «отделаю» и незнакомо. Отделаюсь — натиск на меня вещи, отделаю — мое распоряжение ею, она в распоряжении моем. Отделывает лень, неохота взяться за другое, отделывается захват. Нет, Гончарова, именно, от своих вещей, отделывается, а еще лучше — с ними разделывается — кто кого? как с врагом. И не как с врагом, просто — с врагом. Что вещь в состоянии созидания? Враг в рост. Схватиться с вещью, в этой ее обмолвке весь ее взгляд на творчество, весь ее творческий жест и вся творческая суть. Но — с вещью ли схватка? Нет, с собственным малодушием, с собственной косностью, с собственным страхом: задачи и затраты. С собой — бой, а не с вещью. Вещь в стороне, спокойная, знающая, что осуществится. Не на этот раз, так в другой, не через тебя, так через другого. — Нет, именно сейчас и именно через меня.

Признаюсь, что о повторности тем у Гончаровой — преткнулась. Все понимая — всю понятную, — не поняла. Но — что может злого изойти из Назарета? Вот подход. А вот ход.

Раз повторяет вещь, значит, нужно. Но повторить вещь невозможно, значит, не повторяет. Что же делает, если не повторяет? Делает другое что-то. Что именно? К вещи возвращается. К чему, вообще, возвращаются? К недоделанному (ненавистному) и к тому, с чем невозможно расстаться, — любимому, т. е. к недоделанному тобой и недовершенному в тебе. Итак, «разделаться» и «не расстаться» — одно. Есть третья возможность, вещь никогда не уходила, и Гончарова к ней никогда не возвращалась. Вещь текла непрерывно, как подземная река, здесь являясь, там пропадая, но являясь и пропадая только на поверхности действия, внутри же — иконы и крестьянские, например, теча собственной гончаровской кровью. Ведь иконы и крестьяне — в ней.

– Есть вещи, которые вы особенно любите, любимые?
– «Нелюбимые есть: недоделанные».

Пристрастием Гончаровой к данным темам ничего не объяснишь. Да любит ли художник свои вещи? Пока делает – сражается, когда кончает – опять сражается и опять не успевает любить. Что же любит? Ведь что-нибудь да любит! Во-первых, устами Гончаровой: «я одно любила – делать», делание, самое борьбу. Второе: задачу. То, ради чего делаешь и как делаешь – не вещь. Вещь – достижение – отдается в любовь другим. Как имя. – Живи сама. Я с моими вещами незнакома.

Рассказывает о театральных работах: «Золотой Петушок», «Свадебка», «Покрывало Пьеретты», «Садко»... Да, у меня еще в Америке какая-то вещь есть... не помню, как она называется...» Какая-то... не помню... а ведь был день, когда только этой вещью жила.

...И каждый мазочек обдуман, обмыслен,
И в каждый глазочек угодничек вписан...

Опыт остался, вещь ушла. – Родства не помнящие! – А расставаться жаль. Так, отправляя своих Испанок за море (за то, за которым никогда не будет), Гончарова, себе в утешение, себе в собственность, решает написать вторых, точно таких же, повторить. И – что же? «И тон другой, и некоторые фигуры проработаны иначе». А ведь вся задача была – повторить. Очевидно, непосильная задача. А непосильная потому, что обратная творческой. Да что искать у Гончаровой повторов творца, живой руки, когда и третий оттиск гравюры не то, что первый. Повторность тем при неповторности подходов. Повторность тем при неповторности дел.

Но, во избежание недоразумений, что – тема? О чем вещи, отнюдь не что вещи, целиком отождествимое с *как*, в тему не входящим, и являющимся (в данном случае) чисто живописной задачей.

Тема – испанки, тема повторяется, т. е. повторяется только слово, наименование вещи и название встречающегося в ней предмета, веер, например. Ибо сам веер от разу к разу – другой. Ибо иная задача веера. Повторность чисто литературная – ничего общего с живописью не имеющая.

Повторность тем – развитие задачи, рост ее. Гончарова со своими вещами почти что незнакома, но и вещи Гончаровой почти друг с другом незнакомы, и не только разнотемные, однотемные. (Вывод: тема в живописи – ничто, ибо тема – все, не-темы нет. Я бы даже сказала: без права предпочтения.) Возьмем Косарей и Бабы с граблями. Тема, прохождение ряда фигур. Живописная задача? Не знаю. Осуществление: другие пропорции, другие цвета, иная покладка красок. Бабы: фигуры к центру, малоголовые, большетелые, Косари (сами – косы!) – фриз, продольное плетение фигур. Что общего? Прохождение ряда фигур. Обща теме. Но так как дело не в ней, а в живописной задаче, которая здесь *явно* разная, то те косари с теми бабами так же незнакомы, как косари Ассирии, скажем, с бабами России.

(Высказываемое целиком от имени чужого творчества. Для поэта все дело в *что*, диктующем *как*. «Ритмы» Крысолова мне продиктованы крысами. Весь Крысолов по приказу крыс. Крысо-приказ, а не приказ поэтической задачи, которой просто нет. Есть задача каждой отдельной строки, то есть осуществление всей задачи вещи. Поэтическая задача, если есть, не цель, а средство, как сама вещь, которой служит. И не задача, а процесс. – Задача поэзии? Да. Поэтическая задача? *Нет.*)

– А иногда и без задачи, иногда задача по разрешении ее, ознакомление с нею в конце, в виде факта налицо. Вот разрешила, теперь посмотрим – что. Вроде ответов, к которым же должен быть вопрос.

Мнится мне, Гончарова не теоретик своего дела, хотя и была в свое время, вернее, вела свое время под меняющимися флажками импрессионизма, футуризма, лучизма, кубизма, конструктивизма, и, думается мне, ее задачи скорее задачи всей сущности, чем осознанные задачи, ставимые как цель и как предел. Гончаровское что не в теме, не в цели, а в осуществлении. Путевое. Попутное. Гончарова может сделать больше, чем хотела, и, во всяком случае, иначе, чем решила. Так, только в последний миг жизни сей, в предпервый – той, мы понимаем, что куда вело. Живописная задача? Очередное и последнее откровение.

Создала ли Гончарова школу? Если создала, то не одну, и лучше, чем школу; создала живую, многообразную творческую личность. Неповторимую.

— «Когда люди утверждались в какой-нибудь моей мысли, я из нее уходила». Гончарова только и делает, что перерастает собственные школы. Единственная школа Гончаровой — школа роста. Как другого научить — расти?

Это о школе-теории, а вот о школе-учебе, учениках. Бывало иногда по три-четыре, никогда по многу. Давала им тему (каждому свою), и тотчас же, увлекшись, тотчас же себе ее воспрещала. «Потому что, если начну работать то же, невольно скажу, укажу, ну просто — толкну карандаш в *свою* сторону, а этого быть не должно. Для чего он учится у меня? Чтобы быть как я? И я — для чего учу? Опять — себя? — Учу? — Смотри, наблюдай, отмечай, выбирай, отметай не свое — ведь ничего другого, несмотря на самое большое желание, не могу дать». — Будь.

Школу может создать: 1) теоретик, осознающий, систематизирующий и оглавляющий свои приемы. Хотящий школу создать; 2) художник, питающийся собственными приемами, в *приемы*, пусть самим открытые, верящий — в годность их не только для себя, но для других, и что, главное, не только для себя иначе, для себя завтра. Спасшийся и спасти желающий. Тип верующего безбожника. (Ибо упор веры не в открывшемся ему приеме, а в приеме: закрывшемся, обездушенном); 3) пусть не теоретик, но — художник одного приема, много — двух. То, что ходит, верней, покоится, под названием «монолит».

Там, где налицо многообразие, школы, в строгом смысле слова, не будет. Будет — влияние, заимствование у тебя частностей, отдельностей, ты — в розницу. Возьмем самый близкий нам всем пример Пушкина. Пушкин для его подвлиянных — Онегин. Пушкинский язык — онегинский язык (размер, словарь). Понятие пушкинской школы — бесконечное сужение понятия самого Пушкина, один из аспектов его. «Вышел из Пушкина» — показательное слово. Раз *из* — то либо *в* (другую комнату), либо *на* (волю). Никто в Пушкине

не остается, ибо он сам в данном Пушкине не остается. А *остающийся* никогда в Пушкине и не бывал.

Влияние всего Пушкина целиком? О, да. Но каким же оно может быть, кроме освободительного? Приказ Пушкина 1829 года нам, людям 1929 года, только контр-пушкинианский. Лучший пример «Темы и Варьяции» Пастернака, дань любви к Пушкину и полной свободы от него. Исполнение пушкинского желания.

Влияние Гончаровой на современников огромно. Начнем с ее декоративной деятельности, с наибольшей ясностью явления и, посему, влияния. Современное декоративное искусство мы смело можем назвать гончаровским. «Золотой Петушок» перевернул всю современную декорацию, весь подход к ней. Влияние не только на русское искусство — вся «Летучая мышь», до Гончаровой шедшая под знаком 18-го века и Романтизма; художники Судейкин, Ремизов, тот же Ларионов, открыто и настойчиво заявляющий, что его «Русские сказки», «Ночное Солнце», «Шут» — простая неминуемость гончаровского пути. Пример гончаровского влияния на Западе — веский и лестный (если не для Гончаровой, сыновне-скромной, то для России, матерински-гордой), пример Пикассо, в своих костюмах к балету «Tricorne» (Треуголка) давший такую же Испанию, как Гончарова — Россию, по тому же руслу народности.

Это о влиянии непосредственном. А вот о предвосхищении, которое можно назвать влиянием Будущего на художника. Первая ввела в живопись машину (об этом особо). Первая ввела разное толкование одной и той же темы (циклы Подсолнухи, Павлины, 1913 г.). Первая воссоединила станковую живопись с декоративной, прежде слитые. Явные следы влияния на французских художников Леже, Люрса, Глез, делающих это ныне, то есть пятнадцать лет спустя. Цветная плоскость, плоскостная живопись в противовес глубинной — русское влияние, возглавляемое Гончаровой. Первая ввела иллюстрации к музыке[1].

1 Лучше всего об иллюстрации сказала сама Гончарова: — Иллюстрация? Просвещение темных. (*Прим. М. Цветаевой.*)

У кого училась сама Гончарова? В Школе Живописи и Ваяния — ваянию. И, как дети говорят: «Дальше всё». Да, дальше — *всё:* жизнь — вся, природа — вся, погода — всякая, народы — все. У природы, а не у людей, у народов, а не у лиц.

Новатор. Переступим через пошлость этого слова — хотела ли Гончарова быть новатором? Нет, убеждена, что она просто хотела сказать свое, свое данное, данный ответ на данную вещь, *сказать вещь*. Хотеть дать новое, никогда не бывшее, это значит в данную минуту о бывшем думать, с чем-то сравнивать, что-то помнить, когда все нужно забыть. Все, кроме данной скромной, частной чистой задачи. Не только нужно забыть, нельзя не забыть. «Свое»? Нет, правду о вещи, вещь в состоянии правды, саму вещь. Как Блок сказал, обращаясь к женщине:

О тебе! о тебе! о тебе!
Ничего, ничего обо мне.

Хотеть дать «новое» (завтрашнее «старое»), это ведь того же порядка, что хотеть быть знаменитым, — здесь равнение по современникам, там по предшественникам, занятость собою, а не вещью, трех. Хотеть дать правду — вот единственное оправдание искусства, в *оправдании* (казармы, подвалы, траншеи, заводы, больницы, тюрьмы) — *нуждающегося.*

Гончарова и машина

В нашем живописании доселе все спевалось. Гончарова природы, народа, народов, со всей древностью деревенской крови в недавности дворянских жил, Гончарова — деревня, Гончарова — древность, Гончарова — дерево, древняя, деревенская, деревянная, древесная, Гончарова с сердцевиной вместо сердца и древесиной вместо мяса, — земная, срединземная, красно-и-черно-земная, Гончарова — почвы, коры, норы —

боящаяся часов («Вы только послушайте! Ведь это лошадь бежит по краю земли!»),

сопутствующая лифту,

пылящая пылесос (так и лежит в пыли, как в замше)

— Гончарова первая ввела машину в живопись.

Удар пойдет не оттуда, откуда ждут. Машина *не* мертвая. Не мертво то, что воет человеческим — нечеловеческим! — голосом, таким — какого и не подозревал изобретатель! — сгибается, как рука в локте, и как рука же, разогнувшись, убивает, ходит, как колено в коленной чашке, не мертво, что вдруг — взрывается или: стоп — внезапно отказывается жить. Машина была бы мертва, если бы никогда не останавливалась. Пока она хочет есть, пока она вдруг не хочет дальше или не может больше, кончает быть — она живая. Мертвым был бы только perpetuum mobile (чего? смерти, конечно). В ее смертности — залог ее живости. Раз умер — жил. Не умирает на земле — только мертвец.

Не потому, что мертвая, противуставляю машину живой Гончаровой, а потому что — убийца. Чего? Спросите беспалого рабочего. Спросите любого рабочего. Не забудьте и крестьянина, у которого дети «в городе». Спросите русских кустарей. Убийца всего творческого начала: от руки, творящей, до творения этой руки. Убийца всего «от руки», всего творчества, всей Гончаровой. Гончаровой машины — лишняя, но мало лишняя — еще и помеха: то внешне-лишнее, становящееся — хоти не хоти — внутренним, врывающееся — через слух и глаз — внутрь. Гончарова скачущую лошадь часов слышит в себе. Сначала скачущую лошадь на краю света, потом внутри тела: сердца. Физическое сердцебиение в ответ и в лад. Как можно, будучи Гончаровой — самим оком, самим эхом, — не отозваться на такую вещь, как машина? Всей обратностью отзывается, всей враждой. Вводи не вводи в дом, но ведь когда-нибудь из дома — выйдешь! А не выйдешь — сама войдет, в виде — хотя бы жилетных часов — гостя. И лошадь будет скакать. (Знаю эту лошадь: конь Блед, по краю земли — конца земли!)

Гончарова с машиной в своих вещах справляется с собственным сердцем, где конь, с собственным сердцем, падающим в лифте — в лифт же! — с собственной ногой, переламывающейся по выходе с катящейся лестницы. О, бессмыслица! мало сознания, что земля катится, нужно еще, чтобы под ногой катилась! о уничтожение всей идеи лестницы, стоящей нарочно, чтобы мне идти, и только пока иду

(когда пройду, лестницы опять льются! в зал, в пруд, в сад), — уничтожение всей идеи подъема, ввержение нас в такую прорву глупости: раз лестница — я должен идти, но лестница... идет! я должен стоять. И ждать — пока доедет. Ибо — не пойду же я с ней вместе, дробя ее движение, обессмысливая ее без того уже бессмысленный замысел: самоката, как она обессмыслила мой (божественный): ног. Кто-то из нас лишний. Глядя на все тысячи подымающихся (гончаровское метро Mabillon, где я ни разу за десятки лет не подымалась, по недвижущейся, с соседом), глядя на весь век, — явно я.

Пушкин ножки воспевал, а я — ноги!

«Maison roulante»[1] (детская книжка о мальчике, украденном цыганами), — да, tapis roulant[2] — нет.

Чтобы покончить с катящейся лестницей: *каждая* лестница катится 1) когда тебя на ней нет 2) в детстве, когда с *нее*.

Гончарова машину изнутри — вовне выгоняет, как дурную кровь. Когда я глазами вижу свой страх, я его не боюсь. Ей, чтобы увидеть, нужно явить. У Гончаровой с природой родство, с машиной (чуждость, отвращение, притяжение, страх) весь роман розни — любовь.

Машина — порабощение природы, использование ее всей в целях одного человека. Человек поработил природу, но, поработив природу, сам порабощен орудием порабощения — машиной: сталью, железом, природой же. Человек, природу восстановив против самой себя, с самой собой стравив, победителем (машиной) раздавлен. Что не избавило его от древнего рока до-конца — во-веки непобедимого побежденного — природы: пожаров, землетрясений, извержений, наводнений, откровений... Попадение под двойной рок. Человек природу с природой разъединил, разорвал ее напополам, а сам попал между. Давление справа, давление слева, а еще сверху — Бог, а еще снизу — гроб.

Но — природа своих познаша. Откажемся от личных преимуществ и немощей (то, что я опережаю лифт, — моя сила, то, что я в него боюсь встать, — мой порок). Есть давность у нововведений. Фабричная труба почти природа, как колокольня. Рельсы уже давно река, с набережными —

1 «Дом на колесах» (*фр*).
2 Эскалатор (*фр.*).

насыпями. Аэроплан завтра будет частью неба, зачем завтра, когда уже сейчас — птица! И кто же возразит против первой машины — колеса?

И, может быть, минуя все романы, любви и ненависти, Гончарова просто приняла в себя машину, как[1] ландшафт.

Машина не только поработитель природы, она и порабощенная природа, такая же, как Гончарова в городе. Машина с Гончаровой — союзники. Соответствие. Солдата заставляют расстреливать — солдата. Кто он? Убийца. Но еще и самоубийца. Ибо часть армии, как его же пуля — часть руды. Солдат в лице другого такого же сам себя, самого себя убивает. В самоубийце слиты убийца и убиенный. Солдат может отказаться — отказывается (расстрел мисс Кавель, узнать имя солдата). Но и машина отказывается. Отказавшийся солдат — бунт. Отказавшаяся машина — взрыв. На том же примере — осечка. Гончарова, отказывающаяся в лифт, — тот же лифт, отказывающийся вверх. Природа *не* захотела.

Если Гончарова с машиной, орудием порабощения, во вражде, с машиной, природой порабощенной, она в союзе. «Мне тебя, руда, жаль».

Все это догадки, домыслы, секунды правды. А вот — сама Гончарова: «Принцип движения у машины и у живого — один. А ведь вся радость моей работы — выявить равновесие движения».

Показательно, однако, что впервые от Гончаровой о машине я услышала только после шести месяцев знакомства.

Показательна не менее (показывать, так всё) первая примета для Гончаровой дороги в Медон (который от первого ее шага становится Медынью): «Там, где с правой стороны красивые трубы такие... то две, то пять, то семь... то сходятся, то расходятся...»

Заграничные работы

Кроме громких театральных работ (громких отзывом всех столиц) — работы более тихие, насущные.

1 Это сделала. (*Прим. М. Цветаевой.*)

На первом месте Испанки. Их много. Говорю только о последних, гончаровском plain-chant[1]. Лучший отзыв о них недоуменный возглас одного газетного рецензента: «Mais ce ne sont pas des femmes, ce sont des cathédrales!» (Да это же не женщины, это — соборы!) Всё от собора: и створчатость, и вертикальность, и каменность, и кружевность. Гончаровские испанки — именно соборы под кружевом, во всей прямости под ним и отдельности от него. Первое чувство: не согнешь. Кружевные цитадели. Тема испанок у Гончаровой — возвратная тема. Родина их тот первый сухой юг, те «типы евреев», таких непохожих на наших, таких испанских. В родстве и с «Еврейками», и с «Апостолами» (русские работы).

«Одни испанки уехали» — никогда не забуду звука *рока* в этом «уехали». Здесь не только уже неповторность в будущем, а физическая невозвратность — смерть. Как мать: второго такого не порожу, а этого не увижу. Сегодня испанки, завтра тот мой красный корабль. Гончаровой будет легко умирать.

Поэты этого расставания не знают, знают одно: из тетради в печать, — «и другие узнают». Расставание поэта — расставание рождения, расставание Гончаровой — расставание смерти: «всé увидят, кроме меня».

Красный корабль. Глазами и не-глазами увидела, по слову Гончаровой и требованью самой вещи накладывая краски на серый типографский оттиск и раздвигая его из малости данных до размеров — подлинника? — нет, замысла! Не данной стены, а настоящего корабля. Небывалого корабля.

Красный корабль. Как на детских пиратских — неисчислимое количество — по шесть в ряд, а рядов не счесть — боеготовных вздутых парусков. Корабль всех школьников: дó-неба! А сверху, снизу, в снастях как в сетях — сами школьники: юнги, с булавочную головку, во всей четкости жучка, взятого на булавку. Справа — куда, слева — откуда. Слева — дом корабля, справа — цель корабля. Левая створка: березы, ели, лисичка, птички, сквозное, пушное, свежее, светлое, северное. Справа — жгут змеи вкруг жгута пальмы, густо кишаще, влажно, земно, черно. А посередке, перерастая и переполняя, распирая створки, — он, красный, корабль удачи, корабль добычи вопреки всем современным «Колумбиям», вечный корабль школьников — *мечта о корабле.*

1 Песнопение (*фр.*).

Ширмы — сказала Гончарова. А я скажу — окно. Четырехстворчатое окно, за которым, в которое, в котором. Вечное окно школ — на все корабли. Сегодня проплывает красный.

Красный корабль проплыл вместе с окном. В те самые тропики, утягивая с собой и левую створку — Север. Из жизни Гончаровой ушло все то окно. Вместо него голая стена. Глухая стена. А может быть — дыра в стене, во всю стену — на какой-нибудь двор, нынче парижский, завтра берлинский. Эту дыру Гончарова возит с собой. Дыра от корабля. Вечная. Но не одна Гончарова своего корабля не увидит, и я не увижу. Гончарова больше никогда, я просто никогда. *Никогда* – больше.

Большое полотно «Завтрак». Зеленый сад, отзавтракавший стол. На фоне летних тропик — семейка. Центр внимания — усатый профиль, усо-устремленный сразу на двух: жену и не-жену, голубую и розовую, одну обманщицу, Другую обманутую. Голубая от розовой закуривает, розовая спички — пухлой рукой — придерживает. Воздух над этой тройкой — вожделение. Напротив розовой, на другом конце стола, малохольный авдиот в канотье и без пиджака. Красные руки вгреблись в плетеную спинку стула. Ноги подламываются. Тоже профиль, не тот же профиль. Усат. — Безус. Черен. — Белес. Подл. — Глуп. Глядит на розовую (мать или сестру), а видит белую, на которую не глядеть, ожидая того часа, когда тоже, как дитя, будет, глядит — сразу на двух. Белая возле и глядит на него. Воздух в этом углу еще — мление. И, минуя всех и все: усы, безусости, и подстольные нажимы ног, и подскатертные пожимы рук, — с лицом непреклонным как рок, жестом непреклонным как рок, — поверх голов, голубой и розовой — почти им на головы — с белым трехугольником рока на черной груди (перелицованный туз пик) — на протезе руки и, на ней, подносе — служанка подает фрукты.

Подбородок у розовой вдвое против положенного, но не римский. Нос у канотье как изнутри пальцем выпихнут, но не галльский. Гнусь усатого не в усе, а в улыбочной морщине, деревянной. О голубой сказать нечего, ибо она обма-

нута. О ней скажем завтра, когда так же будет глядеть – сразу на двух: черного и его друга, которого нет, но который вот-вот придет. Друг – рыжий.

Кто дома, кто в гостях? Чей завтрак съели? Нужно думать, обманутой. Розовая с братом- (или сыном)-канотье в гостях. Захватила, кстати, и племянницу (белую). Чтоб занять канотье. А самой заняться усом. Рука уса на газете, еще не развернутой. Когда розовая уйдет, а голубая останется – развернет.

Детей нет и быть не может, собака есть, но не пес, а бес. За этим столом никого и ничего лишнего. Вечная тройка, вечная двойка и вечная единица: рок.

Либо семейный портрет, либо гениальная сатира на буржуазную семью. Впрочем – то же.

Иконные вещи, перебросившиеся за границу. – «Времена года» (четыре панно). Циклы «Купальщицы», «Магнолии», «Рыбы», «Павлины». Вот один – под тропиками собственного хвоста. Вот другой – «Павлины на солнце», где хвост дан лучами, лучи хвостом. «Солнце – павлин». – «Я этого не хотела». Не хотела, но сделала.

«Колючие букеты» (цветы артишока, аканта, чертополоха) – угрозы растущего.

Альбом «Весна», которую я бы назвала «Весна враздробь». Периодическая дробь весны с каким-то остатком, во-веки неделимым. Вот цепи зарисовок:

Весна. Цветение в кристалле. Острия травы как острия пламени. Брызги роста. Цвет или иней? После Баха (весь лист сверху донизу в радужной поперечной волне. Баховские «струйки»). Из весны – в весну (снаружи – в дом, уже смытый весною. Уцелело одно окно). Весна – наоборот: где небо? где земля? – Пни с брызгами прутьев. – Изгородь в звездах (в небе цветы, на лугу звезды)... И опять Бах.

Альбомы «Les cités» (Города, Театральные портреты, рисунки костюмов к «Женщине с моря») (последняя роль Дузе). Альбом бретонских зарисовок. Альбом деревьев Фонтенебло. Иллюстрации к «Vie persanne». Иллюстрация к «Слову о полку Игоревом». Называю по случайности жес-

та Гончаровой в ту или другую папку. Гончаровское наследие – завалы. Три года разбирать – не разберешь. Гончарова, как феодальный сеньор, сама не знает своего добра. С той разницей, что она его, руками делала.

Игорь. Иллюстрации к немецкому изданию Слова. Если бы я еще полгода назад узнала, что таковые имеются, я бы пожала плечами: 1) потому что *Игорь* (святыня, то есть святотатство); 2) потому что я поэт и мне картинок не надо; 3) потому что я никого не знаю Игорю (Слову) в рост. Приступала со всем страхом предубеждения и к слову, и к делу иллюстрации. Да еще – Слова!

И –

Есть среди иллюстраций Игоря – Ярославна, плач Ярославны. Сидит гора. В горе – дыра: рот. Изо рта вопль: а-а-а... Этим же ртом, только переставленным на *о* (вечное *о* славословия) славлю Гончарову за Игоря.

Как работает Наталья Гончарова? Во-первых, всегда, во-вторых, везде, в-третьих, всё. Все темы, все размеры, все способы осуществления (масло, акварель, темпера, пастель, карандаш, цветные карандаши, уголь, – что́ еще?), все области живописи, за все берется и каждый раз дает. Такое же явление живописи, как явление природы. Мы уже говорили о гармоничности гончаровского развития: вне катастроф. То же можно сказать о самом процессе работы, делания вещи. Терпеливо, спокойно, упорно, день за днем, мазок за мазком. Нынче не могу – завтра смогу. Оторвали – вернусь, перебили – сращусь. Вне перебоев.

Формальные достижения? Я не живописец, и пусть об этом скажут другие. Могла бы сказать и о «цветных плоскостях», и хвастануть «тональностями», и резнуть различными «измами», – все как все и, может быть, не хуже, чем все. Но – к чему? Для меня дело не в этом. Для Гончаровой дело не в этом, не в словах, «измах», а в делах. Я бы хотела, чтобы каждое мое слово о ней было бы таким же делом, как ее каждый мазок. Отсюда эта смесь судебного следствия и гороскопа.

Кончить о Гончаровой трудно. Ибо – где она кончается? Если бы я имела дело исключительно с живописцем, не

хочу называть (задевать), хотя дюжина имен на языке, с личностью, знак равенства, вещью, за пределы подрамника не выступающей, заключенной в своем искусстве, в него включенной, а не неустанно из него исключающейся, — если бы я имела дело не с естественным феноменом роста, а с этой противуестественностью: только-художник (профессионал) — о, тогда бы я знала, где кончить, — так путь оказывается тупиком, — а может быть, и наверное даже, вовсе бы и не начинала. Но здесь я имею дело с исключением среди живописцев, с живописцем исключительным, таким же явлением живописи, как сама живопись явление жизни, с двойным явлением живописи и жизни — какое больше? оба больше! — с Гончаровой-живописцем и Гончаровой-человеком, так сращенным, что разъединить — рассечь.

— С точкой сращения Запада и Востока, Бывшего и Будущего, народа и личности, труда и дара, с точкой слияния всех рек, скрещения всех дорог. В Гончарову все дороги, и от нее — дороги во все. И не моя вина, что, говоря о ней, неустанно отступала — в нее же, ибо это она меня заводила, отступая, перемещаясь, не даваясь, как даль. И не я неустанно свою тему перерастала, а это она неустанно вырастала у меня из рук.

...С творческой личностью — отчеркни всю живопись — все останется и ничто не пропадет, кроме картин.

С живописцем — не знай мы о *ней* ничего, все узнаем, кроме разве дат, которых и так не знаем.

— Все? В той мере, в какой нам дано на земле ощутить «все», в той мере, как я это на этих многих листах осуществить пыталась. *Все, кроме еще всего.*

Но если бы меня каким-нибудь чудом от этого *еще-всего,* совсем-всего, всего-всего отказаться — заставили, ну просто приперли к стене, или разбудили среди ночи: ну?

Вся Гончарова в двух словах: дар и труд. Дар труда. Труд дара.

И погашая уже пробудившуюся (да никогда и не спавшую) — заработавшую — заигравшую себя — всю:

Кончить с Гончаровой — пресечь.

Пресекаю.

Медон, март 1929 г.

Мой Пушкин

Начинается как глава настольного романа всех наших бабушек и матерей — «Jane Eyre» — Тайна красной комнаты.

В красной комнате был тайный шкаф.

Но до тайного шкафа было другое, была картина в спальне матери — «Дуэль».

Снег, черные прутья деревец, двое черных людей проводят третьего, под мышки, к саням — а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый — Пушкин, отходящий — Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег и там, между черных безлистых деревец, убил.

Первое, что я узнала о Пушкине, это — что его убили. Потом я узнала, что Пушкин — поэт, а Дантес — француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот. Так я трех лет твердо узнала, что у поэта есть живот, и, — вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо встречалась,— об этом *животе* поэта, который так часто не-сыт и в который Пушкин был убит, переклась не меньше, чем о его душе. С пушкинской дуэли во мне началась *сестра.* Больше скажу — в слове живот для меня что-то священное, — даже простое «болит живот» меня заливает волной содрогающегося сочувствия, исключающего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили.

О Гончаровой не упоминалось вовсе, и я о ней узнала только взрослой. Жизнь спустя горячо приветствую такое умолчание матери. Мещанская трагедия обретала величие

мифа. Да, по существу, третьего в этой дуэли не было. Было двое: любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики: поэт — и чернь. Чернь, на этот раз в мундире кавалергарда, убила — поэта. А Гончарова, как и Николай I, — всегда найдется.

* * *

— Нет, нет, нет, ты только представь себе! — говорила мать, совершенно не представляя себе этого *ты*.— Смертельно раненный, в снегу, а не отказался от выстрела! Прицелился, попал, и еще сам себе сказал: браво! — тоном такого восхищения, каким ей, христианке, естественно бы: «Смертельно раненный, в крови, а простил врагу!» Отшвырнул пистолет, протянул руку, — этим, со всеми нами, явно возвращая Пушкина в его родную Африку мести и страсти и не подозревая, какой урок — если не мести — так страсти на всю жизнь дает четырехлетней, еле грамотной мне.

Черная с белым, без единого цветного пятна, материнская спальня, черное с белым окно: снег и прутья тех деревец, черная и белая картина — «Дуэль», где на белизне снега совершается черное дело: вечное черное дело убийства поэта — чернью.

Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта — убили.

С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова — убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали всё мое младенчество, детство, юность, — я поделила мир на поэта — и всех, и выбрала — поэта, в подзащитные выбрала поэта: защищать — поэта — от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались.

Три таких картины были в нашем трехпрудном доме: в столовой — «Явление Христа народу», с никогда не разрешенной загадкой совсем маленького и непонятно-близкого, совсем близкого и непонятно-маленького Христа; вторая, над нотной этажеркой в зале — «Татары» — татары в белых балахонах, в каменном доме без окон, между белых столбов убивающие главного татарина («Убийство Цезаря») и — в спальне матери — «Дуэль». Два убийства и одно

явление. И все три были страшные, непонятные, угрожающие, и крещение с никогда не виденными черными кудрявыми орлоносыми голыми людьми и детьми, так заполнившими реку, что капли воды не осталось, было не менее страшное тех двух, — и все они отлично готовили ребенка к предназначенному ему страшному веку.

* * *

Пушкин был негр. У Пушкина были бакенбарды (NB! только у негров и у старых генералов), у Пушкина были волосы вверх и губы наружу, и черные, с синими белками, как у щенка, глаза, — черные вопреки явной светлоглазости его многочисленных портретов. (Раз негр — черные[1].)

Пушкин был такой же негр, как тот негр в Александровском пассаже, рядом с белым стоячим медведем, над вечносухим фонтаном, куда мы с матерью ходили посмотреть: не забил ли? Фонтаны никогда не бьют (да как это они бы делали?), русский поэт — негр, поэт — негр, и поэта — убили.

(Боже, как сбылось! Какой поэт из бывших и сущих *не* негр, и какого поэта — *не* убили?)

Но до «Дуэли» Наумова — ибо у каждого воспоминания есть свое до-воспоминание, предок-воспоминание, пращур-воспоминание, точно пожарная лестница, по которой спускаешься спиной, не зная, будет ли еще ступень — которая *всегда* оказывается — или внезапное ночное небо, на котором открываешь всё новые и новые высочайшие и далечайшие звезды — но до «Дуэли» Наумова был другой Пушкин, Пушкин, — когда я еще не знала, что Пушкин — Пушкин. Пушкин не воспоминание, а состояние, Пушкин — всегда и отвсегда, — до «Дуэли» Наумова была заря, и, из нее вырастая, в нее уходя, ее плечами рассекая, как пловец — реку, — черный человек выше всех и чернее всех — с наклоненной головой и шляпой в руке.

Памятник Пушкина был не памятник Пушкина (родительный падеж), а просто Памятник-Пушкина, в одно слово, с одинаково непонятными и порознь не существующими понятиями памятника и Пушкина. То, что вечно, под

1 Пушкин был светловолос и светлоглаз. (*Прим. М. Цветаевой.*)

дождем и под снегом, — о, как я вижу эти нагруженные снегом плечи, всеми российскими снегами нагруженные и осиленные африканские плечи! — плечами в зарю или в метель, прихожу я или ухожу, убегаю или добегаю, стоит с вечной шляпой в руке, называется «Памятник-Пушкина».

Памятник Пушкина был цель и предел прогулки: от памятника Пушкина — до памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и цель бега: кто скорей добежит до Памятник-Пушкина. Только Асина нянька иногда, по простоте, сокращала: «А у Пушкина — посидим», — чем неизменно вызывала мою педантическую поправку: «Не у Пушкина, а у Памятник-Пушкина».

Памятник Пушкина был и моя первая пространственная мера: от Никитских Ворот до памятника Пушкина — верста, та самая вечная пушкинская верста, верста «Бесов», верста «Зимней дороги», верста всей пушкинской жизни и наших детских хрестоматий, полосатая и торчащая, непонятная и принятая[1].

Памятник Пушкина был — обиход, такое же действующее лицо детской жизни, как рояль или за окном городовой Игнатьев, — кстати, стоявший почти так же непреложно, только не так высоко, — памятник Пушкина был одна из двух (третьей не было) ежедневных неизбежных прогулок — на Патриаршие Пруды — или к Памятник-Пушкину. И я предпочитала — к Памятник-Пушкину, потому что мне нравилось, раскрывая и даже разрывая на бегу мою белую дедушкину карлсбадскую удавочную «кофточку», к нему бежать и, добежав, обходить, а потом, подняв голову, смотреть на чернолицего и чернорукого великана, на меня не глядящего, ни на кого и ни на что в моей жизни не похожего. А иногда просто на одной ноге обскакивать. А бегала я, несмотря на Андрюшину долговязость и Асину невесомость и собственную толстоватость — лучше их, лучше всех: от чистого чувства чести: добежать, а потом уж лопнуть. Мне приятно, что именно памятник Пушкина был первой победой моего бега.

1 Там верстою небывалой
Он торчал передо мною... (*«Бесы»*)

Пушкин здесь говорит о верстовом столбе.

Ни огня, ни черной хаты...
Глушь и снег... Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне... (*«Зимняя дорога»*) (*Прим. М. Цветаевой.*)

С памятником Пушкина была и отдельная игра, моя игра, а именно: приставлять к его подножью мизинную, с детский мизинец, белую фарфоровую куколку — они продавались в посудных лавках, кто в конце прошлого века в Москве рос — знает, были гномы под грибами, были дети под зонтами, — приставлять к гигантову подножью такую фигурку и, постепенно проходя взглядом снизу вверх весь гранитный отвес, пока голова не отваливалась, рост — сравнивать.

Памятник Пушкина был и моей первой встречей с черным и белым: такой черный! такая белая! — и так как *черный* был явлен гигантом, а *белый* — комической фигуркой, и так как непременно нужно выбрать, я тогда же и навсегда выбрала черного, а не белого, черное, а не белое: черную думу, черную долю, черную жизнь.

Памятник Пушкина был и моей первой встречей с числом: сколько таких фигурок нужно поставить одна на другую, чтобы получился памятник Пушкина. И ответ был уже тот, что и сейчас: «Сколько ни ставь...» — с горделиво-скромным добавлением: «Вот если бы *сто* меня, тогда — *может*, потому что я ведь еще вырасту...» И, одновременно: «А если одна на другую сто фигурок, выйду — я?» И ответ: «Нет, не потому, что я большая, а потому, что я живая, а они фарфоровые».

Так что Памятник-Пушкина был и моей первой встречей с материалом: чугуном, фарфором, гранитом — и своим.

Памятник Пушкина со мной под ним и фигуркой подо мной был и моим первым наглядным уроком иерархии: я перед фигуркой великан, но я перед Пушкиным — я. То есть маленькая девочка. Но которая вырастет. Я для фигурки — то, что Памятник-Пушкина — для меня. Но что же тогда для фигурки — Памятник-Пушкина? И после мучительного думанья — внезапное озарение: а он для нее такой большой, что она его просто не видит. Она думает — дом. Или — гром. А *она* для него — такая уж маленькая, что он ее тоже — просто не видит. Он думает — просто блоха. А меня — видит. Потому что я большая и толстая. И скоро еще подрасту.

Первый урок числа, первый урок масштаба, первый урок материала, первый урок иерархии, первый урок мысли и, главное, наглядное подтверждение всего моего последующего опыта: из тысячи фигурок, даже одна на другую поставленных, не сделаешь Пушкина.

...Потому что мне нравилось от него вниз по песчаной или снежной аллее идти и к нему, по песчаной или снежной аллее, возвращаться, — к его спине с рукой, к его руке за спиной, потому что стоял он всегда спиной, *от* него — спиной и *к нему* — спиной, спиной ко всем и всему, и гуляли мы всегда ему в спину, так же как сам бульвар всеми тремя аллеями шел ему в спину, и прогулка была такая долгая, что каждый раз мы с бульваром забывали, какое у него лицо, и каждый раз лицо было новое, хотя такое же черное. (С грустью думаю, что последние деревья *до* него так и не узнали, какое у него лицо.)

Памятник-Пушкина я любила за черноту — обратную белизне наших домашних богов. У тех глаза были совсем белые, а у Памятник-Пушкина — совсем черные, совсем полные. Памятник-Пушкина был совсем черный, как собака, еще черней собаки, потому что у самой черной из них всегда над глазами что-то желтое или под шеей что-то белое. Памятник Пушкина был черный, как рояль. И если бы мне потом совсем не сказали, что Пушкин — негр, я бы знала, что Пушкин — негр.

От памятника Пушкина у меня и моя безумная любовь к черным, пронесенная через всю жизнь, по сей день польщённость всего существа, когда случайно, в вагоне трамвая или ином, окажусь с черным — рядом. Мое белое убожество бок о бок с черным божеством. В каждом негре я люблю Пушкина и узнаю Пушкина, — черный памятник Пушкина моего до-грамотного младенчества и всея России.

...Потому что мне нравилось, что уходим мы или приходим, а он — всегда стоит. Под снегом, под летящими листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы — всегда стоит.

Наших богов иногда, хоть редко, но переставляли. Наших богов, под Рождество или под Пасху, тряпкой обмахивали. Этого же мыли дожди и сушили ветры. Этот — всегда стоял.

Памятник Пушкина был первым моим видением неприкосновенности и непреложности.

— На Патриаршие Пруды или...?

— К Памятник-Пушкину!

На Патриарших Прудах — патриархов не было.

* * *

Чу́дная мысль — гиганта поставить среди детей. Черного гиганта — среди белых детей. Чу́дная мысль белых детей на черное родство — обречь.

Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белой расы, а я — так явно предпочитаю — черную. Памятник Пушкина, опережая события, — памятник против расизма, за равенство всех рас, за первенство каждой — лишь бы давала гения. Памятник Пушкина есть памятник черной крови, влившейся в белую, памятник слияния кровей, как бывает — слиянию рек, живой памятник слияния кровей, смешения народных душ — самых далеких и как будто бы — самых неслиянных. Памятник Пушкина есть живое доказательство низости и мертвости расистской теории, живое доказательство — ее обратного. Пушкин есть *факт*, опрокидывающий теорию. Расизм до своего зарождения Пушкиным опрокинут в самую минуту его рождения. Но нет — раньше: в день бракосочетания сына арапа Петра Великого, Осипа Абрамовича Ганнибала с Марьей Алексеевной Пушкиной. Но нет, еще раньше: в неизвестный нам день и час, когда Петр впервые остановил на абиссинском мальчике Ибрагиме черный, светлый, веселый и страшный взгляд. Этот взгляд был приказ Пушкину *быть*. Так что дети, под петербургским фальконетовым Медным Всадником росшие, тоже росли под памятником против расизма — за гения.

Чу́дная мысль Ибрагимова правнука сделать черным. Отлить его в чугуне, как природа прадеда отлила в черной плоти. Черный Пушкин — символ. Чу́дная мысль — чернотой изваяния дать Москве лоскут абиссинского неба. Ибо памятник Пушкина явно стоит «под небом Африки моей». Чу́дная мысль — наклоном головы, выступом ноги, снятой с головы и заведенной за спину шляпой *поклона* — дать

Москве, под ногами поэта, море. Ибо Пушкин не над песчаным бульваром стоит, а над Черным морем. Над морем свободной стихии — Пушкин свободной стихии.

Мрачная мысль — гиганта поставить среди цепей. Ибо стоит Пушкин среди цепей, окружен («огражден») его пьедестал камнями и цепями: камень — цепь, камень — цепь, камень — цепь, всё вместе — круг. Круг николаевских рук, никогда не обнявших поэта, никогда и не выпустивших. Круг, начавшийся словом: «Ты теперь не прежний Пушкин, ты — *мой* Пушкин» и разомкнувшийся только Дантесовым выстрелом.

На этих цепях я, со всей детской Москвой прошлой, сущей, будущей, качалась — не подозревая, на чем. Это были очень низкие качели, очень твердые, очень железные. — «Ампир»? — Ампир. — Empire — Николая I Империя.

Но с цепями и с камнями — чудный памятник. Памятник свободе — неволе — стихии — судьбе — и конечной победе гения: Пушкину, восставшему из цепей. Мы это можем сказать теперь, когда человечески-постыдная и поэтически-бездарная подмена Жуковского:

И долго буду тем *народу* я *любезен*,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью живой стихов я был полезен...—

с таким не-пушкинским, антипушкинским введением *пользы* в *поэзию* — подмена, позорившая Жуковского и Николая I без малого век и имеющая их позорить во веки веков, пушкинское же подножье пятнавшая с 1884 года — установки памятника, — наконец заменена словами *пушкинского* «Памятника»:

И долго буду тем *любезен я народу*,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

И если я до сих пор не назвала скульптора Опекушина, то только потому, что есть слава бóльшая — безымянная. Кто в Москве знал, что Пушкин — Опекушина? Но опекушинского Пушкина никто не забыл никогда. Мнимая неблагодарность наша — ваятелю лучшая благодарность.

И я счастлива, что мне, в одних моих юношеских стихах, удалось еще раз дать его черное детище — в слове:

А там, в полях необозримых
Служа *небесному* царю —
Чугунный правнук Ибрагимов
Зажег зарю.

* * *

А вот как памятник Пушкина однажды пришел к нам в гости. Я играла в нашей холодной белой зале. Играла, значит — либо сидела под роялем, затылком в уровень кадке с филодендроном, либо безмолвно бегала от ларя к зеркалу, лбом в уровень подзеркальнику.

Позвонили, и залой прошел господин. Из гостиной, куда он прошел, сразу вышла мать, и мне, тихо: «Муся! Ты видела этого господина?» — «Да». — «Так это — сын Пушкина. Ты ведь знаешь памятник Пушкина? Так это его сын. Почетный опекун. Не уходи и не шуми, а когда пройдет обратно — гляди. Он очень похож на отца. Ты ведь знаешь его отца?»

Время шло. Господин не выходил. Я сидела и не шумела и глядела. Одна на венском стуле, в холодной зале, не смея встать, потому что вдруг — пройдет.

Прошел он — и именно вдруг, — но не один, а с отцом и с матерью, и я не знала, куда глядеть, и глядела на мать, но она, перехватив мой взгляд, гневно отшвырнула его на господина, и я успела увидеть, что у него на груди — звезда.

— Ну, Муся, видела сына Пушкина?

— Видела.

— Ну, какой же он?

— У него на груди — звезда.

— Звезда! Мало ли у кого на груди звезда! У тебя какой-то особенный дар смотреть не туда и не на то...

— Так смотри, Муся, запомни, — продолжал уже отец, — что ты нынче, четырех лет от роду, видела сына Пушкина. Потом внукам своим будешь рассказывать.

Внукам я рассказала сразу. Не своим, а единственному внуку, которого я знала, – нянином: Ване, работавшему на оловянном заводе и однажды принесшему мне в подарок собственноручного серебряного голубя. Ваня этот, приходивший по воскресеньям, за чистоту и тихоту, а еще и из уважения к высокому сану няни, был допускаем в детскую, где долго пил чай с баранками, а я от любви к нему и его птичке от него не отходила, ничего не говорила и за него глотала.

«Ваня, а у нас был сын Памятник-Пушкина». – «Что, барышня?» – «У нас был сын Памятник-Пушкина, и папа сказал, чтобы я это тебе сказала». – «Ну, значит, что-нибудь от папаши нужно было, раз пришли...» – неопределенно отозвался Ваня. «Ничего не нужно было, просто с визитом к нашему барину,– вмешалась няня. – Небось сами – полный енерал. Ты Пушкина-то на Тверском знаешь?» – «Знаю». – «Ну, сынок их, значит. Уже в летах, вся борода седая, надвое расчесана. Ваше высокопревосходительство».

Так, от материнской обмолвки и няниной скороговорки и от родительского приказа смотреть и помнить – связанного у меня только с предметами – белый медведь в пассаже, негр над фонтаном, Минин и Пожарский, и т. д. – а никак не с человеками, ибо царь и Иоанн Кронштадтский, которых мне, вознеся меня над толпой, показывали, относились не к человекам, а к священным предметам – так это у меня и осталось: к нам в гости приходил сын Памятник-Пушкина. Но скоро и неопределенная принадлежность сына стерлась: сын Памятник-Пушкина превратился в сам Памятник-Пушкина. К нам в гости приходил сам Памятник-Пушкина.

И чем старше я становилась, тем более это во мне, сознанием, укреплялось: сын Пушкина – тем, что был сын Пушкина, был уже памятник. Двойной памятник его славы и его крови. Живой памятник. Так что сейчас, целую жизнь спустя, я спокойно могу сказать, что в наш трехпрудный дом, в конце века, в одно холодное белое утро пришел Памятник-Пушкина.

Так у меня, до Пушкина, до Дон-Жуана, был свой Командор.

Так и у меня был свой Командор.

* * *

А шел, верней, ехал в наш трехпрудный дом сын Пушкина мимо дома Гончаровых, где родилась и росла будущая художница Наталья Сергеевна Гончарова, двоюродная внучка Натальи Николаевны.

Родной сын Пушкина мимо двоюродной внучки Натальи Гончаровой, которая, может быть, на него – не зная, не узнавая, не подозревая, – в ту минуту из окна глядела.

Наши дома с Гончаровой – узнала это только в Париже, в 1928 году – оказались соседними, наш дом был восьмой, своего номера она не помнит.

* * *

Но что же тайна красной комнаты? Ах, весь дом был тайный, весь дом был – тайна!

Запретный шкаф. Запретный плод. Этот плод – том, огромный сине-лиловый том с золотой надписью вкось – Собрание сочинений А.С. Пушкина.

В шкафу у старшей сестры Валерии живет Пушкин, тот самый негр с кудрями и сверкающими белками. Но до белков – другое сверкание: собственных зеленых глаз в зеркале, потому что шкаф – обманный, зеркальный, в две створки, в каждой – я, а если удачно поместиться – носом против зеркального водораздела, то получается не то два носа, не то один – неузнаваемый.

Толстого Пушкина я читаю в шкафу, носом в книгу и в полку, почти в темноте и почти вплоть и немножко даже удушенная его весом, приходящимся прямо в горло, и почти ослепленная близостью мелких букв. Пушкина читаю прямо в грудь и прямо в мозг.

Мой первый Пушкин – «Цыганы». Таких имен я никогда не слышала: Алеко, Земфира, и еще – Старик. Я стариков знала только одного – сухорукого Осипа в тарусской богадельне, у которого рука отсохла – потому что убил брата огурцом. Потому что мой дедушка, А.Д. Мейн – не старик, потому что старики чужие и живут на улице.

Живых цыган я не видела никогда, зато отродясь слышала про цыганку, мою кормилицу, так любившую золото,

что, когда ей подарили серьги и она поняла, что они не золотые, а позолоченные, она вырвала их из ушей с мясом и тут же втоптала в паркет.

Но вот совсем новое слово — любовь. Когда жарко в груди, в самой грудной ямке (всякий знает!) и никому не говоришь — любовь. Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это — любовь. Я думала — у всех так, всегда — так. Оказывается — только у цыган. Алеко влюблен в Земфиру.

А я влюблена — в «Цыган»: в Алеко, и в Земфиру, и в ту Мариулу, и в того цыгана, и в медведя, и в могилу, и в странные слова, которыми всё это рассказано. И не могу сказать об этом ни словом: взрослым — потому что краденое, детям — потому что я их презираю, а главное — потому что тайна: моя — с красной комнатой, моя — с синим томом, моя — с грудной ямкой.

Но в конце концов любить и не говорить — разорваться, и я нашла себе слушательницу, и даже двух — в лице Асиной няньки Александры Мухиной и ее приятельницы — швеи, приходившей к ней, когда мать заведомо уезжала в концерт, а невинная Ася — спала.

— А у нас Мусенька — умница, грамотная, — говорила нянька, меня не любившая, но при случае мною хвастававшаяся, когда исчерпаны были все разговоры о господах и выпиты были все полагающиеся чашки. — А ну-ка, Мусенька, расскажи про волка и овечку. Или про того барабанщика.

(Господи, как каждому положена судьба! Я уже пяти лет была чьим-то духовным ресурсом. Говорю это не с гордостью, а с горечью.)

И вот, однажды, набравшись духу, с обмирающим сердцем, глубоко глотнув:

— Я могу рассказать про «Цыган».

— Цы-ган? — нянька, недоверчиво, — про каких таких цыган? Да кто ж про них книжки-то писать будет, про побирох этих, руки их загребущие?

— Это не такие. Это — другие. Это — табор.

— Ну, так и есть табор. Всегда возле усадьбы табором стоят, а потом гадать приходит — молодая чертовка: «Дай, барынька, погадаю о твоем талане...», — а старая чертовка —

белье с веревки али уж прямо — бриллиантовую брошь с барынина туалета...

— Не такие цыгане. Это — другие цыгане.

— Ну, пущай, пущай расскажет! — приятельница, чуя в моем голосе слезы, — может, и вправду другие какие... Пущай расскажет, а мы — послушаем.

— Ну, был один молодой человек. Нет, был один старик, и у него была дочь. Нет, я лучше стихами скажу. Цыгане шумною толпой — По Бессарабии кочуют — Они сегодня над рекой — В шатрах изодранных ночуют — Как вольность весел их ночлег — и так далее — без передышки и без серединных запятых — до: *звон походной наковальни*, которую, может быть, принимаю за музыкальный инструмент, а может быть, просто — принимаю.

— А складно говорит! как по-писаному! — восклицает швея, тайно меня любящая, но не смеющая, потому что нянька — Асина.

— Мед-ве-едь... — осуждающе произносит нянька, повторяя единственное дошедшее до ее сознания слово. — А вправду — медведь. Маленькая была, старики рассказывали — завсегда цыгане медведя водили. «А ты, Миша, попляши!» И пляса-ал.

— Ну, а дальше-то что было? (Швея.)

— И вот, к этому старику приходит дочь и говорит, что этого молодого человека зовут Алэко.

Нянька:

— Ка-ак?

— Алэко!

— Ну уж и зовут! И имени такого нет. Как, говоришь, зовут?

— Алэко.

— Ну и Алека — калека!

— А ты — дура. Не Алека, а Алэко!

— Я и говорю: Алека.

— Это *ты* говоришь Алека, *я* говорю: Алэко: э-э-э! о-о-о!!

— Ну, ладно: Алека — так Алека.

— Алёша,— значит, по-нашему (приятельница, примиряюще). — Да дай ей, дура, сказать, — она ведь сказывает, не ты. Не серчай, Мусенька, на няньку, она дура, неученая, а ты грамотная, тебе и знать.

— Ну, эту дочь звали Земфира (грозно и громко:) Земфира — эта дочь — говорит старику, что Алеко будет жить с ними, потому что она его нашла в пустыне:

Его в пустыне я нашла
И в табор на ночь зазвала.

А старик обрадовался и сказал, что мы все поедем в одной телеге: «В одной телеге мы поедем — та-та-та-та, та-та-та-та — И села обходить с медведем...»

— С медве-едем,— нянька, эхом.

— И вот они поехали, и потом очень хорошо все жили, и ослы носили детей в корзинах...

— Кто это — в корзинах?..

— Так: «Ослы в перекидных корзинах — Детей играющих несут — Мужья и братья, жены, девы — И стар и млад вослед идут — Крик, шум, цыганские припевы — Медведя рев, его цепей».

Нянька:

— Да уж будет про медведя! Со стариком-то — что?

— Со стариком — ничего, у него молодая жена Мариула, которая от него ушла с цыганом, и эта, тоже, Земфира — ушла. Сначала всё пела: «Старый муж, грозный муж! Не боюсь я тебя! — это она про него, про отца своего, пела, а потом ушла и села с цыганом на могилу, а Алеко спал и страшно хрипел, а потом встал и тоже пошел на могилу, и потом зарезал цыгана ножом, а Земфира упала и тоже умерла.

Обе в голос:

— Ай-ай-ай! Ну и душегуб! Так и зарезал ножом? А старик-то — что?

— Старик — ничего, старик сказал: «Оставь нас, гордый человек!» — и уехал, и все уехали, и весь табор уехал, а Алеко один остался.

Обе в голос:

— Так ему и надо. Не побивши — убивать! А вот у нас в деревне один тоже жену зарезал, — да ты, Мусенька, не слушай (громким шепотом) — застал с полюбовником. И его враз, и ее. Потом на каторгу пошел. Васильем звали... Да-а-а... Какой на свете беды не бывает. А все она, любовь.

* * *

Пушкин меня заразил любовью. *Словом* — любовь. Ведь разное: вещь, которую никак не зовут,— и вещь, которую *так* зовут. Когда горничная по́ходя сняла с чужой форточки рыжего кота, который сидел и зевал, и он потом три дня жил у нас в зале под пальмами, а потом ушел и никогда не вернулся — это любовь. Когда Августа Ивановна говорит, что она от нас уедет в Ригу и никогда не вернется — это любовь. Когда барабанщик уходил на войну и потом никогда не вернулся — это любовь. Когда розово-газовых нафталинных парижских кукол весной после перетряски опять убирают в сундук, а я стою и смотрю и знаю, что я их больше никогда не увижу — это любовь. То есть *это* — от рыжего кота, Августы Ивановны, барабанщика и кукол так же и там же жжет, как от Земфиры, и Алеко, и Мариулы, и могилы.

А вот волк и ягненок — не любовь, хотя мать меня и убеждает, что это очень грустно. — Подумай, такой белый, невинный ягненок, который никакой воды не мутил... — Но волк — *тоже* хороший!

Все дело было в том, что я от природы любила волка, а не ягненка, а в данном случае волка было любить нельзя, потому что он *съел* ягненка, а ягненка я любить — хоть и съеденного и белого — не могла, вот и не выходила любовь, как никогда ничего у меня не вышло с ягнятами.

«Сказал и в темный лес ягненка поволок».

* * *

Сказав волк, я назвала Вожатого. Назвав Вожатого — я назвала Пугачева: волка, на этот раз ягненка пощадившего, волка, в темный лес ягненка поволокшего — любить.

Но о себе и Вожатом, о Пушкине и Пугачеве скажу отдельно, потому что Вожатый заведет нас далёко, может быть, еще дальше, чем подпоручика Гринева, в самые дебри добра и зла, в то место дебрей, где они неразрывно скручены и, скрутясь, образуют живую жизнь.

Пока же скажу, что Вожатого я любила больше всех родных и незнакомых, больше всех любимых собак, боль-

ше всех закаченных в подвал мячей и потерянных перочинных ножиков, больше всего моего тайного красного шкафа, где он был – главная тайна. Больше «Цыган», потому что он был – черней цыган, *темней* цыган.

И если я полным голосом могла сказать, что в тайном шкафу жил – Пушкин, то сейчас только шепотом могу сказать: в тайном шкафу жил... Вожатый.

* * *

Под влиянием непрерывного воровского чтения, естественно, обогащался и словарь.

– Тебе какая кукла больше нравится: тетина нюренбергская или крестнина парижская?

– Парижская.

– Почему?

– Потому что у нее глаза страстные.

Мать угрожающе:

– Что-о-о?

Я, спохватываясь:

– Я хотела сказать: страшные.

Мать еще более угрожающе:

– То-то же!

Мать не поняла, мать услышала смысл и, может быть, вознегодовала правильно. Но поняла – неправильно. Не глаза – страстные, а я чувство страсти, вызываемое во мне этими глазами (и розовым газом, и нафталином, и словом Париж, и делом – сундук, и недоступностью для меня куклы), приписала – глазам. Не я одна. *Все* поэты. (А потом стреляются – что кукла *не* страстная!) Все поэты, и Пушкин первый.

* * *

Немножко позже – мне было шесть лет, и это был мой первый музыкальный год – в музыкальной школе Зограф-Плаксиной, в Мерзляковском переулке, был, как это тогда называлось, публичный вечер – рождественский. Давали сцену из «Русалки», потом «Рогнеду» – и:

Теперь мы в сад перелетим,
Где встретилась Татьяна с ним.

Скамейка. На скамейке – Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится, а *она* встает. Оба стоят. И говорит только он, все время, долго, а она не говорит ни слова. И тут я понимаю, что рыжий кот, Августа Ивановна, куклы *не* любовь, что *это* – любовь: когда скамейка, на скамейке – она, потом приходит он и все время говорит, а она не говорит ни слова.

– Что же, Муся, тебе больше всего понравилось? – мать, по окончании.

– Татьяна и Онегин.

– Что? Не «Русалка», где мельница, и князь, и леший? Не «Рогнеда»?

– Татьяна и Онегин.

– Но как же это может быть? Ты же там ничего не поняла? Ну, что́ ты там могла понять?

Молчу.

Мать, торжествующе:

– Ага, ни слова не поняла, как я и думала. В шесть лет! Но что же тебе там могло понравиться?

– Татьяна и Онегин.

– Ты совершенная дура и упрямее десяти ослов! (Оборачиваясь к подошедшему директору школы, Александру Леонтьевичу Зографу.) Я ее знаю, теперь будет всю дорогу на извозчике на все мои вопросы повторять: «Татьяна и Онегин!» Прямо не рада, что взяла. Ни одному ребенку мира из всего виденного бы не понравилось «Татьяна и Онегин», все бы предпочли «Русалку», потому что – сказка, понятное. Прямо не знаю, что́ мне с ней делать!!!

– Но почему, Мусенька, «Татьяна и Онегин»? – с большой добротой директор.

(Я, молча, полными словами: – Потому что – любовь.)

– Она наверное уже седьмой сон видит! – подходящая Надежда Яковлевна Брюсова[1], наша лучшая и старшая ученица, – и тут я впервые узнаю, что есть седьмой сон, как мера глубины сна и ночи.

1 Сестра Валерия Брюсова. (*Прим. М. Цветаевой.*)

— А это, Муся, что? — говорит директор, вынимая из моей муфты вложенный туда мандарин, и вновь незаметно (заметно!) вкладывая, и вновь вынимая, и вновь, и вновь...

Но я уже совершенно онемела, окаменела, и никакие мандаринные улыбки, его и Брюсовой, и никакие страшные взгляды матери не могут вызвать с моих губ — улыбки благодарности. На обратном пути — тихом, позднем, санном,— мать ругается: — Опозорила!! Не поблагодарила за мандарин! Как дура — шести лет — влюбилась в Онегина!

Мать ошиблась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и в Татьяну (и, может быть, в Татьяну немножко больше), в них обоих вместе, в любовь. И ни одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух (в нее — немножко больше), не в них двух, а в их любовь. В любовь.

Скамейка, на которой они *не* сидели, оказалась предопределяющей. Я ни тогда, ни потом, никогда не любила, когда *целовались*, всегда — когда расставались. Никогда — когда садились, всегда — расходились. Моя первая любовная сцена была нелюбовная: он *не* любил (это я поняла), потому и не сел, любила *она*, потому и встала, они ни минуты не были вместе, ничего вместе не делали, делали совершенно обратное: он говорил, она молчала, он не любил, она любила, он ушел, она осталась, так что если поднять занавес — она одна стоит, а может быть, опять сидит, потому что стояла она только потому, что он *стоял*, а потом рухнула и так будет сидеть вечно. Татьяна на той скамейке сидит вечно.

Эта первая моя любовная сцена предопределила все мои последующие, всю страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви. Я с той самой минуты не захотела быть счастливой и этим себя на *нелюбовь* — обрекла.

В том-то и все дело было, что он ее не любил, и только потому она его — *так*, и только для того его, а не другого, в любовь выбрала, что втайне *знала*, что он ее не сможет любить. (Это я сейчас говорю, но *знала* уже тогда, тогда знала, а сейчас научилась говорить.) У людей с этим роковым даром несчастной — единоличной — всей на себя взятой — любви — прямо *гений* на неподходящие предметы.

Но еще одно, не одно, а многое, предопределил во мне

«Евгений Онегин». Если я потом всю жизнь по сей последний день всегда первая писала, первая протягивала руку — и руки, не страшась суда — то только потому, что на заре моих дней лежащая Татьяна в книге, при свечке, с растрепанной и переброшенной через грудь косой, это на моих глазах — сделала. И если я потом, когда уходили (всегда — уходили), не только не протягивала вслед рук, а головы не оборачивала, то только потому, что тогда, в саду, Татьяна застыла статуей.

Урок смелости. Урок гордости. Урок верности. Урок судьбы. Урок одиночества.

* * *

У кого из народов — такая любовная героиня: смелая и достойная, влюбленная — и непреклонная, ясновидящая — и любящая.

Ведь в отповеди Татьяны — ни тени мстительности. Потому и получается полнота возмездия, поэтому-то Онегин и стоит «как громом пораженный».

Все козыри были у нее в руках, чтобы отмстить и свести его с ума, все козыри — чтобы унизить, втоптать в землю той скамьи, сровнять с паркетом той залы, она все это уничтожила одной только обмолвкой: «Я вас люблю,— к чему лукавить?»

К чему лукавить? Да к тому, чтобы торжествовать! А торжествовать — к чему? А вот на это, действительно, нет ответа для Татьяны — внятного, и опять она стоит, в зачарованном кругу залы, как тогда — в зачарованном кругу сада, — в зачарованном кругу своего любовного одиночества, тогда — непонадобившаяся, сейчас — вожделенная, и тогда и ныне — любящая и любимой быть не могущая.

Все козыри были у нее в руках, но она — не играла.

Да, да, девушки, признавайтесь — первые, и потом слушайте отповеди, и потом выходите замуж за почетных раненых, и потом слушайте признания и не снисходите до них — и вы будете в тысячу раз счастливее нашей другой героини, той, у которой от исполнения всех желаний ничего другого не осталось, как лечь на рельсы.

Между полнотой желания и исполнением желаний, между полнотой страдания и пустотой счастья мой выбор был сделан отродясь – и дородясь.

Ибо Татьяна до меня повлияла еще на мою мать. Когда мой дед, А.Д. Мейн, поставил ее между любимым и собой, она выбрала отца, а не любимого, и замуж потом вышла лучше, чем по-татьянински, ибо «для бедной Тани все были жребии равны» – а моя мать выбрала самый тяжелый жребий – вдвое старшего вдовца с двумя детьми, влюбленного в покойницу, – на детей и на чужую беду вышла замуж, любя и продолжая любить – *того*, с которым потом никогда не искала встречи и которому, впервые и нечаянно встретившись с ним на лекции мужа, на вопрос о жизни, счастье и т. д., ответила: «Моей дочери год, она очень крупная и умная, я совершенно счастлива...» (Боже, как в эту минуту она должна была меня, умную и крупную, ненавидеть за то, что я – не его дочь!)

Так, Татьяна не только на всю мою жизнь повлияла, но на самый факт моей жизни: не было бы пушкинской Татьяны – не было бы меня.

Ибо женщины *так* читают поэтов, а не иначе.

Показательно, однако, что мать меня Татьяной не назвала – должно быть, все-таки – пожалела девочку...

* * *

С младенчества посейчас, весь «Евгений Онегин» для меня сводится к трем сценам: той свечи – той скамьи – того паркета. Иные из моих современников усмотрели в «Евгении Онегине» блистательную шутку, почти сатиру. Может быть, они правы, и может быть, не прочти я его до семи лет... но я прочла его в том возрасте, когда ни шуток, ни сатиры нет: есть темные сады (как у нас в Тарусе), есть развороченная постель со свечой (как у нас в детской), есть блистательные паркеты (как у нас в зале), и есть любовь (как у меня в грудной ямке).

Быт? («Быт русского дворянства в первой половине XIX века».) Нужно же, чтобы люди были как-нибудь одеты.

* * *

После тайного сине-лилового Пушкина у меня появился другой Пушкин – уже не краденый, а дарёный, не тайный, а явный, не толсто-синий, а тонко-синий, – обезвреженный, приручённый Пушкин издания для городских училищ с негрским мальчиком, подпирающим кулачком скулу.

В этом Пушкине я любила только негрского мальчика. Кстати, этот детский негрский портрет по сей день считаю лучшим из портретов Пушкина, портретом далекой африканской души его и еще спящей – поэтической. Портрет в две дали – назад и вперед, портрет его крови и его грядущего гения. Такого мальчика вторично избрал бы Петр, такого мальчика тогда и избрал.

Книжку я не любила, это был *другой* Пушкин, в нем и «Цыганы» были другие, без Алеко, без Земфиры, с одним только медведем. Это была тайная любовь, ставшая явной. Но, помимо содержания, отвращало уже само название: *для городских училищ*, вызывавшее что-то злобное, тощее и унылое, а именно – лица учеников городских училищ, – бедные лица: некормленые, грязные, посиневшие от мороза, как сам Пушкин, лица – внушавшие бы жалость, если бы не пара угрожающих кулаков классовой ненависти, лица, несмотря на эти кулаки, наверное, кому-нибудь жалость внушавшие, но любви внушить не могшие. Тощие, синие и злобные. Два кулака. Поперек запавшего живота – с огромной желтой бляхой, городских училищ, ремень.

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда.

Так что же она тогда делает? И кто же тогда вьет гнездо? И есть ли вообще такие птички, кроме кукушки, которая не птичка, а целая птичища? Эти стихи явно написаны про бабочку.

Но такова сила поэтического напева, что никому, кажется, за больше чем сто лет, в голову не пришло эту птичку *проверить* – и меньше всего – шестилетней тогдашней –

мне. Раз сказано, так — *так*. *В стихах* — так. Эта птичка — поэтическая вольность. Интересно, что́ думают об этой птичке трезвые школьники Советской России?

«Зима, крестьянин торжествуя» на второй странице городских училищ Пушкина я средне-любила, любила (раз стихи!), но по-домашнему, как Августу Ивановну, когда не грозится уехать в Ригу. Слишком уж все было похоже. «В тулупе, в красном кушачке» — это Андрюша, а «крестьянин торжествуя» — это дворник, а дровни — это дрова, а мать — наша мать, когда мы, поджидая няню на прогулку к Памятник-Пушкину, едим снег или лижем лед. Еще стихи возбуждали зависть, потому что мы во дворе никогда не играли — только им проходили — потому что вдруг у андреевских детей (семьи, снимавшей флигель) окажется скарлатина? И жучку в салазки не садили, а салазки — были, синие, бархатные, с темно-золотыми гвоздями (глазами). И, помимо высказанного, «Зима, крестьянин торжествуя», под видом стихов были басни, которые, под видом стихов — проза и которые я в каждой новой хрестоматии неизменно читала — последними. Сейчас же скажу: «Зима, крестьянин торжествуя» были — идиллия, то есть та самая счастливая любовь, ни смысла, ни цели, ни наполнения которой я так никогда и не поняла.

Чтобы кончить о синем, городских училищ, Пушкине: он для любви был слишком худ, — ни с трудом поднять, ни, тяжело вздохнув, обнять, прижать к неизменно-швейцарскому и неизменно-тесному фартуку, — ни в руках ничего, ни для глаз ничего, точно уже прочел.

Я вещи и книги, а потом и своих детей, и вообще детей, неизменно любила и люблю — еще и на вес. И поныне, слушая расхваливаемую новую вещь: «А длинная?» — «Нет, маленькая повесть».— «Ну, тогда читать *не* буду».

Андрюшина хрестоматия была несомненно-толстая, ее распирало Багровым-внуком и Багровым-дедом, и лихорадящей матерью, дышащей прямо в грудь ребенку, и всей безумной любовью этого ребенка, и ведрами рыбы, ловимой дурашливым молодым отцом, и «Ты опять не спишь?» — Николенькой, и всеми теми гончими и борзыми, и всеми лирическими поэтами России.

Андрюшиной хрестоматией я завладела сразу: он читать не любил, и даже не терпел, а тут нужно было не только читать, а учить, и списывать, и излагать своими словами, я же была нешкольная, вольная, и для меня хрестоматия была — только любовь. Мать не отнимала: раз хрестоматия — ничего преждевременного. *Вся* литература для ребенка преждевременна, ибо *вся* говорит о вещах, которых он не знает и не может знать. Например:

Кто при звездах и при луне
Так поздно едет на коне?

(Андрюша, на вопрос матери: — А я почём знаю?)

...Зачем он шапкой дорожит?
Затем, что в ней донос зашит.
Донос на Гетмана-злодея
Царю-Петру от Кочубея.

Не знаю, как другие дети: так как я из всего четверостишия понимала только злодея, и так как злодей здесь в окружении трех имен, то у меня злодея получалось — три: Гетман, Царь-Петр и Кочубей, и я долго потом не могла понять (и сейчас не совсем еще понимаю), что злодей — один и кто именно. Гетман для меня по сей день— Кочубей и Царь-Петр, а Кочубей — по сей день Гетман, и т. д., и три стало одно, и это одно — злодей. Донос я, конечно, тоже не понимала, и объяснили бы — не поняла бы, внутренне не поняла бы, как и сейчас не понимаю — возможности написать донос. Так и осталось: летит казак под несуществующеярким (сновиденным!) небом, где одновременно (никогда не бывает!) и звезды, и луна, летит казак, осыпанный звездами и облитый луною — точно чтобы его лучше видели! — а на голове шапка, а в шапке неизвестная вещь *донос*, — донос на Гетмана-злодея Царю-Петру от Кочубея.

Это была моя первая встреча с историей, и эта первая историческая история была — злодейство. Больше скажу: когда я во время Гражданской войны слышала Гетман (с добавлением: Скоропадский), я сразу видела того казака, который — падает.

Но с Царем-злодеем у меня была еще другая хрестоматическая встреча: «Кто он?» И опять мать Андрюше: «Ну,

Андрюша, кто же был – он?» И опять Андрюша, честно, тоскливо и даже возмущенно: «А я почём знаю?» (Что за странный мир – стихи, где *взрослые* спрашивают, а *дети* отвечают!) «Ну, а ты, Муся? Кто же был – *он*?» – «Великан».– «Почему великан?» – «Потому что он сразу всё починил».– «А что значит «И на счастие Петрово»?» – «Не знаю».– «Ну, что значит Петрово?» (В голове ничего, кроме начертания слова: Петрово.) «Ты не знаешь, что такое Петрово?» – «Нет».– «А Андрюшино– знаешь?» – «Да. Андрюшин штекенпферд, Андрюшин велосипед, Андрюшины салазки...» – «Довольно, довольно. Ну и *Петрово* то же самое. Петрово – понимаешь? Счастье – понимаешь? (Молчу.) *Счастья* не понимаешь?» – «Понимаю. Счастье, это когда мы пришли с прогулки и вдруг дедушка приехал, и еще когда я нашла у себя в кровати...» – «Достаточно. На счастие Петрово – значит на Петрово счастье. А кто это Петр?» – «Это...» – «Кто он? Что?» – «То есть чудесный гость. Смотрит долго в ту сторонку – Где чудесный гость исчез...» – «А как этого чудесного гостя зовут?» Я, робко: «Может быть – Петр?» – «Ну, слава богу!.. (С внезапной подозрительностью.) Но Петров много. Какой же это был Петр? (И отчаявшись в ответе:) Это был тот самый Петр, который...

Донос на Гетмана-злодея
Царю-Петру от Кочубея.

Поняла?

Еще бы! Но и увы! Только было начавший проясняться Петр опять был ввергнут в ту мрачно-сверкающую, звездно-лунную казачье-скачущую шапочно-доносную нощь и, что́ еще хуже, этот Петр, который починил старику челн, значит, как будто бы сделал доброе дело, оказался тем самым злодеем Кочубеем и Гетманом. И опять встал под гигантский – в новый месяц! – вопросительный знак: «Кто?» Когда Петр – то всегда: кто? Петр, это когда никак нельзя догадаться.

Но и обратное: как только в стихах звучал вопрос, сразу являлось подозрение на Петра.

Отчего пальба и клики
В Петербурге-городке?

Ответ: – Понятно, Петр! Но что же он именно сделал, ибо раз подсказывают – не то, всё, что подсказывают – не то. Особенно же и до смешного не то:

Родила ль Екатерина,
Именинница ль она,
Чудотворца-исполина
Чернобровая жена?

«Родила» я не понимала, понимала только «родилась», ни о какой Екатерине, жене Петра, я никогда не слышала, а чудотворец был Николай Чудотворец, то есть старик и святой, у которого нет жены. А в стихах – есть. Ну, женатый чудотворец.

Но, боже, какое облегчение, когда после стольких «отчего» и стольких явно ложных подсказок, – наконец, блаженное «оттого»! «Оттого-то шум и клики – в Петербурге-городке».

Только сейчас, проходя пядь за пядью Пушкина моего младенчества, вижу, до чего Пушкин любил прием вопроса: «Отчего пальба и клики? – Кто он? – Кто при звездах и при луне? – Черногорцы, что такое?» – и т. д. Если бы мне тогда совсем поверить, что он действительно не знает, можно было бы подумать, что поэт из всех людей тот, кто ничего не знает, раз даже у меня, ребенка, спрашивает. Но раздраженный ребенок чуял, что это – нарочно, что он не спрашивает, а знает, и чуя, что он меня ловит, и ни одной подсказке не веря, я каждую, невольно, видела, – строка за строкой, как умела, по-своему, стихи – видела. Историческому Пушкину своего младенчества я обязана незабвенными видениями.

Но не могу от своего тогдашнего и своего теперешнего лица не сказать, что вопрос, в стихах,– прием раздражительный, хотя бы потому, что каждое *отчего* требует и сулит *оттого* и этим ослабляет самоценность всего процесса, все стихотворение обращает в промежуток, приковывая наше внимание к конечной внешней цели, которой у стихов быть не должно. Настойчивый вопрос стихи обращает в загадку и задачу, и если каждое стихотворение само есть загадка и задача, то не та загадка, на которую готовая отгадка, и не *та* задача, на которую ответ в задачнике.

Зато в «Утопленнике» — ни одного вопроса. Зато — сюрпризы. Во-первых, эти дети, то есть *мы* играем одни на реке, во-вторых, *мы* противно зовем отца: тятя! а в-третьих, — *мы* не боимся мертвеца. Потому что кричат они не страшно, а весело, вот так, даже подпевают: «Тятя! Тятя! Наши сети! Притащили! Мертвеца!» — «Врите, врите, бесенята, — заворчал на них отец. — Ох, уж эти мне ребята! Будет вам, ужо, мертвец!» Этот ужо-мертвец был, конечно, немножко уж, уж, которого, потому что стихи, зовут *ужо*. Я говорю: немножко — уж, уж, которого я никогда не додумывала и, из-за его не совсем-определенности, особенно громко выкрикивала, произнося так: Будет вам! *Ужо*-мертвец! Если бы меня тогда спросили, картина получилась бы приблизительно такая: в земле живут ужи — и мертвецы, а этого мертвеца зовут *Ужо*, потому что он немножко ужиный, ужовый, с ужом рядом лежал.

Ужей я знала по Тарусе, по Тарусе и утопленников. Осенью мы долго, долго, до ранних черных вечеров и поздних темных утр заживались в Тарусе, на своей одинокой — в двух верстах от всякого жилья — даче, в единственном соседстве (нам — минуту сбежать, *тем* — минуту взойти) реки — Оки («Рыбы мало ли в реке!»), — но не только рыбы, потому что летом всегда кто-нибудь тонул, чаще мальчишки — опять затянуло под плот, — но часто и пьяные, а часто и трезвые, — и однажды затонул целый плотогон, а тут еще дедушка Александр Данилович умер, и мать с отцом уехали на сороковой день и потом остались из-за завещания, и хотя я знала, что это грех, потому что дедушка любил меня больше Аси — и глупость — потому что дедушка совсем не утонул, а умер от рака — от рака? Но ведь:

И в распухнувшее тело
Раки черные впились!

...словом, сквозь стеклянную дверь столовой — привиденские столбы балкона, а под ними, со всей рекой, притащившейся по пятам:

Уж с утра погода злится,
Ночью буря настает,

И утопленник стучится
Под окном и у ворот —

Ужо-мертвец с неопределенным двоящимся лицом дедушки Александра Даниловича и затонувшего плотогона.

Зато другие страшные стихи, «Вурдалак», были совсем не страшные, хотя бы потому, что Ваня сразу оказывается трусоват и с первой строки — своим по́том и от страху бледностью — возбуждает презрение, которое, как известно, лечит от всех страстей, вплоть до сильнейшей из них (во мне) — страсти страха. «Это, верно, кости гложет красногубый вурдалак». Кто, вообще, гложет кости? Собака. Вурдалак — собака, с красными губами. Черная (потому что — ночь) собака с красными губами. А дурак (бедняк) испугался. Весь эффект страха пропадал от этих глодаемых костей, которые ребенок не может не приписать собаке. Страшилище-вурдалак сразу оказывается той собакой, которой у Пушкина оказывается только в последней строке, то есть ни секунды не пребывает вурдалаком. Так что от всего страха остается только *слово* вурдалак, то есть название стихотворения. Конечно, слово вурдалак — неприятное (немножко лакающее), и та самая собака — не совсем собачья, иначе бы не называлась вурдалак, и красные губы ее, видные даже ночью, сомнительны, и занятие ее — приносить свою кость именно на могилу — несколько гадостное, но все это отнюдь не оправдывало в моих глазах Ваниного страха. Вот если бы Ваня шел через кладбище без всякой собаки — тогда было бы страшно. А так собака, наоборот, оживляет. (То же, что в «Вие», где страшно только одиночество Хомы с покойницей и где страх — явление Вия, а потом и виев — разряжается. Когда *много* — всегда *весело*.)

Ну, странная, подозрительная собака, а Ваня — явный бессомнительный дурак — и бедняк — и трус. И еще — злой: «Вы представьте Вани злость!» И — представляем: то есть Ваня мгновенно дает собаке сапогом. Потому что — злой... Ибо для правильного ребенка большего злодейства нет, чем побить собаку: лучше убить гувернантку. Злой мальчик и собака — действие этим соседством предуказано.

И кончалось, как всегда со всем любимым, — слезами: такая хорошая серо-коричневая, немножко черная собака с

немножко красными губами украла на кухне кость и ушла с ней на могилу, чтобы кухарка не отняла, и вдруг какой-то трус Ваня шел мимо и дал ей сапогом. В ее чудную мокрую морду. У-у-у...

Но самое любимое из страшных, самое по-родному страшное и по-страшному родное были — «Бесы». «Мчатся тучи, вьются тучи — Невидимкою луна...»

Все страшно — с самого начала: луны не видно, а она — есть, луна — невидимка, луна в шапке-невидимке, чтобы все видеть и чтобы ее не видели. Странное стихотворение (состояние), где сразу можно быть (нельзя не быть) всем: луной, ездоком, шарахающимся конем и — о, сладкое обмирание — ими! Ибо нет читателя, который одновременно бы не сидел в санях и не пролетал над санями, там, в беспредельной вышине, на разные голоса не выл и там, в санях, от этого воя не обмирал. Два полета: саней и туч, и в каждом ты — летишь. Но помимо едущего и летящих, я была еще третьим: луною,— той, что, невидимая, видит: Пушкина, над ним — Бесов, и над Пушкиным и Бесами — сама летит.

Страх и жалость (еще гнев, еще тоска, еще защита) были главные страсти моего детства, и там, где им пищи не было — меня не было. Но какая иная жалость, нежели к Вурдалаку, заливала меня в «Бесах» и к бесам! Собаку я жалела — утробно: низкой и жаркой сочувственной жалостью чрева, жалостью — защитой: убить Ваню, убить кухарку и отдать собаке всю плиту со сковородками и кастрюльками, а может быть, и самого Ваню на съедение. Бесов же — жалостью высокой, жалостью — восторгом и восхищением, как потом жалела Наполеона на Св. Елене и Гёте в Веймаре. Я знала, что «...домового ли хоронят? Ведьму ль замуж выдают?» — только так, что никого они не похорони, не выдай замуж — всё равно будут жаловаться, что дедушку-то они хоронят и девушку замуж выдают — чтобы лучше жаловаться. Что жалуются они не потому, что,— а потому, что они — они и никогда другими не будут и быть не могут. (Шепотом: потому что бог их проклял!) Любовь к проклятому.

И еще: я ведь знала, что они — тучи! Что они — серые, мягкие, что их даже как-то нет, что их тронуть нельзя, обнять нельзя, что между ними, с ними, *ими* — можно только мчаться! Что это — воздух, который воет! Что их — нет.

«Сквозь волнистые туманы пробирается луна...» — опять пробирается, как кошка, как воровка, как огромная волчица в стадо спящих баранов (бараны... туманы...). «На печальные поляны льет печальный свет она...» О, Господи, как печально, как дважды печально, как безысходно, безнадежно печально, как навсегда припечатано — печалью, точно Пушкин этим повторением «печаль» луною как печатью к поляне припечатал. Когда же я доходила до: «Что-то слышится родное в вольных песнях ямщика», — то сразу попадала в:

Вы, очи, очи голубые,
Зачем сгубили молодца?
О люди, люди, люди злые,
Зачем разрознили сердца?

И эти очи голубые — опять были луною, точно луна на этот раз в два глаза взглянула, и одновременно я знала, что они под черными бровями у дéвицы-души, может быть, той самой, по которой плачут бесы, потому что ее замуж выдают.

Читатель! Я знаю, что «Вы, очи, очи голубые» — не Пушкин, а песня, а может быть, и романс, но тогда я этого не знала и сейчас внутри себя, где всё — еще всё, это не знаю, потому что «разрывая сердце мне» и «сердечная тоска», молодая бесовка и девица-душа, дорога и дорога, разлука и разлука, любовь и любовь — одно. Все это называется Россия и мое младенчество, и если вы меня взрежете, вы, кроме бесов, мчащихся тучами, и туч, мчащихся бесами, обнаружите во мне еще и те голубых два глаза. *Вошли в состав.*

«Подруга дней моих суровых — Голубка дряхлая моя!» — как это не походило на Асину няню, не старую и не молодую, с противной фамилией Мухина, как это походило на *мою* няню, которая бы у меня была и которой у меня не было. И как это походило на наш клюющий и воркующий, клюющий и рокочущий, сизо-голубой голубиный двор. (Моя няня была бы — *голубка*, а Асина — Мухина.)

Голубка я слово знала, так отец всегда называл мою мать — («А не думаешь ли, голубка? — А не полагаешь ли, голубка? — А бог с ними, голубка!») — кроме как голубка не

называл никак, но *подруга* было новое, мы с Асей росли одиноко, и подруг у нас не было. Слово подруга – самое любовное из всех – впервые прозвучало мне обращенное к старухе. «Подруга дней моих суровых – Голубка дряхлая моя!» Дряхлая голубка – значит, очень пушистая, пышная, почти меховая голубка, почти муфта – голубка, вроде маминой котиковой муфты, которая была бы голубою, и так Пушкин называл свою няню, потому что ее любил. Скажу: подруга, скажу: голубка – и заболит.

Кого я жалела? *Не* няню. Пушкина. Его тоска по няне превращалась в тоску по нему, тоскующему. И потом, все-таки няня сидит, вяжет, мы ее видим, а он – что? А он – где? «Одна в глуши лесов сосновых – Давно, давно ты ждешь меня». Она – *одна*, а его совсем нет! Леса сосновые я тоже знала, у нас в Тарусе, если идти пачёвской ивовой долиной – которую мать называла Шотландией – к Оке, вдруг – целый красный остров: сосны! С шумом, с треском, с краской, с запахом, после ивового однообразия и волнообразия – целый пожар!

Мама из коры умеет делать лодочки, и даже с парусом, я же умею только есть смолу и обнимать сосну. В этих соснах никто не живет. В этих соснах, в таких же соснах, живет пушкинская няня. «Ты под окном своей светлицы...» – у нее очень светлое окно, она его все время протирает (как мы в зале, когда ждем дедушкиного экипажа) – чтобы видеть, не едет ли Пушкин. А он все не едет. Не приедет никогда.

Но любимое во всем стихотворении место было – «Горюешь будто на часах», причем «на часах», конечно, не вызывало во мне образа часового, которого я никогда не видела, а именно часов, которые всегда видела, везде видела... Соответствующих часовых видений – множество. Сидит няня и горюет, а над ней – часы. Либо горюет и вяжет и все время смотрит на часы. Либо – так горюет, что даже часы остановились. *На часах* было и под часами, и на часы, – дети к падежам нетребовательны. Некая же, все же, смутность этого *на часах* открывала все часовые возможности, вплоть до одного, уже совершенно туманного видения: есть часы зальные, в ящике, с маятником, есть часы над ларем – лунные, и есть в материнской спальне кукушка, с домиком, – с кукушкой, выглядывающей из домика. Кукушка, из окна выглядывающая, точно кого-то ждущая... А няня ведь с первой строки – голубка...

Так, на часах было и под часами, и на часы и в конце концов немножко и в часах, и все эти часы еще подтверждались последующей строкою, а именно – спицами, этими стальными близнецами стрелок. Этими спицами в наморщенных руках няни и кончалось мое хрестоматическое «К няне».

Составитель хрестоматии, очевидно, усомнился в доступности младшему возрасту понятий тоски, предчувствия, заботы, теснения и всечастности. Конечно, я кроме *своей* тоски из двух последних строк не поняла бы ничего. Не поняла бы, но – запомнила. И – запомнила. А так у меня до сих пор между наморщенными руками и забытыми воротами – секундная заминка, точно это пушкинский конец к тому хрестоматическому – приращён. Да, что́ знаешь в детстве – знаешь на всю жизнь, но и: чего не знаешь в детстве – не знаешь на всю жизнь.

Из знаемого же с детства: Пушкин из всех женщин на свете больше всего любил свою няню, которая была *не́* женщина. Из «К няне» Пушкина я на всю жизнь узнала, что старую женщину – потому что родная – можно любить больше, чем молодую – потому что молодая и даже потому что – любимая. Такой нежности слов у Пушкина не нашлось ни к одной.

Такой нежности слова́ к старухе нашлись только у недавно умчавшегося от нас гения – Марселя Пруста. Пушкин. Пруст. Два памятника сыновности.

* * *

Глядя назад, теперь вижу, что стихи Пушкина, и вообще стихи, за редкими исключениями чистой лирики, которой в моей хрестоматии было мало, для меня до-семилетней и семилетней были – ряд загадочных картинок, – загадочных только от материнских вопросов, ибо в стихах, как в чувствах, только вопрос порождает непонятность, выводя явление из его состояния данности. Когда мать не спрашивала – я отлично понимала, то есть и понимать не думала, а

просто – видела. Но, к счастью, мать не всегда спрашивала, и некоторые стихи оставались понятными.

Делибаш. «Перестрелка за холмами – Смотрит лагерь их и наш – На холме пред казаками – Вьется красный делибаш». Делибаш – бес. Потому и красный. Потому и вьется. Бьются – казак с бесом. Каково же было мое изумление – и огорчение, когда в Праге, в 1924 году сначала от одного русского студента, потом от другого, потом от третьего услышала, что делибаш – черкесское знамя, а вовсе не сам черкес (бес). «Помилуйте, ведь у Пушкина «Вьется красный делибаш!» Как же *черкес* может *виться?* Знамя – вьется!» – «Отлично может виться. Весь черкес со своей одеждой». – «Ну, уж это модернизм. Пушкин от модернистов отличается тем, что пишет просто, в этом и вся его гениальность. Что может виться? Знамя». – «Я всегда понимала «Делибаш уже на пике, а казак без головы» – что оба одновременно друг друга уничтожили. Это-то мне и нравилось».– «Чистейшая поэтическая фантазия! Бедный Пушкин в гробу бы перевернулся! «Делибаш уже на пике» значит – знамя уже на пике, а казак в эту минуту знаменосцем обезглавлен».– «Ну та́к мне что-то обидно: почему казак обезглавлен, а черкес жив? И как *знамя* может быть на *пике?* Мне по-моему больше нравилось».– «Уж это как вам угодно, а Пушкин так написал. Не будете же вы исправлять Пушкина, как большевики».

Так я и осталась в огорченном убеждении, что делибаш – знамя, а я всю ту молниеносную сцену взаимоуничтожения – выдумала, и вдруг – в 1936 году – сейчас вот – глазами стихи перечла и – о, радость!

Эй, казак, не рвися к бою!
Делибаш на всем скаку
Срежет саблею кривою
С плеч удалую башку!

Это *знамя*-то срежет саблею кривою казаку с плеч башку?

Так бедный семилетний варвар правильнее понял *умнейшего мужа России*, нежели в четырежды его старшие воспитанники Пражского университета.

Но сплошная загадка было стихотворение «Черногорцы? Что такое? – Бонапарте вопросил» – с двумя неизвестными, по одному на каждую строку: Черногорцами и Бонапарте, Черногорцами, усугубленно неизвестными своей неизвестностью второму неизвестному – Бонапарте.

«А Бонапарте – что такое?» – нет, я этого у матери не спросила, слишком памятуя одну с ней нашу для меня злосчастную прогулку «на пеньки»: мою первую и единственную за всё детство попытку вопроса: «Мама, что такое Наполеон?» – «Как? Ты не знаешь, что такое Наполеон?» – «Нет, мне никто не сказал». – «Да ведь это же – в воздухе носится!»

Никогда не забуду чувство своей глубочайшей безнадежнейшей опозоренности: я не знала того, что в воздухе носится! Причем, «в воздухе носится» я, конечно, не поняла, а увидела: что-то называется Наполеоном и что в воздухе носится, что очень вскоре было подтверждено теми же хрестоматическими «Воздушным кораблем» и «Ночным смотром».

Черногорцев я себе, конечно, представляла совершенно черными: неграми – представляла, Пушкиным – представляла, и горы, на которых живет это племя злое, – совершенно черные: черные люди в черных горах: на каждом зубце горы – как дети рисуют – по крохотному злому черному черногорчику (просто – чертику). А Бонапарте, наверное, красный. И страшный. И один на одной горе. (Что Бонапарте – тот же Наполеон, который в воздухе носится, я и не подозревала, потому что мать, потрясенная возможностью такого вопроса, ответить – забыла.)

Не мать и никто другой. Мне на вопрос, что такое Наполеон, ответил сам Пушкин.

* * *

– Ася! Муся! А что я вам сейчас скажу-у-у! – это длинный, быстрый, с немножко волчьей – быстрой и смущенной – улыбкой Андрюша, гремя всей лестницей, ворвался в детскую. – У мамы сейчас был доктор Ярхо – и сказал, что у нее чахотка – и теперь она умрет – и будет нам показываться вся в белом!

Ася заплакала, Андрюша запрыгал, я – я ничего не успела, потому что следом за Андрюшей уже входила мать.

– Дети! Сейчас у меня был доктор Ярхо и сказал, что у меня чахотка, и мы все поедем к морю. Вы рады, что мы едем к морю?

– Нет! – уже всхлипывала Ася,– потому что Андрюша сказал, что ты умрешь и будешь нам показываться...

– Врет! врет! врет.

– ...вся в белом. Правда, Муся, он говорил?

– Правда, Муся, что я *не* говорил? Что это *она* сказала?

– Во всяком случае, кто бы ни сказал, – а сказал, конечно, ты, Андрюша, потому что Ася еще слишком мала для такой глупости, – сказал глупость. Так сразу умереть и показываться? Совсем я не умру, а наоборот, мы все поедем к морю.

К морю.

Всё предшествовавшее лето 1902 года я переписывала его из хрестоматии в самосшивную книжку. Зачем в книжку, раз есть в хрестоматии? Чтобы всегда носить с собой в кармане, чтобы с Морем гулять в Пачёво и на пеньки, чтобы *моё* было, чтобы я сама написала.

Все на воле: я одна сижу в нашей верхней балконной клетке и, обливаясь по́том, – от июля, полдня, чердачного верха, а главное от позапрошлогоднего предсмертного дедушкиного карлсбадского добереженного до неносимости и невыносимости платья – обливаясь потом и разрываясь от восторга, а немножко и от всюду врезающегося пикея, переписываю черным отвесным круглым, крупным и все же тесным почерком в самосшивную книжку – *К Морю.* Тетрадка для любви худа, да у меня их и нет: мать мне на писание бумаги не дает, дает на рисование. Книжка – десть писчей бумаги, сложенной ввосьмеро, где нужно разрезанной и прошитой посредине только раз, отчего книжка топырится, распадается, распирается, разрывается – вроде меня в моих пикеях и шевиотах – как я ни пытаюсь ее сдвинуть, все свободное от писания время сидя на ней всем весом и напором, а на ночь кладя на нее мой любимый булыжник – с искрами. Не на нее, а на них, ибо за лето – которая? Перепишу и вдруг увижу, что строки к концу немножко клонятся, либо, переписывая, пропущу слово, либо кляксу посажу, либо ру-

каво смажу конец страницы – и кончено: этой книжки я уже любить не буду, это не книжка, а самая обыкновенная детская мазня. Лист вырывается, но книга с вырванным листом – гадкая книга, берется новая (Асина или Андрюшина) десть – и терпеливо, неумело, огромной вышивальной иглой (другой у меня нет) шьется новая книжка, в которую с новым усердием: «Прощай, свободная стихия!»

Стихия, конечно, – стихи, и ни в одном другом стихотворении это так ясно не сказано. А почему прощай? Потому что, когда любишь, всегда прощаешься. Только и любишь, когда прощаешься. А «моей души предел желаний» – предел, это что-то твердое, каменное, очень прочное, наверное, его любимый камень, на котором он всегда сидел.

Но самое любимое слово и место стихотворения:

Вотще рвалась душа моя!

Вотще – это туда. Куда? Туда, куда и я. На тот берег Оки, куда я никак не могу попасть, потому что между нами Ока, еще в La Chaux de Fonds, в тетино детство, где по ночам ходит сторож с доской и поет: «Gué, bon gué! Il a frappé dix heures!» и все тушат огни, а если не тушат, то приходит доктор или сажают в тюрьму; *вотще* – это в чуждую семью, где я буду одна без Аси и самая любимая дочь, с другой матерью и с другим именем – может быть, Катя, а может быть, Рогнеда, а может быть, сын Александр.

Ты ждал, ты звал. Я был окован.
Вотще рвалась душа моя!
Могучей страстью очарован
У берегов остался я.

Вотще – это туда, а могучей страстью – к морю, конечно. Получалось, что именно из-за такого желания *туда* Пушкин и остался у берегов.

Почему же он не поехал? Да потому, что могучей страстью очарован, так хочет – что прирос! (В этом меня утверждал весь мой опыт с *моими* детскими желаниями, то есть полный физический столбняк.) И, со всем весом судьбы и отказа:

У берегов остался я.

(Боже мой! Как человек теряет с обретением пола, когда *вотще, туда, то, там* начинает называться именем, из всей синевы тоски и реки становится лицом, с носом, с глазами, а в моем детстве и с пенсне, и с усами... И как мы люто ошибаемся, называя это — *тем*, и как *не* ошибались — тогда!)

Но вот имя — без отчества, имя, к которому на могильной плите последние верные с непогрешимым чутьем малых сил отказались приставить фамилию (у этого человека было два имени, фамилии не было) — и плита осталась пустой.

Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон...

О, прочти я эти строки раньше, я бы не спросила: «Мама, что такое Наполеон?» Наполеон — тот, кто погиб среди мучений, тот, кого замучили. Разве мало — чтобы полюбить на всю жизнь?

...И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Вижу звездочку и внизу сноску: Байрон. Но уже не вижу звездочки; вижу: над чем-то, что есть — море, с головой из лучей, с телом из тучи, мчится *гений*. Его зовут Байрон.

Это был апогей вдохновения. С «Прощай же, море...» начинались слезы. «Прощай же, море! Не забуду...» — ведь он же это морю — обещает, как я — моей березе, моему орешнику, моей елке, когда уезжаю из Тарусы. А море, может быть, не верит и думает, что — забудет, тогда он опять обещает: «И долго, долго слышать буду — Твой гул в вечерние часы...» (Не забуду — буду.)

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

И вот — видение: Пушкин, переносящий, проносящий над головой — все море, которое еще и внутри него (тобою

полн), так что и внутри у него все голубое — точно он весь в огромном до́ неба хрустальном продольном яйце, которое еще и в нем (Моресвод). Как тот Пушкин на Тверском бульваре держит на себе все небо, так этот перенесет на себе — все море — в пустыню и там прольет его — и станет море.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

Когда я говорила *волн*, слезы уже лились, каждый раз лились, и от этого тоже иногда приходилось начинать новую десть.

* * *

Об этой любви моей, именно из-за явности ее, никто не знал, и когда в ноябре 1902 года мать, войдя в нашу детскую, сказала: к морю — она не подозревала, что произносит магическое слово, что произносит *К Морю*, то есть дает обещание, которое не может сдержать.

С этой минуты я ехала *К Морю*, весь этот предотъездный, уже внешкольный и бездельный, бесконечный месяц одиноко и непрерывно ехала *К Морю*.

По сей день слышу свое настойчивое и нудное, всем и каждому: «Давай помечтаем!» Под бред, кашель и задыхание матери, под гулы и скрипы сотрясаемого отъездом дома — упорное — сомнамбулическое — и диктаторское, и нищенское: «Давай помечтаем!» Ибо прежде, чем поймешь, что *мечта* и *один* — одно, что мечта — уже вещественное доказательство одиночества, и источник его, и единственное за него возмещение, равно как одиночество — драконов ее закон и единственное поле действия — пока с этим смиришься — жизнь должна пройти, а я была еще очень маленькая девочка.

— Ася, давай помечтаем! Давай немножко помечтаем! Совсем немножко помечтаем!

— Мы уже сегодня мечтали, и мне надоело. Я хочу рисовать.

— Ася! Я тебе дам то, Сергей-Семёныча, яичко.

— Ты его треснула.

— Я его внутри треснула, а снаружи оно целое.

— Тогда давай. Только очень скоро давай — помечтаем, потому что я хочу рисовать.

Яичко давалось, но тут же и отбиралось, потому что у Аси, кроме камешков и ракушек, в резерве морской мечты не было ничего. Иногда я ее, за эти ракушки, била.

С Асей *К Морю* дробилось на гравий, со старшей сестрой Валерией, море знавшей по Крыму, превращалось в татарские туфли — и дачи — и глицинии — в скалу Деву и в скалу Монах, во все что угодно превращалось — кроме самого себя, и от *моего* моря после таких «давай помечтаем» не оставалось ничего, кроме моего тоскливого неузнавания.

Чего же я от них — Аси, Валерии, гувернантки Марии Генриховны, горничной Ариши, тоже ехавшей, — хотела?

Может быть — памятника Пушкина на Тверском бульваре, а под ним — говора волн? Но нет — даже не этого. Ничего зрительного и предметного в моем *К Морю* не было, были шумы — той розовой австралийской раковины, прижатой к уху, и смутные видения — того Байрона и того Наполеона, которых я даже не знала лиц, и, главное, — звуки слов, и — самое главное — тоска: пушкинского призвания и прощания.

И если Ася, кем-то наученная, говорила «камешки, ракушки», если Валерия, крымским опытом наученная, называла глицинии и Симеиз, я, при всем своем желании, не могла сказать — назвать — ничего.

* * *

Но в самую последнюю минуту пришла подмога: первая и единственная морская достоверность: синяя открытка от Нади Иловайской из того самого Nervi, куда ехали — мы. Вся — синяя: таких сплошных синих мест и открыток я еще не видела и не знала, что они есть.

Черно-синие сосны — светло-синяя луна — черно-синие тучи — светло-синий столб от луны — и по бокам этого столба — такой уж черной синевы, что ничего не видно — море. Маленькое, огромное, совсем черное, совсем невидное —

море. А с краю, на тучах, которыми другой от нас умчался гений, немножко задевая око луны — лиловым чернилом, кудрявыми, как собственные волосы, буквами: «Приезжайте скорее. Здесь чудесно».

Этой открыткой я завладела. Эту открытку я у Валерии сразу украла. Украла и зарыла на дне своей черной парты, немножко как девушки дитя любви бросают в колодец — со всей любовью! Эту открытку я, держа лбом крышку парты, постоянно молниеносно глядела, прямо жгла и жрала ее глазами. С этой открыткой я жила — как та же девушка с любимым — тайно, опасно, запретно, блаженно.

На дне черного гроба и грота парты у меня лежало сокровище. На дне черного гроба и грота парты у меня лежало — море. Мое море, совсем черное от черноты парты — и дела. Ибо украла я его — чтобы не видели другие, чтобы другие, видевшие — забыли. Чтобы я одна. Чтобы — мое.

Так, с глубоко- и жарко-розовой австралийской раковиной у уха, с сине-черной открыткой у глаз я коротала этот самый длинный, самый пустынный, самый полный месяц моей жизни, мой великий канун, за которым никогда не наступил — день.

* * *

— Ася! Муся! Глядите! Море!

— Где? Где?

— Да — *вот*!

«Вот» — частый лысый лес, весь из палок и веревок, и где-то внизу — плоская серая, белая вода, водица, которой так же мало, как той на картине явления Христа народу.

Это — море? И, переглянувшись с Асей, откровенно и презрительно фыркаем.

Но — мать объяснила, и мы поверили: это Генуэзский залив, а когда Генуэзский залив — всегда так. *То* море — завтра.

Но завтра и много, много завтр опять не оказалось моря, оказался отвес генуэзской гостиницы в ущелье узкой улицы, с такой тесноты домами, что море, если и было бы — отступило бы. Прогулки с отцом в порт были не в счет. На то «море» я и не глядела, я ведь знала, что это — залив.

Словом, я все еще *К Морю* ехала, и чем ближе подъезжала – тем меньше в него верила, а в последний свой генуэзский день и совсем изверилась и даже мало обрадовалась, когда отец, повеселев от чуть подавшейся ртути в градуснике матери, нам – утром: «Ну, дети! Нынче вечером увидите море!» Но море – все отступало, ибо, когда мы наконец после всех этих гостиниц, перронов, вагонов, Модан и Викторов-Эммануилов «нынче вечером» со всеми нашими сундуками и тюками ввалились в нервийский «Pension Russe» – была ночь и страшным глазом горел и мигал никогда не виданный газ, и мать опять горела как в огне, и я бы лучше умерла, чем осмелилась попроситься «к морю».

Но будь моя мать совсем здорова и так же проста со мной, как другие матери с другими девочками, я бы все равно к нему не попросилась.

Море было здесь, и я была здесь, и между нами – ночь, вся чернота ночи и чужой комнаты, и эта чернота неизбежного пройдет – и будут наши оба *здесь*.

Море было здесь, и я была здесь, и между нами – все блаженство оттяжки.

О, как я в эту ночь к морю – ехала! (К кому потом так – когда?) Но не только я к нему, и оно ко мне в эту ночь – через всю черноту ночи – ехало: ко мне одной – всем собой.

Море было здесь, и завтра я его увижу. *Здесь* и *завтра*. Такой полноты владения и такого покоя владения я уже не ощутила никогда. Это море было в мою меру.

Море здесь, но я не знаю где, а так как я его не вижу – то оно совсем везде, нет места, где его нет, я просто в нем, как та открытка в черном гробу парты.

Это был самый великий канун моей жизни.

Море – здесь, и его – нет.

* * *

Утром, по дороге к морю, Валерия:

– Чувствуешь, как пахнет? Отсюда – пахнет!

Еще бы не почувствовать! Отсюда пахнет, и повсюду пахнет, но... в том-то и дело, что *не* узнаю: свободная стихия так *не* пахла, и синяя открытка так *не* пахла.

Настораживаюсь.

* * *

Море. Гляжу во все глаза. (Так я, восемнадцать лет спустя, во все глаза впервые глядела на Блока.)

Черная приземистая скала с высоким торчком железной палки.

– Эта скала называется лягушка,– торопливо знакомит рыжий хозяйский сын Володя. – Это – *наша* лягушка.

От меня до лягушки – немножко: немножко очень чистой, очень светлой воды: на дне камешки и стеклышки (Асины).

– А это – грот,– поясняет Володя, глядя себе под ноги,– тоже наш грот, здесь все наше, – хочешь, полезем! Только ты провалишься!

Лезу и проваливаюсь, в своих тяжелых русских башмаках, в тяжелом буром, вроде как войлочном, платье сразу падаю в воду (в воду, а не в море), а рыжий Володя меня вытаскивает и выливает воду из башмаков, а потом я рядом с башмаками сижу и в платье сохну – чтобы мать не узнала.

Ася с Володей, сухие и уже презрительные, лезут на «пластину», гладкую шиферную стену скалы, и оттуда из-под сосен швыряют осколки и шишки.

Я сохну и смотрю: теперь я вижу, что за скалой Лягушка – еще вода, много, чем дальше – тем бледней и что кончается она белой блестящей линеечной чертою – того же серебра, что все эти точки на маленьких волнах. Я вся соленая – и башмаки соленые.

Море голубое – и соленое.

И, внезапно повернувшись к нему спиной, пишу обломком скалы на скале:

Прощай, свободная стихия!

Стихи длинные, и начала я высоко, сколько руки достало, но стихи, по опыту знаю, такие длинные, что никакой скалы не хватит, а другой, такой же гладкой, рядом – нет, и все же мельчу и мельчу буквы, тесню и тесню строки, и последние уже бисер, и я знаю, что сейчас придет волна и не даст дописать, и тогда желание не сбудется – какое желание? – ах, *К морю*! – но, значит, уже никакого желания нет?

Но все равно — даже *без* желания! я должна дописать *до* волны, *все* дописать *до* волны, а волна уже идет, и я как раз еще успеваю подписаться:

Александр Сергеевич Пушкин —

и все смыто, как языком слизано, и опять вся мокрая, и опять гладкий шифер, сейчас уже черный, как *тот* гранит...

* * *

Моря я с той первой встречи никогда не полюбила, я постепенно, как все, научилась им пользоваться и играть в него: собирать камешки и в нем плескаться — точь-в-точь как юноша, мечтавший о большой любви, постепенно научается пользоваться случаем.

Теперь, тридцать с лишним лет спустя, вижу: мое *К морю* было — пушкинская грудь, что ехала я в пушкинскую грудь, с Наполеоном, с Байроном, с шумом, и плеском, и говором волн *его души*, и естественно, что я в Средиземном море со скалой-лягушкой, а потом и в Черном, а потом в Атлантическом, этой груди — не узнала.

В пушкинскую грудь — в ту синюю открытку, всю синеву мира и моря вобравшую.

(А вернее всего — в ту раковину, шумевшую моим собственным слухом.)

К морю было: море + любовь к нему Пушкина, море + поэт, нет! — поэт + море, две стихии, о которых так незабвенно — Борис Пастернак:

Стихия свободной стихии
С свободной стихией стиха, —

опустив или подразумев третью и единственную: лирическую.

Но *К морю* было еще и любовь *моря* к Пушкину: море — друг, море — зовущее и ждущее, море, которое боится, что Пушкин — забудет, и которому, как живому, Пушкин обещает, и вновь обещает. Море — взаимное, тот единственный случай взаимности — до краев и через морской край наполненной, а не пустой, как счастливая любовь.

Такое море — мое море — море моего и пушкинского *К морю* могло быть только на листке бумаги — и внутри.

И еще одно: пушкинское море было — море прощания. Так — с морями и людьми — не встречаются. Так — прощаются. Как же я могла, с морем впервые здороваясь, ощутить от него то, что ощущал Пушкин — навсегда с ним прощаясь. Ибо стоял над ним Пушкин тогда в последний раз.

Мое море — пушкинской свободной стихии — было море последнего раза, последнего глаза.

Оттого ли, что я маленьким ребенком столько раз своею рукой писала: «Прощай, свободная стихия!» — или без всякого оттого — я все вещи своей жизни полюбила и пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием, не на жизнь — а на смерть.

И, в совсем уже ином смысле, моя встреча с морем именно оказалась прощанием с ним, двойным прощанием — с морем свободной стихии, которого передо мной не было и которое я, только повернувшись к настоящему морю спиной, восстановила — белым по серому — шифером по шиферу — и прощанием с тем настоящим морем, которое передо мной было и которое я, из-за того первого, уже не могла полюбить.

И — больше скажу: безграмотность моего младенческого отождествления стихии со стихами оказалась — прозрением: «свободная стихия» оказалась стихами, а не морем, стихами, то есть единственной стихией, с которой не прощаются — никогда.

1937 г.